



**МИНИСТЕРСТВО  
НАИВЫСШЕГО  
СЧАСТЬЯ**



**АРУНДАТИ РОЙ**

Лауреат Букеровской премии за роман «Бог Мелочей»

## Annotation

Первый за двадцать лет роман Арундати Рой приглашает нас в далекое путешествие — из тесных кварталов Старого Дели и сияющего нового мегаполиса к снежным вершинам и долинам Кашмира и лесам Центральной Индии, в края, где война — это мир, а мир — это война.

«Министерство наивысшего счастья» — это история мучительной любви и решительного протеста. Рассказ ведется то шепотом, то во весь голос, то сквозь слезы, а порой и со смехом. Герои его — сломленные миром люди, которые были спасены и излечены любовью и надеждой. И потому они столь же тверды, сколь и хрупки, и никогда не сдаются.

---

- [Арундати Рой](#)
  - 
  - 
  - [1. Где умирают старые птицы?](#)
  - [2. Кхвабгах](#)
  - [3. Рождение](#)
  - [4. Доктор Азад Бхартия](#)
  - [5. Тихая охота](#)
  - [6. Несколько вопросов на потом](#)
  - [7. Домовладелец](#)
  - [8. Квартирантка](#)
  - [9. Безвременная кончина мисс Джебин Первой](#)
  - [10. Министерство наивысшего счастья](#)
  - [11. Домовладелец](#)
  - [12. Скарабей](#)
  - [Благодарности](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)



- [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)
  - [17](#)
  - [18](#)
  - [19](#)
  - [20](#)
  - [21](#)
  - [22](#)
  - [23](#)
  - [24](#)
  - [25](#)
  - [26](#)
  - [27](#)
  - [28](#)
  - [29](#)
  - [30](#)
  - [31](#)
  - [32](#)
  - [33](#)
  - [34](#)
  - [35](#)
  - [36](#)
  - [37](#)
  - [38](#)
  - [39](#)
  - [40](#)
  - [41](#)
  - [42](#)
  - [43](#)
  - [44](#)
  - [45](#)
-

**Арундати Рой**

**Министерство наивысшего счастья**

*Посвящается  
Безутешным*

**Arundhati Roy  
The Ministry of Utmost Happiness**



Серия «От лауреата Букеровской премии»  
Перевод с английского *Александра Анваера*  
Издание публикуется с разрешения Susanna Lea Associates и Synopsis  
Literary Agency

© Arundhati Roy, 2017

© Анваер А., перевод, 2018

© ООО «Издательство АСТ», 2018

\* \* \*

*В тот волшебный час, когда солнце уже зашло, но свет еще не померк, с огромного баньяна, растущего на старом кладбище, срываются мириады крыланов с острыми лисьими мордочками и черным дымом проносятся над городом. Когда крыланы скрываются из вида, в листве обосновываются на ночлег вороны. Гвалт вернувшихся домой ворон не в состоянии до краев заполнить безмолвие, вызванное отсутствием пропавших невесть куда воробьев, а еще белобоких грифов, бывших попечителями мертвых тел последние сто миллионов лет. Эти были уничтожены. Грифы вымерли, отравленные диклофенаком. Диклофенак, коровий аспирин, которым кормят коров для снятия боли, мышечного напряжения и увеличения надоев, действует — действовал — на грифов как нервно-паралитический газ. Каждая молочная корова или буйволица с расслабленными диклофенаком мышцами становилась после смерти отравленной приманкой для белобоких грифов. По мере того как коровы превращались в машины по производству молока, по мере того как город поглощал все больше мороженого, ирисок, вафелек с ореховой пастой и молочного шоколада, по мере того как он выпивал все больше мангового молочного коктейля, шеи грифов клонились книзу, не в силах удерживать на весу головы. Казалось, птицы очень устали и невольно засыпают. Из клювов стекали серебристые струйки слюны, а потом птицы, одна за другой, замертво падали с ветвей вниз.*

*Немногие заметили исчезновение дружелюбных старых птиц. У людей так много других забот.*

# 1. Где умирают старые птицы?

*Я имею в виду, все  
зависит от твоего  
сердца...*

*Назым Хикмет*

Она жила на кладбище, как дерево. На рассвете она прощалась с воронами и радушно приветствовала вернувшихся крыланов. На закате приветствовала первых и провожала вторых. В промежутках беседовала с тенями грифов, таящимися в ее высоких ветвях. Она ощущала деликатное прикосновение их когтей, как ощущают боль в ампутированной конечности. Каким-то шестым чувством она догадывалась, что грифы не слишком сожалеют о том, что им пришлось отклоняться и сойти со сцены.

Когда она впервые поселилась здесь, ей пришлось несколько месяцев испытывать на себе все повседневные жестокости, но она перенесла их, как дерево, стойко. Она не оборачивалась, чтобы посмотреть, что за мальчишка швырнул в нее камень, она не вытягивала шею, чтобы прочесть непристойное оскорбление, нацарапанное на ее коре. Когда люди обзывали ее обидными прозвищами — клоуном без цирка и царицей без дворца, она пропускала их сквозь свои ветви, словно это был ветер, и прислушивалась к музыке листвы. Этот шелест действовал как целительный бальзам и смягчал боль.

Только после того, как Зияуддин, старый слепой имам, который когда-то возглавлял молитвы в Фатехпури-Масджид, подружился с ней и стал регулярно ее навещать, окрестные жители решили, наконец, оставить ее в покое.

Давным-давно один человек, который знал английский, сказал ей, что если написать ее имя (по-английски) задом наперед, то получится Majnu, то есть Маджнун. Тот человек говорил, что в английском пересказе легенды о Лейле и Маджнуне Маджнуна звали Ромео, а Лейлу — Джульеттой. Она нашла это забавным. «Ты хочешь сказать, что я — кичри<sup>[1]</sup> этой истории? — спросила она. — А что они сделают, если вдруг обнаружится, что Лейла на самом деле была Маджнуном, а Роми — Джули?» Когда Человек-Который-Знал-Английский пришел к ней в следующий раз, он

признал, что ошибся. Если написать ее имя задом наперед, то получится Мујна — Муджна, а это слово вовсе даже и не имя и не значит ровным счетом ничего. На это она ответила: «Это совершенно неважно. Во мне существуют все они. Я — Роми и Джули, я — Лейла и Маджнун. И Муджна — почему нет? Кто сказал, что мое имя Анджум? Я не Анджум, я — Анджуман, я — *мехфиль*, собрание, единение — всего и ничего, всех и никого. Не хочешь ли ты позвать к нам кого-нибудь еще? Я приглашаю всех».

Человек-Который-Знал-Английский сказал, что это очень умная мысль и сам он ни за что бы до нее не додумался. На это она заметила: «Как бы ты мог это сделать с твоим знанием урду? Неужели ты думаешь, что английский автоматически делает тебя умным?»

Он рассмеялся, она рассмеялась в ответ. Он угостил ее сигаретой с фильтром и пожаловался, что «Уиллз неви кат» слишком короткие и не стоят тех денег, каких за них требуют. Но она сказала, что предпочитает их сигаретам «Фор сквер» или очень мужским «Ред энд уайт».

Теперь она уже не помнит его имени. Возможно, она никогда его и не знала. Он ушел — Человек-Который-Знал-Английский, — ушел туда, куда должен был уйти. Она же осталась жить на кладбище за государственным госпиталем. Компанию ей составлял железный шкаф марки «Годредж»<sup>[2]</sup>, где хранилась ее сокровенная музыка — поцарапанные пластинки и изношенные магнитные ленты, а также старая фисгармония, одежда, драгоценности, сборники стихов, фотоальбомы и несколько газетных вырезок, переживших пожар в Кхвабгахе, Доме снов. Ключ висел у нее на шее, на черном шнурке, вместе с изогнутой серебряной зубочисткой. Спала она на потертом персидском ковре, который днем запирала в шкаф, а вечером расстилала между двумя могилами (она никогда не стелила его в одном и том же месте две ночи подряд — это была ее невинная шутка). Она продолжала курить матросские «Неви кат».

Однажды утром, когда она, как обычно, читала старому имаму вслух газету, он, очевидно, не слушая, спросил как бы между прочим: «Истинно ли, что даже некоторых индуистов не сжигают, а хоронят в земле?»

Ответить было трудно, и она помедлила.

«Истинно? Что значит истинно? Что такое вообще Истина?»

Не желая отклоняться от выбранной цели, имам механически ответил: «Сач Худа хай. Худа хи Сач хай». («Истина есть Бог, и Бог есть истина».) Однако эта мудрость начертана на половине раскрашенных красками грузовиков, с ревом несущихся по скоростным шоссе. Имам прищурил свои слепые, зеленые от глаукомы глаза и спросил коварным, зеленоватым

шепотом: «Скажите мне, люди, где вас хоронят, когда вы умираете? Кто обмывает ваши тела? Кто произносит молитвы?»

Анджум долго молчала, не отвечая на вопрос имама. Потом она наклонилась к нему и произнесла: «Имам-сахиб, когда люди говорят о цветах — красном, синем, оранжевом, когда они описывают небо на закате или восход луны в Рамадан — какие мысли и чувства возникают у тебя?»

Глубоко, почти смертельно, ранив друг друга, они продолжали сидеть рядом на чьей-то залитой солнцем могиле и молча истекали кровью. Первой тишину нарушила Анджум.

«Это ты должен мне сказать, — произнесла она. — Это ты — имам-сахиб, а не я. Где умирают старые птицы? Падают ли они нам на головы с неба, словно камни? Спотыкаемся ли мы на улицах об их тела? Разве ты не думаешь, что Всевидящий и Всемогущий, поместивший нас на эту землю, позаботился и о том, чтобы пристойно обставить наш уход?»

В тот день визит имама окончился раньше обычного. Анджум смотрела, как он уходит, отчетливо стуча своей белой тростью, нащупывая безопасный путь между могилами. Кончик трости звенел, натываясь на пустые бутылки и выброшенные шприцы, раскиданные по дорожкам кладбища. Анджум не пыталась его остановить, ибо знала, что он вернется. Как бы тщательно кто ни скрывал свое одиночество, она всегда узнавала его с первого взгляда. Она чувствовала, что по каким-то непостижимым причинам старому имаму нужна ее тень, а ей — его. Из опыта она знала, что Нужда всегда копит в себе изрядно жестокости.

Прощание Анджум с Кхвабгахом нельзя было назвать сердечным, это правда, но она понимала, что его сны и тайны принадлежали не ей одной, и не спешила их раскрывать.



## 2. Кхвабгах

Она была четвертой из пяти детей в семье. Родилась она в холодную январскую ночь в делийском районе Шахджаханабаде<sup>[3]</sup>, некогда окруженном крепостной стеной, при свете керосиновой лампы (в ту ночь отключили электричество). Ахлам Баджи, акушерка, принимавшая роды, завернула младенца в две теплые шали и протянула матери со словами: «Это мальчик». Учитывая некоторые обстоятельства, это была вполне простительная ошибка.

Когда Джаханара-бегум была на втором месяце своей первой беременности, они с мужем решили, что если родится мальчик, они назовут его Афтабом. Первые три ребенка оказались девочками. Супруги ждали своего Афтаба шесть лет. Ночь, когда он, наконец, появился на свет, стала счастливейшей в жизни Джаханары-бегум.

Наутро, когда солнце поднялось высоко над землей и в комнате стало светло, тепло и уютно, Джаханара распеленала маленького Афтаба и принялась исследовать его крошечное тельце — глазки носик головку шейку подмышки пальчики на ручках и ножках — неспешно, с чувством, испытывая неземной восторг. Беда случилась, когда она скользнула пальцем под выступавшую мужскую часть и обнаружила под ней маленькую, плохо оформленную, но явно девичью принадлежность.

Возможно ли, чтобы мать пришла в ужас от собственного ребенка? С Джаханарой-бегум именно это и случилось. Ей показалось, что сердце ее сейчас перестанет биться, а кости рассыплются в прах. Потом она посмотрела еще раз — может быть, она ошиблась? Потом она инстинктивно отпрянула от произведенного ею на свет создания, кишки ее при этом взбунтовались, и по ногам скользнула тонкая струйка кала. Потом она захотела убить себя и ребенка. Потом появилось стремление обнять дитя и прижать к груди, ощущая падение в пропасть, отделяющую знакомый ей мир от миров, о существовании которых она даже не догадывалась. Там, в темной и глубокой бездне, всё, в чем она была до тех пор уверена, всё — от самых малых мелочей до самых великих истин, потеряло всякий смысл. В урду, единственном знакомом ей языке, все вещи, не только одушевленные, а *все* — ковры, предметы одежды, книги, ручки, музыкальные инструменты — имели род. Всякая вещь была либо мужского, либо женского рода, была мужчиной или женщиной. Всякая — за исключением ее ребенка. Нет, конечно, Джаханара-бегум знала слово,

каким обозначали таких, как Афтаб, — «хиджра». Впрочем, было и еще одно слово — «киннар». Но из двух слов не составишь язык.

Можно ли жить вне языка? Понятно, что она не смогла сформулировать этот вопрос в словах, одним простым и ясным предложением. Он прозвучал у нее в душе как беззвучный, только зарождающийся вопль.

Потом она решила привести себя в порядок, очиститься и пока не говорить никому о том, что она увидела. Даже мужу. Потом пришло желание лечь рядом с Афтабом и отдохнуть. Отдохнуть, как отдыхал Бог христиан после того, как сотворил небо и землю. Правда, Бог почил после того, как внес смысл и порядок в созданный им мир, а она будет отдыхать после того, как создала нечто, внесшее полную сумятицу в ее представления о мире.

В конце концов, это не совсем настоящее влагалище, уговаривала себя Джаханара-бегум. Отверстие его было слепым (она проверила). Это просто какой-то придаток, что-то детское. Может быть, он зарастет, заживет или исчезнет каким-то другим способом. Она помолится во всех известных ей святилищах и будет просить у Всемогущего явить к ней милость. Он явит милость, она знала, что явит. Может быть, Он уже и явил ее, просто Джаханара пока не догадывалась, каким именно образом.

В первый же день, когда Джаханара-бегум почувствовала себя готовой покинуть дом, она взяла с собой свое дитя — Афтаба — и пошла к дарге<sup>[4]</sup> хазрата<sup>[5]</sup> Сармада Шахида, благо идти было недалеко, всего каких-то десять минут. В то время она не имела ни малейшего понятия о жизни хазрата и сама не знала, почему с такой уверенностью направилась именно к его дарге. Возможно, он сам позвал ее к себе. Может быть, правда, что ее привлекли странные люди, которых она часто видела там по дороге к Мина-базару. Прежде она не достаивала их даже взглядом и замечала, только когда они пересекали ее путь. Теперь же они стали казаться ей самыми важными на свете людьми.

Не все приходившие на могилу хазрата Сармада Шахида знали историю его жизни. Некоторые знали ее частично, некоторые не знали вообще, а третьи придумывали собственные версии. Большинство людей знало, что он был еврейским купцом из Армении, пришедшим в Дели из Персии вслед за своей страстной любовью. Немногие знали, что этой любовью был Абхай Чанд, юный индус, которого Сармад Шахид повстречал в Синде. Большинство людей знало, что Сармад Шахид отречся

от иудаизма и перешел в ислам. Немногие знали, что со временем он усомнился и в ортодоксальном исламе. Большинство людей знало, что он как голый факир вечно бродил по улицам Шахджаханабада, а потом был публично казнен. Опять-таки немногие знали, что казнили его не за хождение по улицам в голом виде, а за религиозное отступничество. Аурангзеб, тогдашний падишах, призвал Сармада ко двору и попросил доказать, что он истинный мусульманин — то есть прочесть калиму: «Ла илаха иллаллах Мохаммед-ур расул Аллах. — Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк Его». Сармад Шахид стоял голый перед придворными кази и мауланами<sup>[6]</sup> во дворе Красного форта. В небе остановились облака, и птицы застыли в воздухе, а в форте стало душно и жарко, когда хазрат Сармад начал декламировать калиму. Однако он умолк почти сразу после того, как начал, сказав только: «Ла илаха. — Нет Бога». Он упорно не желал продолжать, утверждая, что не способен этого сделать, пока не завершит свой духовный поиск и не сможет принять Аллаха всем сердцем. До этого же, сказал он, калима в его устах будет оставаться пустым притворством. Аурангзеб, посоветовавшись со своими кази, приказал казнить Сармада.

Тем не менее было бы ошибкой полагать, будто те, кто приходил к могиле выказать благоговейное почтение хазрату Сармаду Шахиду, не зная истории его жизни, делали это по невежеству. Дело в том, что внутри дарги непокорный дух Сармада был сильнее, ощутимее и правдивее, нежели любое собрание исторических фактов, и этот дух действовал на всех пришедших искать благословения хазрата. Этот дух прославлял (но никогда не проповедовал) торжество духовности над ритуалами, простоты над излишествами богатства, а также непобедимую, неземную любовь — даже перед лицом смерти. Дух Сармада внушал тем, кто приходил к нему, силу своей жизни и позволял обратить эту силу на укрепление духа, в чем бы это ни заключалось.

Став частым гостем дарги хазрата, Джаханара-бегум много раз слышала, а потом и рассказывала другим, историю о том, как Сармад был обезглавлен на ступенях Джама-Масджид — соборной мечети Старого Дели — перед морем почитателей, пришедших проститься с ним. Рассказ повествовал о том, что голова продолжала произносить стихи любви даже после того, как отделилась от тела, и о том, что тело подняло голову и возложило ее на плечи так же обыденно, как современный мотоциклист надевает шлем, а потом Сармад поднялся по ступеням вверх, вошел в Джама-Масджид и так же непринужденно вознесся прямо на небеса. И именно поэтому, говорила Джаханара-бегум (всем, кто хотел ее слушать), в

дарге, прилепившейся, как моллюск, к восточной лестнице Джама-Масджид, ровно в том месте, где кровь Сармада пролилась и собралась в лужу, пол, стены и потолок сохраняют свой красный цвет. Прошло уже триста лет, говорила Джаханара, но никто не может смыть кровь хазрата Сармада. В какой бы цвет ни красили пол и стены гробницы, они все равно возвращают себе свой прежний оттенок.

Безмятежность и покой снизошли на Джаханару-бегум сразу, как только она, пройдя мимо разношерстной толпы — мимо продавцов благовоний и амулетов, сторожей обуви паломников, мимо колченогих калек, нищих, бездомных — мимо коз, откармливаемых ко дню разговения, мимо группки пожилых, невозмутимых евнухов, обосновавшихся под парусиновым навесом, натянутым возле гробницы, — вошла в крохотную красную каморку. Уличный гомон стих и отдалился. Джаханара села в уголок, положила на колени свое спящее дитя и оглядела сидевших в комнате паломников — мусульман и индусов. Люди прикрепляли к решеткам на стенах красные шнурки, красные браслеты и записки, ища благословения Сармада. Однако только после того, как Джаханара заметила худого до прозрачности старика с клочковатой седой бородой и пергаментной сухой кожей, который беззвучно плакал, раскачиваясь у стены, словно его сердце было разбито, она и сама дала волю слезам. «Это мой сынок, Афтаб, — шепотом заговорила она с хазратом Сармадом. — Я принесла его сюда, к тебе. Позаботься о нем и научи меня любить его».

Хазрат Сармад исполнил ее мольбу.

\* \* \*

Первые несколько лет жизни Афтаба Джаханара-бегум ревностно хранила его тайну. Несчастливая мать ждала, что девичья щель зарастет, не отпускала Афтаба далеко от себя и берегла его как зеницу ока. Даже после того как родился младший сын Сакиб, Джанахара продолжала опекать Афтаба, не отпуская его далеко от себя. Такое поведение не казалось странным для женщины, которая так долго и так напряженно ждала рождения сына.

Когда Афтабу сравнялось пять лет, родители отвели его в медресе для мальчиков на Чуривали-Гали (улочка, где продавали браслеты). Уже через год мальчик знал на память изрядную часть Корана на арабском языке, хотя, конечно, было не совсем ясно, насколько хорошо он его понимал.

Впрочем, то же самое можно было сказать и о других мальчиках. Афтаб учился хорошо, лучше большинства учеников, но уже с младенчества стало ясно, что настоящее его призвание — музыка. У мальчика был нежный, звонкий голос, и он усваивал мелодию после первого же прослушивания. Родители решили отправить его к уstadу<sup>[7]</sup> Хамиду Хану, выдающемуся молодому музыканту, преподававшему классическую индийскую музыку в своей тесной квартирке в Чандни-Махале. Маленький Афтаб не пропустил ни одного урока. В девятилетнем возрасте он уже мог по двадцать минут петь *бада-хайяль* в мелодиях рага-яман, рага-дурга и рага-бхайрав, а в рага пурья-дханашри напев его застенчиво шелестел, как камень, умелой рукой брошенный скользить по водам озера. Чаити и тхумри он мог петь с изяществом и совершенством куртизанки из Лакхнау. Поначалу люди удивлялись и подбадривали мальчика, но очень скоро его стали дразнить и оскорблять другие дети: «Он же Она! Он не Он и не Она. Он и Он, и Она. Она-Он, Он-Она. Хи-хи-хи!»

Когда издевательства стали невыносимыми, Афтаб перестал ходить на уроки музыки, но уstad Хамид, который души в нем не чаял, сказал, что будет заниматься с ним отдельно. Музыкальное образование, таким образом, продолжилось, но ходить в школу Афтаб наотрез отказался. К тому времени все робкие надежды Джаханары-бегум практически испарились. Никаких признаков заживления между ножками сына она не видела. Джаханара, прибегнув к изобретательным уловкам, смогла на несколько лет оттянуть обрезание, но маленький Сакиб уже ждал своей очереди, и возможности тянуть дальше уже не было. Наконец, Джаханаре пришлось сделать неизбежное. Она собрала все свое мужество и рассказала правду мужу, заливаясь слезами горя, смешенного с облегчением, ведь теперь не ей одной нужно было нести тяжкое бремя этого кошмара.

Муж Джаханары, Мулакат Али, был хакимом, врачом-травником и большим любителем поэзии на урду и персидском. Всю жизнь он работал на семью другого хакима — Абдула Маджида — который создал популярную марку шербета, названную «Рух-Афза», что по-персидски означает «Эликсир души». Этот эликсир, который готовили из семян портулака, винограда, апельсинов, арбуза, мяты и моркови, добавляя в него также немного шпината, ветивера, лотос, лилии двух сортов и масло дамасской розы, считался тонизирующим средством. Люди, однако, обнаружили, что две столовые ложки искрящегося рубинового сиропа не только придавали невероятно приятный вкус молоку и даже обычной воде, но и служили непревзойденной защитой от испепеляющей дельийской жары, как и от странной лихорадки, которую приносили с собой ветры из



пустыни. Очень скоро целебный настой, каким должен был стать эликсир, превратился в любимый местным народом прохладительный напиток. «Рух-Афза» стала доходным предприятием и популярной торговой маркой. Сорок лет семья удачливого хакима получала приличные доходы, отправляя напиток на юг — до Хайдарабада и на запад — до Афганистана. Потом начались ужасы великого Раздела. Бог вскрыл свою сонную артерию над границей Индии и Пакистана, и миллион человек погибло от ненависти. Соседи убивали друг друга с такой яростью, словно никогда не были знакомы, никогда не ходили друг к другу на свадьбы, никогда не пели песен друг друга. Старый город больше не был прежним. Жившие там мусульманские семьи бежали, но прибыли индуисты и поселились у его стен. «Рух-Афза» пережила не лучшие времена, но оправилась от удара, и очень скоро филиал торгового дома был открыт в Пакистане. Прошла еще четверть века, и геноцид случился теперь в Восточном Пакистане. Когда ужас остался позади, хаким организовал еще один филиал в новой стране Бангладеш. Эликсир, однако, торжествовал недолго. Напиток, переживший войны и кровавое рождение трех стран, был, как и большинство вещей в мире, безжалостно раздавлен «Кока-Колой».

Мулакат Али был весьма ценным и уважаемым сотрудником хакима Абдула Маджида, но на зарплату едва мог сводить концы с концами. Поэтому, кроме работы у Абдула, Мулакат принимал больных на дому. Джаханара-бегум вносила свою лепту в семейный бюджет — она шила белые хлопковые шапочки (такие же, какие носил Ганди) и заваливала ими индусов, лавочников с Чандни-Чуок<sup>[8]</sup>.

Мулакат Али прослеживал свое происхождение от повелителя монголов Чингисхана. Предки Мулаката происходили от второго сына хана — Чагатая. Генеалогическое древо было изображено на куске старого, потрескавшегося пергамента, а в небольшой жестяной шкатулке Мулакат хранил пожелтевшие документы, которые якобы подтверждали истинность его высокого происхождения и объясняли, каким образом потомки шаманов из пустыни Гоби, поклонявшиеся Вечному Синему Небу и считавшиеся врагами ислама, стали зачинателями династии Великих Моголов, правивших Индией на протяжении веков. В документах было также написано, как предки самого Мулаката, потомки Моголов, бывших суннитами, перешли в шиизм. Иногда — не чаще одного раза в несколько лет — Мулакат открывал шкатулку и показывал документы какому-нибудь журналисту, который (как правило) либо просто не слушал Мулаката, либо не воспринимал его всерьез. В лучшем случае долгое интервью оборачивалось игривым упоминанием в субботнем материале о Старом

Дели. Если статью удостаивали целого разворота, то она сопровождалась небольшим портретом Мулаката Али и еще несколькими фотографиями: крупным планом блюд монгольской кухни, дальним планом с мусульманскими женщинами в парандже, едущими на велорикшах по грязным улочкам, и, конечно же, непременно снимком с высоты птичьего полета — ровные ряды мусульманских мужчин в белых шапочках, склонившиеся в молитве во дворе мечети Джама-Масджид. Некоторые читатели усматривали в этих снимках доказательство победы в Индии межконфессионального согласия, светскости и веротерпимости. Другие с облегчением приходили к выводу, что делийские мусульмане вполне довольны жизнью в своем пестром гетто, но находились и такие, кто убеждался, что мусульмане не желают «интегрироваться», размножаются и организуются, и недалек тот час, когда они представят нешуточную угрозу для индуистской Индии. Таких становилось все больше, и они тревожными темпами усиливали свое влияние.

Однако независимо от того, появлялось интервью в печати или нет, Мулакат Али в своей слепой любви к человечеству продолжал принимать визитеров в своей крошечной квартирке, проявляя при этом тускнеющее изящество обедневшего аристократа. О прошлом он всегда говорил с достоинством, но без ностальгии. Он живописал, как в тринадцатом веке его предки правили империей, простиравшейся от земель, которые ныне называются Вьетнам или Корея, до Венгрии и Балкан и от Северной Сибири до Деканского плоскогорья в Индии. Да, то была величайшая империя из всех, какие знало человечество. Он часто заканчивал интервью двустишием на урду — двустишием своего любимого поэта Мира Таки Мира:

Джис сар ко гхурур аадж хай яан тадж-вари ка  
Каль усс пе яхин шор хай пхир наухагари ка

И голова, что днесь красуется в короне,  
Поникнет завтра в безутешном стоне.

Посетители его, в большинстве своем нагловатые эмиссары нового правящего класса, едва ли сознававшие свое юношеское высокомерие, не вполне понимали многослойный смысл продекламированного им двустишия, похожего на легкую закуску, которую следовало смывать

крошечной чашкой густого сладкого чая. Конечно, они понимали, что это была грустная эпитафия на руинах павшей империи, границы которой сузились до мрачного, грязного гетто, окруженного разрушенными стенами Старого города. Да, конечно, они понимали и то, что это был печальный комментарий к стесненному положению самого Мулаката Али. Но от их внимания ускользало самое важное — стихи были коварным лакомством, лукавой самосой, предостережением, завернутым в скорбь и предложенным в обертке ложного смирения эрудированным человеком, твердо уверенным в полном незнании слушателями урду — языка, который, подобно большинству говорящих на нем, все больше и больше изолировался.

Страсть Мулаката Али к поэзии не была увлечением, отделенным от его практики хакима. Он верил в целительную силу поэзии, верил, что поэзия может излечить или по крайней мере значительно способствовать излечению от практически любого недуга. Он предписывал своим пациентам стихи, как другие хакимы предписывали лекарства. В неисчерпаемом запасе Али были двустишия, пугающим образом подходящие для всех случаев жизни — для любой болезни, любого настроения, любого — самого незначительного — изменения политического климата. Это обыкновение делало жизнь самого хакима и людей, окружавших его, более глубокой, хотя и менее самобытной, чем она была в действительности. Стихи пропитывали все едва уловимым ощущением застоя, ощущением того, что все происходящее уже происходило раньше. Все уже было записано, спето, прокомментировано и отложено в сокровищницу людского опыта. Ничто новое в этом мире не было возможно. Именно поэтому молодые люди, которые оказывались рядом с ним, немедленно ретировались, смущенно хихикая, как только понимали, что сейчас их угостят очередным двустишием.

Когда Джаханара-бегум рассказала мужу об Афтабе, у Мулаката Али — быть может, впервые в жизни — не нашлось стихов на случай. Мало того, ему потребовалось немалое время, чтобы справиться с неожиданным потрясением. Придя в себя, он рассерженно спросил, почему жена не сказала ему об этом раньше. Времена изменились, продолжил он, наступило Новое время. Хаким был уверен, что существует простое медицинское решение, которое избавит их сына от проблемы. Надо только найти врача в Нью-Дели, подальше от слухов и сплетен, неизбежных в махалля<sup>[9]</sup> Старого города. Всемогущий помогает тем, кто помогает себе сам, с напускной суровостью сказал он жене.

Спустя неделю, облачившись в лучшие свои одежды и нарядив

несчастливого Афтаба в серо-стальной костюм патхани, черную вышитую курточку, шапочку топи и джутти с мысками, загибающимися вверх, как нос гондолы, они выехали в запряженной лошадей повозке с улицы Низамуддина. Всем соседям было сказано, что семья отправилась на смотрины будущей невесты для племянника Айджаза — младшего сына старшего брата Мулаката Али Касима, который после Раздела переехал в Пакистан и теперь работал в филиале «Рух-Афзы» в Карачи. На самом деле семейство поехало на прием к доктору Гуламу Наби, который сам себя называл сексологом.

Доктор Наби страшно гордился своей прямоотой и научной образованностью. Осмотрев Афтаба, он сказал, что, строго говоря, мальчик не является хиджрой — женщиной, заключенной в тело мужчины, но для простоты можно назвать это и так. Афтаб, сказал доктор Наби, — это редкий случай истинного гермафродитизма, то есть заболевания, при котором у человека существуют как мужские, так и женские признаки, хотя мужские — внешне — доминируют. Доктор Наби обещал порекомендовать хирурга, который закроет и зашьет женский признак. Кроме того, он выпишет и таблетки. Одновременно врач предупредил, что проблема эта не только внешняя. Лечение, конечно, поможет, но останутся «тенденции хиджры», искоренить которые едва ли когда-нибудь удастся. (Для обозначения западного слова «тенденции» доктор употребил слово «*фитрат*»). Таким образом, врач не гарантировал успеха. Мулакат Али, готовый ухватиться за любую соломинку, был полон воодушевления. «Тенденции? — переспросил он. — Тенденции — это не проблема, у всех у нас есть какие-нибудь тенденции... С ними всегда можно справиться».

Визит к доктору Наби не дал немедленного облегчения, не освободил Афтаба от того, что Мулакат Али называл недугом, но зато несомненно пошел на пользу самому Мулакату Али, ибо помог ему определиться в надежной системе координат и вести корабль среди океана полного непонимания ситуации, объяснения которой было бессмысленно искать в стихах. Теперь муки несчастного отца превратились в практическую проблему, которая требовала направить внимание и силы на вполне осязаемую задачу: достать деньги на операцию.

Он сократил расходы на домашнее хозяйство и составил список друзей и родственников, у которых можно было что-то занять. Одновременно он затеял грандиозный культурный проект — начал вселять мужественность в Афтаба. Мулакат Али принялся внушать сыну любовь к поэзии, стараясь отвратить от пения тхумри и чаити. Он допоздна засиживался с сыном, рассказывая тому истории об их воинственных предках, об их доблести на

полях брани. Рассказы эти оставляли Афтаба равнодушным, но потом он услышал историю о том, как Темучин — Чингисхан — добился руки своей красавицы-жены, Бортэ-Хатун, о том, как ее похитило враждебное племя и Темучин, почти в одиночку, сумел отбить ее у врагов — так сильна была его любовь. Слушая эту историю, Афтаб хотел оказаться на месте Бортэ-Хатун.

Сестры и брат Афтаба ходили в школу, а он сам часами просиживал в это время на крошечном балконе, выходящем на Читли-Кабар — маленькую гробницу пятнистого козла, который, как говорили, обладал сверхъестественной силой, и на оживленную улицу, вливавшуюся в Матия-Махал-Чуок. Мальчик быстро выучил такт и ритм своего квартала, расцвеченного ругательствами на урду: «Я трахну твою мать», «Иди трахни свою сестру», «Клянусь членом твоей матери», поток которых пять раз в день прерывался призывом правоверных к молитве, раздававшимся с минарета Джама-Масджид и еще пяти мечетей поменьше, разбросанных по Старому городу. День за днем Афтаб внимательно следил за всем подряд, но ни за чем в особенности. Гудду Бхай, желчный и злой рыбный торговец, ранним утром ставил тележку со свежей, серебристо блестящей рыбой в самой середине рынка, чтобы вскоре, с неизбежностью восхода и захода солнца, его сменил Васим, высокий, любезный продавец нан-хати. Этот Васим затем съезживался до Юнуса — маленького и худенького торговца фруктами, который ближе к ночи раздувался в мячик Хассана Миана, толстяка, торговавшего лучшим бараньим бирьяни в Матия-Махале. Горячий рис с мясом он извлекал из огромного медного котла. Однажды утром — это было весной — Афтаб увидел высокую женщину с тонкими, стройными лодыжками. Первым делом Афтабу бросилась в глаза яркая губная помада и высокие золоченые каблуки. Кроме того, на женщине был блестящий зеленый шелковый шальвар-камиз. Женщина покупала браслет у торговца Мира, который, кроме того, сторожил Читли-Кабар. Каждый вечер, запирая козлий склеп, он прятал в нем весь свой запас браслетов. (Ему удалось устроить так, чтобы обе работы заканчивались в одно время.) Афтаб никогда в жизни не видел никого великолепнее этой женщины в губной помаде. Он опрометью сбежал вниз по крутой лестнице и пошел за ней, внимательно следя, как она покупала баранину, заколки для волос, гуаву, а потом старательно застегивала расстегнувшийся ремешок босоножки.

Ему хотелось быть ею.

Он проводил ее по улице до Туркменских ворот и долго стоял возле синей двери, за которой она исчезла. Ни одной обычной женщине никто бы



не позволил такой плавной походкой прошествовать в такой одежде по Шахджанабаду. Обычные женщины Шахджанабада носили паранджу или, по крайней мере, покрывали голову и все тело, за исключением кистей рук и стоп. Женщина, за которой шел Афтаб, могла так одеваться и так разгуливать по городу, потому что она... не была женщиной. Но как бы то ни было, Афтаб мечтал быть ею. Он хотел быть ею больше, чем красавицей Бортэ-Хатун. Он хотел, как эта женщина, царственно идти мимо мясных лавок, где освежеванные туши висели на крюках, словно стены из красной плоти; он хотел, так же жеманясь, проплывать мимо стильного мужского парикмахерского салона «Новая жизнь», где цирюльник Ильяс стриг молодого мясника Лиаката и смазывал его волосы сверкающим бриолином. Он жаждал протянуть унизанную звенящими браслетами руку с ярко накрашенными ногтями и слегка приподнять жабры рыбы, чтобы убедиться в ее свежести и поторговаться о цене. Он хотел немного задрать шальвары, переступая через лужу, — только для того, чтобы показать всем серебряные браслеты на лодыжках.

Девичьи признаки Афтаба гнездились у него не только между ног.

Теперь Афтаб делил свое время между музыкальными занятиями и дежурством у синей двери дома в Гали-Дакотан, где жила высокая женщина. Афтаб узнал, что ее прозывали Бомбейский Шелк и что в доме жили еще семь таких же женщин — Бульбуль, Разия, Хира, Крошка, Ниммо, Мэри и Гудия. Все они жили здесь, в *хавели*, каменном доме, за синей дверью. У них была уstad, гуру по имени Кульсум Би, она была самой старшей среди них и являлась хозяйкой дома. Афтаб узнал, что *хавели* назывался Кхвабгах — Дом снов.

Поначалу обитательницы дома прогоняли его, потому что все они знали Мулакату Али и не желали наживать в его лице врага. Но, невзирая на ругань, упреки и возможные наказания, Афтаб неизменно, день за днем, возвращался к дому с синей дверью. Это было единственное место в мире, где он чувствовал, что сам воздух расступается перед ним. Когда Афтаб приходил к заветному дому, он чувствовал, как для него появляется свободное пространство, — это было такое же чувство, какое испытывает школьник, когда одноклассник скользит по скамье, освобождая для него место. Через несколько месяцев, в течение которых Афтаб выполнял мелкие поручения женщин, носил их сумки и музыкальные инструменты, массировал их уставшие за день ноги, ему удалось, наконец, проникнуть в Кхвабгах. Настал давно желанный день, когда его впустили внутрь. Он вступил в этот заурядный, ветхий дом с таким чувством, словно входил в рай.

За синей дверью располагался мощный, окруженный высокой стеной внутренний двор с водяной колонкой в одном углу и гранатовым деревом — в другом. За просторной верандой, опиравшейся на каннелированные колонны, располагались две комнаты. Крыша одной из них просела, а стены рассыпались на мелкие камни, где устроило себе гнездо целое кошачье семейство. Уцелевшая комната была большой и содержалась в относительном порядке. Вдоль шелушащихся бледно-зеленых стен стояли четыре простых деревянных и два годреджских шкафа. Шкафы были облеплены фотографиями кинозвезд — Мадхубалы, Вахиды Рехман, Наргис, Дилипа Кумара (которого на самом деле звали Мухаммад Юсуф Хан), Гуру Датта и местного парня Джонни Уокера (Бадруддина Джамалуддина Кази), комика, который мог одной фразой развеселить самого мрачного на земле человека. Дверца одного из высоких шкафов была зеркальной. В противоположном углу помещался выдавший виды туалетный столик. С высокого потолка свисали треснутая люстра с одной работающей лампочкой и древний вентилятор на длинном стержне. Этот вентилятор был женщиной, и звали его Уша. Как и положено женщине, Уша была скрытной, капризной и непредсказуемой. Она была уже далеко не молода, и ее часто приходилось умасливать, а то и просто подталкивать длинной ручкой швабры. Только после этого Уша снова принималась за работу, кружась своими лопастями вокруг стержня, словно танцовщица у шеста. Устад Кульсум Би спала на единственной в хавели кровати вместе с длиннохвостым попугаем Бирбалем, клетку которого она вешала над кроватью. Если ночью Би не оказывалось рядом, то Бирбаль начинал верещать так, словно его резали. Днем, во время бодрствования, Бирбаль был способен членораздельно произносить непристойности, предваряя их фальшиво-призывным кличем «*Ай Хай*», позаимствованным у обитательниц дома. Любимым ругательством Бирбаля было самое обиходное в Кхвабгахе выражение: «Саали ранди хиджра!» («Шлюха-хиджра и сестра шлюхи»). Бирбаль произносил эту фразу с самыми разнообразными интонациями — кокетливо, шуточно, любовно и с неподдельным, искренним гневом.

Все остальные обитатели дома спали на веранде, а по утрам свертывали свои постели в тугие цилиндрические рулоны. Зимой, когда во дворе становилось холодно и сыро, все перебирались в комнату Кульсум Би. В туалет можно было попасть только через комнату с просевшим потолком. Мылись по очереди под струей воды из колонки. Кухня располагалась на втором этаже, куда вела неправдоподобно крутая узкая лестница. Окно кухни выходило на церковь Святой Троицы.

Среди обитательниц Кхвабгаха Мэри была единственной христианкой. Она не ходила в церковь, но носила на шее крестик. Гудия и Бульбуль были индуистками и время от времени ходили в те храмы, куда их пускали. Все остальные были мусульманками и посещали мечеть Джама-Масджид и те святилища, где им позволяли входить во внутренние помещения (ведь в отличие от биологических женщин хиджры не менструируют и поэтому не считаются нечистыми). Однако самая мужеподобная жительница Кхвабгаха, в отличие от остальных, менструировала очень активно. Басмала спала на кухонной террасе второго этажа. Это была маленькая, жилистая, смуглая женщина с голосом, напоминавшим звук автобусного клаксона. Она была новообращенной мусульманкой, а в Кхвабгах переехала несколько лет назад (впрочем, эти два события никак не были связаны между собой), после того как муж, водитель Делийской транспортной корпорации, выгнал ее из дома, обвинив в бесплодии. Конечно, ему даже в голову не пришло, что бесплодным мог быть он сам. Басмала (ранее — Бимла) управлялась на кухне и охраняла Кхвабгах от незваных и неожиданных гостей, проявляя при этом свирепость и беспощадность чикагских гангстеров. Молодым людям вход в Кхвабгах был строго воспрещен без недвусмысленного разрешения Басмала. Даже такие постоянные посетители, как будущий клиент Анджум — Человек-Который-Знал-Английский, должны были каждый раз особо договариваться о посещении. Компаньонкой Басмалы на террасе была Разия, которая уже давно лишилась и памяти, и разума и не знала, ни кто она, ни откуда пришла. Разия не была хиджра, она была настоящим мужчиной, который любил одеваться женщиной. Однако она хотела, чтобы ее считали не женщиной, а мужчиной, который желает быть женщиной. Она давно перестала объяснять разницу окружающим (включая и хиджр). Разия целыми днями кормила голубей на крыше, а все разговоры сводила к обсуждению некоего тайного и до сих пор не исполненного правительственного плана (который она называла *дао-печ*) относительно хиджр и таких, как она. Согласно этому плану все они должны жить в отдельной колонии и получать государственное вспомоществование, чтобы им больше не приходилось зарабатывать на жизнь тем, что она описывала словом «бадтамизи» — плохим поведением. Еще одним пунктиком Разии было обсуждение необходимости государственных пенсий для уличных кошек. Короче, неуправляемый и неустойчивый ум Разии был накрепко прикован к каким-то правительственным планам и проектам.

Первой настоящей подругой Афтаба в Кхвабгахе стала Ниммо Горакхпури, самая молодая из обитательниц дома и единственная,

окончившая среднюю школу. Ниммо сбежала из дома в Горакхпуре, где ее отец служил чиновником почтамта. Ниммо любила напускать на себя важность и прибавляла себе возраст, но на самом деле была всего лишь на шесть или семь лет старше Афтаба. Ниммо была приземиста, круглолица, щеголяла густыми курчавыми волосами и широкими, похожими на два ятагана бровями и удивительно толстыми ресницами. Пожалуй, Ниммо была по-своему красива, но все впечатление портила растительность на щеках, которая отливала синевой под макияжем, даже когда Ниммо была чисто выбрита. Ниммо была одержима западной женской модой и ревниво оберегала свою коллекцию модных журналов, которые доставала на уличном развале в Дарьягандже — в пяти минутах ходьбы от Кхвабгаха. Один из продавцов этого воскресного рынка, Наушад, покупал журналы у мусорщиков, обслуживавших иностранные посольства в Шантипатхе, а затем продавал их Ниммо с изрядной скидкой.

— Знаешь, зачем Бог создал хиджр? — спросила однажды Ниммо Афтаба, когда они рассматривали потрепанный номер «Вог» за 1967 год. Страницы с загнутыми уголками были украшены фотографиями особенно волновавших Ниммо блондинок с голыми ногами.

— Нет, а зачем?

— Это был эксперимент. Бог решил создать что-то необычное — существо, не способное к счастью. И он создал нас.

Эти слова произвели на Афтаба впечатление удара.

— Как ты можешь говорить такое? Вы все здесь счастливы! Это же Кхвабгах! — воскликнул Афтаб, чувствуя, что впадает в панику.

— Кто же здесь счастлив? Все это пена и притворство, — лаконично ответила Ниммо, даже не удосужившись оторваться от журнала. — Здесь нет счастливых. Это невозможно. *Арре яар*, подумай сам, что делает несчастными вас, нормальных людей? Я не имею в виду *тебя*, но взрослых людей, таких, как ты. Что делает их несчастными? Повышение цен, проблемы с устройством детей в школу, издевательства мужа, обман жены, столкновения индусов и мусульман, индо-пакистанская война — все это *внешние* причины, которые со временем как-то приходят в норму. Но для нас все по-другому: повышение цен — *внутри* нас, поступление в школу, издевательства мужей, неверность жен — это *внутри* нас. Столкновения и война — *внутри* нас. Индопак — *внутри* нас. И это никогда не успокоится и не придет в норму. Этого просто не может быть.

Афтаб был в отчаянии, ибо не мог найти слов возражения, сказать, что она смертельно ошибается, потому что *он*, Афтаб, счастлив здесь, так счастлив, как никогда прежде. Он сам был живым доказательством

неправоты Ниммо, разве нет? Но он ничего не сказал, потому что в этом случае ему пришлось бы признаться в своей «ненормальности», а к этому он пока готов не был.

Только когда ему сравнялось четырнадцать, когда Ниммо сбежала из Кхвабгаха с водителем автобуса (который вскоре бросил ее и вернулся в семью), понял Афтаб, что имела в виду Ниммо. Тело Афтаба к тому времени объявило ему беспощадную войну. Оно стало высоким, стройным и мускулистым. В панике Афтаб попытался избавиться от растительности на лице и теле с помощью «Бурнола» — крема от ожогов, оставившего на коже темные пятна. В отчаянии стал мазаться депилятором «Энн Френч», украденным у сестры (это вскрылось довольно быстро, потому что от него пахло, как из выгребной ямы). Афтаб старательно выщипывал себе брови — не очень симметрично, но тонко — с помощью самодельного пинцета, больше похожего на плоскогубцы. У Афтаба вырос кадык, при глотании ходивший вверх и вниз. С каким удовольствием он бы вырвал его из горла! Но самое страшное произошло позже — у Афтаба поломался голос — нежный дискант сменился низким мощным басом. Этот голос ужасал Афтаба всякий раз, когда ему случалось заговорить. Он стал молчаливым и говорил только в тех случаях, когда не оставалось иного выбора. Он перестал петь. А когда слушал музыку, каждый, кто стоял рядом, мог уловить едва слышное жужжание, доносившееся как будто из его макушки. Никакие просьбы, даже уговоры устада Хамида, не могли теперь заставить петь уста Афтаба. Пел он теперь, только пародируя индусские песни из слащавых фильмов на разнузданных вечеринках хиджр, и в те моменты, когда обитательницы Кхвабгаха снисходили до чужих заурядных торжеств — свадеб, дней рождения, церемоний освящения дома — где они танцевали, пели своими природными голосами, благословляли хозяев и грозили непристойностями (демонстрацией своих изуродованных гениталий и выкрикиванием жутких ругательств) в случае, если им откажут платить. Именно это Разия называла дурным поведением — *бадтамизи*. Ниммо Горакхпури имела в виду то же самое, когда говорила: «Мы шакалы, питающиеся чужим счастьем, мы охотники за счастьем». Ниммо употребляла выражение «кхуши-кхор».

Музыка была оставлена, и у Афтаба не стало больше причин жить в мире, каковой большинство людей считают реальным, а хиджры называют «Дуния» — Мир. В одну прекрасную ночь Афтаб, прихватив с собой из дома немного денег и лучшие наряды сестры, сбежал из дома и поселился в Кхвабгахе. Джаханара-бегум, никогда не отличавшаяся застенчивостью, буквально ворвалась в Кхвабгах, чтобы забрать оттуда свое чадо. Афтаб



отказался уходить. Джаханара ушла только после того, как заставила уstad Кульсум Би поклясться, что по крайней мере по выходным Афтаб будет носить нормальную мужскую одежду и бывать дома. Кульсум Би честно старалась сдержать слово, но договор соблюдался всего лишь несколько месяцев.

Так и случилось, что в возрасте пятнадцати лет, всего лишь в паре сотен ярдов от дома, где его семья прожила несколько столетий, Афтаб открыл обычную дверь и провалился в иную вселенную. В первый же вечер своего переезда в Кхвабгах Афтаб танцевал во дворе и пел любимую всеми песню из любимого всеми фильма: «*Пьяр кийя то дарна кья*». — «Если любишь, чего бояться» из «Великого Могола». На следующий вечер Афтаб прошел обряд инициации, был одарен зеленой дупаттой<sup>[10]</sup> и после соответствующей церемонии был признан членом сообщества хиджр. Афтаб получил имя Анджум и стал ученицей уstad Кульсум Би из Делийской гхараны, одной из семи региональных индийских гхаран, каждую из которых возглавляла найяк, глава, подчинявшаяся верховной главе.

Джаханара-бегум с тех пор ни разу не переступила порог Кхвабгаха, но много лет ежедневно посылала туда горячую еду. Единственным местом, где Джаханара-бегум время от времени виделась с Анджум, стала дарга хазрата Сармада Шахида. Они недолго сидели друг подле друга — шестифутовая Анджум, с должной скромностью прикрывшая голову расшитой бисером дупаттой, и маленькая Джаханара-бегум, из-под черной паранджи которой выбивались начавшие сесть пряди. Иногда они, словно невзначай, брали друг друга за руки. Мулакат Али так и не смог смириться с таким положением. Сердце его было навсегда разбито. Он продолжал давать интервью, но никогда — ни публично, ни в частных беседах — ни словом не упоминал о несчастье, свалившемся на династию Чингисхана. Мулакат предпочел порвать все связи с сыном. Он никогда больше не виделся с Анджум и не говорил с ней. Иногда случайно они встречались на улице и обменивались взглядами, но никогда не здоровались. Никогда.

Прошли годы. Анджум стала самой знаменитой хиджрой Дели. Ее наперебой осаждали кинопродюсеры и неправительственные организации, а иностранные корреспонденты — в качестве профессиональной любезности — делились друг с другом номером ее телефона так же, как номерами Птичьего госпиталя или Пхулан Деви, сдавшей властям «королевы бандитов», или странной женщины, утверждавшей, что она — бегум Ауда. Эта дама жила на лесном хребте в полуразрушенном доме в окружении слуг и старинных канделябров, пребывая в твердом убеждении,

что является владычицей давно не существующего княжества. Во время интервью журналисты всячески склоняли Анджум рассказывать о насилии и жестокости, которым, как полагали ее собеседники, она подвергалась в детстве со стороны традиционного мусульманского окружения — родителей, братьев, сестер и соседей, что и заставило ее в конце концов покинуть родной дом. Журналисты всякий раз бывали разочарованы, когда Анджум принималась убеждать их, что и отец, и мать очень любили ее и что это *она* проявила жестокость по отношению к ним. «Другие рассказывают жуткие истории, такие, о которых вы обожаете писать, — говорила Анджум. — Так почему бы вам не поговорить с ними?» Но газетчики хорошо знали свое дело. Анджум была избрана. Героиней интервью должна была быть она и только она, неважно, что ради этого приходилось немного подправлять истину. Материал должен нравиться читателям.

Став полноправной обитательницей Кхвабгаха, Анджум смогла наконец облачиться в одежду, о которой мечтала всю жизнь: полупрозрачную, украшенную блестками куртку, плиссированные патиальские шальвары, шарару, гарару; смогла надеть на щиколотки и на запястья звенящие серебряные и стеклянные браслеты и вдеть в уши длинные серьги. Анджум проколола ноздрю и вставила в нее изысканную, украшенную камнями сережку, а глаза подвела сурьмой и синими тенями. Кроваво-красной помадой она придала губам соблазнительно-чувственную форму лука, как у Мадхубалы. Волосы не желали сильно отрастать, но их длины вполне хватило для того, чтобы откинуть их назад и вплести в косу из искусственных волос. У Анджум было точеное, выразительное лицо с крючковатым, отлично вылепленным, как у отца, носом. Она была не так красива, как Бомбейский Шелк, но выглядела сексуальнее и более интригующе — и это была настоящая, неподдельная женская привлекательность. Внешние данные Анджум вместе с неумемной склонностью к преувеличенной, вопиющей женственности заставили реальных, биологических женщин из ближайшей округи — даже тех, кто не носил паранджу, — выглядеть в сравнении с ней тускло и невыразительно. Она научилась ходить, призывно покачивая бедрами и общаться с другими хиджрами особыми хлопками пальцев. Эти хлопки были громкими, как пистолетные выстрелы, и могли означать все, что угодно: «Да», «Нет», «Может быть», «Вах! Бехен ка лауда» («Хер твоей сестры»), «Бхонсади ке?» («Какая жопа тебя родила?»). Только хиджра могла понять, что означал тот или иной хлопок — в зависимости от громкости, обстановки и сопутствующей мимики.

Когда Анджум исполнилось восемнадцать, Кульсум Би устроила в Кхвабгахе настоящее празднество. На день рождения собрались хиджры со всего города, а некоторые приехали даже из других мест. Впервые в жизни Анджум нарядилась в сари, красное сари в стиле диско, и чоли с оголенной спиной. Той ночью ей снилось, что она невеста, готовая возлечь на брачное ложе. Утром ее ждало страшное разочарование — проснувшись, она поняла, что ее сексуальное наслаждение разрядилось чисто мужским способом, испачкав нарядное сари. Такое случалось с ней и раньше, но по какой-то причине, может быть, из-за сари, Анджум испытала ни с чем не сравнимое унижение. Она сидела во дворе Кхвабгаха и выла как волчица, ритмично ударяя себя по голове и между ног и крича от этой добровольной боли. Ее наставница Кульсум Би, хорошо знавшая подоплеку таких представлений, дала Анджум успокаивающую таблетку и увела к себе в комнату.

Когда Анджум успокоилась и пришла в себя, Кульсум Би, вопреки своему обыкновению, очень рассудительно и трезво поговорила с ней. Она сказала, что Анджум нечего стыдиться, потому что хиджры — это избранные люди, возлюбленные Всемогущего. Слово «хиджра», объяснила своей подопечной Кульсум Би, означает: «Тело, в котором обитает Святая Душа». В течение следующего часа Анджум узнала, что у Святых Душ своя особая судьба, что мир Кхвабгаха такой же, если не более сложный, чем Дуния остальных людей. Индуски Бульбуль и Гудия подверглись официальной (и очень болезненной) кастрации в Бомбее до того, как оказаться в Кхвабгахе. Бомбейский Шелк и Хира с радостью сделали бы то же самое, но они были мусульманки и верили, что ислам воспрещает им менять данный Богом пол, так что они выходили из положения, как могли. Крошка, как и Разия, была мужчиной и хотела им остаться, но быть женщиной во всех иных отношениях. Что же касается самой Кульсум Би, то она не соглашалась с Бомбейским Шелком и Хирой — они, по ее мнению, неверно понимали требования ислама. И она, наставница, и Ниммо Горакхпури — принадлежавшая уже новому поколению мусульманок, сделали себе операции по смене пола. Устад знала некоего доктора Мухтара, надежного и неболтливого врача, который не рассказывал о своих пациентах на каждом перекрестке Старого Дели. Кульсум Би посоветовала Анджум подумать и решить, чего она хочет. На это Анджум потребовалось три минуты.

Доктор Мухтар был уверен в себе и умел вселять в пациентов бодрость лучше, чем доктор Наби. Он сказал, что сможет удалить мужские органы и попытается увеличить влагалище. Он также предложил попить таблетки, от

которых голос станет выше и начнет расти грудь. Кульсум настаивала на скидке, и доктор Мухтар согласился. Кульсум Би заплатила за операцию и гормональные таблетки, и Анджум расплачивалась с ней в течение многих лет в несколько приемов.

Операция была трудной, послеоперационный период был не легче, но в конце всех испытаний Анджум почувствовала невероятное облегчение. Пелена тумана, застилавшая ум, рассеялась, и Анджум обрела незнакомую ей прежде ясность мысли. Однако влагалище доктора Мухтара оказалось сплошным жульничеством. Нет, оно годилось для дела, но совсем не так, как обещал врач. Ничего не изменилось даже после двух повторных операций. Тем не менее доктор Мухтар не стал возвращать деньги — ни все, ни их часть. Напротив, он продолжил безбедно жить, продавая невежественным пациентам непригодные протезы таких важных частей тела. Мухтар умер очень состоятельным человеком, оставив по большому дому в Лакшми-Нагаре каждому из своих сыновей, а дочь его удачно вышла замуж за процветающего строительного подрядчика из Рампура.

Анджум благодаря всем этим операциям стала самой желанной любовницей в городе, самой умелой дарительницей наслаждения, но оргазм, который она испытала в тот день, когда на ней было красное сари в стиле диско, оказался последним в ее жизни. Несмотря на то что «тенденции», о которых предупреждал ее отца доктор Наби, остались, таблетки доктора Мухтара действительно сделали голос Анджум выше. Но исчез и звонкий резонанс, голос стал хриплым и каким-то шершавым. Со стороны могло показаться, что у Анджум стало два голоса, которые едва уживались в одном горле. Это противоречие пугало посторонних людей, но не доставляло никаких неудобств самой Анджум, как это делал голос, данный ей Богом. Впрочем, нельзя сказать, что новый голос ей нравился.

Анджум прожила в Кхвабгахе со своим разрезанным и залатанным телом и частично реализованной мечтой больше тридцати лет.

Ей было сорок шесть, когда она объявила о своем желании покинуть Кхвабгах. К тому времени Мулакат Али уже умер, а Джаханара-бегум большую часть времени была прикована к постели и жила с Сакибом и его семьей в их половине старого дома в Читли-Кабаре. (Вторую половину снимал странный, застенчивый молодой человек. Его комнаты были завалены стопками купленных у букиниста английских книг. Они лежали на полу, на кровати, на столах и на всех горизонтальных поверхностях.) Анджум изредка навещалась к родным, но никто не звал ее остаться жить. Кхвабгах между тем стал прибежищем для нового поколения обитательниц; из старых жильцов остались только уstad Кульсум Би,

Бомбейский Шелк, Разия, Басмала и Мэри.  
Анджум было некуда идти.

\* \* \*

Возможно, по этой причине никто не воспринимал ее всерьез.

Театральные заявления об уходе и угрозы самоубийством были привычным явлением в обстановке нескончаемой ревности, вечных интриг и смены любовников, каковые были неотъемлемой частью жизни Кхвабгаха. И вновь все наперебой предлагали докторов и таблетки. Ей говорили, что таблетки доктора Бхагата лечат всё и у всех. «Я — не все», — заявила Анджум, и это породило новую волну пересудов: куда может завести гордыня и что она вообще о себе воображает?

Но что она — в действительности — о себе воображала? Не так уж много или, наоборот, чересчур много — все зависело от того, с какой стороны на это дело взглянуть. Да, у нее были амбиции, но они завершили полный круг и вернулись к исходной точке. Теперь Анджум хотелось вернуться в Дунию и жить обычной человеческой жизнью. Она хотела быть матерью, одевать Зайнаб в школьную форму и провожать ее на учебу с книжками и пакетиком с завтраком. Вопрос заключался в том, были ли эти амбиции адекватными для такого человека, как Анджум.

Зайнаб была единственной любовью Анджум. Анджум нашла девочку три года назад в один из тех ветреных дней, когда буря срывает шапочки с голов правоверных на молитве, а связанные в гроздь воздушные шарики клонятся к земле, туго натягивая шнурки. Одинокая, похожая на серенького мышонка девочка во все горло редела на ступенях Джама-Масджид. Анджум поразили ее огромные испуганные глаза. На вид девочке — так во всяком случае показалось Анджум — было годика три. На ней были тускло-зеленый шальвар-камиз и грязный белый хиджаб. Когда Анджум наклонилась к ней и протянула палец, та, не переставая плакать, крепко ухватилась за него. Эта Мышка-В-Хиджабе не могла, конечно, понять, какую душевную бурю вызвал этот жест доверия у обладательницы пальца, за который она теперь так доверчиво держалась. То, что крошечное создание не испугалось, проявив счастливое неведение, пробудило в душе Анджум (во всяком случае на краткое мгновение) чувство, которое Ниммо Горакхпури так давно назвала Индопаком. Анджум быстро подавила это чувство. Противоборствующие стороны утихли. Тело стало уютным домом,



а не полем битвы. Что это было — смерть или возрождение? Анджум не могла понять. Но в этот миг она обрела какую-то неведомую прежде цельность, как будто две половины ее существа сложились в нерасторжимое единство. Она наклонилась, подняла Мышку на руки и принялась ласково ее укачивать, баюкая своим раздвоенным голосом. Но и это не смогло ни напугать малышку, ни отвлечь ее от сосредоточенного рева. Анджум некоторое время стояла так, блаженно улыбаясь и держа на руках орущего ребенка. Потом она опустила девочку обратно на ступеньки, купила ей сладкую розовую вату и принялась непринужденно обсуждать с ней разные взрослые вещи, надеясь, что сейчас вот-вот отыщется кто-нибудь из родителей. Вместо разговора получился монолог. Мышка почти ничего о себе не знала, она даже не смогла сказать, как ее зовут, и Анджум показалось, что малышка была вообще не расположена к беседе. Когда она покончила с ватой (или вата покончила с ней), у девочки образовалась сладкая розовая борода, а пальцы покрылись липкой корочкой того же цвета. Рев перешел в судорожные всхлипывания, а затем и вовсе прекратился. Анджум провела несколько часов на ступенях мечети, ожидая, что за девочкой все же кто-нибудь придет, и спрашивая у прохожих, не слышали ли они о пропавшем ребенке. Вскоре на город опустились сумерки, и служители заперли массивные деревянные ворота Джама-Масджид. Анджум взгромоздила ребенка себе на плечи и отправилась с ним в Кхвабгах. Там она получила выговор. Ей сказали, что надо было поставить в известность о происшествии имама мечети, и Анджум так и поступила на следующее утро. (Очень, правда, неохотно, надеясь на чудо, потому что была к тому моменту уже безнадежно влюблена.)

В течение следующей недели муэдзины по несколько раз в день оповещали жителей с минаретов окрестных мечетей об обнаружении потерявшегося ребенка. Никто, однако, не предъявил прав на Мышку. Недели шли, но на призывы не откликнулась ни одна живая душа. Так и вышло, что Зайнаб — такое имя выбрала для найденыша Анджум — навсегда осталась в Кхвабгахе, где многочисленные матери (и если уж быть точным, то и отцы) окутали ее такой любовью, о которой любой ребенок мог только мечтать. Очень скоро девочка привыкла к своей новой жизни, а это значило, что прошлая ее жизнь была отнюдь не безоблачной. Анджум все сильнее проникалась убеждением, что Зайнаб не потеряли, а просто бросили.

Прошло всего несколько недель, и Зайнаб уже звала Анджум «мама» (наверное, потому что Анджум сама себя так назвала), а всех остальных обитательниц Кхвабгаха — «апа» (на урду это значит «тетушка»), а Мэри,

единственную христианку, Зайнаб так и стала называть «тетя Мэри». Устад Кульсум Би и Басмала стали, соответственно, «бади-нани» и «чхоти-нани» — старшей бабушкой и младшей бабушкой. Мышка впитывала любовь, как впитывает прибрежный песок воду прибоя. Очень быстро маленький заморыш превратился в щекастую юную леди со строптивым, как у бандикута<sup>[11]</sup>, характером (с этим, впрочем, ничего поделать было решительно невозможно).

Новоиспеченная мамочка с каждым днем теряла голову все больше и больше. Она была захвачена врасплох тем, казалось бы, простым фактом, что одно человеческое существо может безусловно и безоглядно любить другое человеческое существо. Поначалу, впервые столкнувшись с этим новым поприщем, Анджум выражала свою любовь чисто деловым и довольно показным способом, как ребенок, балующий своего первого котенка. Она заваливала Зайнаб ненужными игрушками и одеждой (пуховички с дутыми рукавами и пищащие ботиночки со светящимися каблучками «сделано-в-Китае»), она бесконечно купала, одевала и раздевала ребенка, умащивала кремами, причесывала и расчесывала девочке волосы, заплетала и расплетала косички, вплетая в них подходящие и неподходящие ленты, которые, свернутые в рулончики, хранились в старой жестяной коробке. Анджум кормила Зайнаб как на убой, водила ее на прогулки по окрестностям, а заметив, что девочке нравятся животные, тут же купила ей кролика, которого в первую же ночь загрыз кхвабгахский кот. Тогда Анджум купила козлика с клиновидной, как у мудреца, бородкой. Этот козлик жил во дворе и, сохраняя на физиономии абсолютно бесстрастное выражение, то и дело разбрасывал во все стороны свои блестящие какашки.

Кхвабгах за прошедшие годы стал много краше. Рухнувшую комнату отремонтировали и надстроили над ней еще один этаж, который Анджум теперь делила с Мэри. Анджум спала с Зайнаб на матрасе, положенном прямо на пол, прикрывая крошечное тельце своим могучим торсом, словно крепостной стеной. По вечерам Анджум пела Зайнаб колыбельные песенки, больше похожие на страстный шепот. Когда девочка подросла, Анджум принялась рассказывать ей очень своеобразные сказки, поначалу совершенно не подходящие для маленького ребенка. Это была не совсем удачная, хотя и искренняя попытка наверстать упущенное, утвердиться в памяти и сознании Зайнаб, открыться девочке без прикрас, чтобы слиться с ней, стать одним целым. В результате получилось, что она использовала Зайнаб в качестве своего рода причала, на который выгружала груз: свои радости и трагедии, поворотные, катартические моменты своей жизни. От

этих сказок Зайнаб мало того что плохо засыпала — ее либо мучили кошмары, либо она всю ночь лежала с открытыми глазами, дрожа от страха. Анджум и сама нередко плакала, рассказывая свои сказки. Дело кончилось тем, что Зайнаб стала панически бояться укладывания спать и всякий раз, ложась на матрас, плотно зажмурировала глаза, чтобы притвориться спящей и избежать страшного и мучительного ритуала. Со временем однако (не без мудрых советов молодых тетушек) Анджум стала подправлять сказки, редактировать их. Их смысл был успешно спрятан в недоступное для детей место, и в конце концов они так полюбились Зайнаб, что девочка стала с нетерпением ждать вечера, чтобы послушать какую-нибудь из волнующих историй.

Самой любимой стала «Сказка об эстакаде» — история о том, как однажды Анджум с подружками поздно вечером возвращалась из Дефенс-Колони в Южном Дели домой, к Туркменским воротам. Их было пять или шесть нарядно одетых девушек, заведенных приятной пирушкой в одном богатом доме, находившемся в квартале D. После вечеринки они решили прогуляться по свежему воздуху. Тогда еще в городе иногда был свежий воздух, как сказала Анджум Зайнаб. Когда они были на середине эстакады, ведущей от Дефенс-Колони — а это была тогда единственная эстакада в Дели, вдруг пошел сильный дождь. Но что может сделать человек, если дождь застиг его на середине эстакады?

— Он должен идти дальше, — обычно произносила Зайнаб рассудительным тоном взрослого человека.

— Совершенно верно. Вот мы и пошли дальше как ни в чем не бывало, — говорила Анджум. — И что случилось потом?

— Тебе захотелось пописать!

— Да, мне захотелось пописать!

— Но ты не могла остановиться!

— Да, я не могла остановиться.

— Тебе надо было идти дальше!

— Да, я должна была идти дальше.

— И мы пописали в *гхагру*! — восторженно восклицала в этом месте Зайнаб, потому что была в таком возрасте, когда самое главное, а иногда и *единственное*, что по-настоящему занимает ребенка, так или иначе связано с писаньем, каканьем и пуканьем.

— Да, и это было самое приятное ощущение на свете, — говорила Анджум, — промокнуть под дождем на той огромной и пустынной эстакаде и идти мимо гигантского рекламного щита, на котором какая-то мокрая женщина вытиралась бомбейским махровым полотенцем.

— А полотенце было большим, как ковер!  
— Да, большим, как ковер.  
— А потом ты спросила ту женщину, не одолжит ли она тебе полотенце, чтобы вытереться.  
— Да, и что ответила женщина?  
— Она сказала: «Нахин! Нахин! Нахин!»<sup>[12]</sup>  
— Да, она сказала: «Нахин! Нахин! Нахин!» Ну, вот мы промокли и шли дальше...  
— И *гарам-гарам* (теплые-теплые) писи текли по вашим *тханда-тханда* (холодным) ножкам!

В этот момент Зайнаб неизменно засыпала с улыбкой на довольном личике. Теперь в историях Анджум отсутствовали даже намеки на несчастья и страдания. Зайнаб очень нравилось, когда Анджум преображалась в сексуальную сирену, одетую в сверкающие наряды танцовщицу с блестящими, накрашенными ногтями, окруженную толпой поклонников.

Вот так, только для того чтобы угодить Зайнаб, Анджум принялась переписывать историю своей жизни, приукрашивая ее и делая счастливее. Это переписывание и в самом деле превратило Анджум в простую, счастливую личность.

Анджум многое выпустила из истории об эстакаде. Например, она умолчала о том факте, что все это происходило в 1976 году, в разгар объявленного Индирой Ганди чрезвычайного положения, которое продлилось двадцать один месяц. Избалованный младший сынок Индиры, Санджай Ганди, глава молодежного крыла Индийского национального конгресса (правившей тогда партии) и фактический руководитель государства, пользовался режимом ЧП, как своей любимой игрушкой. Гражданские права были отменены, газеты подвергались строжайшей цензуре, а во имя сокращения народонаселения тысячи людей (преимущественно мусульман) были согнаны в особые лагеря и насильно стерилизованы. Новый закон — о поддержании внутреннего порядка — позволял правительству арестовать любого человека на самых смехотворных основаниях. Тюрьмы были переполнены, а небольшая группка прихлебателей Санджая Ганди получила полную свободу безнаказанно исполнять все его чудовищные декреты.

В тот вечер праздник — свадьба, куда были приглашены Анджум и ее подруги, был прерван появлением полиции. Хозяин и три его гостя были арестованы и увезены на полицейских машинах без объяснения причин. Ариф, водитель фургона, привезший Анджум и компанию на празднество,

попытался усадить пассажиров в машину и увезти прочь. За это своеволие ему сломали левую кисть и раздробили правую коленную чашечку. Женщин вытащили из машины и, пиная по задницам, как цирковых клоунов, велели убираться подобру-поздорову, пока их не арестовали за проституцию и непристойное поведение. В слепом страхе они, словно призраки, бежали в темноте под проливным дождем. Косметика текла по их лицам быстрее, чем они успевали переставлять ноги; промокшие полупрозрачные платья липли к телу и мешали бежать. Да, это было всего лишь унижение хиджр, ничего особенного, ибо такое отношение было тогда в порядке вещей — ерунда по сравнению с тем, что приходилось переживать другим в те жуткие месяцы.

Это было ничто, но в этом было что-то злое.

Однако, несмотря на облагораживающую правку, в истории об эстакаде было и зерно истины. Например, в ту ночь действительно шел дождь. Анджум на самом деле описалась на бегу. Над эстакадой действительно высилась реклама пестрых бомбейских полотенец. И женщина из рекламы действительно наотрез отказалась поделиться с Анджум полотенцем.

\* \* \*

За год до того, как Зайнаб предстояло пойти в школу, ее мамочка уже начала готовиться к этому событию. Она навестила родной дом и с согласия брата Сакиба унесла в Кхвабгах собрание книг Мулаката Али. Теперь ее часто видели сидящей с книгой (отнюдь не Священным Кораном) на скрещенных ногах. Анджум шевелила губами и сосредоточенно водила пальцем по строчкам. Часто она закрывала глаза и принималась раскачиваться взад и вперед, словно усваивая прочитанное или роясь в трясине памяти и стараясь извлечь оттуда прежние знания.

Когда Зайнаб исполнилось пять, Анджум отвела ее к уstadу Хамиду, чтобы тот научил ее петь. С самого начала было понятно, что музыка не прельщает Зайнаб. На уроках она нервно ерзала на скамейке и так самозабвенно фальшивила, что, казалось, сама эта фальшь требовала от нее незаурядного мастерства. Терпеливый и добросердечный уstad Хамид только горестно качал головой, словно ему досаждала жужжащая муха, полоскал рот теплым чаем и снова напевал гармоничные ключи, что означало требование повторить ноту. В тех редких случаях, когда Зайнаб

удавалось хотя бы на терцию приблизиться к истинному звучанию ноты, Хамид бывал просто счастлив и говорил: «That's my boy!» Эту фразу он позаимствовал из своего любимого мультфильма «Том и Джерри», серии которого он самозабвенно смотрел вместе со своими внуками, учившимися в английской средней школе. Это была высшая форма похвалы, независимо от пола ученика. Он хвалил Зайнаб не потому, что она этого заслуживала, но лишь ради Анджум и воспоминаний о том, как она (или он — когда Анджум еще звали Афтабом) прекрасно пела. Анджум всегда присутствовала на уроках — от начала и до конца. Теперь она, правда, не пела, а лишь уговаривала Зайнаб не фальшивить. Но все было бесполезно. Бандикуты не умеют петь.

Настоящей страстью Зайнаб, как оказалось, были животные. Девочка была настоящей грозой улиц Старого города. Она страстно желала освободить всех облысевших и заморенных цыплят, теснившихся в грязных клетках, стоявших на крышах почти всех мясных лавок. Она заговаривала с каждым котом, перебежавшим ей дорогу, и таскала домой всех обнаруженных ею брошенных, окровавленных щенков, жалобно скуливших в сточных канавах. Зайнаб не слушала, когда ей говорили, что собаки — нечистые для мусульман животные и к ним нельзя прикасаться. Мало того, Зайнаб не бежала в страхе даже от огромных, покрытых грязной щетиной крыс, во множестве бегавших по улицам, по которым ей приходилось ходить. Казалось, что Зайнаб никогда не привыкнет к виду связок желтых куриных лапок, отрубленных бараньих ног, пирамид бараньих голов, пучивших на прохожих свои мертвые синие глаза, и жемчужно-белых бараньих мозгов, дрожавших, словно желе, в стальных чашках.

В дополнение к барану, который только благодаря Зайнаб поставил рекорд, пережив три Курбан-байрама, Анджум подарила дочке красивого петуха, который беспощадно клевал свою юную хозяйку за неумеренные проявления пылкой любви. Зайнаб громко плакала, но не от боли, а от обиды. Задиристость петуха охлаждала пыл Зайнаб, но ни на йоту не уменьшила ее привязанность к птице. Каждый раз, когда девочкой овладевал очередной приступ любви к петуху, она обвивала ручками ноги Анджум и целовала мамочкины колени, с тоской и любовью глядя на петушка в промежутках между страстными поцелуями, так что было ясно, кто настоящий предмет столь пылкого обожания и кому предназначаются поцелуи. Каким-то образом безумное обожание, какое Анджум испытывала к Зайнаб, преобразилось в слепую любовь, какую сама Зайнаб питала к животным. Нежность к животным, однако, не мешала Зайнаб с



удовольствием поедать их мясо. Не реже двух раз в год Анджум возила Зайнаб в зоопарк, в крепость Пурана-Кила, Старый форт, чтобы девочка посмотрела на носорогов, гиппопотамов и своего любимца — детеныша гиббона с Борнео.

Через несколько месяцев после того, как Зайнаб стала посещать подготовительный класс начальной школы — ее официальными родителями числились Сакиб и его жена, — здоровье обычно крепенького Бандикута пошатнулось; девочка стала часто болеть, причем каждая болезнь делала ее более восприимчивой к следующим. Перед малярией был грипп, а перед гриппом две вирусные инфекции — одна легкая, а вторая — довольно неприятная. Анджум не отходила от дочки, пытаясь хоть как-то помочь ей и не обращая внимания на упреки в том, что она совершенно забросила свои обязанности в Кхвабгахе (теперь по большей части хозяйственные и административные). Она день и ночь нянчила своего Бандикута и все больше проникалась скрытой, но растущей паранойей. Она была убеждена, что на девочку навела порчу какая-то злодейка, завидовавшая ее (Анджум) счастью. Острые подозрений было, без малейших сомнений, направлено на Саиду, относительно новую обитательницу Кхвабгаха. Саида была намного моложе Анджум, и Зайнаб любила ее не сильно меньше, чем свою маму Анджум. Саида окончила университет и знала английский. Что еще важнее, она владела и современным языком — она свободно пользовалась такими терминами, как «цисгендерный мужчина», «Ж@М транссексуал» и «М@Ж транссексуал», а в интервью называла себя трансгендером. Анджум высмеивала Саиду за ее «транс-шванс» и упрямо продолжала называть себя хиджрой.

Подобно многим представительницам молодого поколения, Саида в подходящих случаях легко меняла камиз и шальвары на западную одежду — джинсы, юбки, блузки, открывавшие стройную мускулистую спину. То, чего ей недоставало в плане местной специфики и старомодного очарования, Саида с лихвой компенсировала современным умом, знанием законов и участием в движении за равные гендерные права (она даже выступала на двух международных конференциях). Все это позволяло Саиде играть в более высокой лиге. Недаром Саида смогла потеснить Анджум и в СМИ. Теперь звездой первой величины была она, а не ее старшая соперница. Иностранные газеты пожертвовали старой экзотикой в пользу нового поколения. Экзотика не соответствовала имиджу новой Индии — ядерной державы и привлекательного места для инвестиций мировых финансов. Устад Кульсум Би, прожженная старая волчица, была готова к этому ветру перемен и видела, какие выгоды сможет извлечь для

себя Кхвабгах. Таким образом, Саида, хоть она и не обладала правом старшей, была самым реальным соперником Анджум за наследство Кульсум, которая, правда, подобно английской королеве, передавать никому бразды правления не спешила.

Наставница Кульсум Би до сих пор принимала все важные решения в Кхвабгахе, но повседневными делами уже не занималась. По утрам, когда ее мучил артрит, она возлежала во дворе на чарпае и грелась на солнышке, услаждая себя соком лайма и ломтиками манго. Рядом лежала газета с рассыпанной по ней пшеничной мукой — чтобы очистить ее от долгоносиков. Когда солнце поднималось выше и становилось жарко, Кульсум Би уносили в дом, где массировали ступни, а морщины смазывали горчиным маслом. Одевалась она теперь как мужчина: в длинную желтую курту — желтую, так как была последовательницей хазрата Низамуддина Аулия, — и клетчатый саронг. Редущие седые волосы были собраны в пучок и заколоты на макушке. В определенные дни приезжал ее старый друг Хаджи Миан, продавец сигарет и бетеля, и привозил аудиокассету с песнями из их любимого фильма «Великий Могол». Они оба знали наизусть все песни и диалоги кинокартины. Прослушивая запись, они пели и повторяли слова героев. Друзья были свято убеждены, что никто и никогда уже не будет так красиво писать на урду и что ни у кого не будет такой дикции и такого произношения, как у несравненного Дилипа Кумара. Иногда устад Кульсум Би исполняла роль падишаха Акбара и его сына принца Салима, героев фильма, а Хаджи Миан играл Анаркали (Мадхубалу), рабыню принца Салима, которую он верно любил. Временами друзья менялись ролями. Эти совместные представления были для них не чем иным, как поминками по былой славе умирающего языка.

Однажды вечером Анджум сидела у себя наверху и прикладывала холодные компрессы к пылающему лбу Бандикута, когда вдруг услышала внизу, во дворе, какое-то движение: послышались возбужденные голоса, топот множества ног и крики. Первой ринула мысль о пожаре. Такое случалось часто — оголенные электрические провода, свисавшие со столбов на улицах, соприкасались и вспыхивали жаркими искрами. Подхватив на руки Зайнаб, Анджум торопливо спустилась по лестнице во двор. Все обитатели Кхвабгаха теснились перед мерцающим экраном телевизора в комнате устада Кульсум Би. Пассажирский самолет на экране врезался в высокое здание. Искореженный нос лайнера торчал из середины здания, как уродливая сломанная игрушка. Через несколько мгновений в такое же здание рядом врезался другой самолет и пролетел насквозь, превратившись в огненный шар. Обычно говориливые обитательницы

Кхвабгаха буквально немели, глядя, как огромные, высокие дома рушатся, словно песчаные постройки. До самого горизонта все оказалось заволочено дымом и белой пылью. Но американская пыль выглядела не так, как индийская: даже она выглядела чистой и чужой. Из окон вываливались крошечные человеческие фигурки и летели вниз, как хлопья сажи.

Комментатор кричал, что это не фильм ужасов, что все это происходит на самом деле. В Америке, в городе, который называется Нью-Йорк.

Самое долгое молчание в истории Кхвабгаха было нарушено животрепещущим вопросом.

— Они там говорят на урду? — вслух поинтересовалась Басмала.

Никто ей не ответил.

Потрясение, воцарившееся в комнате, передалось и Зайнаб, которая, очнувшись от своего бреда, тут же впала в другой. Она не знала, что по телевизору можно по несколько раз проигрывать кадры, и насчитала десять самолетов, врезавшихся в десять зданий.

— Altogether ten<sup>[13]</sup>, — торжественно произнесла она на своем новоприобретенном школьном английском и снова уткнулась пухлой горячей щечкой в уютную ложбинку на шее Анджум.

Ведьма, причинявшая страдание Зайнаб, заставила теперь содрогнуться весь мир. Это была настоящая *сифли джааду*, черная магия. Анджум украдкой бросила взгляд на Саиду, чтобы проверить, радуется ли та нагло своему успеху или притворяется невинной. Но коварная сука сделала вид, что потрясена так же, как и все остальные.

В декабре Старый Дели наводнили афганские семьи, бежавшие от самолетов, которые жужжали в их родном небе, как туча комаров, и стальным дождем бомб засыпали города и деревни. Конечно, у больших политиков (а в Старом Дели политиком был каждый лавочник и маулана) сразу возникли свои теории на этот счет. Что касается остальных, то никто не мог понять, какое отношение могут иметь эти несчастные люди к обрушению высоких башен в Америке. Да и как они могли знать? Кто мог — кроме Анджум — реально знать, что вдохновителем этой катастрофы был не террорист Усама бен Ладен, не президент США Джордж Буш-младший, а куда более мощная, но скрытая сила — Саида (урожденная Гуль Мохаммед), проживающая по адресу: Кхвабгах, квартал Гали-Дакотан, Дели — 110006, Индия.

Для того чтобы лучше разобраться в политике Дунии, в которой предстояло жить Бандикуту, и для того чтобы обезвредить, а еще лучше предвосхищать чернокнижные козни образованной Саиды, мамочка начала

внимательно читать газеты и смотреть телевизионные новости (когда остальные обитательницы Кхвабгаха уставали от мыльных опер).

Многие в Индии воодушевленно рукоплескали самолетам, врезавшимся в американские башни-близнецы. Поэт-премьер-министр<sup>[14]</sup> страны и несколько его главных министров были членами старой Организации<sup>[15]</sup>, которая считала Индию индуистской страной, и поэтому — подобно тому как Пакистан провозгласил себя исламской республикой — Индия должна была провозгласить себя республикой индуистской. Некоторые сторонники и идеологи организации открыто восхищались Гитлером и сравнивали мусульман Индии с евреями Германии. Теперь, когда стала нарастать враждебность к мусульманам, членам Организации стало казаться, что весь мир перешел на ее сторону. Поэт-премьер-министр произнес проникновенную и впечатляющую речь, если не считать долгих пауз, в течение которых он то и дело терял нить. Премьер был старик, но имел юношеское обыкновение встряхивать головой в подтверждение своим словам, словно кинозвезды бомбейской киностудии в фильмах шестидесятых. «Муслим, он не любит Другого, — поэтично говорил премьер на хинди, а затем надолго — слишком надолго даже по его меркам — умолкал. — Он веру разносит террором». Это двустишие он сделал рефреном всех своих выступлений. Каждый раз, когда он произносил «муслим» или «мусульманин», легкая шепелявость его речи воспринималась как лепет милого ребенка. Правда, по своим политическим взглядам он мог, пожалуй, даже считаться умеренным. Он предостерегал: то, что произошло в Америке, может легко произойти и в Индии, и что правительство должно принять — для предупреждения катастрофы — новый антитеррористический закон. Газеты на урду были полны статей о мусульманских юношах, убитых в столкновениях, которые полиция называла «перестрелками», или схваченных на месте преступления за подготовкой терактов. Был действительно принят новый закон, позволявший без суда месяцами держать подозреваемых в тюрьме. Очень скоро тюрьмы оказались забиты молодыми мусульманами. Анджум благодарила Аллаха за то, что Зайнаб — девочка. Это было безопаснее.

С наступлением зимы у Бандикута начался глубокий грудной кашель. Анджум поила ее с ложечки молоком с куркумой и не спала ночами, прислушиваясь к хриплому, свистящему дыханию девочки и сходя с ума от бессилия. Анджум пошла в даргу хазрата Низамуддина Аулии и поговорила с одним не слишком корыстным, давно знакомым ей кадимом, рассказала о

болезни Зайнаб и спросила, как положить конец козням Саиды, как покончить с ее *сифли джааду*. Дело пошло вразнос, заявила Анджум кадиму, и дело не только в болезни Зайнаб, нет, нет, все куда серьезнее, и только она, Анджум, знает, в чем дело, и поэтому несет ответственность за последствия. Она готова на все, чтобы сделать то, что надо сделать. Она, сказала Анджум, готова заплатить любую цену и, если надо, пойдет ради этого на виселицу. Саиду надо остановить, и Анджум пришла сюда, чтобы заручиться благословением кадима. Анджум вошла в театральный раж, на нее стали оглядываться, и кадиму пришлось приложить немало усилий, чтобы ее успокоить. Он спросил Анджум, посещала ли она даргу хазрата Гариба Наваза в Аджмере с тех пор, как в ее жизни появилась Зайнаб. Когда же Анджум ответила, прикрываясь разными причинами, что не смогла пока этого сделать, кадим сурово отчитал ее, сказав, что проблема именно в этом, а не в черной магии. Он отругал Анджум за веру в колдовство, обвинил в поклонении вуду, напомнив, что для таких случаев и существует ее защитник хазрат Гариб Наваз. Ему не удалось окончательно убедить Анджум, но она согласилась, что то, что она три года не посещала Аджмер-Шариф, было серьезной ошибкой.

Только в конце февраля Зайнаб оправилась настолько, что Анджум решила, что сможет оставить ее на несколько дней. Закир Миан, владелец и директор магазина цветов, согласился поехать вместе с Анджум. Закир Миан был другом Мулаката Али и знал Анджум с рождения. Ему было уже далеко за семьдесят, и он был слишком стар для того, чтобы смущаться общества хиджры. Магазин Закира Миана, собственно говоря, представлял собой невысокую цементную платформу площадью не более одного квадратного метра, ютившуюся под балконом родного дома Анджум, на углу между Читли-Кабаром и Матия-Махал-Чоком. Эту платформу Закир Миан арендовал сначала у Мулаката Али, а теперь у Сакиба. Торговал он цветами уже пятьдесят лет. Сидя на подстилке из мешковины, он целыми днями мастерил гирлянды из красных роз и (отдельно) из новеньких банкнот, которые он сворачивал в трубочки или складывал в крошечных птичек — для невест, вплетавших их в венки на день свадьбы. Главной заботой Закира Миана всегда была необходимость поддерживать розы свежими и влажными, а банкноты хрустящими и сухими на ограниченном пространстве его магазина. Закир Миан сказал, что ему надо съездить в Аджмер, а потом в Ахмедабад в Гуджарате, где у него было какое-то дело с семьей его жены. Анджум была готова ехать с Закиром в Ахмедабад — лишь бы не подвергаться риску быть оскорбленной или униженной (как от избыточного внимания, так и от пренебрежения), что было бы неизбежно,

случись ей возвращаться из Аджмера одной. Закир Миан, со своей стороны, был уже стар и немощен, и он был рад, что Анджум поможет ему с багажом. В Ахмедабаде Закир Миан намеревался посетить гробницу Вали Дакхани, писавшего на урду поэта семнадцатого века, прозванного поэтом любви, которого безумно любил Мулакат Али, тоже искавший его благословения. Они составляли план путешествия, смеясь и повторяя любимое двустишие Мулаката Али:

Джисей исхк ка тиир каари лаге  
Усей зиндаги киуун на бхари лаге

Кого сразил лук ангела любви,  
Придавит горесть бытия, увы.

Через несколько дней они сели в поезд. В Аджмер-Шарифе они провели два дня. Анджум протолкалась сквозь толпу паломников и купила за тысячу рупий зеленый с золотом чадар<sup>[16]</sup>, чтобы пожертвовать его хазрату Гарибу Навазу от имени Зайнаб. Каждый день Анджум звонила по таксофону в Кхвабгах. На третий день, переживая за Зайнаб, она позвонила с вокзала, прежде чем сесть в экспресс «Гариб Наваз», идущий в Ахмедабад. После этого ни от Анджум, ни от Закира Миана не было никаких вестей. Его сын позвонил родственникам матери в Ахмедабад, но к телефону никто не подошел.

\* \* \*

Вестей от Анджум не было, но новости из Гуджарата были ужасны. Железнодорожный вагон был подожжен какими-то преступниками, которых газеты называли «выродками». Шестьдесят паломников-индусов сгорели в огне заживо. Паломники возвращались домой из Айодхьи, куда они отвезли церемониальные кирпичи, предназначенные для фундамента большого индуистского храма, который предстояло возвести на месте старой мечети. Мечеть, Бабри-Масджид, была снесена десять лет назад бушующей, разъяренной толпой. Главный министр Гуджарата (бывший тогда в оппозиции и наблюдавший, как вопящая толпа разрушала мечеть),

заявил, что поджог вагона — это, скорее всего, дело рук пакистанских террористов. Полиция, согласно новому закону, арестовала сотни мусульман — все они, с точки зрения полиции, были пособниками пакистанцев, живших в районе железнодорожного вокзала, — и бросила их в тюрьмы. Главный министр Гуджарата, лояльный член Организации (так же как министр внутренних дел и премьер-министр), готовился в это время к переизбранию. Он появился на телевидении в шафрановой куртке и с пятном киновари на лбу, и, глядя на зрителей холодными мертвыми глазами, объявил, что тела сожженных индусских паломников будут доставлены в Ахмедабад, столицу штата, где их выставят на всеобщее обозрение для публичного оплакивания. Пронырливое «неофициальное» лицо неофициально же объявило, что каждое подобное действие вызовет равное по силе противодействие. Конечно же, это лицо не признавало Ньютона, потому что в душливом климате страны официально считалось, что всю науку изобрели древние индусы.

Противодействие, если это можно так назвать, не было ни равным по силе, ни противоположно направленным. Убийства продолжались несколько недель, и не только в городах. Толпы фанатиков были вооружены мечами и трезубцами, а головы их были обмотаны шафрановыми головными повязками. На руках у активистов были адреса мусульманских домов, учреждений и лавок. Толпы орудовали газовыми баллонами (этим объяснялось их отсутствие в магазинах). Если раненых доставляли в госпитали, то толпа штурмовала госпитали. Полиция даже не регистрировала убийства. Чины полиции вполне резонно утверждали, что для регистрации им надо видеть трупы. Самое отвратительное заключалось в том, что полицейские часто были частью толпы, а когда толпа кончала свое дело, трупы было уже невозможно опознать — они даже не были похожи на трупы. Никто не стал возражать, когда Саида (которая любила Анджум, не ведая о ее мрачных подозрениях) предложила выключить мыльные оперы и включить новостной канал в призрачной надежде, что, может быть, им удастся хоть что-нибудь узнать о судьбе Анджум и Закира Миана. Когда возбужденные корреспонденты, крича, вели свои репортажи из лагеря беженцев, где теперь жили тысячи изгнанных из Гуджарата мусульман, в Кхwabгахе выключали звук и вглядывались в фон, надеясь увидеть Анджум и Закира Миана, стоящих в очереди за едой и одеялами или жмущихся друг к другу в палатке. По слухам, обитательницы Кхwabгаха знали, что гробницу Вали Дакхани разрушили до основания и через это место проложили асфальтированную дорогу, стерев всякое воспоминание о том, что его могила когда-то существовала. (Ни полиция,



ни толпы, ни главный министр ничего не могли поделать с тем, что люди продолжали возлагать цветы на середине дороги, в том месте, где прежде была гробница. Проезжавшие автомобили превращали цветы в кашу, но на ее месте появлялись новые цветы, и кто смог бы хоть что-то сделать со связью между раздавленными цветами и поэзией?) Саида обзвонила всех своих знакомых журналистов и членов неправительственных организаций, прося их о помощи, но никто не был в силах помочь. Недели шли за неделями, но никаких вестей не было. Зайнаб окончательно поправилась и снова пошла в школу, но, вернувшись домой, постоянно капризничала и ни на шаг не отходила от Саиды.

\* \* \*

Два месяца спустя, когда убийства стали спорадическими, а обстановка более или менее нормализовалась, старший сын Закира Миана Мансур в третий раз поехал в Ахмедабад на поиски отца. Из предосторожности он сбрил бороду и надел на запястья цветные нити, надеясь сойти за индуса. Он не нашел отца, хотя и узнал, что с ним произошло. Расспросы привели его в маленький лагерь беженцев в мечети на окраине Ахмедабада, где он, в мужской половине, нашел Анджум и привез ее в Кхвабгах.

Анджум коротко остригла волосы. То, что осталось на голове, напоминало шлем с отверстиями для ушей. Одетая Анджум была, как молодой клерк, в темно-коричневые хлопчатобумажные брюки и клетчатую рубашку с коротким рукавом. Анджум сильно исхудала.

Зайнаб, хотя сперва и испугалась мужского обличья Анджум, все же поборола страх, раскинула ручки и бросилась в ее объятия, вереща от восторга. Анджум прижала ее к груди, но на слезы, вопросы и объятия обитательниц Кхвабгаха отвечала очень сдержанно и бесстрастно, словно приветствия были для нее тяжким, но неизбежным испытанием, которое надо было как-то пережить. Подруги были обижены и немного испуганы, но все же не скупилась на сочувствие и заботу.

Анджум, как только смогла, поднялась к себе. Она вышла оттуда через несколько часов в своем прежнем облике — в женском платье, с помадой на губах и заколкой в волосах. Очень скоро стало понятно, что она просто не желала говорить о том, что произошло. Она не стала отвечать на вопросы о Закире Миане. Единственное, что она ответила: «Такова была

Божья воля».

В отсутствие Анджум Зайнаб спала внизу с Саидой. Теперь она вернулась к Анджум, но та заметила, что девочка начала называть мамой и Саиду.

— Если она мама, то кто же тогда я? — спросила Анджум у Зайнаб несколько дней спустя. — Ни у кого не бывает двух мам.

— Ты — *бади*-мама, — ответила Зайнаб. — Большая мама.

Устад Кульсум Би строго-настрого приказала всем оставить Анджум в покое и позволить ей делать все, что она захочет, и так долго, как ей будет угодно.

Анджум и в самом деле хотела только одного — чтобы ее оставили в покое.

Она стала тихой, незаметной и проводила большую часть времени за книгами. За неделю она научила Зайнаб петь какую-то песенку, которую в Кхвабгахе не понял никто. Анджум сказала, что это санскритский гимн, мантра гуджарати. Она выучила ее в лагере для беженцев. Люди в лагере сказали, что очень полезно знать этот напев, чтобы пропеть его в толпе — так можно было сойти за индуса. Ни Зайнаб, ни Анджум не имели ни малейшего представления о содержании мантры, но девочка быстро выучила слова и мелодию и радостно напевала мантру раз по двадцать в день, собираясь в школу, складывая в стол книги и кормя козла:

Ом бхур бхувах сваха  
Тат савитур вареньям  
Бхарго девасья дхимахи  
Дхийо йо нах прагодаят

Однажды утром Анджум ушла из дома, взяв с собой Зайнаб. Вернулась она с неузнаваемым Бандикутом. Волосы были коротко острижены, а сама девочка была одета как мальчик — в детский патхани, вышитую курточку и джутти, с мысками, загибающимися вверх, как нос гондолы.

— Так будет безопаснее, — объяснила Анджум. — Гуджарат может в любой день повториться и в Дели. Теперь мы будем звать ее Махди.

Всю дорогу до дома Зайнаб громко плакала, видя кур в грязных клетках и брошенных щенков в сточных канавах.

Был созван экстренный совет. Его назначили на те два часа, когда

отключали электричество, чтобы никто не жаловался, что приходится пропускать сериал. Зайнаб отправили поиграть с внуками Хассана Миана. Петушок Зайнаб тихо дремал на своей полке за телевизором. Председательствовала на совете устэд Кульсум Би, возлежавшая на кровати с подоткнутым под спину свернутым ватным одеялом. Все остальные сидели на земле. Анджум скромно стояла у входа. В беспощадном синем свете фонаря «Петромакс» лицо Кульсум Би было похоже на пересохшее речное русло, а редущие седые волосы — на отступивший ледник, с которого некогда текли полноводные потоки. По случаю мероприятия она надела новые, но плохо подогаанные зубные протезы. Говорила она театрально и властно. Казалось, что ее слова относятся к новым обитательницам Кхвабгаха, хотя на самом деле они были обращены к Анджум.

— У этого дома, у этого владения есть своя непрерывная история, такая же древняя, как история нашего разрушенного города. Эти обшарпанные стены, этот протекающий потолок, этот залитый солнцем двор — все это было когда-то прекрасным. На полах лежали ковры, привезенные из Исфахана, потолки были отделаны зеркалами. Когда шахиншах Шах-Джахан построил Красный форт и Джама-Масджид, когда он воздвиг этот окруженный стенами город, он построил и этот каменный дом. Дом для нас. Всегда помните, что мы — не какие-нибудь хиджры, взявшиеся неизвестно откуда. Мы — хиджры Шахджаханабада. Наши властители настолько полагались на нас, что поручали нашему попечительству своих жен и матерей. Когда-то мы были желанными гостями в частных апартаментах Красного форта. Все они исчезли, растворились в небытии — могущественные императоры и их супруги. Но мы до сих пор здесь. Подумайте об этом и спросите себя: почему так должно быть?

Красный форт всегда играл выдающуюся роль в рассказах устэд Кульсум Би об истории Кхвабгаха. Когда-то, в прежние дни, когда Кульсум Би была еще крепка телом, выход в форт на представление «Звук и свет» был непременной частью инициации новых обитательниц Кхвабгаха. Они шли в форт группой, облаченные в свои лучшие одежды, с цветами, вплетенными в волосы, взявшись за руки и рискуя здоровьем и жизнью в водовороте Чандни-Чуок, на которой царило дикое смешение машин, автобусов, рикш и извозчиков. Все это двигалось с черепашьей скоростью, но умудрялось сталкиваться и калечить друг друга.

Форт нависал над Старым гордом, как массивное, гигантское песчаниковое плато. Форт был такой органичной частью горизонта, что

жители перестали его замечать. Если бы не настояния устэд Кульсум Би, то, наверное, никто из обитательниц Кхвабгаха не стал бы совершать этот утомительный поход, даже Анджум, которая родилась и выросла в тени форта. Когда они пересекали крепостной ров — вонючую яму, кишевшую комарами и заваленную отбросами — и входили в величественные ворота, город перестал существовать, словно его никогда и не было. Мартышки с крошечными безумными глазками скакали вверх и вниз по мощным песчаниковым валам, возведенным с таким изяществом, какое не могло бы даже присниться современным архитекторам. Внутри форта был другой мир, другое время, другой воздух (пропитанный марихуаной) и другое небо — не узкая, ограниченная улицами полоса, едва видимая за пучками спутанных электрических проводов, а бескрайний синий простор, в котором, подрагивая в мареве, плыли воздушные змеи, поддерживаемые восходящими потоками горячего воздуха.

Представление «Звук и свет» было одобрено старым правительством версией (новое правительство пока не успело дотянуться до этого праздника) истории Красного форта и императоров, правивших отсюда более двухсот лет — от Шах-Джахана, построившего форт, и до Бахадура Шах-Зафара, последнего могола, отправленного британцами в изгнание после неудачного восстания 1857 года. Устэд Кульсум Би знала только официальную версию, хотя ее понимание прочитанного могло быть не столь ортодоксальным, как хотелось бы авторам истории. Во время этих визитов Кульсум Би и ее маленькая группа занимали места вместе с остальной публикой — преимущественно, туристами и школьниками — на рядах деревянных скамей, под которыми пережидали дневную жару полчища комаров. Для того чтобы не быть до смерти искусанными, публике приходилось вести себя достаточно вольно, исступленно болтая ногами в честь каждой коронации, войны, массовых убийств, побед и поражений.

Особый интерес Кульсум Би проявляла к середине восемнадцатого века, эпохе правления императора Мохаммеда Шах-Рангилы, легендарного ценителя удовольствий, музыки и живописи — самого веселого из всех Великих Моголов. Би всегда заставляла своих подопечных обращать особо пристальное внимание на 1739 год. Этот год начинался с грохота конских копыт, который, исподволь возникнув где-то за рядами скамей, становился все громче, Громче и ГРОМЧЕ. Это шла кавалерия Надир-Шаха, совершавшая свой победный марш из Персии через Газни, Кабул, Кандагар, Пешавар, Лахор и Сирхинд, опустошая эти славные города по пути к Дели. Военачальники Мохаммед-Шаха предупреждают его о

приближающейся беде, но беспечный император велит музыкантам продолжать игру. В этот момент свет окрашивается в огненные тона пурпурного, красного и зеленого пламени. Зенана при этом охвачена розовым огнем (естественно!), а в звуках явственно слышен женский смех, шелест шелка и позвякивание ножных браслетов. Потом, совершенно неожиданно, этот ласковый, негромкий звонкий шелест перекрывается почти осязаемым, низким, отчетливым и хриплым смехом придворного евнуха.

— Вот! — восклицала в этот момент уstad Кульсум Би тоном торжествующего энтомолога, только что подцепившего сачком редкую бабочку. — Вы слышали? Это про нас. Это наши предтечи, это наша история, это рассказ про нас. Мы никогда не были чернью, как видите, мы служили во дворцах правителей.

Это был очень краткий момент, неуловимое, как удар сердца, мгновение, но это не имело никакого значения. Важно было то, что *это* существовало реально. Присутствовать в истории — пусть даже в образе мимолетной усмешки — было совсем не то же самое, что полное в ней отсутствие, исключение из череды важных предшественников. В конце концов, даже грубый смешок мог быть опорой для прорыва в будущее.

Уstad Кульсум Би приходила в ярость, если кто-то по невниманию упускал этот важный и трепетный момент. Она злилась так искренне, что опытные хиджры загодя инструктировали новичков притворяться, что они не пропустили этот негромкий смех, даже если они не обратили на него ни малейшего внимания. Уstad Кульсум Би могла устроить публичную сцену.

Однажды Гудия попыталась довести до сведения уstad Кульсум Би, что хиджры пользовались почетом и в индуистской традиции, рассказав ей историю о Рама и его жене Сите. Когда князь Рама и его супруга Сита вместе с младшим братом Рама Лакшманой были изгнаны из царства на четырнадцать лет, весь народ, движимый любовью к Рама, последовал за ними, поклявшись везде сопровождать его. Когда они достигли окрестностей Айодхьи, где начинался густой дремучий лес, Рама обратился к своему народу и сказал: «Я желаю, чтобы все вы — мужчины и женщины — вернулись домой и ожидали меня там до моего возвращения». Не смея послушаться царя, мужчины и женщины вернулись в город. Только хиджры верно дожидались царя на опушке леса все четырнадцать лет, потому что он забыл упомянуть их.

— Так нас помнят только потому, что о нас забыли? — ответила на это уstad Кульсум Би. — Вах-вах!

Анджум очень живо, во всех подробностях, помнила свое первое

посещение Красного форта, но по своим личным причинам. Это был ее первый выход в свет после операции, сделанной доктором Мухтаром. Пока они стояли в очереди за билетами, люди глазели на иностранных туристов, стоявших в очереди в другую кассу, где билеты были намного дороже. Иностранцы же туристы глазели на хиджр, в особенности на Анджум. Какой-то молодой человек, хиппи с острым взглядом и редкой, как у Иисуса, бородкой, восхищенно смотрел на нее. Она взглянула на него, и взгляды их встретились. В ее воображении этот молодой человек превратился в хазрата Сармада Шахида. Она представила его себе, голого, тонкого и хрупкого, но сохраняющего горделивую осанку и смотрящего прямо в глаза злобным бородатым кази, не дрогнувшего, даже услышав смертный приговор. Однако она едва не отпрянула, когда турист подошел к ней.

— Ты чертовски красива, — сказал он. — Одно фото? Можно?

Впервые в жизни кто-то изъявил желание ее сфотографировать. Польщенная, Анджум перебросила косу с вплетенной красной лентой через плечо и взглянула на уstad Кульсум Би, безмолвно спросив разрешения. Оно было даровано. Анджум позировала, неловко опершись на крепостной вал, отведя назад плечи и вздернув подбородок — демонстрируя вызов и страх одновременно.

— Спасибо, — сказал молодой человек. — Большое тебе спасибо.

Анджум так и не увидела фотографию, но этот снимок стал началом чего-то волнующего и неизведанного.

Где-то он теперь? Один только Бог знает.

Мысли Анджум вернулись к совещанию в комнате уstad Кульсум Би.

Упадок и разнузданность наших правителей привели к крушению Великих Моголов, говорила между тем Кульсум Би. Принцы развлекались с рабынями, императоры разгуливали нагишом, роскошествуя в то время, когда их народ голодал и бедствовал — как могла такая империя уцелеть? Была ли у нее даже возможность уцелеть? (Никто, слышавший, как уstad играет принца Салима в «Великом Моголе», не мог бы даже во сне представить себе, что уstad станет отзываться о нем с таким осуждением. Кто бы мог подозревать, что, невзирая на ее гордость за наследие Кхwabгаха и его близость к имперскому величию, в ее душе прячется социалистический гнев против разврата властителей и нищеты народа.) Потом Кульсум Би заговорила о жизни согласно принципам и о железной дисциплине, двух добродетелях, которые она считала краеугольным камнем Кхwabгаха — его силой, позволившей ему существовать столетия, невзирая

на бедствия и превратности судьбы, притом что рушились куда более прочные и величественные институты.

Заурядные миряне из Дунии, что они знают о том, что значит быть хиджрой? Что знают они о правилах, о дисциплине и жертвенности? Кто сегодня знает, что было время, когда самой уstad Кульсум Би приходилось просить милостыню на перекрестках? Кто знает, что им пришлось строить свою жизнь шаг за шагом, преодолевая унижение за унижением, чтобы достичь сегодняшнего благополучия? Кхвабгах был назван так, потому что сюда пришли *благословенные* люди со своими мечтами, непонятными для обитателей Дунии. В Кхвабгахе святые души, заточенные в ложных телах, обрели свободу. (Вопрос о том, что случилось бы с Кхвабгахом, если бы мужские души были заточены в женских телах, уstad Кульсум Би затрагивать не стала.)

Однако — после слова «однако» Кульсум Би сделала многозначительную театральную паузу, которая могла бы посрамить даже шепелявого поэта-премьер-министра, — главное правило Кхвабгаха — это *манзури*. Согласие. Люди из Дунии распространяют злобные слухи о хиджрах, похищающих маленьких мальчиков для кастрации. Она, уstad Кульсум Би, не знает и не может сказать, случаются ли где-нибудь такие вещи, но в Кхвабгахе — и Всемогущий этому свидетель — не происходит ничего без *манзури*.

После этого уstad Кульсум Би заговорила о том, ради чего созвала совещание. Всемогущий вернул нам Анджум, сказала она. Она не желает рассказывать нам, что произошло с ней и Закиром Мианом в Гуджарате, и мы не можем принуждать ее к этому. Об этом мы можем только гадать. Гадать и сочувствовать. Но, проявляя сочувствие, мы не можем допустить нарушения наших принципов. Заставлять девочку жить как мальчик против ее желаний, даже ради ее собственной безопасности, — это значит запереть ее в клетку, а не освободить. Этого не может происходить в Кхвабгахе, и этот вопрос не подлежит обсуждению.

— Она — *мой* ребенок, — ответила на это Анджум. — Я буду решать, что делать. Я могу покинуть Кхвабгах и уйти с ней, если захочу.

Это дерзкое заявление никого не смутило, даже наоборот, все снова увидели прежнюю Анджум — царицу, склонную к театральным эффектам. Беспокоиться было не о чем, так как идти Анджум было просто некуда.

— Ты можешь поступать как тебе вздумается, но ребенок останется с нами, — сказала уstad Кульсум Би.

— Ты уже добрых полчаса толкуешь о *манзури*, а теперь хочешь сама все решить за нее? — возразила Анджум. — Мы спросим у нее. Зайнаб



захочет уйти со мной.

Такой тон в разговоре с устад Кульсум Би был недопустимым. Даже для человека, уцелевшего в страшной бойне. Все умолкли, ожидая, что произойдет дальше.

Устад Кульсум Би закрыла глаза и попросила убрать из-под ее спины свернутое покрывало. Она вдруг ощутила страшную, невероятную усталость, повернулась лицом к стене и, свернувшись калачиком, подложила под голову согнутую руку. Не открывая глаз, глухим, словно доносящимся издали голосом она посоветовала Анджум обратиться к доктору Бхагату и принимать лекарства, которые он пропишет.

Совещание на этом закончилось. Обитательницы Кхвабгаха разошлись. Фонарь, шипевший, как раздраженный кот, вынесли из комнаты.

\* \* \*

Анджум, конечно, никуда не собиралась уходить, но слово было сказано, и оно заронило в душу мысль, которая стала сдавливать Анджум, словно питон.

Она отказалась идти к доктору Бхагату, поэтому к нему отправилась целая делегация во главе с Саидой. Доктор Бхагат был маленьким человечком с аккуратно подстриженными офицерскими усиками, и пахло от него тальком, смешанным с цветочным маслом. Доктор отличался быстрыми, птичьими движениями, часто перебивал пациентов и каждые несколько минут отвлекался сам, шмыгая носом и барабаня шариковой ручкой по столу. Руки его были покрыты густой порослью черных волос, на голове же их почти не было. Доктор выбрил широкую полосу на левом запястье, которое облегал напульсник, которым теннисисты вытирают пот, а поверх него красовались массивные золотые часы. Доктор мог без помех в любой момент узнать, который час. В то утро он был одет, как всегда, — в безупречно чистый белый костюм и сверкающие белые летние туфли. На спинке стула висело такое же чистое белое полотенце. Клиника находилась в убогом и грязном квартале, но сам доктор Бхагат был невероятно чистоплотен. Впрочем, он вообще был хорошим человеком.

Делегация во главе с Саидой ввалилась в кабинет в полном составе и заняла все свободные стулья и кресла. Те, кому не хватило мест, уселись на подлокотниках. Доктор Бхагат принимал пациенток из Кхвабгаха парами и

тройками (они никогда не приходили поодиночке), но на этот раз их было слишком много, что сразу насторожило врача. Он даже немного растерялся.

— Кто из вас пациент? — осведомился он.

— Никто, доктор-сахиб.

Саида, взявшая на себя роль представителя, попыталась — не без помощи остальных — как можно точнее описать изменения в поведении Анджум: появившиеся задумчивость, замкнутость, грубость, склонность к чтению и, что самое главное и серьезное, — неповиновение. Саида рассказала врачу о болезнях Зайнаб и тревоге Анджум. (Она, правда не рассказала о подозрениях Анджум в отношении ее *сифли джааду*, так как не имела о них ни малейшего представления.) Делегация — после оживленного обсуждения проблем — решила не касаться событий в Гуджарате по следующим причинам:

а) они не знали, что именно произошло там с Анджум — если вообще произошло;

и

б) потому что на столе у доктора Бхагата стоял большой серебряный (или, может быть, посеребренный) Шри Ганеша<sup>[17]</sup>. Вокруг статуэтки курился дым ароматных палочек.

Конечно, из этого факта не стоило делать далеко идущих выводов, но было непонятно, как доктор отнесся к событиям в Гуджарате, и поэтому делегация решила деликатно обойти этот вопрос стороной.

Доктор Бхагат (подобно миллионам других верующих индусов, потрясенный до глубины души событиями в Гуджарате) внимательно слушал, шмыгая носом и стуча ручкой по столу, глядя на пришедших пронизательными птичьими глазками, увеличенными толстыми стеклами очков в золотой оправе. Наморщив лоб и на минуту задумавшись о том, что услышал, он спросил, привело ли к чтению желание Анджум покинуть Кхвабгах или, наоборот, чтение привело ее к желанию покинуть Кхвабгах. Мнения по этому поводу разделились. Одна молодая делегатка по имени Мехер вспомнила, что когда-то Анджум говорила ей, что хочет вернуться в Дунию и помогать бедным. Это вызвало у хиджр взрыв неподдельного веселья. Доктор Бхагат без улыбки спросил, что забавного они в этом нашли.

— Доктор-сахиб, какой же бедняк захочет, чтобы ему помогала хиджра? — недоуменно спросила Мехер, и все они снова захихикали, смеясь самой мысли о том, как напугает бедняка предложение помощи с их стороны.

На листке своего блокнота доктор Бхагат написал своим мелким

каллиграфическим почерком: «Больная, отличавшаяся прежде открытостью, послушанием и веселым нравом, стала проявлять неповиновение и мятежность».

Пришедшим доктор сказал, чтобы они не волновались, и выписал рецепт на таблетки (которые он выписывал всем от всех болезней), которые должны были успокоить мятежный дух Анджум и подарить ей глубокий, освежающий сон. После этого она сможет сама прийти к нему на прием.

Анджум наотрез отказалась принимать таблетки.

Дни шли за днями. Обычная безмятежность Анджум постепенно целиком уступила место беспокойству и резкости. Это беспокойство бежало по жилам, словно восстало против ложного счастья, в иллюзорном плену которого она провела всю свою жизнь.

Она добавила рецепт доктора Бхагата к другим вещам, которые сложила во дворе. Когда-то она очень ценила их, но теперь просто поднесла к ним горящую спичку. Среди сжигаемых предметов оказались:

- три документальных фильма (о ней);
- два гляцевых альбома с фотографиями (ее);
- шесть фотографий из иностранных журналов (изображавших ее);
- альбом с вырезками из иностранных газет на более чем тринадцати языках, включая такие издания, как «Нью-Йорк таймс», лондонскую «Таймс», «Гардиан», «Бостон глоб», «Глоб энд мейл», «Монд», «Коррьере делла сера», «Стампа» и «Цайт» (все со статьями о ней).

Дым от костра взметнулся к небу, заставив кашлять всех, включая козла. Когда пепел остыл, Анджум втерла его себе в лицо. В тот вечер Зайнаб перенесла свою одежду, обувь, рюкзак и пенал в форме ракеты в шкаф Саиды. Зайнаб больше не хотела спать с Анджум.

— Мама всегда недовольна, — таково было точное и беспощадное объяснение Зайнаб.

Сердце Анджум было разбито. Она достала все свои вещи из годреджского шкафа и упаковала драгоценности — шелковые гхарары и сари, джумки, браслеты для щиколоток и запястий — в жестяные коробки. Для себя она взяла два патхани — один серый, другой коричневый; купила в комиссионном магазине синтетическую куртку и пару мужских туфель, которые она носила без носков. Приехал потрепанный грузовичок, и Анджум погрузила в него шкаф и коробки. Она уехала, никому не сказав куда.

Но даже теперь никто не воспринял всерьез ее поступок. Все были уверены, что она вернется.

\* \* \*

Уже через десять минут грузовичок, увозивший Анджум из Кхвабгаха, оказался в совершенно другом мире.

Машина остановилась у заброшенного, неухоженного кладбища, небольшого и почти забытого. Хоронили здесь теперь очень редко. Северным краем кладбище упиралось в городскую больницу и морг, где хранились трупы бродяг и неопознанных личностей — до тех пор, пока полиция не решала, как ими распорядиться. Большинство трупов кремировали, но некоторых хоронили на этом кладбище. Если покойник был при жизни мусульманином, то его хоронили в не обозначенную никакими камнями или знаками могилу, и со временем он исчезал, удобрив почву, на которой пышно росли старые деревья.

Обычных могил с надписями было около двух сотен. Старые могилы отличались большей красотой, камнями с резными надписями. Новые могилы были попроще. Здесь были похоронены представители нескольких поколений семьи Анджум — Мулакат Али, его отец и мать, его дед и бабушка. Старшая сестра Мулакаты Али, бегум Зинат Каузер (тетка Анджум), была погребена рядом с ним. После Разделения она переехала в Лахор. Прожив там десять лет, она оставила мужа и детей и вернулась в Дели, сказав, что не может жить там, где нет делийской Джама-Масджид. (По какой-то неведомой причине лахорская мечеть Бадшахи ее не устроила.) Отразив три попытки полиции депортировать ее как пакистанскую шпионку, бегум Зинат Каузер поселилась в Шахджаханабаде, в крошечной комнатке с кухней и видом на ее любимую мечеть. Квартирку она делила с вдовой, своей ровесницей, а на жизнь зарабатывала, продавая баранью корму в один ресторан Старого города, куда приходили иностранные туристы, горевшие желанием отведать блюда национальной кухни. Зинат пользовалась одним котлом в течение тридцати лет и вдыхала запах кормы с таким же наслаждением, с каким другие женщины вдыхают аромат дорогих духов. Даже когда жизнь покинула ее и она упокоилась в могиле, от нее вкусно пахло деликатесом Старого Дели. Рядом с останками бегум Зинат Каузер была похоронена Биби Айеша, старшая сестра Анджум, умершая от туберкулеза. Невдалеке была видна могила Ахлам Баджи, акушерки, принявшей новорожденную Анджум. За несколько лет до смерти Ахлам Баджи растолстела и почти обезумела. Каждый день ее, похожую на королеву помойки, видели шествующей по улицам. Серые волосы образовывали ком вокруг головы, словно Ахлам

только что окунула голову в молоко ослицы. Женщина никогда не расставалась с потертым пакетом из-под азотистых удобрений, набитым пустыми бутылками, где была когда-то минеральная вода, рваными воздушными змеями, аккуратно сложенными плакатами и листовками, собранными ею после больших политических митингов в квартале Рамлила. В те дни своего упадка и угасания Ахлам Баджи постоянно задирали существ, которым когда-то помогла родиться на свет. Эти существа уже и сами были взрослыми мужчинами и женщинами, отцами и матерями, но Ахлам Баджи непристойно оскорбляла их, проклиная те дни, когда они родились на свет. Никто не обижался на ее оскорбления; обычно в ответ люди лишь смущенно улыбались, как улыбаются люди, которых как подопытных морских свинок приглашают на сцену фокусники и гипнотизеры. Ахлам Баджи была всегда сыта, ей никто не отказывал в крыше над головой. Еду она принимала — злобно и с таким видом, словно, принимая ее, делала дающему невероятное одолжение. Однако она не принимала предложений где-то пожить. Она жила на улице, страдая летом от жары, а зимой — от холода. Однажды утром ее нашли мертвой у входа в магазин канцелярских товаров и копировальных услуг Алифа Зеда. Она умерла, прижимая к груди неизменный пакет из-под удобрений. Джаханара-бегум настояла на том, чтобы несчастную женщину похоронили на их семейном кладбище. Тело обмыли, а прощальную молитву прочел имам, которого позвала Джаханара-бегум. В конце концов, именно Ахлам Баджи приняла всех ее пятерых детей.

Рядом с могилой Ахлам Баджи было последнее пристанище другой женщины, на камне которого было (по-английски) написано: «Бегум Рената Мумтаз-мадам». Бегум Рената была исполнительницей танца живота — родом из Румынии. Она выросла в Бухаресте, но всегда мечтала об Индии и ее классических танцах. В девятнадцать лет она автостопом пересекла континент и прибыла в Дели, где напоролась на посредственного учителя Катхака, который сделал ее своей наложницей, не слишком заботясь о ее обучении танцу. Для того чтобы прокормиться, Рената начала выступать с номерами в баре «Розовый бутон» (местные называли его не иначе как «Розовый мутон»), расположенном в живописных развалинах Фероз-Шах-Котлы, пятом из семи древних городов, из которых возник Дели. Сценическим псевдонимом Ренаты было имя Мумтаз. Умерла она молодой, обманутой аферистом, который, влюбив ее в себя, скрылся со всеми ее сбережениями. Рената продолжала сохнуть по этому негодяю, хотя и понимала, что тот обманул ее. Она все дальше и дальше уходила от мира, стала прибегать к заклятиям и вызыванию духов. Часто она впадала в

транс, во время которого кожа ее надувалась лопающимися пузырями, а голос становился низким и мужеподобным. Обстоятельства ее смерти так и остались неясными, но все были убеждены, что она покончила с собой. Рошан Лал, неразговорчивый официант из «Розового бутона», строгий моралист, ненавистник танцовщиц (и неизменный объект их шуток), на удивление самому себе, организовал похороны и начал приносить на ее могилу цветы. Потом он стал приходить на ее могилу каждый вторник (в свой выходной). Именно этот человек установил на ее могиле (за которой он «присматривал», как он сам это называл) камень, а потом добавил к ее именам спереди «бегум», а сзади «мадам». Прошло уже семнадцать лет после смерти Ренаты Мумтаз. У Рошана Лала по тощим икрам растеклись, словно змеи, толстые варикозные вены, он оглох на одно ухо, но все равно продолжал приезжать с цветами на кладбище на своем старом черном дребезжавшем велосипеде. Это были разные цветы — маргаритки, увядшие розы, а когда у него не было денег, то несколько веточек жасмина, купленных у детей, торгующих дешевыми цветами на перекрестках под светофорами.

Помимо основных могил, было еще несколько неприметных, о которых шли споры, потому что никто в точности не знал, кто именно в них похоронен. Например, на одном камне было просто написано: «Бадшах». Некоторые утверждали, что это была могила одного из младших могольских принцев, повешенного англичанами после подавления восстания 1857 года, но другие считали, что это могила какого-то суфийского поэта из Афганистана. Была еще одна могила с надписью «Ислахи». Некоторые говорили, что это военачальник императора Шах-Алама II, а другие настаивали на том, что это местный сутенер, которого в шестидесятые годы убила ножом обманутая им проститутка. Как обычно, каждый верил в то, во что хотел верить.

В первый же вечер, после небольшой рекогносцировки, Анджум поставила годреджский шкаф и весь свой остальной нехитрый скарб у могилы Мулаката Али, а ковер и постель расстелила между могилами Ахлам Баджи и бегум Ренаты Мумтаз-мадам. Неудивительно, что в первую ночь она так и не смогла уснуть. Нет, никто ее не тревожил — джинны не стремились познакомиться с ней, и никакие духи мертвецов не преследовали ее. Любители героина в северной части кладбища — тени на фоне ночных теней — неслышно кучковались на горах больничных отбросов в море старых бинтов и использованных шприцев и, казалось, вовсе не замечали ее присутствия. В южном конце кладбища вокруг костров сидели группы бездомных, поджаривая на огне свое скудное

пропитание. Бесприютные псы, куда более здоровые, нежели люди, усевшись на почтительном расстоянии от бродяг, вежливо ожидали остатков нищего пиршества.

В таком окружении Анджум — в иной ситуации — чувствовала бы себя неуютно, инстинктивно ощущая опасность, но грызущая безутешная скорбь хранила ее. Освободившись от необходимости соблюдать какие-то социальные правила, безмерная скорбь, словно крепость с ее фортами, башнями, стенами, мрачными подземельями, обступила Анджум со всех сторон с рокотом, напоминавшим приближающийся рев разъяренной толпы. Задыхаясь, она, словно отчаявшийся беглец, петляла по золоченым палатам и залам крепости, пытаясь спрятаться от самой себя. Она старалась разогнать скопище желто-оранжевых людей с желто-оранжевым оскалом. Эти люди преследовали ее со своими трезубцами и насаженными на них младенцами и не желали рассеиваться. Анджум пыталась прикрыть дверь, за которой, свернувшись комочком, посреди улицы лежал Закир Миан — маленький и аккуратный, как птичка, несущая серебряные яйца. Но Закир не желал лежать, он тоже преследовал Анджум, скорчившийся, лежащий на окровавленном ковре-самолете. Анджум изо всех сил старалась забыть его взгляд, каким он смотрел на нее до того, как в них погас свет жизни. Но он не отпускал ее.

Она пыталась сказать ему, что храбро отбивалась, когда они тащили ее прочь от его безжизненного тела.

Но она знала, что не сопротивлялась.

Анджум старалась забыть свое знание о том, что они сделали с другими, стереть его — знание о том, как они сгибали мужчин и разгибали женщин. Как они разрывали их, выдергивая руки и ноги, и швыряли их в огонь.

Но она знала, очень хорошо знала, что она все знала.

*Они.*

*Они, кто это?*

Ньютонианская армия, воинство, стремившееся воплотить закон действия и противодействия. Тридцать тысяч желто-оранжевых попугаев со стальными когтями и окровавленными клювами, дружно оружие:

*Муссальман ка эх хи стхан! Кабристан йя Пакистан!*

*Одно из двух для мусульман! Могила или Пакистан!*

Анджум, притворившись мертвой, распростерлась на теле Закира Миана. Фальшивый труп фальшивой женщины. Но попугай, несмотря на то что были — или притворялись таковыми — чистыми вегетарианцами (это было первым условием приема в их ряды), прислушались к ее



дыханию со сноровкой и чутьем кровожадной ищейки. Естественно, они поняли, что она жива, и поняли, кто она. Тридцать тысяч голосов, напомнив о любимом присловье Бирбаль, завопили:

*Ай Хай! Саали ранди хиджра! Шлюха-хиджра и сестра шлюхи!*  
Мусульманская шлюха-хиджра!

Тут вдруг раздался громкий голос переполошившегося попугая:

*Наби яар, мат маро, хиджрон ка маарна апсхагун хота хай!*

Не убивай ее, брат! Убийство хиджры приносит несчастье.

Несчастье!

Ничто не могло так напугать этих убийц, как будущее несчастье или невезение. Действительно, пальцы этих убийц сжимали рукоятки мечей и сверкающих кинжалов, инкрустированные толстыми золотыми кольцами, отводящими порчу и сглаз. Ничего, что стальная арматура, которой эти звери забивали насмерть людей, была обвита от дурного глаза цветными нитками — обвита любящими и заботливыми матерями. Приняв такие предосторожности от сглаза, стоило ли так его бояться?

Они склонились над ней и заставили громко, нараспев декламировать свой клич:

*Бхарат Мата Ки Джай! Ванде Матарам!*

Она декламировала, плача, дрожа всем телом, испытывая унижение, какого не испытывала даже в самых кошмарных снах.

Победа Матери Индии! Поклоняюсь тебе, мать!

Они оставили ее в живых. Они не убили ее. Они вообще не причинили ей никакого вреда. Ее не согнули и не разогнули. Ее одну из всех. Теперь удача должна была благословить их.

Удача мясников.

Теперь это будет с ней всю жизнь. Чем дольше будет она жить, тем больше удачи она принесет им.

Она снова попыталась стереть это знание, мечась по своему форту. Но все было тщетно. Она очень хорошо знала, что она очень хорошо знала, что она очень хорошо знала...

Главный министр Гуджарата с холодными, как у змеи, глазами и пятном киновари на лбу должен был выиграть следующие выборы. Даже после того, как поэт-премьер-министр потерпел неудачу в центре, этот выиграл выборы в Гуджарате. Некоторые считали его ответственным за массовые убийства, но избиратели называли его «Гуджарат ка Лалла» — Любимцем Гуджарата.

\* \* \*

Прожив на кладбище несколько месяцев, Анджум своим жутким видом, своей дикой призрачностью распугала всех местных джиннов и духов. Она подстерегала скорбящих родственников, хоронивших своих мертвецов, отчаянной скорбью, много превосходившей их горе. Анджум перестала ухаживать за собой и красить волосы, которые мертвенно побелели у корней, но остались ближе к середине черными, как вороново крыло, и это придавало Анджум какой-то... *полосатый* вид. На лице — щеках и подбородке — проступила растительность, которой Анджум когда-то страшилась больше всего на свете. Эта щетина покрывала нижнюю часть лица, словно игольчатый иней. Благодаря дешевым гормонам, которые Анджум принимала всю жизнь, эти ростки не превратились в настоящую бороду. Один передний зуб, красный от постоянного жевания бетеля, сильно расшатался. Когда Анджум говорила или улыбалась (что, правда, случалось довольно редко), этот кроваво-красный зуб колебался, словно язычок концертны, игравший свою неведомую и устрашающую мелодию. Правда, этот устрашающий вид имел для Анджум и свои преимущества — люди боялись подходить к ней, и даже мальчишки опасались бросать в нее камни и выкрикивать оскорбления.

Господин Д. Д. Гупта, старый клиент Анджум, плотская тяга которого к ней уже давно переросла в душевную привязанность, нашел Анджум и посетил ее на кладбище. Господин Гупта был строительным подрядчиком из Кароль-Багха, поставлявшим строительные материалы — арматуру, цемент, камень и кирпичи. Господин Гупта привез на кладбище немного кирпичей и несколько асбестовых плит со стройки одного своего богатого клиента и помог Анджум соорудить некое подобие маленькой хижинки, в которой она могла при желании запереть свои пожитки. Время от времени господин Гупта навещал Анджум и следил, чтобы она ни в чем не нуждалась и не причиняла себе вреда. Когда после вторжения американцев в Ирак господин Гупта уехал в Багдад (где он надеялся обогатиться на поставках бетонных блоков для восстановления разбитых бомбами стен), он попросил свою жену посылать водителя с горячей едой для Анджум не реже трех раз в неделю. Госпожа Гупта, считавшая себя гопи, почитательницей бога Кришны, находясь под влиянием своего гадалки, была уверена, что пребывает в седьмом, последнем цикле своих перерождений. Это давало ей право вести себя так, как ей хочется, не беспокоясь, что придется заплатить за свои грехи в следующей жизни. У

нее были свои любовные притязания, хотя она утверждала, что, когда достигает сексуальной кульминации, экстаз, который она чувствует, направлен на божественное существо, а не на ее любовника. Она очень любила мужа, но была страшно довольна, что свои сексуальные аппетиты он удовлетворяет за столами других женщин, и она тем более была счастлива исполнить эту его пустяковую просьбу.

Перед отъездом господин Гупта купил Анджум дешевый мобильный телефон и научил ее, как отвечать на звонки (входящие звонки были бесплатны), а также как делать ему «пропущенные звонки», если ей вдруг надо будет поговорить с ним. Через неделю Анджум потеряла телефон, и когда господин Гупта позвонил из Багдада, ему ответил какой-то плачущий пьяница, который требовал соединить его с матерью.

Помимо этих сочувствующих, были у Анджум и другие визитеры. Саида несколько раз привозила к Анджум Зайнаб. Девочка могла показаться бессердечной, но на самом деле это было лишь проявлением тяжелейшей психической травмы. (Когда Саида поняла, что эти посещения причиняют лишь сильную боль и Анджум, и Зайнаб, визиты прекратились.) Один раз в неделю приезжал брат Анджум, Сакиб. Даже устэд Кульсум Би собственной персоной, в сопровождении своего друга Хаджи Миана, а иногда и с Басмалой приезжала к Анджум на велорикше. Кульсум Би позаботилась о том, чтобы Анджум получала своего рода пенсию от Кхвабгаха — деньги Анджум получала в конверте по первым числам каждого месяца.

Но самым частым гостем был устэд Хамид. Он появлялся на кладбище каждый день, кроме среды и воскресенья. Приходил Хамид на рассвете или в сумерки, садился на чью-нибудь могилу, ставил перед собой фисгармонию Анджум и начинал петь томительный *риаз*, рагу «Лалит» по утрам и рагу «Шуддх-кальян» по вечерам: «*Тум бин каун кхабар мори лаит...* Кто еще спросит меня о моих делах?» Он демонстративно игнорировал издевательские требования непрошеной публики исполнить какой-нибудь последний болливудский хит или популярное каввали (в девяти случаях из десяти речь шла о «*Дум-а-дум маст каландар*»). Эти, с позволения сказать, заявки громко звучали из уст бродяг и наркоманов, не решавшихся, впрочем, переступить невидимую границу негласно установленных владений Анджум. Иногда на окраине кладбища трагические тени, одурманенные героином и алкоголем, поднимались на ноги и принимались пританцовывать в своем непостижимом ритме. Когда угасал (или зарождался) свет дня, а голос устада Хамида начинал в полную силу звучать над источенным ландшафтом и его источенными обитателями,

Анджум, скрестив ноги, садилась спиной к устаду на могилу бегум Ренаты Мумтаз-мадам. Она не говорила ни слова и не смотрела на учителя, но по сведенным от напряжения плечам он видел, что она внимательно его слушает, и не возражал. Он видел ее насквозь; он верил, что, если не он, то его музыка сможет проникнуть в ее душу.

Но ни доброта, ни жестокость не могли заставить Анджум вернуться в старую жизнь, в Кхвабгах. Потребовались годы для того, чтобы схлынула волна горя и страха. Ежедневные приходы имама Зияуддина, их мелкие (а иногда и принципиальные) споры и его просьба к Анджум, чтобы она каждое утро читала ему газеты, помогли Анджум вернуться в Дунию. Постепенно форт скорби уменьшился до обиталища вполне терпимых размеров. Он стал домом, местом предсказуемой, умиряющей печали — ужасной, но надежной. Желто-оранжевые мужчины вложили мечи в ножны, поставили в угол трезубцы и покорно вернулись к своим трудовым будням, отвечая на звонки, подчиняясь приказам, избивая жен и сносно коротая время до своего следующего кровавого выхода. Желто-оранжевые попугаи до поры спрятали свои когти, позеленели и замаскировались в листве баньянов, откуда уже исчезли белобокие грифы и воробьи. Убитые, согнутые мужчины и разогнутые женщины посещали Анджум все реже и реже. Один только Закир Миан никак не желал оставлять ее в покое. Правда, со временем он перестал гнаться за ней — теперь он просто везде сопровождал Анджум, словно постоянный, но не слишком требовательный спутник.

Анджум снова начала ухаживать за собой. Она выкрасила волосы хной и стала щеголять огненно-оранжевой прической. Она избавилась от растительности на лице, ей удалили качавшийся зуб и вставили имплант, и теперь среди кроваво-красных пеньков красовался сверкающий блеском слоновой кости клык. Тревога не покинула Анджум, но стала более привычной. Она продолжала носить патхани, но теперь они поменяли расцветку. Стали более пастельными, светло-голубыми и розовыми, что гармонировало со старыми, расшитыми блестками дупаттами. Анджум немного пополнела, округлилась и теперь заполняла свою одежду, которая перестала висеть на ней, словно на чучеле.

Но Анджум ни на минуту не забывала о том, что она — всего лишь удача мясников и убийц. На всю оставшуюся жизнь отношение Анджум ко Всей Оставшейся Жизни — даже если со стороны и казалось по-другому — стало неустойчивым и небрежным.

Форт горя съезжился, но зато разрослась жестяная хижина. Сначала она превратилась в домик, куда можно было поставить кровать, а потом в

домик побольше, где помещалась уже маленькая кухонька. Чтобы не привлекать ненужного внимания, Анджум оставила наружные стены домика грубыми и неотделанными. Однако изнутри дом был аккуратно оштукатурен и покрашен в необычный беловато-розовый цвет. Анджум построила веранду вокруг домика, расширив черепичную крышу и подперев ее железными балками. На эту террасу она поставила пластмассовый стул и зимой, сидя на нем, сушила после мытья волосы и подставляла солнцу свои потрескавшиеся, шелушащиеся голени. Сидя на стуле, как на троне, она обзревала свое царство мертвых. Двери и оконные переплеты Анджум выкрасила в светло-зеленый, фисташковый цвет. Бандикут, превратившийся в молодую женщину, снова начал приходить, но всегда вместе с Саидой и никогда не оставаясь на ночлег. Анджум не просила и не настаивала и ничем не выказывала своих чувств, но боль не утихала и не проходила; сердце Анджум так и не смогло смириться с этой потерей.

Один раз каждые несколько месяцев муниципальные власти приклеивали к входной двери домика Анджум предупреждение, в котором говорилось, что бездомным категорически запрещено жить на кладбище и что в течение недели незаконно возведенное строение будет снесено. Анджум не раз говорила им, что она не живет на кладбище, она там умирает, и на это ей не нужно разрешение муниципальных властей, потому что у нее есть разрешение от Всемогущего.

Ни один из муниципальных чиновников так и не набрался мужества исполнить угрозу, так как не хотел неприятностей из-за Анджум с ее былыми связями и способностями. К тому же, как и все смертные, они боялись нанести обиду хиджре. Чиновники избрали тактику умиротворения и мелкого вымогательства. Анджум была вынуждена платить чиновникам не совсем незначительную сумму денег, а кроме того, готовить невегетарианскую пищу на Дивали и Курбан-байрам. Чиновники также постановили, что если дом станет больше, то вырастет и сумма.

Со временем Анджум укрыла строениями могилы своих близких. Каждое помещение окружало могилу (или две), в нем помещалась и кровать. Или две. Здесь же Анджум устроила ванную и туалет с септиком. Воду она брала из общественной колонки. Имам Зияуддин, к которому очень плохо относились сын и невестка, стал у Анджум постоянным гостем. Теперь он дневал и ночевал на кладбище и почти перестал ходить домой. Анджум начала сдавать комнаты проезжающим (реклама была исключительно устной, передававшейся из уст в уста). Нельзя сказать, что постояльцев было много, учитывая, что окружение, ландшафт и

обстановка, не говоря уже о качестве жилья, могли прийти по вкусу отнюдь не всем. Надо сказать, что и не все претенденты могли удостоиться милости хозяйки импровизированной гостиницы. Анджум была капризна и иррациональна в своем выборе, и никогда нельзя было наперед сказать, кого она пустит, а кого выгонит — часто, сопровождая действие грубостью на грани оскорбления («Кто тебя сюда прислал? Иди и трахни себя в жопу!»). Такое напутствие могло сопровождаться устрашающим гортанным рыком.

Преимущество хостела на кладбище заключалось в том, что здесь, в отличие от многих куда более приличных отелей, никогда не отключали электричество — даже летом, и все потому, что Анджум воровала электроэнергию из сети больничного морга, где электричество было необходимо круглосуточно для холодильников, в которых лежали покойники (бомжи, которые при жизни никогда не пользовались такими шикарными удобствами). Свой постоянный двор Анджум называла «Джаннат» — «Рай». Днем и ночью она смотрела телевизор, говоря, что ей нужен звук, чтобы укреплять мозги. Она усердно смотрела все новости и скоро стала непревзойденным политическим аналитиком. Мало того, Анджум смотрела мыльные оперы на хинди и фильмы ужасов про вампиров на английском. Эти фильмы она пересматривала по много-много раз. Диалоги она, конечно, не понимала, но очень хорошо понимала чувства вампиров.

Постепенно «Джаннат» превратился в пристанище для хиджр, по тем или иным причинам выпавших из гхаран. После того как по градам и весям разнесся слух о постоялом дворе Анджум, у нее стали регулярно появляться подруги из прошлого. Самое невероятное, что приехала Ниммо Горакхпури. Встретившись, они обнялись и расплакались, как влюбленные, воссоединившиеся после долгой разлуки. Ниммо стала постоянным гостем. Она приезжала часто и каждый раз задерживалась на два или три дня. Выглядела Ниммо умопомрачительно со своей превосходной фигурой, украшениями, кольцами и браслетами. Ухожена она была на зависть. Она приезжала из Мевата, что в двух часах езды от Дели, на своей маленькой «Марути». В Мевате у нее были две квартиры и небольшая ферма, где она выращивала баранов на Курбан-байрам и продавала их за хорошие деньги богатым мусульманам в Дели и Бомбее. Смеясь, она рассказывала Анджум о хитрых трюках — как сделать барана жирным за одну ночь и как взвинтить цены в ночь перед жертвоприношением. Она сказала, что со следующего года начнет продавать жертвенных животных через интернет. Они с Анджум договорились, что следующий Курбан-байрам они отметят у

Анджум на кладбище с мясом лучшего барана. Она показала на своем роскошном смартфоне лучших животных. Теперь она была увлечена баранами так же, как когда-то была увлечена западной женской модой. Она рассказывала Анджум, как различить баранов разных пород, а под конец показала видео с петухом, который говорил: «Йа Аллах!» каждый раз, когда взмахивал крыльями. Анджум обрела опору под ногами. *Это знает даже обычный петух!* Анджум еще больше утвердилась в вере.

Ниммо, верная своему слову, презентовала Анджум молодого черного барашка с поистине библейскими витыми рогами. Ниммо клялась, что это был точно такой же баран, какого принес в жертву хазрат Ибрахим вместо своего возлюбленного сына Исхака, если не считать, что у хазрата Ибрахима баран был белым. Анджум выделила барану отдельное помещение (точнее, отдельную могилу) и принялась любовно за ним ухаживать. Она старалась любить его не меньше, чем любил Ибрахим своего Исхака. Любовь, во всяком случае, это ингредиент, который позволяет отличить жертву от заурядного убоя скота. Она сплела ему из мишуры ошейник, а к лодыжкам прикрепила колокольчики. Барашек тоже полюбил Анджум и ходил за нею всюду, словно пришитый. (Перед приходом Зайнаб Анджум снимала с лодыжек барашка колокольчики и прятала его, ибо понимала, что произойдет, если Зайнаб его обнаружит). Когда приблизился праздник жертвоприношения, город оказался забит отставными, вышедшими на заслуженный отдых верблюдами, буйволами и баранами величиной с доброго пони. Все эти животные ждали забоя. Барашек Анджум превратился в красивое животное высотой под четыре фута — сплошные мышцы и раскосые желтые глаза. Люди приходили на кладбище только затем, чтобы на него полюбоваться.

Анджум договорилась с Имраном Курейши, восходящей звездой среди молодых мясников Шахджаханабада, чтобы он выполнил жертвоприношение. У Имрана уже было несколько заказов, и он сказал, что сможет прийти только вечером. Когда настал праздник жертвоприношения, Анджум поняла, что если она сама не пойдет к Имрану, то его по дороге перехватят другие жаждущие и она сегодня его не дождется. Одевшись как мужчина в чистый и отутюженный патхани, она пустилась от дома к дому по следам Имрана. Последним пунктом должно было стать жилище одного политика, бывшего члена законодательной ассамблеи, проигравшего прошлые выборы с разгромным результатом. Чтобы сгладить неловкое впечатление от позора и показать, что поражение — случайность и он готов к следующим победам, политик решил продемонстрировать беспримерное благочестие. Жертвенная буйволица лоснилась от масла, которым ее

умастили. Ее едва провели по узким улицам, и в жертву ее было решено принести на перекрестке, ибо только там нашлось место для маневра. Буйволицу положили по диагонали перекрестка и привязали передние ноги к фонарному столбу. Множество людей в нарядных одеждах теснились в окнах и дверях, жаждающая посмотреть, как Имран будет приносить в жертву это великолепное животное. Он пришел, пробравшись сквозь толпу, стройный, тихий, скромный. Услышав нарастающий шум толпы, буйволица начала дрожать всем телом и дико вращать глазами. Она откинула назад свою огромную рогатую голову и выгнулась дугой, раскачиваясь из стороны в сторону, словно меломан, впавший в транс на концерте классической музыки. Ловким движением прирожденных дзюдоистов Имран с помощником перевернули корову набок, после чего Имран вскрыл ей сонную артерию и отскочил в сторону, чтобы пульсирующая в такт замирающим биениям сердца струя крови не обдала его с ног до головы. Кровь жирными брызгами падала на опущенные жалюзи лавок, на лица улыбающихся политиков, смотревших с плакатов, наклеенных на стены домов. Кровь ручьем текла по мостовой мимо припаркованных мотоциклов, скутеров, повозок рикш и велосипедов. Девочки в украшенных камешками сандалиях с визгом бросились в стороны, чтобы не испачкаться в этом потоке. Мальчики, наоборот, притворялись, что им это нравится, а самые смелые ступали в лужи крови, а потом любовались своими кровавыми следами. Буйволице понадобилось порядочно времени, чтобы истечь кровью до смерти. Когда же она, наконец, околела, Имран вскрыл труп и принялся выкладывать на землю органы — сердце, селезенку, желудок, печень и кишки. Улица была покатою, и органы покатались вниз по склону, словно лодки, увлекаемые кровавой рекой. Помощник Имрана останавливал их и возвращал назад, выискивая более ровные места. Ободрать шкуру и закончить разделку туши должны были уже другие люди. Мастер-класс был окончен. Имран вытер нож куском материи, оглядел толпу, встретился взглядом с Анджум и едва заметно кивнул ей. Протиснувшись сквозь толпу, он зашагал прочь. Анджум догнала его у следующего переулка. Улицы были полны занятым народом. Козлиные шкуры, бараньи рога, бычьи черепа, мозги и потроха собирали, сортировали и складывали в кучки. Кал выдавливали из кишок, которые предстояло вымыть и сварить, превратив затем в мыло или клей. Кошки восторженно пиروвали, радуясь небывалой добыче. Ничто не должно было пропасть даром.

Имран и Анджум дошли до Туркменских ворот, где сели на моторишку и поехали на кладбище.



Анджум, исполнявшая роль хозяйина дома, подняла нож над головой великолепного барана и прочла молитву. Имран перерезал ему горло и крепко держал его, пока не прекратились последние конвульсии и вся кровь не вытекла из безжизненного тела. Через двадцать минут баран был ободран, освежеван и разрублен на достаточно мелкие куски, после чего Имран попрощался и ушел. Анджум разложила баранину на небольшие порции, чтобы разделить их, как сказано в писании: треть семье, треть родным и близким, треть бедным. Она отдала Рошану Лалу, приехавшему поздравить ее с Курбан-байрамом, пластиковый пакет с языком и частью бедра. Лучшие же куски она приберегла для Зайнаб, которой только что сравнялось двенадцать, и для устада Хамида.

Наркоманы в тот вечер наелись от души. Анджум, Ниммо Горакхпури и имам Зияуддин сидели на террасе и пировали, наслаждаясь тремя сортами баранины и горой бирьяни. Ниммо подарила Анджум смартфон, на который предварительно загрузила видео с кричащим петухом. Анджум сердечно обняла подругу и сказала, что теперь будет чувствовать себя так, будто может напрямую общаться с Богом. Они несколько раз посмотрели видео и подробно описали его имаму Зияуддину. Слух вполне заменял имаму зрение, но все же он не мог полностью разделить восторг своих сотрапезниц. Потом Анджум сунула телефон за пазуху. Его она не потеряла. Через несколько недель водитель господина Гупты, который по-прежнему неукоснительно приезжал к Анджум, передал ее новый номер своему боссу, и общение Анджум с Гуптой возобновилось. Господин Гупта звонил ей из Ирака, где он, кажется, решил поселиться навсегда.

Наутро после Курбан-байрама постоянный двор Анджум принял еще одного постоянного гостя — молодого человека, который сам себя называл Саддамом Хусейном. Анджум его почти не знала, но очень любила, любила настолько, что предложила ему помещение по смехотворно низкой цене — меньше, чем он бы заплатил за любую комнату в Старом городе.

Когда Анджум познакомилась с Саддамом, он работал в морге. Он был одним из десятка молодых людей, которые непосредственно работали с трупами. Доктора-индусы — собственно, это они должны были производить вскрытия, — считали себя представителями высшей касты и не прикасались к мертвецам, боясь оскверниться. Люди, на деле выполнявшие вскрытия, работали, как правило, уборщиками и принадлежали к касте уборщиков и кожевников, а сами называли себя чамарами. Врачи, как и большинство индусов, смотрели на них свысока и считали неприкасаемыми. Врачи обычно становились на почтительном

расстоянии от трупов и, зажимая носы платками, давали указания — где делать разрез и что делать с органами и внутренностями. Саддам был единственным мусульманином среди уборщиков, работавших в морге. Как и они, он постепенно приобрел навыки неплохого хирурга-любителя.

У Саддама была тонкая улыбка и красивые, прихотливо изогнутые ресницы. Он был горячо привязан к Анджум и часто выполнял для нее мелкие поручения — покупал ей яйца и сигареты (она никому не доверяла покупку овощей) или таскал от колонки ведра с водой в те дни, когда у Анджум болела спина. Временами, когда в морге было мало работы (с сентября по ноябрь, когда люди не мерли на улицах, как мухи, от жары, простуды или денге), Саддам приходил в гости, Анджум заваривала чай и делилась с ним сигаретой. В один прекрасный день Саддам, не предупредив Анджум, исчез. Когда она поинтересовалась у его коллеги из морга, где он, коллега ответил, что Саддама уволили из-за ссоры с одним из врачей. Саддам явился только через год, на следующее утро после праздника жертвоприношения. Он немного похудел, поистрепался и пришел не один, а в обществе такой же худой и облезлой белой кобылы по кличке Пайяль. Одет Саддам был очень стильно, в джинсы и футболку с надписью «Это твое место или мое?». Саддам носил темные очки, которые не снимал даже в помещении. Он рассказал Анджум странную историю о том, как дерево обожгло ему глаза.

После увольнения из морга Саддам, по его словам, сменил множество мест — он побывал разнорабочим в магазине, автобусным кондуктором, продавцом газет в Нью-Дели и наконец в полном отчаянии нанялся каменщиком на стройку. Там он подружился с одним охранником, и тот познакомил его со своим боссом, Санджитой-мадам. Санджита-мадам оказалась пышнотелой веселой вдовой, но, вопреки своей легкомысленной внешности и склонности к болливудским песенкам, она была железной леди, державшей в кулаке охранное предприятие «Сейф-н-Саунд», насчитывавшее более пятисот охранников. Контора Санджиты-мадам находилась в подвале бутылочной фабрики, в новом промышленном районе, который словно гриб после дождя, вырос на окраине Дели. Охранники мадам работали по двенадцать часов шесть дней в неделю с одним выходным днем. За свои труды Санджита-мадам забирала шестьдесят процентов заработка каждого охранника, и людям едва хватало на еду и весьма скромную крышу над головой. Тем не менее на работу к Санджите-мадам жаждали устроиться тысячи человек — уволенные в запас солдаты, отправленные в бессрочные отпуска рабочие, отчаявшиеся найти себя в большом городе деревенские жители, образованные люди,

необразованные люди, упитанные здоровяки и исхудавшие от голода дохляки. «Там была куча охранных компаний, расположенных по соседству друг от друга, — рассказывал Саддам. — Ты бы видела, на кого мы были похожи, когда по первым числам каждого месяца приходили в контору за деньгами... нас были тысячи... было такое впечатление, что в мире существуют только три категории людей — охранники, люди, которым нужны охранники, и воры».

Санджита-мадам оказалась очень умелым казначеем и не выбрасывала деньги на ветер. Она умела выбирать людей. На работу она брала не самых оборванных и исхудавших, а затем проводила с ними однодневный инструктаж. Все обучение сводилось к умению стоять по стойке смирно, отдавать честь и говорить: «Да, сэр», «Нет, сэр», «Добрый день, сэр» и «Доброй ночи, сэр». После инструктажа новоиспеченному охраннику вручали фуражку, галстук на резинке и два комплекта формы с логотипом компании, вышитым на эполетах. При выдаче формы Санджита-мадам взимала залог выше стоимости униформы на случай, если человек улизнет, не вернув обмундирования. Солдат своей маленькой частной армии Санджита-мадам рассылала по всему городу. Они охраняли частные дома, школы, фермы, банки, торговые автоматы, магазины, ярмарки, кинотеатры, частные огороженные домовладения, отели, рестораны, посольства и консульства самых бедных стран. Саддам сказал Санджите-мадам, что его зовут Даячанд (потому что любому идиоту было ясно, что при такой нетерпимости охранник с мусульманским именем являл бы собой феномен внутренне противоречивый). Будучи грамотным молодым человеком приятной наружности, Саддам очень легко получил работу у Санджиты-мадам. «Я посмотрю на тебя, — пообещала она в первый же день, окинув его оценивающим взглядом. — Если докажешь, что ты стоящий работник, то станешь через три месяца контролером». В составе группы из двенадцати человек мадам отправила его охранять Национальную галерею современного искусства, где проходила индивидуальная выставка одного из самых известных современных индийских художников, человека, который, родившись в крошечном захолустном городишке, сумел добиться международного признания. Служба охраны галереи заключила договор с компанией «Сейф-н-Саунд».

Все экспонаты представляли собой вполне заурядные бытовые вещи, сделанные исключительно из нержавеющей стали, — стальные водяные баки, стальные мотоциклы, стальные весы со стальными фруктами на одной чашке и стальными гирями — на другой, стальные шкафы со стальными платьями, стальной обеденный стол со стальными тарелками,

на которых лежала стальная еда, и стальная машина такси, на стальном багажнике которой лежали стальные чемоданы и баулы. Все это великолепиие, выполненное с невероятным правдоподобием, превосходно освещалось. Экспонаты занимали несколько залов, и в каждом из них неотлучно находились двое охранников Санджиты-мадам. Самый дешевый экспонат, поведал Анджум Саддам, стоил как двухкомнатная квартира из категории для малоимущих. Так что все экспонаты вместе стоили не меньше, чем средней руки кондоминиум. Главным спонсором выставки был журнал «Сначала искусство», принадлежавший крупнейшему стальному магнату.

Саддам (Даячанд) получил особое, самое, пожалуй, почетное задание — ему выпало охранять сделанное в половину натуральной величины, но абсолютно натуральное скульптурно-стальное изображение баньяна со стальными воздушными корнями, спускавшимися до пола и составившими целую рощу из нержавеющей стали. Дерево это привезли в громадном деревянном ящике с другой выставки, из Нью-Йорка. Саддам с большим интересом наблюдал, как это чудо распаковывали и устанавливали на специальных, вкопанных глубоко в землю сваях на лужайке Национальной галереи. На ветвях стального баньяна висели стальные ведра, стальные судки с блюдами, стальные кастрюли и сковородки. (Было такое впечатление, словно стальные батраки развесили на стальных ветвях свои стальные обеды и отправились пахать стальными плугами стальные поля и засеивать их стальными семенами стальной пшеницы.)

— Эту часть я не понял, — признался Саддам.

— А остальные ты понял? — смеясь, поддразнила его Анджум.

Живший в Берлине автор прислал строгие инструкции относительно своего шедевра. Он возражал против оград и барьеров вокруг стального дерева. Зрители должны были непосредственно контактировать с деревом, а не глазеть на него из-за перегородок. Посетители могли, если хотели, трогать дерево и гулять в стальной роще воздушных корней. И посетители на самом деле так и поступали. Во всяком случае, большинство, сказал Саддам, за исключением дневных часов, когда солнце стояло высоко и от прикосновения к стали можно было нешуточно обжечься. В обязанности Саддама входило следить, чтобы никто не вздумал нацарапать на стали свое имя или как-нибудь иначе испортить экспонат. Кроме того, Саддам был должен протирать дерево и содержать его в чистоте, для чего ему выдали тряпки из поношенного сари, специально сконструированную стремянку и шампунь «Джонсонз бэби». Сначала задание показалось Саддаму невыполнимым, но на самом деле все оказалось намного проще,

чем он воображал. Чистить дерево было нетрудно, главная проблема заключалась в другом. Саддаму приходилось не отрываясь смотреть на нестерпимо сверкавшее в лучах солнца стальное дерево. Это было все равно что смотреть прямо на солнце. Через два дня Саддам попросил у Санджиты-мадам разрешения носить темные очки. Она отклонила просьбу, сказав, что это будет неприемлемо для дирекции музея, которая сможет усмотреть в ношении темных очков пренебрежение обязанностями охранника. Тогда Саддам придумал хитрость — он смотрел на дерево пару минут, а потом на некоторое время отворачивался. Однако за семь недель, что дерево простояло в галерее, до того как его снова упаковали и отправили в Амстердам, на следующую выставку мастера, Саддам порядком обжег глаза. Они сильно болели и постоянно слезились. Ходить днем по улице было просто невозможно, и Саддам стал носить темные очки. Из конторы его уволили, потому что кому нужен заурядный охранник, который одевается, как телохранитель кинозвезды? Санджита-мадам сказала Саддаму, что он не оправдал ее надежд и она полностью в нем разочаровалась. В ответ Саддам такими словами обозвал мадам, что его вытолкали из ее кабинета взащей.

Анджум одобрительно захихикала, когда Саддам сказал ей, как именно он обозвал босса. Она предоставила Саддаму комнату, построенную над могилой ее сестры, Биби Айеши. Для своей белой кобылы Саддам пристроил нечто вроде конюшни к импровизированной купальне. Ночами Пайяль стояла там, сопя и фыркая. Интересная картина была: белая кобыла ночью на кладбище — такое не приснится даже в кошмарном сне. Днем кобыла превращалась в делового партнера Саддама. Они вместе ежедневно обходили самые большие госпитали Дели. Подойдя к воротам, Саддам останавливал лошадь и принимался стучать молотком по подкове, притворяясь, что подгоняет ее под копыто кобылы. Пайяль придавала всему действию невероятную достоверность. Когда к нему подходили встревоженные родственники тяжело больных пациентов, Саддам с видимой неохотой расставался со старой подковой, которая могла принести удачу неведомому ему страдальцу. Естественно, подкова уходила в чужие руки не бесплатно. Помимо того, у Саддама всегда был с собой набор самых популярных медикаментов — модных антибиотиков, кроцина, сиропа от кашля — и целый букет растительных средств. Все это Саддам по сходной цене сбывал людям, приезжавшим к делийским госпиталям из окрестных деревень. Многие приезжие останавливались во дворах больниц или просто на улицах, потому что были слишком бедны для того, чтобы оплатить самую дешевую комнатушку. Ночью Саддам, словно принц,

верхом на Пайяль возвращался на кладбище. Дома он хранил целый мешок старых подков. Одну из них он подарил Анджум, и она повесила ее на стену рядом с рогаткой. Были у Саддама и другие деловые интересы. Он продавал корм для голубей в тех местах, где водители часто останавливались, чтобы заслужить благословение свыше, покормив угодных Богу птиц. В те дни, когда Саддам не объезжал госпитали, он приходил на эти места с пакетами зерна и мелкими монетами на сдачу. После того как водитель, исполнив свой долг, уезжал, Саддам, к великому огорчению голубей, собирал зернышки, ссыпал их в пакет и принимался ждать следующего клиента. Все это — мнимое кормление голубей и эксплуатация суеверий отчаявшихся людей — сильно утомляло и приносило весьма ненадежный доход, но зато над Саддамом не было босса, а это, как известно, дорогого стоит.

Вскоре после того, как Саддам поселился у Анджум, они вместе с имамом Зияуддином занялись еще одним делом. Все началось совершенно случайно, а потом раскрутилось само собой. Однажды, ближе к вечеру, на кладбище появился Анвар Бхай, владелец расположенного поблизости публичного дома. Он приехал с телом Рубины, одной из девушек, внезапно умершей от гнойного аппендицита. С Анваром явились восемь его девушек в паранджах и трехлетний мальчик, сын Анвара Бхая, которого вела за руку одна из девушек. Все были сильно расстроены и взволнованы, но не только из-за смерти Рубины. Дело было в том, что госпиталь вернул им тело без глаз. Сотрудники сказали, что глаза выгрызли крысы, но Анвар Бхай и девушки, коллеги Рубины, понимали, что глаза украли ради рогамицы, понимая, что свора шлюх и их сутенер едва ли станут обращаться в полицию. словно мало было этого несчастья — из-за того, что в свидетельстве о смерти был указан адрес заведения Анвара Бхая, ни одна купальня не взяла тело Рубины для обмывания, не нашли они и кладбища, готового предоставить девушке последний приют. Не сыскали и имама, который согласился бы прочесть над усопшей молитву.

Саддам сказал им, что они пришли в самое подходящее для них место. Он попросил их сесть, дал прохладительных напитков, а сам соорудил нечто вроде шатра за гостевым домом, использовав для этого старые дупатты Анджум, которые он набросил на четыре бамбуковых шеста. Внутри этого шатра он положил на возвышение из нескольких кирпичей лист толстой фанеры, покрыл этот помост полиэтиленом и попросил женщин принести тело Рубины. Потом он и Анвар Бхай в ведрах и старых банках из-под краски натаскали воды в этот импровизированный шатер для омовений. Труп уже окоченел, и поэтому одежду с Рубины пришлось

срезать (у Саддама оказалась с собой бритва). Склонившись, словно стая ворон, над телом Рубины, женщины любовно обмыли ее — обработав мылом шею, уши и ноги. Так же любовно и ревниво все они следили, чтобы никто не положил себе в карман украшения с ног, запястий и щиколоток (все драгоценности — настоящие и фальшивые — надо было отдать Анвару Бхаю). Мехрунисса очень переживала из-за того, что вода может оказаться слишком холодной. Сулекха все время просила Рубину открыть глаза, а потом снова их закрыть (чтобы зажегся божественный свет там, где раньше были ее глаза). Зинат отправилась покупать саван. Пока Рубину снаряжали в последний путь, сынок Анвара Бхая, одетый в джинсовый комбинезон и молитвенную шапочку, вышагивал взад и вперед, как русский кремлевский гвардеец, чтобы продемонстрировать всем свои новенькие (подделка) сиреневые кроксы с цветочками. Он с шумом вытаскивал хрустящие хлебцы из пакета, который дала ему Анджум. Время от времени он пытался заглянуть под импровизированный навес, чтобы понять, чем заняты его мать и другие тети (которых он, кстати сказать, никогда до этого в парандже не видел).

К тому времени, как тело Рубины было обмыто, высушено, умощено и завернуто в саван, Саддам с помощью двух наркоманов выкопал могилу вполне достойной глубины. Имам Зияуддин произнес молитву, и тело опустили в яму. Анвар Бхай, растроганный до глубины души, попытался насильно вручить Анджум пятьсот рупий. Она отказалась, отказался и Саддам. Но он был не из тех, кто легко упускает деловые возможности.

Не прошло и недели, как постоянный двор «Джаннат» начал по совместительству функционировать как похоронное бюро. Теперь здесь было помещение для омовений с асбестовой крышей и цементной платформой для тел. Здесь был постоянный запас благовонной глины «Мултани Митти» (которую многие предпочитают мылу). Здесь был имам, который мог в любое время суток произнести молитву над умершим. Правила для мертвых (впрочем, как и для живших на постоялом дворе) были весьма таинственными — одним теплые улыбки, другим свирепые ругательства, и никогда никто не мог сказать, на какую реакцию он нарвется. Был, правда, один отчетливый критерий: похоронное бюро «Джаннат» брало на себя заботы по погребению тех, кому Дуния отказала в имаме и месте на кладбище. Иные дни проходили без похорон, но иногда случался настоящий затор. Рекордом было пять похорон в один день. Иногда сами полицейские — чьи правила поведения были столь же иррациональны, как и у Анджум, — привозили к ней покойников.

Когда ночью, во сне, умерла устад Кульсум Би, ее с большой

пышностью похоронили на кладбище Хиджрон-Ка-Кханках в Мехраули, но Бомбейский Шелк была похоронена на кладбище Анджум. Хоронили здесь и многих других хиджр со всего Дели.

(Таким образом, имам Зияуддин получил ответ на заданный когда-то, давным-давно, вопрос: «Скажите мне, люди, где вас хоронят, когда вы умираете? Кто обмывает ваши тела? Кто произносит молитвы?»)

Постепенно постоянный двор «Джаннат» и одноименное похоронное бюро стали таким привычным фрагментом пейзажа, что никто не оспаривал их прав на существование. Они существовали. Это был упрямый и неоспоримый факт. Непреложная данность. Когда на восемьдесят седьмом году жизни умерла Джаханара-бегум, молитву над ней произнес имам Зияуддин. Похоронили Джаханару-бегум рядом с Мулакато Али. И Басмала, когда умерла, тоже была погребена на кладбище Анджум. Здесь похоронили даже барана Зайнаб, который мог бы с полным правом попасть в Книгу рекордов Гиннеса, так как околел от естественной причины (колики), пережив в Шахджаханабаде рекордные шестнадцать Курбан-байрамов. Правда, заслуга в этом была, естественно, не его самого, а его маленькой хозяйки. Но в Книге рекордов Гиннеса все равно нет такой категории, как долгожительство жертвенных баранов.

Несмотря на то что Анджум и Саддам делили один дом (и даже одно кладбище), они редко проводили время вместе. Анджум с удовольствием предавалась лени, а Саддам, который разрывался между множеством дел (кормление голубей он оставил как занятие абсолютно неприбыльное), постоянно жаловался на нехватку времени и к тому же всеми фибрами души ненавидел телевизор. В одно не совсем обычное утро вынужденного безделья Саддам и Анджум сидели рядом на сиденье старого красного такси (они пользовались им как диваном), пили чай и смотрели телевизор. Было это пятнадцатого августа, в День независимости. Маленький и робкий премьер-министр, сменивший шепелявого поэта-премьера (партия, членом которой был новый министр, официально не считала Индию страной индуистов), обратился к нации со стены Красного форта. Сегодня был как раз тот день, когда эту замкнутую часть города оккупировал остальной Дели. Огромные толпы, организованные правящей партией, буквально затопили Рамлилу. Пять тысяч школьников, одетые в цвета национального флага, слаженно выполняли упражнения с цветами. Мелкие агенты влияния и такие же мелкие чиновники, хотевшие, чтобы их увидели по телевизору, уселись в первых рядах, демонстрируя свою близость к власти и желание конвертировать эту близость в выгодные сделки —



политические и финансовые. Несколько лет назад, когда партия фанатиков потерпела поражение на выборах, Анджум была вне себя от радости и впала в почти неземное обожание робкого экономиста, сикха в синем тюрбане, сменившего шепелявого поэта-премьера. То, что новый премьер был похож на загнанного в силки кролика, лишь усиливало это поклонение. Но прошло время, и Анджум решила, что слухи о новом премьере были чистой правдой, — она поняла, что он всего лишь марионетка, висящая на ниточках, за которые дергают совсем другие люди. Бессилие его становилось еще более заметным на фоне темных туч, сгущавшихся на политическом горизонте. Черный удушливый туман расплзался по улицам, сея тревогу. Гуджарат как Лалла по-прежнему был главным министром Гуджарата. С каждым днем его манеры становились все более надменными, а в речах все отчетливее звучало желание отомстить мусульманам за многовековое господство. В каждой своей речи он не забывал упомянуть окружность своей грудной клетки (пятьдесят шесть дюймов). Почему-то это действительно производило на людей впечатление. Ходили слухи, что он готовит марш на Дели. В мнении относительно Гуджарата как Лаллы Анджум и Саддам были едины.

Анджум с неудовольствием смотрела на Загнанного Кролика (у которого, кажется, вообще не было грудной клетки), стоявшего под колпаком из пуленепробиваемого стекла под нависавшей громадой старинного форта и изливавшего на толпу бесконечные цифры показателей импорта и экспорта. Толпа нетерпеливо внимала, не понимая ни единого слова. Говорил премьер, как заводная кукла. Двигалась только его нижняя челюсть, остальные части лица и тела оставались абсолютно недвижимыми. Кустистые седые брови казались приклеенными к очкам. Во все время речи выражение его лица ни разу не изменилось. В конце речи он нерешительным движением приподнял правую руку и без всякого выражения произнес: «Джай Хинд!» («Победа Индии!»). Стоявший рядом солдат ростом не ниже семи футов и с топорщившимися усами в размах крыльев среднего альбатроса выхватил из ножен саблю и отсалютовал, чем, как показалось Анджум, поверг премьера в неопикуемый ужас. Когда он уходил, двигались только его ноги, как двигалась во время речи только челюсть. Анджум, скривившись от злости, выключила телевизор.

— Пойдем на крышу, — торопливо предложил Саддам, чувствуя, что у Анджум может в очередной раз перемениться настроение и тогда к ней нельзя будет приблизиться и на километр.

Он пошел впереди, прихватив с собой старый коврик и несколько жестких подушек в цветастых наволочках, пропахших прогорклым

бриолином. Тянуло прохладным ветерком, а в небе уже плавали запущенные по случаю Дня независимости воздушные змеи. Несколько змеев поднялись и над кладбищем, и это создавало какую-никакую праздничную атмосферу. Анджум взяла с собой ковшик с горячим чаем и транзисторный приемник. Они с Саддамом (он, как обычно, был в темных очках) улеглись на коврик и принялись смотреть в грязное небо, усеянное яркими точками бумажных змеев. Рядом с ними, словно отдыхая от праведных трудов, развалился Биру (иногда его называли и Руби), пес, которого Саддам обнаружил на улице. В тот момент у собаки были совершенно ошалевшие глаза, а из всего тела торчали какие-то пластиковые трубки. Видимо, пес пережил какое-то издевательство в виварии какой-то фармацевтической фирмы и сумел сбежать. Это был бигль, но был он настолько истрепан и изможден, что казался рисунком, который кто-то из всех сил старался стереть. Яркий черно-бело-коричневый окрас бигля был подернут тусклой серой дымкой, что, возможно, и не имело никакого отношения к лекарствам, которые на нем испытывали. Когда Биру поселился на постоялом дворе «Джаннат», у него были частые эпилептические припадки, он непрерывно фыркал и ужасно чихал. Всякий раз, когда пес оправлялся от очередного припадка, в его собачьей натуре проглядывал характер — иногда дружелюбный, иногда злобный, иногда апатичный, а иногда и просто ленивый. Казалось, он перенял все черты своей новообретенной хозяйки. Со временем припадки стали реже, и Биру превратился в типичного ленивого пса. Правда, чихать он не перестал.

Анджум налила в блюдце чай, подула, чтобы остудить, и поставила перед псом. Он шумно вылакал теплую жидкость. Он вообще ел и пил все, что ела и пила Анджум, — бирьяни, корму, самосу, халву, фалуду, фирни, замзам, манго летом и апельсины зимой. Это было вредно для его тела, но целительно для души.

Ветер усилился, и змеи стали парить в вышине быстрее, а потом начался неперенный для Дня независимости мелкий дождь. Анджум взревела, словно желая прогнать незваного гостя: «*Ай Хай!* Проклятый сучий дождь!», Саддам рассмеялся, но ни один из них не сдвинулся с места. Им хотелось посмотреть, начнется ли сильный дождь. Он не начался. С неба немного покапало, и морозящий дождик прекратился так же быстро, как и начался. Анджум принялась рассеянно гладить Биру, стирая капельки с его шерсти. Дождь почему-то напомнил ей о Зайнаб, и Анджум улыбнулась. Она — что было очень для нее нехарактерно — принялась рассказывать Саддаму историю о мосте (в весьма сокращенном

и отредактированном виде), о том, как любил ее маленький Бандикут. Солнечно улыбаясь, она описывала проделки Зайнаб, говорила о ее любви к животным, о том, как быстро она освоила английский в школе. Когда воспоминания стали совсем радостными, голос(а) Анджум вдруг задрожал(и), а в глазах заблестели слезы.

— Я была рождена, чтобы стать матерью, — рыдая, произнесла она. — Вот увидишь, настанет день, и великий Аллах подарит мне младенца. Я твердо это знаю.

— Как это возможно? — рассудительно спросил Саддам, даже не подозревая, что ступает на зыбкую почву. — Хакикат бхи кой чиз хоти хай. («Есть же такая вещь, как реальность».)

— Но почему нет? Черт возьми, почему нет? — Анджум села и посмотрела Саддаму в глаза.

— Я просто говорю... Я хотел сказать, что на самом деле...

— Если ты можешь быть Саддамом Хусейном, то я смогу быть матерью, — в голосе Анджум не было злобы, она произнесла это с кокетливой улыбкой, демонстрируя свой ослепительный белый клык и темные, красноватые резцы. Но в этой кокетливости прозвучала сталь.

Саддам лениво приподнялся. Он нисколько не встревожился, но его заинтересовало, как много она о нем знает.

— Когда ты падаешь, перейдя грань, как все мы, считая и нашего Биру, — снова заговорила Анджум, — ты уже не можешь остановить падение. Падая, ты будешь хвататься за других падающих людей. Чем раньше ты это поймешь, тем лучше. Место, где мы живем, место, ставшее нашим домом, — это место падших людей. Здесь нет *хакикат*. *Арре*, даже мы сами не вполне реальны. На самом деле нас нет.

Саддам промолчал. Он любил Анджум больше, чем кого бы то ни было на этом свете. Он любил ее речь, любил слова, какие она выбирала, ему нравились ее подвижный рот, ее накрашенные губы, шевелящиеся над дурными зубами. Он любил ее забавный сверкающий клык, любил слушать, как она декламирует стихи на урду, большую часть — если не все — которых он просто не понимал. Саддам не знал стихов и почти не понимал урду. Но зато он знал множество других вещей. Он знал, как ободрать корову или буйволицу, не повредив шкуру. Он знал, как надо ее засолить и задубить раствором лайма и танина, чтобы получилась мягкая и прочная кожа. Он знал, как определить на вкус качество дубящей жидкости. Он знал, как сушить кожу, как очищать ее от шерсти и жира, как ее отбеливать, как мять и полировать ее до ослепительного блеска. Знал он и что тело человека содержит от четырех до пяти литров крови. Он видел,

как эта кровь лилась из людей и растекалась по земле за полицейским постом в Дулине, на шоссе Дели — Гургаон. Странно, но лучше всего он запомнил вереницу дорогих машин и мечущихся в свете фар насекомых. Еще он помнил, что никто не остановился, чтобы помочь.

Он понимал, что не было ни плана, ни простого совпадения в том, что он попал в это место Падших Людей. Это была волна судьбы.

— Кого ты хочешь обмануть? — спросила его Анджум.

— Только Бога, — улыбнувшись, ответил Саддам. — Не тебя.

— Произнеси калиму... — величественно, словно император Аурангзеб, приказала ему Анджум.

— Ла илаха... — заговорил Саддам, но потом умолк, как хазрат Сармад. — Дальше не знаю. Еще не выучил.

— Ты чамар, как и все эти парни из морга. Ты не солгал этой суке *харамзади* Санджите-мадам. Ты назвал ей свое настоящее имя. Ты лжешь мне, но я не могу понять зачем, потому что мне наплевать, кто ты — мусульманин, индус, мужчина, женщина. Мне все равно, из какой ты касты. Да будь ты хоть очком верблюда! Но почему ты называешь себя Саддамом Хусейном? Знаешь, он был изрядной сволочью.

Анджум прибегла к слову «чамар», а не к более политкорректному «далит», которое стали употреблять в последние годы для обозначения тех, кого правоверные индусы считали неприкасаемыми. Правда, следуя своим правилам, она и себя называла исключительно хиджрой. Она не видела проблемы в употреблении слов «хиджра» или «чамар».

Некоторое время они лежали рядом и молчали, а потом Саддам решил поведать Анджум историю, которую он до этого не рассказывал никому, — историю об оранжевых попугаях и дохлой корове. Это тоже была история о везении, не о везении мясников, но о чем-то очень похожем.

— Ты права, — сказал Саддам Анджум. Он действительно солгал ей и сказал правду суке *харамзади* Санджите-мадам. Саддам Хусейн — это вымышленное имя, а на самом деле его и правда зовут Даячанд. Он родился в семье чамаров — кожевников — в деревне Бадшахпур в штате Харьяна, в паре часов езды от Дели.

Однажды, после телефонного звонка, он, его отец и еще три друга отца взяли напрокат фургон и отправились на нем в соседнюю деревню, забрать на какой-то ферме труп издохшей коровы.

— Мы всегда этим занимались, — сказал Саддам. — Когда у какого-нибудь фермера из более высокой касты сдыхала корова, он звонил нам, чтобы мы забрали труп. Они же сами не могут оскверниться прикосновением к дохлому животному.

— Да, да, я знаю, — с плохо скрытым восхищением перебила его Анджум. — Они все такие чистюли, такие недотроги — не едят лук, чеснок, мясо...

Саддам не обратил внимания на эту реплику.

— Ну вот, значит, нам надо было поехать в ту деревню, забрать труп, ободрать его и сделать из шкуры кожу... Дело было в 2002 году. Я тогда еще ходил в школу. Ты лучше меня знаешь, что тогда творилось... как все это выглядело. Твое несчастье произошло в феврале, а мое — в ноябре. Это было на праздник Дашахра. По дороге мы проехали Рамлилу, где на площади были установлены огромные чучела демонов — Равана, Мегхнада и Кумбхакарана. Эти чучела высотой были с трехэтажный дом, а вечером их должны были взорвать.

Мусульманке из Старого Дели не стоило много рассказывать об индуистском празднестве девяти ночей — Дашахра. Его отмечали ежегодно в Рамлиле, в пригороде Дели, сразу за Туркменскими воротами. Каждый год чучела Равана, десятиглавого демонического царя Ланки, его брата Кумбхакарана и сына Мегхнада вырастали до невообразимой величины и начинялись взрывчаткой. С каждым годом Рамлила, история богочеловека Рамы, царя Айодхьи, победителя Равана, история, бывшая для индусов историей победы Божества над Злом, разыгрывалась со все большей агрессивностью и все более пышно. Спонсоры явно не жалели денег. Некоторые отважные ученые предположили, что на самом деле Рамлила была всего лишь мифологизированной историей, что злобные демоны были на самом деле темнокожими дравидами — туземными правителями, а индийские боги, победившие их и обратившие в неприкасаемых и в другие угнетаемые касты, обязанные прислуживать новым правителям, были арийскими завоевателями. В подтверждение своих предположений ученые ссылались на деревни, в которых местные жители поклонялись божествам, включая и Равана, которых в индуизме считали демонами. В господствовавшей политической обстановке простым людям не надо было быть великими учеными — пусть даже они и не могли выразить это словами, — чтобы понимать, что в этом неуклонном возвышении Попугайского рейха, независимо от того, что говорилось в писаниях и чего в них не говорилось, оранжево-желтые попугаи считали злобными демонами не просто каких-то древних туземных царей, а всех, кто не был индусом, включая, естественно! — жителей Шахджаханабада.

Когда чучела взрывали, оглушительный грохот прокатывался по узким улочкам Старого города и мало находилось таких, кто не понимал, что все это должно было означать.

Каждый год, наутро после того, как Добро побеждало Зло, Ахлам Баджи, повитуха, ставшая бродячей королевой с грязными волосами, отправлялась в Рамлилу покопаться в мусоре и всегда возвращалась с луками и стрелами, а иногда с огромными искусственными усами, таким же огромным глазом, рукой или с мечом, вызывающе торчавшим из ее пакета из-под удобрений.

Так что, когда Саддам упомянул Дашахра, Анджум сразу поняла все страшные и разнообразные значения этого слова.

— Мы легко нашлидохлую корову, — продолжил свой рассказ Саддам. — Это всегда легко, мы находим труп по зловонию. Труп мы погрузили в фургон и поехали домой. По дороге мы остановились у полицейского участка в Дулине, чтобы заплатить начальнику давно оговоренную сумму — его долю. Начальника участка звали Сехрават. Но в тот день он запросил больше. Не просто больше, а в *три* раза больше. Это означало, что мы просто потеряем все деньги, потому что не смогли бы продать кожу за такую сумму. Мы хорошо знали этого Сехравата. Я не знаю, что тогда на него нашло: может быть, ему были нужны деньги на выпивку — отметить Дашахра, может быть, у него были долги — не знаю. Может, он просто хотел воспользоваться политической ситуацией. Отец и его друзья попытались его умаслить, но он не хотел ничего слушать. Он страшно разозлился, когда они сказали, что у них просто нет с собой таких денег. Он арестовал их за «убийство коровы» и загнал в камеру. Меня полицейские не тронули. Отец сохранял полное спокойствие, и я тоже не стал тревожиться. Я ждал на улице, уверенный, что в участке сейчас идет отчаянный торг, который закончится каким-нибудь соглашением. Прошло два часа. Мимо меня проходили толпы людей, направлявшихся на вечерний фейерверк. Некоторые были наряжены богами — Рамой, Лакшманой, Хануманом. Маленькие дети были вооружены луками и стрелами, на некоторых красовались обезьяньи хвосты, а лица были вымазаны красной краской. Лица других участников были выкрашены в черный цвет — они играли демонов; все шли участвовать в Рамлиле. Проходя мимо нашего фургона, они дружно зажимали носы — труп коровы сильно вонял. На закате загремели взрывы и раздались ликующие вопли толпы. Я тогда очень жалел, что не смог участвовать в празднике. Но отца и его товарищей все не было. А потом — я не знаю, как это случилось, может быть, полицейские распространили слух или просто позвонили нескольким людям — около полицейского участка начала собираться толпа, требовавшая выдать ей «убийц коров». Доказательством для них быладохлая корова в фургоне, нестерпимо вонявшая на всю округу. Толпа

заняла шоссе, и движение остановилось. Я не знал, что мне делать, не знал, куда спрятаться, и смешался с толпой. Люди начали выкрикивать: «*Джай Шри Рам!*» и «*Ванде Матарам!*» К этому кличу присоединялось все больше и больше народа — толпа начала приходить в неистовство. Какие-то люди ворвались в полицейский участок и выволокли на улицу отца и трех его друзей. Их начали избивать — сначала кулаками и ногами, а потом металлическими прутьями и домкратами. Я не видел, что происходило, но слышал их крики...

Саддам посмотрел Анджум в глаза.

— Я никогда в жизни не слышал ничего похожего... Это был странный, почти животный крик, в нем не было ничего человеческого. Но потом рев толпы заглушил его. Но мне не надо ничего тебе рассказывать, ты ведь и сама все понимаешь... — голос Саддама дрогнул, теперь он говорил почти шепотом. — Все стояли и смотрели. Никто даже не попытался их остановить.

Дальше Саддам говорил о том, что, когда толпа покончила с «убийцами коров», все стоявшие на дороге машины зажгли фары, словно празднуя славную победу, и двинулись вперед, разбрызгивая кровь, как дождевую воду. Кровь его отца текла по дороге, словно кровь на праздник жертвоприношения.

— Я был частью толпы, убившей моего отца, — с трудом выдавил из себя Саддам.

Анджум почувствовала, что вокруг нее снова вот-вот поднимутся гудящие стены покинутой ею крепости с мрачной башней-тюрьмой. Они с Саддамом теперь слышали биение сердец друг друга. Слов не было, Анджум не могла даже выразить сочувствие. Но Саддам понимал, что она внимательно его слушает. Помолчав, он снова заговорил:

— Через несколько лет моя мать, и без того не очень здоровая, умерла, и я остался на попечении дяди и бабушки. Я бросил школу, украл немного денег у дяди и убежал в Дели. Там я жил, как нищий, не меняя одежды, с несколькими рупиями в кармане. Мной владела только одна мысль — убить эту сволочь Сехравата, и я его, рано или поздно, убью. Я ночевал на улицах, мыл грузовики, а несколько месяцев даже работал на очистке канализации. Потом мой друг Нирадж, мой односельчанин, — он теперь работает в муниципальной корпорации, и ты его знаешь...

— Да, — Анджум кивнула головой, — такой высокий красивый парень...

— Да, он. Нирадж хотел стать фотомodelью, но там надо платить такие взятки... Сейчас он водитель грузовика в муниципальной

корпорации. Но он помог мне устроиться на работу в морг, где мы с тобой познакомились... Я прожил в Дели уже несколько лет, когда однажды забрел на какую-то выставку и там посмотрел телевизор — шли вечерние новости. Показывали, как вешали Саддама Хусейна. Я ничего о нем не знал, но на меня произвело неизгладимое впечатление мужество, с каким он встретил смерть. Когда я купил свой первый мобильный телефон, я попросил хозяина магазина найти то видео и загрузить его в телефон. Я много раз потом его смотрел. Мне хотелось быть таким же, как он. Я решил стать мусульманином и взять его имя. Я чувствовал, что это придаст мне храбрости сделать то, что я хочу сделать, и расплатиться за это с таким же достоинством, как Саддам Хусейн.

— Саддам Хусейн был сволочью, — сказала Анджум. — Он убил много людей.

— Может быть, но он был храбрым... Вот, посмотри.

Саддам извлек из кармана свой новенький смартфон с большим экраном и запустил видео. Чтобы Анджум было лучше видно, он прикрыл экран от солнца сложенными лодочкой ладонями. В телефон был закачан телевизионный ролик, начинавшийся с рекламы увлажняющего крема — смазливая девица с блаженной улыбкой намазывала вазелином локти и стопы. Потом пошла реклама Департамента туризма Джамму и Кашмира. Люди в теплой одежде катились на санях вниз по заснеженному склону. Голос за кадром вещал: «Белизна, сказка, восторг!» Потом на экране возник телевизионный ведущий и что-то произнес по-английски, и Анджум увидела Саддама Хусейна, бывшего президента Ирака. Он выглядел очень элегантно в черном костюме, белой рубашке и с черной, словно присыпанной перцем, седеющей бородой. Он возвышался над окружавшими его палачами в черных балаклавах. Руки Саддама были связаны за спиной. Он стоял молча, пока один из этих людей повязывал ему на шею черный шарф, чтобы грубая веревка не содрала кожу с шеи во время казни. Этот шарф сделал Саддама еще элегантнее. Окруженный бормочущими что-то людьми в балаклавах, Саддам направился к эшафоту. Через голову ему на шею накинули петлю и затянули ее. Хусейн произнес молитву. На лице его, перед тем как он провалился в люк, было написано полное презрение к палачам.

— Я тоже хочу быть такой сволочью, — сказал Хусейн. — Я хочу сделать то, что должен сделать, а потом, если мне придется за это расплатиться, так же, как он, встретить смерть.

— У меня есть друг. Он живет в Ираке, — сказала Анджум, которую куда больше заинтересовал телефон Саддама, чем видео казни Хусейна. —



Его зовут Гуптаджи. Он присылает мне фото, — с этими словами она достала из кармана телефон и показала фотографии, которые Д. Д. Гупта регулярно присылал ей. — Вот Гуптаджи в своей квартире в Багдаде, Гуптаджи и его иракская подруга на пикнике, а это взрывозащитные стены, которые Гуптаджи возводит для американской армии. Некоторые выглядят как новые, а некоторые уже испятнаны пулями и граффити.

На одной из стен были размашисто написаны слова какого-то американского генерала: «Будьте профессиональными, будьте вежливыми и всегда держите в голове план, как убить всех, кого вы встретите».

Анджум не умела читать по-английски. Саддам умел, если сосредоточивался. Но на этот раз он решил этого не делать.

Анджум покончила с чаем и откинулась на спину, закрыв руками глаза. Казалось, она задремала, но это было не так. Ее снедала тревога.

— Если ты этого раньше не знал, — заговорила она после довольно долгого молчания, словно продолжая разговор — впрочем, так оно и было, если не считать того, что это было продолжение ее внутреннего диалога, — то я тебе скажу, что мы, мусульмане, тоже те еще мерзавцы, такие же, как и все прочие. Но думаю, что еще одно убийство едва ли что-то прибавит к нашему недоброму имени, оно и так замарано. Как бы то ни было, не спеши, подумай.

— Я подумаю, — отозвался Саддам, — но Сехрават должен умереть.

Саддам снял солнцезащитные очки и зажмурился от яркого света. Он включил на телефоне песню из старого индийского фильма и подпевал, без слов, но очень уверенно. Биру долакал холодный чай и потрусил прочь с листочком чая, приклеившимся к носу.

Когда солнце начало сильно припекать, они вернулись в дом, где продолжили витать в воспоминаниях о своей жизни, словно пара астронавтов, презревших законы тяготения, — ограниченные лишь фиолетовыми стенами и светло-фисташковыми дверями.

Но это не значило, что у них не было никаких планов.

Анджум ждала смерти.

Саддам ждал возможности убить.

А далеко от них, в темном густом лесу, младенец ждал срока, чтобы родиться на свет...

### 3. Рождение

*На каком языке  
дождит над скорбными  
городами?<sup>[18]</sup>*

*Пабло Неруда*

Стояло мирное время. Во всяком случае, так говорили.

Все утро знойный ветер гулял по городским улицам, поднимая тучи мелкой пыли, гоняя по мостовой крышечки пластиковых бутылок и недокуренные сигареты, швыряя все это в стекла автомобилей и в глаза мотоциклистам. Потом ветер стих, и солнце, поднявшееся уже довольно высоко, принялось немилосердно поджаривать город сквозь марево, извивавшееся в воздухе, как танцовщица, исполняющая танец живота. Люди ждали ливня, который обычно всегда приходил после пыльной бури, но ливня не было. Через плотный строй хижин, жавшихся друг к другу на берегу реки, пронесся огонь, в одно мгновение сожрав более двух тысяч домишек.

Но кассия цвела ярким желтым цветом. Каждым знойным до умопомрачения летом она протягивала свои ветки к рыжему раскаленному небу и шептала: «Плевать я хотела на тебя».

Девочка появилась на свет очень неожиданно, немного позже полуночи. Не пели ангелы, и никакие мудрецы не явились, чтобы принести дары. Но на востоке ее появление возвестили тысячи поднявшихся в небо звезд. Мгновение назад ее еще не было, а теперь вот она, извольте — на бетонной мостовой, в колыбели из мусора — серебристой сигаретной фольги, полиэтилена и пакетов из-под чипсов «Анкл чипс». Она лежала голая в пятне света, а над ней, в этом неоновом свете вился столб мошкары. Кожа ее была иссиня-темной, лоснящейся, как у тюленя. Она уже пришла в сознание, бодрствовала, но молчала, что было странно для такого крошечного создания. Вероятно, уже в эти первые краткие мгновения своей жизни она поняла, что слезы, ее слезы, едва ли кого-нибудь тронут в этом мире.

За девочкой следили привязанная к ограде тощая белая кляча, маленькая шелудивая собачонка, садовая ящерица цвета бетона, две

пальмовые белки, которым вообще-то уже давно было пора спать, и — с торчащего из-под крыши шеста — раздутая яйцами паучиха. Кроме всей этой публики рядом с девочкой, кажется, не было никого.

Город простирался на многие мили вокруг нее. Даже не город, а тысячелетняя ведьма, дремлющая, но еще не уснувшая, даже в этот поздний час. Серые бетонные эстакады дыбились, словно змеи на голове этой престарелой Медузы Горгоны, переплетаясь в желтом натриево-неоновом мареве. Тела спавших бездомных обрамляли мостовые. Люди лежали друг за другом, упираясь головами в ноги лежавших рядом, и так до самого горизонта. В морщинах дряблой кожи скрывались старые, заплесневелые тайны. Каждая морщина была улицей, а на каждой улице творился карнавал. Каждый скрипящий от артрита сустав являл площадь, где ежечасно разыгрывались представления о любви и безумии, глупостях, восторге и неопикуемых жестокостях. Эти истории разыгрывались здесь много столетий. Но это же стало и зарей возрождения. Новые хозяева старой карги решили скрыть набухшие узловатые варикозные вены под узорчатыми импортными чулочками, запихнуть обвисшие груди в упругие чашки новомодных бюстгальтеров и втиснуть подагрические ноги в остроносые туфельки на высоченных шпильках. Хозяевам очень хотелось, чтобы страшная ведьма вихляла пораженными артритом бедрами, а губы сложила в непривычную оптимистическую и приветливую улыбку. В это лето Старую Бабку решили превратить в молоденькую шлюшку.

Как же иначе, ведь ей же суждено стать суперстолицей новой мировой супердержавы. «Индия! Индия!» Это заклинание сыпалось отовсюду — с телевизионных экранов, из музыкальных видеофильмов, его можно было прочесть в газетах и услышать на деловых конференциях и ярмарках современных вооружений, на экономических конклавах и встречах по проблемам окружающей среды, на книжных ярмарках и конкурсах красоты. «Индия! Индия! Индия!»

Растянутые по всему городу огромные плакаты, щедро оплаченные одной английской газетой и фирмой, производящей отбеливающий кожу крем (он продавался тоннами), гласили: «Наше время пришло». Появилась сеть магазинов «Кмарт». На подходе были «Уолмарт» и «Старбакс», а в рекламе «Бритиш эйрвейз», мелькавшей в телевизоре, люди мира (белый, смуглый, черный и желтый) распевали Гаятри-мантру<sup>[19]</sup>:

Ом бхур бхувах сваха  
Тат савитур вареньям  
Бхарго девасья дхимахи

Дхийо йо нах праходаят

О Бог, податель жизни,  
Утешитель в боли и скорби,  
Творец счастья,  
О Создатель Вселенной,  
Да узрим мы высший свет, сжигающий грех,  
Да, поведешь ты наш разум в верном направлении.

*(И да пусть все летают самолетами «Бритиш эйрвейз»)*

После окончания мантры люди мира соединяли перед собой ладони и произносили «намасте», каждый со своим акцентом и выговором, улыбаясь при этом, как улыбаются новым иностранным постояльцам носящие тюрбаны швейцары пятизвездочных отелей, с огромными, как у махараджей, усами. При всем том, по крайней мере в рекламе, историю переворачивали вверх дном. («Кто теперь кланяется? Кто улыбается? Кто подает прощения? И самое главное, кто их принимает?») Лучшие граждане Индии тоже улыбались в своих снах. «Индия! Индия!» — скандировали они в своих сновидениях, как толпы на соревнованиях по крикету. Главный барабан задал ритм... «Индия! Индия!» Мир встал на ноги, захлебываясь ревом одобрения. Небоскребы и стальные заводы вырастали там, где раньше были леса, воды рек разливали в бутылки и продавали в супермаркетах, рыбу закатывали в жестяные банки, горы разрабатывали, превращая их в сверкающие ракеты. Огромные плотины освещали города, как рождественские елки. Все были счастливы.

Лежавшие вдали от огней и рекламных сполохов деревни пустели. Города тоже пустели. Миллионы людей снялись с насиженных мест, но никто толком не знал, куда идти.

«Людам, которые не могут позволить себе жизнь в городах, в них не место», — провозгласил член Верховного суда и немедленно приказал выселить из города всех бедняков. «Париж был настоящей помойкой до 1870 года, когда были снесены все трущобы, — вторил судье заместитель губернатора, аккуратно укладывая длинную прядь волос на лысеющую голову, чтобы прикрыть плешь, которой он сильно стеснялся. (Вечерами, когда он ходил в бассейн, эта прядь плыла рядом с ним в хлорированной воде.) — И посмотрите на Париж теперь».

Лишних людей начали изгонять.

В помощь полиции прислали несколько батальонов сил быстрого реагирования. Солдаты в странном небесно-голубом камуфляже (вероятно, для того, чтобы распугивать птиц) начали зачищать самые бедные кварталы.

Люди, жившие в трущобах, в поселках бродяг, в незаконных постройках, отчаянно сопротивлялись. Они перекапывали ведущие в их поселения дороги, заваливали их камнями и старыми сломанными вещами. Молодые люди, старики, дети, матери и бабушки, вооружившись палками и камнями, патрулировали входы в свои поселки. На одной дороге, перед выстроившимися для последнего штурма бульдозерами, жители натянули плакат: «Саркар ки маа ки чут» («Губернатор, катись в манду!»)

— Куда нам идти? — спрашивали лишние люди. — Вы можете убить нас, но мы никуда не уйдем, — говорили они.

Но их было слишком много для того, чтобы взять и просто их убить.

Вместо этого было решено сровнять с землей их дома, их двери и окна, их кустарные крыши и навесы, их горшки и сковородки, их аттестаты о школьном образовании, их продуктовые карточки, их брачные свидетельства, школы их детей, их работу, выражение их глаз — все это было сметено и уничтожено желтыми бульдозерами, привезенными из Австралии («роющими ведьмами», как прозвали люди этих чудовищ). Это были неподражаемые машины. Они могли раздавить историю, а потом вздыбить ее и создать заново, используя обломки, как строительный материал.

Вот так в лето своего обновления Старая Бабка была потрясена до основания.

Яростно соперничавшие между собой телевизионные каналы наперебой показывали картины потрясенного года под рубрикой «потрясающих новостей», и никто не замечал иронии. Телевизионные магнаты разослали своих неопытных, но красивых юных репортеров по всему городу, который эти молодые создания покрыли, словно яркая сыпь. Эти мальчишки и девчонки напористо задавали свои пустые, никчемные вопросы. Они спрашивали бедных, каково быть бедными, бездомных — каково быть бездомными, голодных — каково быть голодными. «Бхай Сахив, йех батааие, аап ко кайса лаг раха хай...?» («Скажи, брат, каково чувствовать себя...?»)

Эксперты за деньги высказывали в эфире свои авторитетные мнения. «Кто-то должен платить за прогресс», — весело говорили они.

Нищенство было запрещено. Тысячи нищих были согнаны в загоны за

колючей проволокой, а затем крупными партиями вывезены из города в вагонах для скота. Хозяевам нищих пришлось платить большие деньги, чтобы вернуть своих рабов на место.

Святой отец Иоанн обратился к властям с открытым письмом, где говорилось, что, по данным полиции, в течение прошлого года на улицах города было обнаружено три тысячи мертвых тел (человеческих). Ответа отец Иоанн не дождался.

Но... продовольственные магазины ломались от еды. Книжные магазины ломались от книг. Обувные магазины ломались от обуви. А люди (которые считались людьми) говорили друг другу: «Теперь не надо ездить за границу на шопинг. Импортные вещи продаются теперь и у нас. Смотрите, Бомбей — это наш Нью-Йорк, Дели — Вашингтон, а Кашмир — это наша Швейцария. Это просто как *саала* фантастический *яар*».

Улицы весь день были запружены машинами. Изгнанные с насиженных мест бедняки теперь жили в щелях и канавах города, то и дело выныривая оттуда, чтобы облепить очередную машину с климат-контролем. Эти несчастные продавали или пытались продать водителям и пассажирам все на свете — пылесосы для одежды, зарядные устройства для мобильных телефонов, модели реактивных самолетов, деловые журналы и пиратски изданные книги по менеджменту («Как сделать свой первый миллион», «Чего на самом деле хочет молодая Индия»), руководства для гурманов, журналы по интерьерам с цветными фотографиями загородных домов в Провансе и руководства по духовным практикам («Вы ответственны за собственное счастье...» или «Как стать лучшим другом самому себе»). На День независимости эти коробейники продавали игрушечные ружья и маленькие государственные флажки на подставке с надписью «Мера Бхарат Махан» — «Моя великая Индия». Пассажиры шикарных автомобилей выглядывали из окон и видели только новые апартаменты, которые они собирались купить, джакузи, которые они только что установили у себя в доме, и чернила, которые еще не успели высохнуть под только что подписанной удачной сделкой. Пассажиры были безмятежны после сеансов медитации и лоснились от занятий йогой.

В промышленных пригородах, в нескольких милях от центра, на болотах, утрамбованных отходами и цветными пластиковыми пакетами, на болотах, куда переселили бедных, воздух был насыщен едкими химикатами, а вода была ядовитой. Тучи комаров клубились над позеленевшими прудами. Лишние матери сидели на обломках того, что когда-то было их домом, и пели колыбельные песни своим лишним детям:

Сути раху бауа, бхаколь абаия  
Наани гаам се ангаа, сияйт абаия  
Маама санге маами, начайт абаия  
Кара санге чара, лабайт абаия

Спи, моя радость, спи, а то демоны придут.  
Из маминой деревни к тебе с рубашкою придут.  
Танцуя для тебя, дядя с тетею придут.  
На ножки, на ручки браслеты принесут, они придут...

Лишние дети засыпали, и им снились желтые бульдозеры.

В вышине, над дымным туманом и механическим гулом большого города, расстилалась огромная, бескрайняя и прекрасная ночь. Небо было лесом звезд, между деревьями которого, подобно медлительным, жалобно завывающим кометам, то и дело пролетали реактивные самолеты. Некоторые из них делали круги над затянутым туманом международным аэропортом Индиры Ганди в ожидании разрешения на посадку.

\* \* \*

Внизу же, на вымощенной площадке возле древней обсерватории Джантар-Мантар, где неведомо откуда появился уже знакомая нам девочка, толпилось множество народа — пожалуй, слишком много для этого времени суток. Здесь толкались коммунисты, мятежники, сепаратисты, революционеры, мечтатели, бездельники, наркоманы, чокнутые, всякого рода вольные художники и мудрецы, не способные, правда, ничем одарить новорожденную. Уже десять дней они не могли попасть на территорию, которую по праву считали своей, на территорию, с которой их бесцеремонно вытеснили и на которой они только и имели возможность собираться. Но теперь на пяточке возле обсерватории развернулось новое, невиданное ранее шоу. Более двадцати телевизионных съемочных групп, водрузив камеры на высокие желтые автокраны, вели круглосуточную трансляцию о только что взошедшей новой звезде, коренастом поклоннике Ганди, бывшем солдате и деревенском социальном работнике, объявившем, что он начинает смертельную голодовку для того, чтобы воплотить свою

мечту о свободной от коррупции Индии. Он смиренно лежал на спине с выражением постной и болезненной святости на лице, на фоне портрета Матери-Индии — многорукой богини с картой Индии вместо тела (естественно, это была карта неделимой Британской Индии, вместе с Пакистаном и Бангладеш). Каждый вздох этого мученика, каждый его шепот, обращенный к окружающим людям, немедленно транслировался на всю страну.

Старик явно задумал что-то серьезное. Лето возрождения города было также летом скандалов — угольных скандалов, железорудных скандалов, домостроительных скандалов, страховых скандалов, финансовых скандалов, телефонно-лицензионных скандалов, земельных скандалов, плотинных скандалов, ирригационных скандалов, скандалов с вооружениями, скандалов с вакциной от полиомиелита, нефтяных скандалов, скандалов из-за повышения цен на электричество, скандалов из-за спекуляций школьными учебниками, религиозных скандалов, скандалов из-за торговли номерными знаками и личными идентификационными карточками — в которых политики, бизнесмены, политики-бизнесмены и бизнесмены-политики получали немислимые суммы бюджетных денег.

Старик оказался дальновидным игроком, напав на золотую жилу. Он стал резервуаром общественного гнева, его выразителем и, к собственному удивлению, за одну ночь стал всеиндийской знаменитостью. Его мечта об обществе, свободном от коррупции, была подобна зеленому сочному лугу, на котором желали и могли погнаться все, включая и самых отпетых коррупционеров. Люди, между которыми в обычной жизни не было и не могло быть ничего общего (левые, правые и до сих пор не выбравшие сторону), все тянулись к старику. Его внезапное появление — словно из ниоткуда — вдохновило и внушило цель новому поколению юнцов, не искушенных пока ни в истории, ни в политике. Они приходили к обсерватории в джинсах, футболках и с гитарами, под брэнчание которых исполняли антикоррупционные песни собственного сочинения. Юнцы несли с собой плакаты, на которых было написано: «Хватит значит хватит!» и «Покончим с коррупцией сейчас!». Для того чтобы управлять всем действием, молодые профессионалы — адвокаты, бухгалтеры и программисты — учредили особый комитет. Они собрали деньги, водрузили над стариком огромный полотняный навес и развернули пропагандистскую (с изображениями Матери-Индии, гроздьями национальных флагов, шапочками Махатмы Ганди и знаменами) кампанию. Деревенские изречения старика и его приземленные афоризмы заняли весь «Твиттер» и затопили «Фейсбук». Телевизионные камеры



словно не могли на него налюбоваться. К кампании присоединились отставные чиновники, полицейские и армейские офицеры. Толпа росла.

Внезапно свалившаяся на голову старика звездная популярность не на шутку его взволновала, сделала его напористым и даже, пожалуй, чуточку агрессивным. Он вдруг почувствовал, что зря ограничился одной коррупцией, это суживало поле его деятельности и снижало политический накал. Он решил поделиться со своими почитателями тем, что накипело у него на душе, — всей своей незатейливой, буколической, но искренней мудростью. Вот тут-то и начался цирк. Старик объявил, что ведет борьбу за второе, Подлинное Освобождение Индии. Своим старческим и одновременно детским голосом он произносил зажигательные речи, которые хотя и походили по тембру на трение друг об друга двух надувных шариков, трогали нацию за живое. Словно маг на детском дне рождения, он показывал фокусы и извлекал подарки буквально из воздуха, находя что-нибудь особенное для каждого. Он наэлектризовал шовинистов-индусов (которые и так волновались, видя карту Матери-Индии) их старым и противоречивым в себе боевым кличем «*Ванде Матарам!*» — «Поклоняюсь тебе, Мать!» Когда из-за этого расстроились некоторые мусульмане, комитет организовал визит мусульманской кинозвезды из Бомбея, которая, надев молитвенную шапочку (до этого актер ни разу в жизни ее не надевал), просидела целый час на помосте возле кровати старика, символизируя «единство в разнообразии». Для традиционалистов старик цитировал Ганди. Он говорил, что кастовая система была спасением Индии. «Каждая каста должна выполнять то, к чему она предназначена от рождения, но следует уважать всякий труд». Когда далиты пришли в ярость, члены комитета нашли маленькую дочку мусорщика, нарядили ее в новенькое нарядное платьице, дали в руку бутылку воды, и посадили рядом со стариком. Тот время от времени прихлебывал из этой бутылки. Для воинствующих моралистов у старика тоже был лозунг: «Ворам надо отрубать руки! Террористов надо вешать!» Для националистов всех мастей он ревел: «Дух маангогей то кхир денгей! Кашмир маангогей то чиир денгей!» — «Попросите у нас молока, и мы дадим вам сливки! Попросите у нас Кашмир, и мы распорем вам брюхо!»

Раздавая интервью, он улыбался детской беззубой улыбкой, рассказывал о радостях своей простой аскетической жизни и объяснял, каким образом предложенная Ганди практика *рати садхана* — удержания семени — помогла ему сохранять силы во время голодовки. Для того чтобы доказать это, он на третий день голодовки пробежался вокруг площади в белой курте и дхоти<sup>[20]</sup>, а затем согнул руку, продемонстрировав свой

дряблый бицепс. Люди смеялись, кричали и подводили к нему детей для благословения.

Количество телевизионных просмотров начало зашкаливать. Реклама пользовалась бешеным успехом. Никто не видывал ничего подобного уже двадцать лет, с того дня когда в день одновременных чудес идола бога Ганеши во всех храмах страны вдруг начали одновременно пить молоко.

Однако шел уже девятый день голодовки, и, несмотря на запасы неизрасходованного семени, старик заметно ослаб. В тот день по городу поползли слухи о том, что у старика опасно поднялось содержание креатинина в крови, что говорило о нарушении работы почек. У постели старика собрались светила медицины. По очереди держа его за руку, они позировали на камеры и уговаривали его не умирать (хотя и не верили, что дело может дойти до этого). Промышленники, засветившиеся в коррупционных скандалах, жертвовали деньги в кассу его движения и шумно аплодировали твердой приверженности старика ненасильственным методам. (Его призывы к отрубанию рук, повешениям и потрошению воспринимались как разумные предостережения.)

Относительно благополучные поклонники старика, не имевшие материальных затруднений, но одновременно не знавшие, что такое плещущий в крови адреналин, и не испытывавшие чувства праведного гнева, которое приходит от участия в массовом протесте, приезжали на площадь в дорогих машинах, размахивали национальными флагами и распевали патриотические песни. Правительство Загнанного Кролика, некогда мессии индийского экономического чуда, было парализовано.

В далеком Гуджарате Гуджарат ка Лалла воспринял появление старика-ребенка как знамение свыше. Подчиняясь своему безошибочному чутью хищника, он ускорил подготовку своего марша на Дели. На пятый день голодовки старика Лалла (выражаясь метафорически) уже стоял у городских ворот со своим войском. Его армия воинственных янычар затопила площадь перед Джантар-Мантар. Они буквально ошеломили старика неистовыми изъявлениями своей поддержки. Их флаги были больше, чем у всех остальных, и пели они громче всех. Они расставили на площади прилавки и принялись бесплатно раздавать еду бедным. (Денег у них хватало, так как их снабжали гуру-миллионеры, поддерживавшие Лаллу.) Им были даны строжайшие инструкции не надевать оранжевые головные повязки, не носить оранжевые флаги и не употреблять слов «Любимец Гуджарата» даже вскользь. Это сработало. В течение нескольких дней они добились дворцового переворота. Молодые профессионалы, так тяжко потрудившиеся для раскрутки старика, были низложены, прежде чем

они сами, и даже старик, поняли, что произошло. Сочный Луг исчез. И этого никто не осознал. Загнанный Кролик стал политическим трупом. Очень скоро Любимец Гуджарата въедет в Дели. Его люди, наряженные в его бумажные маски, на плечах пронесут его по городу, неистово крича: «Лалла! Лалла! Лалла!», а потом посадят его на трон. Куда ни кинет он взгляд, он будет видеть только себя. Новый император Хиндустана. Он — океан. Он — бесконечность. Он — воплощенная человечность. Но до этого оставался еще целый год.

Пока же здесь, возле обсерватории Джантар-Мантар, сторонники Любимца Гуджарата хрипло орали лозунги против коррупции: «Мурдабад! Мурдабад!» — «Долой! Долой! Долой!» Вечерами они бросались по домам, чтобы полюбоваться на себя по телевизору. До их возвращения старик и группа его поддержки чувствовали себя очень одиноко под полотняным навесом, где могла уместиться толпа в несколько тысяч человек.

Рядом с этим антикоррупционным навесом, в небольшом, специально отведенном для этого пространстве, под ветвями тамаринда, начала смертельную голодовку другая широко известная активистка и последовательница Ганди. Она собиралась голодать от имени тысяч фермеров и местных племен Бенгалии, у которых правительство отняло землю, чтобы отдать ее нефтехимической компании под строительство угольной шахты и тепловой электростанции. Это была девятнадцатая бессрочная голодовка в ее политической карьере. Несмотря на то что это была эффектная женщина с внушительной косой длинных волос, она не могла сравниться в популярности со стариком. В причинах этого не было никакой загадки. Та нефтехимическая компания владела большинством телевизионных каналов, а на остальных обильно размещала свою рекламу. Сердитые комментаторы, гости многочисленных телевизионных студий, клеймили ее позором и утверждали, будто ее спонсирует некая «иностранный держава». Изрядное число этих комментаторов и журналистов тоже сидели на зарплате означенной компании и всю старались угодить работодателю. Однако простые люди с улицы любили ее. Седовласые фермеры отгоняли комаров от ее лица. Коренастые деревенские женщины массировали ей ноги и с обожанием заглядывали ей в глаза. Молодые начинающие активисты, некоторые из них — студенты из Европы и Америки, одетые небрежно, как хиппи, составляли на своих ноутбуках ее запутанные пресс-релизы. Несколько интеллектуалов и озабоченных граждан, сидя на корточках на мостовой, терпеливо

разъясняли фермерам их права, за которые эти фермеры бились уже не первый год. Доктора философии из иностранных университетов, изучавшие общественные движения (это было самое популярное научное направление в социологии), брали длинные интервью у фермеров, очень довольные тем, что для этого не надо было тащиться к черту на рога, в глухую сельскую местность, где не было туалетов и было не сыскать фильтрованную воду в бутылках.

Дюжина крепких молодых людей в гражданской одежде, но не с гражданской выправкой и стрижкой (очень короткой сзади и с боков), в отнюдь не гражданских носках и ботинках (носки цвета хаки и коричневые ботинки) бродили по толпе, откровенно подслушивая чужие разговоры. Некоторые из этих молодых людей притворялись журналистами и снимали разговоры на портативные камеры. Особое внимание эти люди обращали на молодых иностранцев (многим из которых вскоре наверняка аннулируют визы).

От света телевизионных юпитеров горячий воздух казался еще горячее. Мотыльки-самоубийцы отважно бросались на солнечные отражатели, и в воздухе плавал густой запах сторевших насекомых. Пятнадцать инвалидов, устав от долгого попрошайничества в знойный день, мрачно кучковались в темноте, вне круга света, прислонившись сгорбленными спинами к выданным им бесплатно велоколяскам. Обездоленные фермеры и их знаменитая предводительница вытеснили нищих с самого прохладного и тенистого места на площади, где они обычно жили. Так что симпатии нищих целиком и полностью были на стороне нефтехимической компании. Они хотели только одного — чтобы фермеры поскорее закончили свою агитацию и убралась подобру-поздорову, а они, нищие, смогли бы вернуться на свое законное место.

В некотором отдалении какой-то человек с голым торсом, на который были густо наклеены плоды лайма, шумно сосал из пакета тягучий сок манго. Человек отказывался объяснять, зачем он наклеил на себя все эти плоды, как и то обстоятельство, почему он пьет сок манго, если, по всей видимости, рекламирует лаймы. Если же кто-то настаивал на ответе, то человек начинал не на шутку злиться. Другой свободный художник, называвший себя «мастером перформанса», бесцельно бродил в толпе, одетый в строгий костюм с галстуком и в английскую шляпу-котелок. Издали могло показаться, что на костюме нарисованы сикхские кебабы, но при ближайшем рассмотрении оказывалось, что это превосходно выписанные какашки. Увядшая красная роза, приколотая к лацкану пиджака, почернела, но зато из нагрудного кармана выглядывал уголок

безупречно белого платка. Когда человека спрашивали, в чем суть этого перформанса, он, в отличие от человека с лаймами, очень вежливо и терпеливо отвечал, что его тело — инструмент его творчества, а так называемому цивилизованному миру он хотел указать на неуместность отвращения к дерьму, которое есть всего лишь переработанная пища. И, между прочим, наоборот. Кроме того, он объяснял, что хочет вывести высокое искусство из музеев и приблизить его к Народу.

Неподалеку от человека-лайма сидели Анджум, Саддам Хусейн и устад Хамид (человек-лайм, кстати, не обращал на них никакого внимания). Вместе с ними была удивительно красивая молодая хиджра Ишрат, гостья постоянного двора «Джаннат», приехавшая из Индора. Конечно, это была идея Анджум — которую постоянно обуревали заботы о «помощи бедным» — сходить на Джантар-Мантар и посмотреть, что это за борьба за Подлинное Освобождение, о котором день и ночь трубило телевидение. Саддам с пренебрежением отмахнулся от этой идеи: «Не надо туда ходить, чтобы это понять. Я сам сейчас скажу: это все устроили сами коррупционеры». Но Анджум была непреклонна, и, конечно, Саддам не мог позволить ей пойти туда одной. Так и составила эта маленькая партия — Анджум, Саддам (он по-прежнему был в темных очках) и Ниммо Горакхпури. Устад Хамид, который просто зашел на кладбище навестить Анджум, был привлечен к экспедиции попутно, как и Ишрат. Было решено идти ночью, когда народа на площади было сравнительно немного. Анджум надела один из своих поношенных патхани, но не устояла перед искушением заколоть волосы, завернуться в дупатту и немного подкрасить губы. Ишрат нарядилась, будто на собственную свадьбу, — в огненно-розовую курту с блестками и зеленые патиальские шальвары. Она выслушала все благоразумные советы и вопреки им накрашила губы в розовый цвет, а драгоценностей нацепила столько, что сияла, как костер в ночи. Ниммо привезла Анджум, Ишрат и устада Хамида в машине. Саддам обещал ждать их на месте. На Джантар-Мантар он приехал верхом на Пайяль и привязал ее на некотором отдалении к ограде (пообещав щекастому мальчишке, чистильщику ботинок, две плитки шоколада и десять рупий, если тот присмотрит за кобылой). Видя тревогу Ниммо, Саддам попытался развлечь ее видеороликами с животными, которых в его телефоне было много. Некоторые он снял сам — на них были собаки, кошки и коровы, которых он встречал во время своих скитаний по городу. Другие ролики ему присылали на ватсап друзья: «Смотри, этого парня зовут Чаддха-Сахиб, и он никогда не лает. Каждый день, ровно в четыре, он приходит в парк, к своей подружке. Эта коровка любит помидоры, и я

каждый раз приношу ей несколько штук. У этого пса сильная чесотка. Ты когда-нибудь видела, как лев становится на задние лапы и целует женщину? Да, это женщина, не сомневайся. Вот увидишь, когда она обернется». Так как на видео не было ни баранов, ни западной женской моды, Ниммо Горакхпури очень скоро заскучала, извинилась и откланялась. Анджум, напротив, была очарована суматохой, знаменами и обрывками разговоров. Она настояла на том, что надо остаться и «что-нибудь узнать». Как и все остальные группки, они расположились на своем маленьком пятачке, в своей, так сказать, штаб-квартире. Отсюда Анджум отправила своего представителя — его превосходительство, чрезвычайного и полномочного посла Саддама Хусейна — переходить от группы к группе, присаживаться к людям и выяснять, откуда они пришли, против чего протестуют и чего требуют. Саддам послушно выполнил приказ и, посидев с какой-нибудь группой, возвращался и докладывал Анджум, что ему удалось узнать. Она сидела на мостовой, скрестив ноги и подавшись вперед, и внимательно слушала Саддама, кивая и иногда улыбаясь, но не глядя на него, потому что в этот момент внимательно, сияющими глазами, рассматривала группу, от которой вернулся ее посол. Устада Хамида несколько не интересовало то, что рассказывал Саддам. Но эта экспедиция отвлекла его от скучной домашней обыденщины, он был рад вылазке и мурлыкал какую-то мелодию, рассеянно оглядываясь по сторонам. Ишрат, совершенно неуместно одетая и охваченная абсурдным тщеславием, непрерывно снимала селфи с самых разных ракурсов. Несмотря на то что на нее практически никто не обращал внимания — она точно не могла составить конкуренцию старику-ребенку, — Ишрат все же не рисковала отходить далеко от своей группы. В какой-то момент она и устад Хамид вдруг захихикали, как школьницы. Когда Анджум спросила, что их так рассмешило, устад рассказал, как его внуки подучили бабушку называть его (ее мужа) «bloody fucking bitch», объяснив, что в английском языке это очень нежное и ласковое обращение.

— Она совершенно не понимала, что говорит, у нее был такой нежный взгляд, когда она это произносила, — смеясь, сказал устад Хамид. — Bloody fucking bitch! Так меня называет моя бегум...

— Что это означает? — спросила Анджум. (Она знала, что означает слово «bitch», но не знала перевода слов «bloody» и «fucking»). Прежде чем Хамид приступил к объяснению (хотя и он точно не знал, что все это значило, но знал, что это плохие слова), в их разговор вмешались длинноволосый бородатый мужчина в легкой поношенной одежде и столь же небрежно одетая девушка с роскошными распущенными длинными

волосами. Они объяснили, что снимают документальный фильм о протесте и сопротивлении, и ключевой, повторяющейся темой этого фильма должна была стать фраза «Другой мир возможен», которую протестующим надлежало произносить на разных языках. Например, если их родной язык был хинди или урду, то они могли сказать: «Дусри Дуния мумкин хай...». Они установили камеру, пока говорили, и попросили Анджум смотреть прямо в объектив. Они понятия не имели, что значило слово «Дуния» в лексиконе Анджум. Она, со своей стороны, совершенно ничего не поняв, тупо смотрела в камеру. «Хум дусри Дуния се аайе хайн», — сказала она, что значило: «Мы пришли оттуда... из другого мира».

Юные кинематографисты, которым предстояло работать всю ночь, обменялись взглядами и решили отправиться дальше и не тратить время на объяснение того, что им было нужно, — это затянулось бы слишком надолго. Они поблагодарили Анджум и перешли на другую сторону дороги, где сидели несколько группок под своими личными навесами.

В первой группе было семь бритых наголо мужчин, одетых в белые дхоти. Эти люди поклялись молчать до тех пор, пока хинди не объявят единственным национальным языком Индии — ее официальным родным языком — вместо двадцати двух официальных языков и сотен неофициальных. Трое бритых мужчин спали, а остальные четыре стянули с лиц белые хирургические маски (доказательство соблюдения обета молчания), чтобы попить чаю. Так как они не могли говорить, документалисты дали им в руки небольшой транспарант, на котором было написано: «Другой мир возможен». Затем молодые люди удостоверились, что в кадр не попадет транспарант с требованием объявления хинди единственным национальным языком, потому что считали это требование чересчур ретроградным. Тем не менее эти колоритные бритые мужчины представляли собой очень выигрышный кадр, и киношники не захотели упускать возможность.

Неподалеку от бритых мужчин довольно обширное место занимали пятьдесят представителей тысяч жертв утечки газа, случившейся в 1984 году в Бхопале на заводе «Юнион карбайд». Они сидели здесь, на мостовой, уже целых две недели. Семеро из них держали бессрочную голодовку, и состояние их день ото дня становилось все хуже. Все они пришли в Дели из Бхопала пешком, преодолев сотни километров под беспощадными лучами палящего солнца, чтобы потребовать компенсаций: чистой воды и медицинской помощи для себя и двух поколений детей-мутантов, которые рождались у них после утечки газа. Загнанный Кролик отказался встретиться с бхопальцами. Не интересовали они и

телевизионщиков; борьба этих людей началась давно, продолжалась долго и не могла стать горячей новостью. Фотографии детей-уродцев, абортированных эмбрионов, законсервированных в склянках с формалином, и тысяч погибших, искалеченных и ослепших от утечки газа людей висели на ближайших оградах кошмарными флагами. На маленьком телевизионном экране — электричество для него бхопальцы протянули из расположенной неподалеку церкви — непрерывно демонстрировали старые черно-белые хроникальные кадры: жизнерадостный, молодой и подтянутый Уоррен Андерсон, американский президент корпорации «Юнион карбайд», прибывает в аэропорт Дели через несколько дней после катастрофы. «Я только что прилетел, — говорит он осаждающим его репортерам, — и пока не знаю подробностей. Что вы от меня хотите?» Он смотрит в камеру и машет рукой: «Привет, мам!»

В ночи непрерывно звучало это «Привет, мам!», «Привет, мам!», «Привет, мам!», «Привет, мам!».

Над бхопальцами был развернут потускневший за несколько десятилетий плакат: «Уоррен Андерсон — военный преступник». Рядом висел и плакат поновее: «Уоррен Андерсон убил больше людей, чем Усама бен Ладен».

Рядом с бхопальцами сидели работники делийского «Кабаади-Валлахс» — профсоюза работников мусороуборочных служб и канализации. Они протестовали против приватизации служб, отданных во владение той же корпорации, что получила земли фермеров под строительство электростанции. Собственно, та же компания уже распределяла в Дели электричество и воду, а теперь — всего-то — получала в управление сбор мусора и канализацию.

Рядом с мусорщиками и золотарями находилось самое роскошное место площади, блистательный общественный туалет с вращающимися зеркальными дверями и отполированным гранитным полом. Свет в туалете горел круглосуточно. Помочиться в нем стоило одну рупию, справить большую нужду — две, а принять душ — три. Немногие обитатели площади могли позволить себе такую роскошь, и почти все мочились снаружи, стоя у стены туалета. В результате безупречный изнутри туалет снаружи источал одурманивающий запах застоявшейся мочи. Для владельцев туалета это было не страшно, потому что доходы поступали им из других источников — стены туалета были местом рекламы, которая менялась еженедельно.

В эту неделю туалет рекламировал новейший шикарный автомобиль «Хонда». У рекламы был свой собственный персональный охранник.



Гулабия Вечанья жил рядом с рекламным щитом под маленьким синим пластиковым навесом. Это жилище стало вехой в его карьере и большим шагом в сравнении с его прежним положением. Год назад, когда он только приехал в Дели, Гулабия ночевал на дереве — из малодушного страха и по необходимости. Теперь же у него была работа и некое подобие крыши над головой. Логотип охранной организации, в которой он работал, был вышит на погонах, украшавших его запятнанную голубую рубашку: TSGS. (Соперничавшая контора суки *харамзаади* Санджиты-мадам имела другую аббревиатуру: SSGS.) Гулабия должен был охранять рекламный щит от вандалов, в частности пресекать попытки некоторых вырожденцев помочиться на рекламу. Работал Гулабия семь дней в неделю по двенадцать часов в день. В эту ночь Гулабия напился допьяна и спал мертвым сном, когда кто-то распылил по рекламе серебряистой «Хонды» красную надпись: «Инкилаб зиндабад! Да здравствует революция!». Ниже кто-то нацарапал короткое стихотворение:

Чхин ли тумне гариб ли рози роти  
Аур лага дийе байн фис карне пе татти

Вы отняли у бедняков их хлеб насущный  
И обложили налогом их помет.

Завтра утром Гулабия будет уволен. Тысячи таких, как он, выстроятся в очередь, чтобы заменить его. (Возможно, одним из соискателей станет и безвестный уличный поэт.) Но сейчас Гулабия безмятежно спит и видит сон. Во сне у него достаточно денег, чтобы прокормиться, так что он может немного отсылать домой, в деревню, своей семье. В его сне деревня до сих пор существовала. Она еще не стала дном водохранилища. Рыбы еще не плавали по комнатам его дома, заплывая туда в окна. Крокодилы еще не отгрызали ветви у тутовых деревьев, а туристы не разъезжали на глиссерах над его полями, разбрызгивая в воздухе радужные от дизельного топлива облака брызг. Во сне его брат Луария еще не был экскурсоводом на дамбе и не рассказывал туристам о чудесах, сотворенных этой дамбой. Мать его еще не работала уборщицей у главного инженера электростанции, чей дом был построен на земле, ранее принадлежавшей матери. Во сне ей еще не приходилось воровать манго со своих собственных деревьев. Она еще не жила в колонии переселенцев в железной хижине с железной крышей, на

которой летним днем можно было жарить лук. Во сне Гулабии река еще была жива и мирно текла в своих берегах. Голые дети сидели на камнях и играли на самодельных дудочках, а в жаркие дни купались в речке вместе с буйволами. В лесах, покрывавших прибрежные холмы, жили леопард, олень с ветвистыми рогами — замбар и ленивый, неповоротливый медведь. В этих лесах во время празднеств жители деревни собирались со своими барабанами, пили и танцевали по многу дней.

От прежней жизни у Гулабии остались лишь воспоминания, дудочка и серьги (которые ему было запрещено носить на работе).

В отличие от безответственного Гулабии Вечаньи, который пренебрег своими обязанностями и не смог уберечь от поругания серебристую «Хонду», Джанак Лал Шарма, «ответственный за туалет», не спал и работал в поте лица, внося поправки в свой регистрационный журнал — толстую тетрадь с загнутыми уголками страниц. Деньги в бумажнике были аккуратно разложены по купюрам одинакового достоинства. Для мелочи у Джанака был отдельный кошелек. Свою заработную плату он увеличивал, разрешая активистам, журналистам и телевизионщикам подзаряжать мобильные телефоны, ноутбуки и камеры в розетках туалета по цене шести душей и одного испражнения (то есть за двадцать рупий). Иногда он позволял людям покакать по цене малой нужды и не заносил это в свой гроссбух. Поначалу он осторожничал с антикоррупционными активистами. (Их было легко отличить — они были не так бедны, как остальные, но зато более агрессивны; они были модно одеты в джинсы и футболки, но носили шапочки, как у Ганди, украшенные портретом по-детски улыбавшегося старика.) Джанак Лал Шарма брал с них справедливую, официальную цену за отправление соответствующих физиологических надобностей и тщательно фиксировал это в журнале. Однако многие активисты, особенно вторая волна — эти были агрессивнее первых, — стали возмущаться: почему им приходится платить больше, чем остальным. Вскоре и с ними бизнес пошел по накатанной колее. Пользуясь дополнительным заработком, он нанял уборщика, так как, хотя поддержание чистоты в туалете тоже входило в его обязанности, убираться было немыслимо для человека его касты и происхождения (он был брамином). Убирался в заведении некто Суреш Бальмики, который, как явствовало из самого его имени, принадлежал к касте, которую большинство индусов открыто, а члены правительства тайно, называли кастой говночистов. При нарастающем волнении в стране на площадь прибывали все новые и новые толпы протестующих и новые телевизионные команды, и даже при необходимости платить зарплату Сурешу Бальмики у Джанака Лала

оставалось достаточно денег, чтобы платить за маленькую квартирку.

Напротив туалета, на той же стороне дороги, что и телевизионщики (но на серьезной идеологической дистанции), находилось то, что люди на площади называли Границей: манипурские националисты требовали возвращения Закона об особых полномочиях вооруженных сил, который позволял военнослужащим убивать «по подозрению»; тибетские беженцы требовали свободы Тибета, но самой необычной и самой уязвимой группой была Ассоциация Матерей пропавших без вести. Сыновья этих женщин — а их были многие тысячи — пропали без вести, ведя войну за независимость Кашмира. (Было что-то жуткое в идущем сандтреком и бесконечно повторяющемся возгласе «Привет, мам!», «Привет мам!», «Привет, мам!»... Но, к счастью, Матери не воспринимали это как издевательство, потому что называли себя по-кашмирски «модж», а не «мам».)

Это был первый визит представительниц Ассоциации в федеральную столицу. Здесь были не только матери, но и жены, сестры и даже маленькие дети пропавших без вести. У каждой женщины была плакат с фотографией пропавшего сына, брата или мужа. На общем плакате значилось:

### ***История Кашмира***

**УБИТЫХ = 68 000**

**ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ = 10 000**

### ***Это демократия или демонократия?***

Этот плакат ни разу не попал в кадр телевизионных камер — даже случайно или по ошибке. Большинство из тех, кто ратовал за Подлинное Освобождение Индии, приходили в ярость при мысли о независимости Кашмира и о смелости кашмирских женщин.

Некоторые Матери, так же как некоторые жертвы трагедии в Бхопале, уже давно успели приесться и себе, и другим. Они рассказывали свои истории на бесконечных митингах и трибуналах — этих международных супермаркетах горя, вместе с другими жертвами других войн в других

странах. Они часто и много плакали публично, но из этого не выходило ничего хорошего и полезного для них. Ужас, который им пришлось пережить, постепенно оделся прочной непробиваемой броней.

Путешествие в Дели стало неудачным экспериментом для Ассоциации. Женщин забрасывали каверзными вопросами во время импровизированной пресс-конференции, им угрожали расправой, и дело дошло до того, что властям пришлось вмешаться — полиция взяла Матерей под охрану. «Мусульманские террористы не заслуживают прав человека! — выкрикивали тайные янычары Гуджарата ка Лаллы. — Мы видели ваш геноцид! Мы знаем, как вы проводили этнические чистки! Наши люди уже двадцать лет живут в лагерях беженцев!» Находились молодые люди, которые плевали в фотографии убитых и пропавших без вести кашмирских мужчин. «Геноцидом» и «этническими чистками» они называли массовый исход из Кашмирской долины кашмирских пандитов, когда в девяностые годы борьба за свободу обернулась вооруженным противостоянием и некоторые группы мусульманских боевиков стали нападать на крошечное индуистское население. Несколько сотен индусов были жестоко убиты, а когда правительство объявило, что не сможет обеспечить их безопасность, почти все кашмирские индусы — почти двести тысяч человек — снялись с насиженных мест и бежали в лагерь беженцев на равнине Джамму, где многие из них продолжали жить до сих пор. Некоторые янычары Лаллы, бесновавшиеся в тот день на Джантар-Мантар, как раз и были теми кашмирскими индусами, потерявшими свои дома, семьи и имущество.

Возможно, еще более обидными, чем оскорбления и плевки кашмирских индусов, показались Матерям реплики трех тощих, но прекрасно ухоженных европейских студенток, проходивших мимо к торговому центру:

— О, смотрите! Кашмир! Как интересно! Наверное, это нормально и совершенно безопасно — для туристов? Поедем туда? Там должно быть просто сногшибательно!

Ассоциация Матерей решила как-нибудь продержаться ночь и уйти, чтобы никогда больше не возвращаться в Дели. Ночевка на улице была для них новым, волнующим переживанием — у всех из них были добротные дома с кухнями и садиками. С наступлением темноты они скудно поужинали — что тоже было для них внове, — потом свернули свои плакаты и попытались заснуть, чтобы скорее проснуться и ранним утром пуститься в обратный путь, в свою прекрасную искалеченную войной долину.

Именно там, возле Матерей пропавших без вести, и обнаружилось наше тихое дитя. Правда, матерям потребовалось некоторое время, чтобы это заметить, ибо девочка была окрашена в цвет ночи. То было четко очерченное отсутствие в тени предметов, освещенных уличными фонарями. Двадцать лет жизни в условиях чрезвычайного положения, обысков на блокпостах и ночных стуков в дверь (операция «Тигр», операция «Уничтожение змей», операция «Поймать и убить») научили Матерей читать темноту, как открытую книгу. Но — коли уж речь зашла о детях — в представлении Матерей дети должны выглядеть как цветы миндаля, и непременно с румяными щечками. Матери пропавших без вести не знали, что делать с ребенком, который Явился.

И уж точно не с черным ребенком.

*Крухун кааль.*

И, конечно, не с черной девочкой.

*Крухун кааль хиш.*

Тем более если она завернута в грязное *тряпье* с мусорной свалки.

*Шикас ладх.*

\* \* \*

По панели пополз шепоток, ребенка передавали из рук в руки, как коробку с сюрпризом. Тихое недоумение распустилось громким вопросом: «Бхай бакча киска хай? Чей это ребенок?»

Тишина.

Потом кто-то вспомнил, что днем видел женщину, которую рвало в парке. Но еще кто-то сказал: «Нет, это не она».

Кто-то заявил, что это была побирушка. Еще кто-то предположил, что она была жертвой изнасилования. (В мире есть языки, где для этого понятия существует специальное слово.)

Кто-то сказал, что мать была здесь раньше, с группой, собиравшей подписи за освобождение политических заключенных. Пошли слухи о том, что речь идет о фронтовой организации маоистов, ведущих партизанскую войну в лесах Центральной Индии. Кто-то, однако, возражал: «Нет, нет, это была не она — та была одна и пробыла здесь несколько дней».

Кто-то говорил, что это бывшая любовница какого-то политика,

который бросил женщину, когда она забеременела.

Все согласились с тем, что политики — сволочи. Но все это нисколько не помогало решить главную проблему.

Что делать с ребенком?

Молчаливое дитя — то ли оттого, что стало центром всеобщего внимания, то ли от испуга — вдруг заголосило. Какая-то женщина взяла девочку на руки. (Потом многие вспоминали, что та женщина была высокая, маленькая, черная, белая, красивая, некрасивая, старая, молодая; кто-то говорил, что она чужачка, а кто-то — что ее часто видят на Джантар-Мантар.) За толстый черный шнурок, которым был опоясан младенец, был заткнут многократно сложенный листок бумаги. Женщина (красивая, некрасивая, высокая и маленькая) развернула клочок бумаги и протянула соседке, попросив прочитать написанное. Недвусмысленное послание было написано по-английски: «Я не могу ухаживать за ребенком и поэтому оставляю его вам».

После долгого негромкого, но оживленного обсуждения печально и скорее с неохотой люди решили, что ребенка следует передать полиции.

Прежде чем Саддам смог ее остановить, Анджум встала и скорым шагом направилась к тому месту, где спонтанно возник ночной Комитет по делам детей. Анджум была на голову выше большинства людей, и следить за ней было поэтому нетрудно. Колокольчики на ее щиколотках, невидимые под шальварами, вызванивали неумолчное *дзинь-дзинь-дзинь*. Для Саддама, которого внезапно охватил ужас, каждый *дзинь* звучал как выстрел. Синеватый свет уличных фонарей упал на ее легкую щетину, казавшуюся светлой на фоне неровной темной кожи, покрытой блестящим потом. Ярко сверкали камни на сережке, украшавшей великолепный, загнутый вниз, как у хищной птицы, нос Анджум. В ее облике угадывалась затаенная сила, что-то неизмеримо мощное, но в то же время совершенно ясное и понятное — вероятно, ощущение собственного предназначения.

— Мы хотим отдать ее в полицию? Я не ослышалась — в полицию? — произнесла Анджум обоими своими голосами сразу: одним, хриплым и грубым, и другим, низким и отчетливым. Белый клык ярким пятном выделялся на фоне съеденных бетелем красноватых пеньков.

Собирательным «мы» Анджум, в своей великодушной солидарности, обняла и объединила всех с собой. Ничего удивительного, что толпа восприняла это как невыносимое оскорбление.

Какой-то остроумец сказал:

— А что? Интересно, что *вы* сможете с ней сделать? Вы же не сможете превратить ее в одну из вас, не так ли? Современные технологии, конечно, продвинулись далеко, но не настолько... — Этот человек выразил всеобщее убеждение в том, что хиджры похищают младенцев мужского пола и кастрируют их. Его остроумие было вознаграждено слабым всплеском добродушного смеха.

Анджум не оставила безнаказанной вульгарность этого замечания. Она заговорила, напряженно, с силой и убежденностью, естественными и мощными, как голод.

— Она — дар Божий. Отдайте ее мне. Я одарю ее любовью, в которой она так нуждается. Полицейские отправят ее в государственный приют, где она умрет.

Иногда одному человеку удается утихомирить взбудораженную толпу. На этот раз такое удалось Анджум. Те, кто был способен ее понять, были поражены и смущены изысканностью ее урду. Владение языком противоречило тому, что знали люди о том общественном классе, к какому, как они понимали, принадлежала Анджум.

— Ее мать, должно быть, оставила ее здесь, потому что, как и я, думала, что это место — современная Кербела, что здесь ведется битва за справедливость, битва добра против зла. Наверное, она думала: «Эти люди — борцы, это лучшее, что есть в мире, и один из них наверняка возьмет себе ребенка, о котором я сама не могу позаботиться», но вы... вы хотите звонить в *полицию*?

Несмотря на гнев, несмотря на шесть футов роста и широченные плечи Анджум, речь ее не была лишена женского кокетства, а жесты — мягкости и изящества, какие сделали бы честь иной куртизанки из Лакхнау тридцатых годов.

Саддам Хусейн внутренне готовился к потасовке. Подошли Ишрат и уstad Хамид, собираясь сделать все, что было в их силах.

— Кто разрешил этой хиджре находиться здесь? За что она, собственно говоря, выступает?

Господин Аггарвал, стройный джентльмен средних лет с аккуратно подстриженными усиками и одетый в рубашку-сафарим, хлопковые брюки и шапочку Ганди с надписью: «Я против коррупции, а ты?», производил впечатление властного и грубого бюрократа, каковым он, собственно, и был до недавнего времени. Большую часть своей карьеры он провел в Департаменте налогов и сборов — до того дня, когда, по какому-то капризу судьбы, он вдруг — со своего высокого места — разглядел всю гниль

системы. Он написал прошение об отставке, оставил высокую должность и отдался «служению народу». Несколько лет он мелькал на периферии благотворительных и социальных движений, но теперь, сделавшись сподвижником голодающего старика, он стал известен, и его фотографии ежедневно красовались в газетах. Многие считали (и совершенно справедливо), что реальная сила сосредоточена именно в его руках, что старик был всего лишь харизматическим талисманом, нанятым символом, который уже отработал свое. Некоторые сторонники теории заговоров шептались о том, что старика намеренно уговаривают держаться, заставляют загнать себя в угол, накручивают до такого состояния, чтобы собственная надменность не дала ему отступить. Ходили слухи, что если старик умрет от голода под прицелом телевизионных камер, то у движения появится свой мученик, и момент его кончины станет началом головокружительной политической карьеры господина Аггарвала. Это были злые и в корне неверные слухи. Господин Аггарвал в самом деле стоял за кулисами движения, но даже он был поражен тем возбуждением, какое вызывал у толпы старый гандиец. Господин Аггарвал оседлал волну, но отнюдь не планировал постановочное самоубийство. Пройдет несколько месяцев, и ненужный талисман будет отброшен, а сам Аггарвал вольется в мейнстрим индийской политики, где потребуются столь драгоценные, но некогда отвергнутые им достоинства и навыки. Он станет достойным оппонентом Гуджарату ка Лалле.

Выдающимся преимуществом господина Аггарвала как политика было полное отсутствие в его облике чего бы то ни было выдающегося. Он ничем не выделялся на фоне многих других людей. Все в нем — манера одеваться, речь, образ мышления — было чистеньким и аккуратненьким, подстриженным и ухоженным. У него был высокий, негромкий голос и сдержанные манеры — до того момента, как он подходил к микрофону. Тут он преображался в вихрь, торнадо, вулкан устрашающей праведности. Вмешавшись в историю с младенцем, он надеялся отвлечь внимание СМИ от распрей и ссор (вроде ссоры между Матерями и Плюющей Бригадой) и обратить его на действительно, как он считал, Важные Вещи. «Это наша вторая Борьба за Свободу. Наша страна на пороге революции, — напыщенно произнес он, обращаясь к растущей вокруг него толпе. — Здесь собрались тысячи людей, потому что коррумпированные политики сделали нашу жизнь невыносимой. Если мы решим проблему коррупции, то сможем поднять нашу страну на небывалую высоту, поставить ее во главе мира. Это серьезная политика, и в ней нет места дешевому цирку». Он не



смотрел на Анджум, но слова его были обращены к ней: «У вас есть разрешение полиции на присутствие здесь? У всех должно быть такое разрешение». Анджум нависла над ним. Господин Аггарвал не хотел смотреть ей в глаза, и это означало, что он обращался напрямую к ее грудям.

Господин Аггарвал не оценил накал страстей и не просчитал ситуацию. Не все собравшиеся здесь люди симпатизировали ему. Многих возмущало до глубины души то, что его «Борьба за Свободу» отвлекала на себя главное внимание СМИ, подрывая позиции других движений. Анджум, в отличие от него, мнение толпы вообще не интересовало. Ей было абсолютно все равно, на чьей стороне были люди вокруг. В душе Анджум вспыхнул свет, наполнивший ее мужеством.

— Разрешение полиции? — едва ли можно было произнести эти два слова с большим презрением. — Это *ребенок*, а не противоправное покушение на собственность вашего отца. Обращайтесь в полицию *вы*, сахиб, уповайте на нее, все мы — остальные — пойдем кратчайшим путем и будем уповать на Всемогущего.

Саддам успел прошептать благодарственную молитву за то, что Анджум употребила нейтральное слово «худа», а не «Аллах миан», чтобы не спровоцировать открытое столкновение.

Противники прияли боевую стойку.

Анджум с одной стороны и циничный бухгалтер — с другой.

Какое красноречивое противостояние!

По иронии судьбы они оба оказались здесь этой ночью для того, чтобы уйти от своего прошлого и всего, что до сих пор очерчивало и определяло их жизнь. Но для того, чтобы подготовиться к битве, им пришлось отступить и занять позиции, к которым они привыкли, которые они занимали когда-то. И стать теми, кем они были на самом деле.

Он — революционер, запертый в разуме бухгалтера; она — женщина, запертая в мужском теле. Он, обозлившийся на мир, в котором перестал сходить баланс. Она, обозлившаяся на свои железы, органы, кожу и жесткие волосы, ширину могучих плеч и тембр своего голоса. Он, стремившийся привить честность загнивающей системе. Она, желавшая сбросить с небес звезды и сварить из них зелье, которое дало бы ей идеальные груди и бедра, косу длинных волос, при ходьбе раскачивающуюся из стороны в сторону, и — да, больше всего на свете — хотелось ей иметь вещь, для которой в Дели было столько ругательств и которая служила символом тягчайших оскорблений: *маа ки чут* — материнскую манду. Он, проведший всю свою жизнь в уклонениях от

налогов, выбивании выплат и любовных сделках. Она, годами жившая, как дерево, на кладбище, куда по утрам и вечерам являлись души старых поэтов, которых она так любила, — Галиба, Мира и Заука — являлись, чтобы читать стихи, пить, спорить и играть. Он, который всю жизнь заполнял все формуляры и всегда ставил галочки в нужные квадратики. Она, которая никогда не знала, куда ставить галочку, в какую очередь становиться и в какой общественный туалет идти — в мужской или женский. Он, уверенный в своей вечной правоте. Она, знавшая, что всегда была неправа, неправа во всем. Он, стиснутый своими определенностями. Она, черпавшая силы в своей двойственности. Он — хотевший закона. Она — хотевшая ребенка.

Противники оказались в центре круга людей, охваченных самыми разными чувствами — яростью, любопытством. Люди сравнивали соперников, взвешивали шансы. Но все это не имело никакого значения. Мыслимое ли дело, чтобы бухгалтер в гандианской шапочке устоял в публичном поединке — один на один — со старой делийской хиджрой?

Анджум наклонилась к лицу господина Аггарвала, словно собираясь его поцеловать.

— *Ай Хай!* Отчего ты так сердисься, *джаан*? Даже не посмотришь на меня?

Саддам Хусейн сжал кулаки. Ишрат схватила его за руку. Она перевела дыхание и вошла в круг, чтобы защитить Анджум способом, издавна известным одним только хиджрам: объявить войну и одновременно предложить мир. Наряд, выглядевший нелепым всего несколько часов назад, теперь как нельзя лучше подходил для того, что она собиралась сделать. Она растопыренными пальцами прикоснулась к руке Анджум и, ворвавшись в круг, начала танцевать, бесстыдно качая бедрами и сладострастно играя полами дупатты; вся ее вызывающая сексуальность была направлена на то, чтобы унижить, уничтожить господина Аггарвала, коему ни разу в жизни не случилось участвовать в честной уличной драке. Под мышками его белой рубашки начали расплзаться пятна пота.

Ишрат между тем затянула песню, которую толпа, по ее убеждению, не могла не знать — песню из фильма «Умрао Джаан» («Дорогая Умрао»), который обессмертила несравненная актриса Рекха.

Диль чиз кья хай, аап мери джаан лиджийе  
Почему только сердце, возьми и всю мою жизнь.

Кто-то попытался вытеснить ее из круга. Тогда Ишрат выпорхнула на середину улицы и принялась совершать свои пируэты на зебре, освещенная ярким светом уличных фонарей. На противоположной стороне улицы кто-то начал отбивать ритм на дафли. Люди начали подпевать. Ишрат оказалась права. Песню знали все:

Бас эк баар мера каха маан лиджийе  
Но только в этот раз, любовь моя, исполни мое желание.

Эта песнь куртизанки или, по крайней мере, одна эта строка могла послужить гимном почти для всех, кто в тот момент находился на Джантар-Мантар. Все, кто там был, верили, что они небезразличны кому-то, верили, что кто-то непременно их услышит. Что хоть кто-нибудь станет их слушать.

Внезапно началась драка. Наверное, кто-то сказал что-то непристойное, а Саддам Хусейн ударил его. Никто так толком и не понял, что произошло.

Дежурившие на площади полицейские пробудились от спячки и бросились к месту драки, щедро раздавая направо и налево удары длинными бамбуковыми палками. Очень скоро прибыли, воя сиренами и мигая синими фонарями, полицейские джипы («Мы с вами, за вас — всегда») и спецназ делийской полиции — *маадер чод бехен чод маа ки чут бехен ка лауда*<sup>[21]</sup>.

Телевизионщики не могли упустить такой шанс. Заработали камеры. Девятнадцатилетняя активистка не могла пропустить такую возможность. Она ворвалась в толпу, встала перед камерой с плакатом, на котором был изображен сжатый кулак, и, проявив незаурядное политическое чутье, тотчас заговорила о дубинках для своего народа.

Латхи голи кхаайенге!  
Вытерпим всё — и дубинки, и пули!

Ее люди откликнулись:

Андолан чалаайенге!  
Нашей борьбе мы навек присягнули!

Полиции не понадобилось много времени для того, чтобы восстановить порядок. Среди тех, кого увезли в фургонах в полицейский участок, оказались и господин Аггарвал, и Анджум, и дрожавший уstad Хамид, и даже живая инсталляция в скатологическом костюме (человек-лайм каким-то образом смог избежать этой участи). Наутро всех отпустили, не предъявив никаких обвинений.

Когда кто-то вспомнил, из-за чего все началось, ребенка уже не было.

## 4. Доктор Азад Бхартия

Последним, кто видел ребенка, был доктор Азад Бхартия, который, согласно его собственным подсчетам, держал голодовку уже одиннадцать лет, три месяца и семнадцать дней. Доктор Бхартия был настолько худ, что казался плоским, двухмерным. Виски его запали, темная, закопченная солнцем кожа туго обтягивала кости лица и кадык на длинной, худой шее. На груди резко выступали ключицы. Из глубоких глазниц на мир смотрели пытливые, горящие лихорадочным огнем глаза. Одна рука — от плеча до запястья — была в замызганной гипсовой повязке и висела на обмотанной на шее косынке. Пустой рукав невероятно грязной полосатой рубашки болтался на боку, словно несчастный флаг побежденного государства. Доктор Азад Бхартия сидел позади большого картонного щита, обтянутого мутным поцарапанным полиэтиленом. На картоне было написано:

Мое полное имя:

Доктор Азад Бхартия (Перевод: Свободный Индиец)

Мой домашний адрес:

Доктор Азад Бхартия  
Близ вокзала Лаки-Сарай  
Лаки-Сарай Басти  
Кокар  
Бихар

Мой текущий адрес:

Доктор Азад Бхартия  
Джантар-Мантар  
Нью-Дели

Образование: магистр-преподаватель хинди, магистр-преподаватель урду (диплом с отличием), бакалавр по истории, бакалавр педагогических наук, бакалавр-преподаватель пенджабского языка, магистр-преподаватель пенджабского языка (не сдан экзамен), доктор наук (вопрос решается в аттестационной комиссии), преподаватель Делийского университета

(Сравнительное религиоведение и буддийские исследования), лектор Международного колледжа в Газиабаде, приглашенный исследователь в Университете Джавахарлала Неру в Нью-Дели, основатель «Вишва Самаджвади Стхапана» (Форум Народов Мира) и член Индийской социал-демократической партии (выступает против роста цен).

Моя голодовка направлена против следующих проблем: я против капиталистической империи, я против капитализма США, против индийского и американского государственного терроризма / всех видов ядерного оружия и военных преступлений, плюс против плохой системы образования / коррупции / насилия / загрязнения окружающей среды и Всех Других Зол. Я также против безработицы. Я голодаю за полное уничтожение класса буржуазии. Я все время помню о всех бедных людях этого мира: рабочих, крестьянах, аборигенах, далитах, оставленных женщинах и мужчинах, детях и людях с ограниченными возможностями.

Большой желтый пластиковый пакет торгового центра «Джайсис Сари Палас» стоял рядом с доктором Азадом Бхартией, напоминая желтого человечка. В пакете виднелись какие-то газеты и бумаги, частью напечатанные, а частью написанные от руки на английском и хинди. Несколько копий документов — бюллетени и разнообразные переводы — лежали прямо на мостовой, придавленные к асфальту камнями. Доктор Азад говорил, что продает их по полной цене для всех и со скидкой для учащихся:

«Мой новостной обзор» (расширенный и дополненный)

Мое первоначальное имя, данное мне родителями, было Индер Й. Кумар. Я сам выбрал для себя имя доктор Азад Бхартия. Это новое имя было официально зарегистрировано 13 октября 1997 года в суде вместе с английским переводом: Свободный/Освобожденный

Индиец. Приложено также и мое заявление, подтвержденное присягой. Это не оригинал; это копия, удостоверенная магистратом Патиалы.

Если вы согласитесь с тем, что это мое истинное имя, то будете одновременно иметь право думать, что я — не настоящий доктор Азад Бхартия, ибо настоящему доктору здесь не место, он не может находиться здесь, в общественной тюрьме на общественной дороге — смотрите, она даже огорожена решетками. Вероятно, вы подумаете, что настоящий доктор Азад Бхартия должен быть современным человеком, живущим в современном доме и имеющим машину и компьютер или, по крайней мере, живущим вон в том высоком здании, в пятизвездочном отеле. Он называется «Меридиан». Если вы поднимете голову и посмотрите на окна двенадцатого этажа — это окна ВИП-номера с кондиционером, куда доставляют завтрак и где есть роскошная ванна. В этом номере жили пять собак, прибывших вместе с президентом США во время его последнего визита в Индию. Собственно, мы не имеем права называть этих существ собаками, потому что они состоят на действительной военной службе и носят чин капрала. Говорят, что эти капралы могут чувствовать спрятанные бомбы, а также умеют пользоваться ножом и вилок. Говорят, что швейцар в гостинице должен отдавать им честь, когда они выходят из лифта. Я не знаю, правдивы или нет эти сведения, я не мог их проверить. Однако, возможно, вы слышали, что эти собаки посетили мемориал Ганди в Раджгхате? Это реальный факт, он подтвержден, о нем писали в газетах. Впрочем, мне все равно. Я не восхищаюсь Ганди. Он был реакционером. Он был бы счастлив, если бы узнал, что на его мемориал привели собак. Они лучше, чем все эти высокопоставленные убийцы, которые регулярно приносят цветы к его мемориалу.

Но почему доктор Азад Бхартия находится здесь, на мостовой, в то время как американские собаки живут в пятизвездочном отеле? Вероятно, это главный вопрос, который приходит вам в голову.

Ответ очень прост: я здесь, потому что я — революционер. Я держу голодовку вот уже больше одиннадцати лет. Уже пошел двенадцатый. Но как может выжить человек, держащий голодовку двенадцать лет? Ответ заключается в том, что я разработал научный метод голодания. Я ем (легкое овощное блюдо) один раз в 48–58 часов. Для меня это больше чем достаточно. Вы можете спросить, как доктор Азад Бхартия, не имея ни работы, ни зарплаты, позволяет себе есть один раз в 48–58 часов. Позвольте сказать вам, что здесь, на мостовой, ежедневно находятся бедняки, готовые поделиться со мной своей бедностью. Если бы я захотел, то, сидя здесь, я мог бы разжиреть, как махараджа Майсура. Клянусь Богом. Это было бы очень легко. Но я вешу сорок два килограмма. Я ем только для того, чтобы жить, а живу для того, чтобы бороться.

Изо всех сил я стараюсь говорить правду и поэтому хочу разъяснить, что вопрос о присуждении мне докторской степени в настоящее время находится в процессе решения. Я использую это звание, так сказать, авансом, только для того, чтобы заставить людей слушать меня и верить моим словам. Если бы у нас в стране была нормальная политическая ситуация, то я не стал бы этого делать, потому что, строго говоря, это нечестно. Но иногда, особенно в политике, приходится применять яд в качестве противоядия.

Я сижу здесь, на Джантар-Мантар, уже одиннадцать лет. Это место я изредка покидаю только для того, чтобы посещать интересующие меня семинары и встречи в Конституционном клубе или в Фонде мира имени Ганди. Все остальное время я постоянно нахожусь здесь. Все эти люди со всех концов Индии приехали сюда со своими мечтами и требованиями. Но здесь никто никого не слушает. Полиция избивает этих людей, а правительство их игнорирует. Эти бедные люди не могут находиться здесь долго, потому что все они приезжают сюда из деревень и трущоб и им приходится тяжело трудиться, чтобы заработать на хлеб насущный. Им приходится возвращаться на землю, к своим



землевладельцам, к своим заимодавцам, к коровам и буйволам, которые в содержании обходятся дороже людей, или в свои трущобы, построенные из грязи и листов гофрированного железа. Но я все время нахожусь здесь, чтобы выступать от имени этих обездоленных людей. Я голодаю ради их прогресса, ради того, чтобы были услышаны и приняты все их требования, ради воплощения их мечты, исполнения их надежд на то, что настанет день и они обретут свое, нужное и полезное им правительство.

К какой касте я принадлежу? Вы это хотите спросить? При такой обширной политической повестке, как моя, вы еще спрашиваете, из какой касты я происхожу? К какой касте принадлежали Иисус и Гаутама Будда? К какой касте принадлежал Маркс? Из какой касты происходил пророк Мухаммед? Только у индусов существует это неравенство, закрепленное в их священных писаниях. Я готов быть кем угодно, но только не индусом. Как доктор Азад Бхартия, могу честно сказать вам, что я открыто отрекся от веры большинства народа этой страны только по этой причине. Из-за этого моя семья прокляла меня и перестала со мной общаться. Но даже если бы я был президентом Америки, этим брамином мирового класса, то я все равно был бы здесь и держал голодовку, выступая за бедных. Мне не нужны доллары. Капитализм — это ядовитый мед. Люди вьются вокруг него, как пчелы. Но мне это не нужно. Именно из-за этого я круглыми сутками нахожусь под надзором полиции. За мной двадцать четыре часа в сутки с помощью электронных устройств следит и американское правительство. Оглянитесь и посмотрите: вы видите этот мигающий красный свет? Это индикатор аккумулятора их камеры. Они встроили камеру в корпус светофора. Пункт наблюдения находится в отеле «Меридиан», в номере для собак. Эти псы до сих пор здесь, они никогда не возвращаются в Америку. Им бесконечно продлевают визы. Американские президенты теперь часто посещают Индию, и их собаки находятся здесь постоянно.

Вечерами, когда в номере зажигают свет, я вижу, как они сидят на подоконниках, и я отчетливо вижу их силуэты. Я хорошо вижу вдаль, и зрение мое продолжает улучшаться. С каждым днем я вижу все дальше и дальше. Буш, Гитлер, Сталин, Мао и Чаушеску являются членами клуба ста лидеров, замысляющих уничтожение всех хороших правительств в мире. Все американские президенты — члены этого клуба, даже нынешний.

На прошлой неделе я попал под машину, белую «Марути-Дзен» DL 2CP 4362. Эта машина принадлежит индийскому телевизионному каналу, который финансируют американцы. Автомобиль сломал металлическую изгородь и наехал на меня. Видите, загородка до сих пор сломана. Я спал, но был начеку. Я смог откатиться в сторону, как спецназовец, и сумел избежать смерти от рук покушавшихся на меня убийц, но моя рука пострадала. Теперь она постепенно заживает в гипсе. Однако остальное мое тело уцелело. Водитель попытался скрыться, но люди остановили его и заставили отвезти меня в госпиталь Рам-Манохар-Лохия. Со мной в машину сели еще два человека, которые изрядно отмузузили водителя по дороге. Врачи лечили меня очень хорошо. Утром, когда я вернулся, революционеры, находившиеся на площади ночью, купили мне самсу и стакан сладкого ласси. Все они оставили на гипсе отпечатки своих пальцев. Смотрите, это отпечаток пальца вождя племени хазарибагх, которое лишилось мест своего проживания, потому что там построили угольные шахты Восточного Пареджа. Вот это отпечатки пальцев жертв утечки газа на заводе «Юнион карбайд». Эти люди преодолели сотни километров, чтобы пешком прийти сюда из Бхопала. Этот путь продолжался три недели. Теперь у этой компании новое название — «Доу кемикалз». Но могут ли эти несчастные люди купить себе новые легкие и новые глаза? Им приходится как-то жить со своими старыми органами, отравленными много-много лет назад. Но никому нет до них никакого дела. Собаки просто сидят на подоконниках номера отеля «Меридиан»

и хладнокровно наблюдают, как мы умираем. А вот это подпись Деви Сингха Сурьяванши; он такой же, как я, непокорный. Он, кроме того, дал мне свой номер телефона. Он борется против коррупции, против лживых политиков, которые обманывают народ. Я не знаю, какие у него еще требования; вы можете сами позвонить ему и спросить. Он поехал в Нашик, навестить дочь, но на следующей неделе он вернется. Ему уже восемьдесят семь лет, но для него до сих пор на первом месте интересы народа. А вот это — профсоюз рикш, Раштравади Джаната Типахия Чалак Сангх. Вот еще один отпечаток большого пальца — он принадлежит Пхулбатти из Бетула, Мадхья-Прадеш. Это очень достойная женщина. Она всю жизнь проработала на компанию «Бхарат Санчар Нигам», но однажды на нее упал столб телефонной линии, и в результате женщина лишилась ноги. Компания «Нигам» оплатила ампутацию, отдав за нее пятьдесят тысяч рупий, но как женщина будет теперь работать с одной ногой? Она вдова, и что она будет есть, кто будет ее кормить? Сын не желает ее содержать, он послал ее сюда, держать сатьяграху и требовать сидячую работу. Она пробыла здесь три месяца. За это время никто ее не навестил и никто не навесит. Она умрет здесь.

Видите эту английскую подпись? Это С. Тилоттама. Эта женщина бывает здесь наездами — она то приезжает, то уезжает. Я вижу ее здесь уже много лет. Иногда она приходит сюда поздно ночью или рано утром. Она все время одна, у нее нет никаких определенных планов. Это у нее такой прекрасный почерк, а сама она чудесная женщина.

Это — жертвы латурского землетрясения, денежную компенсацию которых украли коррумпированные коллекторы и техсилдары<sup>[22]</sup>. Из трех крор рупий только три лакха<sup>[23]</sup> достались этим людям, всего один процент. Остальные деньги сожрали, как тараканы, передававшие их чиновники. Эти люди находятся здесь с 1999 года. Вы умеете читать на хинди?

Вы можете тогда прочесть то, что здесь написано, а написано здесь вот что: «Бхарат мейн гадхей, гиддх аур сооар радж картейн хайн». Это означает: «Индией правят ослы, стервятники и свиньи».

Это уже второе по счету покушение на мою жизнь. В прошлом году, 8 апреля, на меня наехала «Хонда Сити» ДЛ 8С Х 4850. Такую же машину вы видите на туалетной рекламе, только на меня наехала машина цвета морской волны, а эта — серебристая. Машиной управлял американский агент. Газета «Хиндустан таймс» написала об этом происшествии 17 июля. Моя правая нога была сломана в трех местах. Даже сейчас мне трудно ходить, и я сильно хромаю. Люди шутя говорят, что мне надо жениться на Пхулбатти, чтобы у нас была одна здоровая левая нога и одна здоровая правая. Таким образом, у нас на двоих будет пара здоровых ног. Я смеюсь вместе с людьми, хотя не нахожу в этой шутке ничего забавного. Но иногда все же надо смеяться. Это очень важно. Однако я против института брака. Он был придуман для того, чтобы поработить женщин. Я тоже был один раз женат. Моя жена сбежала от меня с моим братом, и с тех пор они называют своим моего родного сына. Он называет меня дядей. С ними я не вижусь. Когда жена сбежала от меня, я пришел сюда.

Иногда я пересекаю улицу и присоединяюсь к бхопальцам, но на той стороне намного жарче, чем на этой.

Знаете ли вы, что это за место — Джантар-Мантар? В стародавние времена здесь находились солнечные часы. Их построил какой-то махараджа, я забыл его имя, в 1724 году. Иностранцы до сих пор приезжают смотреть на эти часы, куда гиды водят экскурсии. Туристы проходят мимо нас, но нас они не замечают, они не видят нас, сидящих здесь, на тротуарах, и борющихся за лучший мир в этом демократическом зоопарке. Иностранцы видят только то, что они хотят видеть. Раньше они видели только заклинателей змей и садху, теперь они видят сверхдержаву — Базаар-Радж. Мы сидим здесь, как запертые в клетку звери, а

правительство сквозь железные ограждения кормит нас бесполезными крошечными порциями надежды. Этого мало для жизни, но вполне хватает на то, чтобы не умереть от голода. Сюда даже присылают журналистов. Мы рассказываем им свои истории, и на какое-то время нам становится легче. Так они управляют нами, так они нас контролируют. Во всех других местах этой благословенной страны для таких, как мы, действует статья 144 Уголовно-процессуального кодекса.

Вы видите, какой туалет здесь построили? Это, как они говорят, для нас. Два отдельных туалета — для мужчин и женщин. Нам приходится платить за пользование. Когда мы смотрим на себя в большие зеркала, нам становится страшно.

#### ДЕКЛАРАЦИЯ

Сей декларацией я заявляю, что содержащаяся здесь информация верна, насколько я могу об этом знать, ни один материал не сокрыт и не утаен.

\* \* \*

Со своей выгодной позиции на мостовой доктор Азад Бхартия прекрасно видел, что исчезнувший ребенок был вовсе не один, около девочки ночью сгрудились три матери, словно сшитые вместе нитями света.

Полицейские, зная, что от доктора Азада не укрывается ничто из того, что происходит на мостовой Джантар-Мантар, решили его допросить. Для начала они его слегка поколотили — скорее по привычке и не сильно, но доктор Азад сказал им лишь следующее:

Мар гайи бульбуль кафас мейн  
Кех гайи сайяд се  
Апни сунехри гаанд мейн  
Ту тхунс ле фасл-э-бахаар

Она умерла в клетке, маленькая птичка,  
И оставила такие слова, обращенные к тюремщикам:  
«Прошу вас, возьмите весенний урожай  
И засуньте в свою золоченую задницу».

Полицейские для порядка еще пару раз пнули его и конфисковали все номера «Ньюс энд вьюс», а также пакет «Джайсис Сари Палас» со всеми документами, в нем находившимися.

Как только полицейские ушли, доктор Азад Бхартия, не теряя ни минуты времени, принялся восстанавливать документы с чистого листа.

Подозреваемого у полицейских не было (имя и адрес С. Тилоттамы, издателя «Ньюс энд вьюс» доктора Азада Бхартии, попались им на глаза несколько позже), они все же возбудили дело по статьям 361 (похищение из-под законной опеки), 362 (похищение, принуждение, применение насилия или увоз обманом), 365 (незаконное лишение свободы), 366А (преступление, совершенное в отношении девочки, не достигшей восемнадцатилетнего возраста), 367 (похищение ради причинения вреда, увод в рабство или для получения противоестественного полового удовлетворения), 369 (похищение ребенка младше десяти лет для извлечения незаконного дохода).

Обвинения были подсудными, предусматривали возможность освобождения под залог и подлежали рассмотрению судьей первого класса. За такие преступления предусматривалось наказание в виде тюремного заключения на срок не более семи лет.

Таких преступлений в том году уже было зарегистрировано одна тысяча сто сорок шесть. И это был только май.

## 5. Тихая охота

Подковы гулко стучали по пустынной мостовой.

Пайяль, белая кобыла, выстукивала дробь по улице, на которой ее просто не должно было быть.

На спине кобылы, на седле, отороченном красной тканью и украшенном золочеными кистями, сидели двое: Саддам Хусейн и Ишрат Прекрасная. Они тоже находились в той части города, где им было не место. Никаких запрещающих знаков, конечно, не было, но кругом были знаки, которые мог прочесть любой глупец: тишина, ширина дороги, высота деревьев, безлюдная улица, аккуратно подстриженные живые изгороди, низкие белые виллы, в которых обитали Правители. Даже желтый свет, лившийся с верхушек высоких столбов, казалось, можно было продать: он напоминал колонны из жидкого золота.

Саддам Хусейн надел солнцезащитные очки. Ишрат заметила, что это глупо — напяливать ночью темные очки.

— Ты это называешь ночью? — саркастически поинтересовался Саддам. Он объяснил Ишрат, что носит темные очки не для того, чтобы импозантно выглядеть, и добавил, что ему больно смотреть на свет, но историю о том, как он обжег себе глаза, он расскажет потом.

Пайяль прижала уши и принялась дергать крупом и хвостом, несмотря на то, что никаких мух здесь, на этой улице, не было и в помине. С ее стороны было отступничеством — оказаться на такой улице, но эта часть города ей нравилась. Здесь, по крайней мере, было чем дышать. Пайяль с радостью пустилась бы вскачь, если бы ей позволили. Но ей не позволили.

Они явились сюда на тихую охоту. Их задача — следить за авторикшей и его пассажирами.

Всадники держали дистанцию, не приближаясь к повозке, которая, всхлипывая, словно потерявшееся дитя, снова и снова заезжала на круговые перекрестки с зелеными островками в центре, украшенными скульптурами, фонтанами и цветочными клумбами. От этих островков, словно лучи, отходили проспекты, каждый из которых был обсажен разными деревьями — тамариндом, ямболаном, нимом, арджуном.

— Смотри-ка, у них есть даже сады для машин, — задумчиво произнесла Ишрат, когда они въехали на очередной круговой перекресток.

Саддам рассмеялся, наслаждаясь ночной прохладой.

— У них есть машины для собак и сады для машин, — сказал он.

Кавалькада черных «Мерседесов» с тонированными пуленепробиваемыми стеклами вдруг возникла словно ниоткуда и быстро, как змея, промелькнула мимо.

За Городом-садом охотники и их добыча приблизились к изрытой колдобинами эстакаде (для Пайяль это не было препятствием, чего нельзя было сказать об авторикше). Вереница уличных фонарей, стоявших посередине дороги, была похожа на цепь водруженных на столбы крыльев механических ангелов. Мотоцикл рикши принялся, пыхтя, взбираться на мост, а затем нырнул вниз и пропал из вида. Пайяль, фыркнув от счастья, пустилась вслед за ним мелкой рысью, напоминая тощего единорога, обходящего строй увенчанных фонарями херувимов.

После моста город немного сбавил спесь, словно утратив часть самоуверенности.

Рикша и кобыла продефилировали мимо двух больниц, настолько переполненных пациентами, что больные и их близкие, перелившись через край, поселились на прилегающих дорогах. Некоторые больные, с забинтованными головами и конечностями, лежали на самодельных кроватях, у иных даже стояли капельницы. Дети в хирургических масках, облысевшие от химиотерапии, жались к своим заплакавшим все слезы родителям. Люди осаждали прилавки близлежащих круглосуточных аптек, играя в индийскую рулетку. (Шансов на то, что лекарство окажется настоящим, а не поддельным, было приблизительно 60 на 40.) Семьи готовили на дороге еду, резали лук и варили на керосинках картошку, которая немедленно покрывалась крупной серой пылью. Выстиранное белье люди сушили на оградах вокруг деревьев и на железных перилах балюстрады. (Саддам запоминал все — из чисто профессиональных соображений.) Группка невероятно худых, иссохших деревенских жителей в дхоти кружком сидели на корточках. В центре круга находилась сморщенная старуха в пестром сари и в огромных темных очках, за стеклами которых глазницы были плотно заложены ватой. Из угла рта старухи, словно сигарета, торчал термометр. Все эти люди не обратили ни малейшего внимания на протрусившую мимо белую кобылу и двух всадников на ее спине.

Скоро впереди показался еще одна эстакада.

На этот раз маленькая процессия проехала под ним. Под пролетом было полно спящих людей. Почти голый, лысый мужчина с коркой запекшегося красноватого талька на голове и с седой бородой, отбивал воображаемый ритм на воображаемом барабане, покачивая, как уstad Закир Хусейн, в такт ритму своей пурпурной головой.



— Дха Дха Дхим Ти-ра-ки-та Дхим! — пропела Ишрат, проезжая мимо. Человек улыбнулся и наградил ее каскадом виртуозных, неслышных ударов.

Запертый рынок, магазинчик яичной паратхи<sup>[24]</sup>. Сикхская гурдвара<sup>[25]</sup>. Еще один рынок. Несколько автомастерских. У дверей спят люди и собаки, покрытые пленкой машинного масла.

Рикша свернул в жилой квартал и начал прихотливо петлять по бесчисленным улочкам и переулкам. Подъездная дорожка. Вдоль нее сложенный строительный материал. Все дома трех- и четырехэтажные.

Рикша остановился у запертых железных ворот, выкрашенных в тусклый сиреневый цвет. Пайяль остановилась тоже, поодаль, в тени деревьев, за несколько ворот — сопящий призрак, белая, как привидение, кобыла. В ночи поблескивала лишь золотая окантовка седла.

Из кабины вышла женщина, расплатилась с водителем и вошла в дом. Когда рикша уехал, Саддам Хусейн и Ишрат Прекрасная не спеша приблизились к сиреневым воротам. Рядом с ними два черных быка с подрагивающими горбами лениво переваливались с ноги на ногу.

В окне третьего этажа зажегся свет.

Ишрат заволновалась. «Запиши номер», — сказала она. Саддам успокоил ее. Ему не надо было ничего записывать, он никогда не забывал места, в которых побывал хоть однажды. Этот дом он теперь смог бы найти с закрытыми глазами.

Извиваясь, Ишрат всем телом толкнула его.

— Вах! Ну что ты за человек!

Саддам, в отместку, стиснул ей грудь, но она решительно сбросила его руку.

— Не трожь, они очень дорого стоят, я до сих пор расплачиваюсь.

В прямоугольнике окна появился силуэт женщины. Она выглянула на улицу, посмотрела вниз и увидела парочку на белой кобыле. Они подняли головы, и взгляды их встретились.

Давая им знать, что заметила их взгляд, женщина (красивая, некрасивая, высокая, маленькая) склонила голову и поцеловала украденное на мостовой сокровище. Она помахала рукой Саддаму и Ишрат, и они помахали ей в ответ. Женщина, конечно же, узнала в них участников потасовки на Джантар-Мантар. Саддам спешил и достал из кармана маленький прямоугольный кусочек картона с адресом постоянного двора «Джаннат» и похоронного бюро. Визитную карточку он бросил в жестяной почтовый ящик с надписью: «С. Тилоттама, третий этаж».

Девочка плакала всю дорогу, но теперь заснула. Маленькое сердечко и бархатистая черная щечка доверчиво прижались к костлявому плечу. Женщина, укачивая девочку, смотрела вслед удаляющейся белой лошади и двум седокам.

Она не помнила, когда в последний раз была так счастлива. Она была счастлива не потому, что это был ее ребенок, а именно потому, что он был чужим.

## 6. Несколько вопросов на потом

Когда черное и блестящее, как тюлень, дитя подрастет, когда девочка, например, будет в толпе таких же школьниц в страшную жару осаждать тележку торговца мороженым, выпрашивая апельсиновое, не вспомнит ли она вдруг пьянящий запах мадуки, пропитавший лес в тот день, когда она родилась на свет? Вспомнит ли ее тело ощущение сухой листвы на земле или прикосновение раскаленного дула снятого с предохранителя пистолета, который ее мать приставила к ее лбу?

Или прошлое будет навсегда стерто из ее памяти?

## 7. Домовладелец

*Смерть, тощий  
бюрократ, летит с  
равнин.*

*Ага Шахид Али*

Холодно, зябко, противно. Один из обычных, тусклых и грязных зимних дней. Город до сих пор не может прийти в себя после нескольких взрывов, потрясших автобусную остановку, кафе и парковку небольшого торгового центра и оставивших после себя пятерых убитых и множество тяжелораненых. Телевидение позаботится о том, чтобы обыватель не слишком быстро оправился от потрясения. Что касается меня, то взрывы подняли в моей душе бурю эмоций, но очень жаль, что потрясение продлилось немногим больше, чем эта короткая буря.

Я живу наверху, в барсати, маленьких двухкомнатных апартаментах на крыше. Нимы стряхивают листву; попугаи с алыми кольцами на шеях переместились в более теплые, а может, более безопасные места. Туман садится на стекла окон. Сиреневые голуби толпятся на загаженном свесе крыши. Еще рано, середина дня, но я вынужден включить свет. Понятно, что мой эксперимент с красным бетонным полом позорно провалился. Мне очень хотелось жить в комнате с блестящим теплым полом, какие бывают в южных домах. Но здесь летний зной за много лет выбелил раствор, а зимний холод заставил его потрескаться и раскрошиться. Жилье пропитано пылью и выглядит на редкость обшарпанным. Что-то в мертвом покое этого поспешно покинутого пространства напоминает застывший кадр кинофильма. Сохранилась геометрия движения, видна форма прошедшего и угадывается форма будущего. Отсутствие жившего здесь человека воспринимается настолько реально, настолько осязаемо, что кажется присутствием.

С улицы доносится приглушенный шум. Лопастей неподвижного потолочного вентилятора покрыты густым слоем въевшейся грязи, этой вечной спутницы спертого делийского воздуха. К счастью для моих легких, я здесь всего лишь гость, во всяком случае, я очень на это надеюсь. Меня выслали сюда в отпуск. Самочувствие у меня неплохое, но, глядя на себя в

зеркало, я вижу тусклую кожу и заметно поредевшие волосы. Кожа головы блестит из-под волос (да-да, блестит), да и от моих бровей тоже мало что осталось. Мне сказали, что это симптом тревожности. Я признаю, моя склонность к выпивке сильно меня беспокоит. Я слишком сильно испытывал терпение жены и босса и рассчитываю искупить свои грехи. В реабилитационном центре я пробуду шесть недель, без телефона, без интернета и вообще без связи с внешним миром. Мне надо было явиться в центр сегодня, но я отложил поступление туда до понедельника.

Мне очень хочется вернуться в Кабул, в город, где я, наверное, умру какой-нибудь совершенно непримечательной, абсолютно негероической смертью, например, передав моему послу пухлую папку. БУМ! Все, меня больше нет. Нас едва не убили дважды; но оба раза удача была на нашей стороне. После второго нападения мы получили анонимное письмо на пушту (я читаю на этом языке так же свободно, как и говорю): «Нун замонг бад кисмати ва. Кхо яад лара че монг сирф яв ваар па кисмат гатта каво. Та ба да хамеша дапара кхуш кисмата ве». Переводится это приблизительно так: «Сегодня нам не повезло. Но помните, достаточно, чтобы нам повезло один раз. Вам же нужно, чтобы везло всегда».

От этих слов в моей памяти что-то звякнуло. Я погуглил их (кажется, такой глагол есть). Оказалось, что это почти дословный перевод фразы, сказанной одним из командиров Ирландской республиканской армии после неудачного покушения на Маргарет Тэтчер в брайтонском «Гранд-отеле» в 1984 году. Полагаю, что нынешний всплеск терроризма — это еще один лик глобализации.

Каждый день в Кабуле идет битва умов, и я привык к ней, как к наркотику.

Дождаясь получения сертификата на пригодность к службе, я решил навестить моих квартирантов и посмотреть, в каком виде находится дом, — я купил его пятнадцать лет назад и немного перестроил. Во всяком случае я пытался себя в этом убедить. Приехав на место, я не стал заходить с парадного крыльца, а прошел вдоль дороги и, обогнув дом, вошел через задние ворота, выходившие на подъездную дорожку за рядом таунхаусов.

Когда-то это была тихая, очень милая улочка. Теперь же она похожа на стройплощадку. Строительный материал — стальная арматура, камни и кучи песка — занимает то место, где раньше стояли припаркованные автомобили, для которых не осталось места. Из двух открытых канализационных колодцев идет невыносимый смрад, не очень согласующийся с заоблачными ценами на здешнюю недвижимость.

Большинство старых домов снесены, и вместо них девелоперы соорудили новые, роскошные апартаменты. Первые этажи играют роль парковочных стоянок, а сами дома подняты вверх на сваях. Да, это неплохая идея для нашего сошедшего с ума из-за машин города, но я с печалью гляжу на нововведения. Сам не знаю почему. Наверное, это ностальгия по прежним, спокойным и безмятежным временам.

Ватага черных от пыли ребятишек, некоторые с маленькими братишками и сестренками на руках, забавляется звонками в двери, после чего бросается наутек, захлебываясь от смеха. Истощенные родители этих детей, таскающие цемент и камни в глубокие ямы, вырытые под фундаменты новых домов, превосходно смотрелись бы и в Древнем Египте, на строительстве пирамид великих фараонов. Мимо меня прошествовал ослик с добрыми глазами, навьюченный сумками с кирпичами. Отсюда едва слышны раздающиеся из громкоговорителей призывы полиции, начавшиеся после взрывов: «Пожалуйста, сообщайте о бесхозных вещах и подозрительных людях в ближайший полицейский участок...»

Даже за те немногие месяцы, что я здесь не был, число машин явно возросло, причем машины по большей части стали больше и мощнее. Новый водитель моей соседки, миссис Мехры, укутав голову теплым шарфом так, что видны были только глаза, словно буйвола, поливает из шланга новенькую кремовую «Тойоту-Короллу». Капот автомобиля был украшен оранжевым слогом ОМ. Всего год назад миссис Мехра выбрасывала мусор прямо на улицу с балкона второго этажа. Интересно, обладание «Тойотой» как-то повлияло на гигиенические привычки соседки?

Я вижу, что большинство квартир на третьем и четвертом этажах были за время моего отсутствия отремонтированы, а окна застеклены.

Черные быки, много лет жившие возле бетонного столба напротив моих задних ворот, коих миссис Мехра кормила и баловала много лет, вместе со своими друзьями, почитателями коров, куда-то исчезли. Вероятно, отправились на пробежку.

Мимо, цокая высокими каблучками, прошли две модно одетые женщины, курившие сигареты. Выглядели они как русские или украинские проститутки, каких можно заказать по телефону для сельских вечеринок. Несколько таких шлюшек было несколько дней назад на мальчишнике, в Мехраули, у моего старинного приятеля Боба Сингха. Одна из них, обносившая гостей блюдами с тако, была, по сути, всего лишь соусницей — она дефилировала топлес, а вся ее грудь была покрыта толстым слоем хумуса. Мне показалось, что это все же чересчур, но большинству гостей

это нравилось, как, впрочем, и самой девушке, хотя, вероятно, это было одним из оговоренных условий — кто знает.

Слуги, одетые в дорогостоящие обноски своих хозяев, выгуливают намного лучше одетых собак — лабрадоров, немецких овчарок, доберманов, биглей, такс, кокер-спаниелей, — на нарядах которых красовались надписи вроде «Супермен» или «Гав-гав!». Да что говорить, одеты были даже некоторые уличные дворняжки, в экстерьер которых угадывались отголоски благородного происхождения. Незаконнорожденные детки, ха-ха!

Мимо, взявшись за руки, проходят двое мужчин — белый и индеец. Их дородный черный лабрадор облачен в красно-синюю футболку с надписью «7. Манчестер-Юнайтед». Словно святой, раздающий дары, он поднимает лапу и опрыскивает шины машин, мимо которых ковыляет, переваливаясь с боку на бок.

Стальные ворота муниципальной начальной школы, примыкающей к оленьему парку, были установлены совсем недавно и выглядят новенькими. На воротах устрашающая картина маслом — счастливое дитя в объятиях счастливой матери. Счастливому ребенку делает прививку от полиомиелита не менее счастливая медсестра в белом халате и белых чулках. Шприц в ее руках не уступает размерами крикетной бите. Я слышу детские голоса, кричащие по-английски: «Бе-е, бе-е, черная овечка», «Шерсть», «Войлок».

В сравнении с Кабулом, любым местом в Афганистане или Пакистане, и я уже не говорю о других наших соседях (Шри-Ланке, Бангладеш, Бирме, Иране, Ираке, Сирии, спаси, великий Боже!), это маленькая замусоренная дорожка со всем ее скучным однообразием, ее вульгарностью, уродливым, но, в общем-то, терпимым неравенством, осликами и мелкими жестокостями представляется все же уголком рая. В магазинчиках продают еду, цветы, одежду и мобильные телефоны, а не гранаты и автоматы Калашникова. Дети развлекаются, звоня в чужие двери, а не разыгрывают из себя самоубийц-шахидов. Да, у нас есть трудности, случаются и ужасные события, но все же, все же это отклонения от нормы.

Меня вдруг охватывает гнев на всех брюзжащих интеллектуалов и профессиональных диссидентов, которые без усталости придираются к этой великой стране. Если говорить по совести, то они могут это делать только потому, что им позволяют. Позволяют же им, потому что при всех наших несовершенствах мы — страна истинной демократии. Я не стану опускаться до примитивизма и публично твердить об этом на каждом углу, но правда заключается в том, что это понимание преисполняет меня гордостью за то, что я служу индийскому государству.

Задние ворота, как я и рассчитывал, оказались открытыми. (Жильцы первого этажа выкрасили их в сиреневый цвет.) Я сразу поднимаюсь на третий этаж. Дверь оказалась запертой. Я сам удивился своему сильному разочарованию. Лестничная площадка имела заброшенный вид. У двери скопилась груда конвертов и старых газет. На слое пыли отчетливо видны следы собачьих лап.

Я начал спускаться вниз. Мне навстречу вышла хорошенькая толстушка, жена жильца с первого этажа, владельца компании по производству видеофильмов. Женщина пригласила меня на чашку чая (в кухню квартиры, которая была домом для меня и моей жены, когда мы оба работали в Дели).

— Меня зовут Анкита, — обернувшись в дверях, представилась она. Длинные, вытянутые, местами подкрашенные в светлый тон волосы были влажны и источали пряный и едкий аромат шампуня. В ушах у Анкиты были серьги с бриллиантами, а плечи и спину обтягивал пушистый белый свитер. Задние карманы тесных джинсов — «джегинсов», как называет такие штаны моя дочь, — туго натянутых на округлую попу, были украшены изображениями китайских драконов с раздвоенными языками. Моей матери это бы понравилось — если не одежда, то, во всяком случае, попа. «Декхте беш Ролиполи», — сказала бы она. Бедная моя мать. Она всю свою замужнюю жизнь прожила в Дели, тоскуя по своему детству в Калькутте.

Это английское слово, означающее «пухляшка», накрепко и раздражающе застряло у меня в голове: «Ролиполиролиполирополи...».

Три из четырех стен комнаты были выкрашены в арбузный розовый цвет. Вся мебель, включая обеденный стол, была выкрашена в крапчатый — я бы назвал его *печальным* — зеленый цвет арбузной корки. Дверной косяк и оконные рамы были выкрашены в черный цвет — вероятно, имелись в виду арбузные семечки. На мгновение мне стало жалко, что я разрешил съемщикам менять интерьер по их желанию. Я и Анкита сели лицом друг к другу в разных концах дивана (моего старого дивана, на котором жильцы сменили обивку). Через пару минут нам пришлось сомкнуть колени и приподнять ноги от пола, чтобы дать служанке возможность протереть пол у дивана. Служанка проползла мимо нас на корточках, словно утка. Пол она протерла каким-то остро пахнущим едким моющим средством. Неужели Пухляшке было так трудно отложить ненадолго эту санитарную процедуру? Когда же, наконец, наши люди обучатся основам элементарного этикета?

Служанка была родом откуда-то из Центральной Индии — из гондов



или санталов, из Джаркханда или Чхаттисгарха, но, возможно, и из Ориссы. Это был еще ребенок — девочке было лет четырнадцать-пятнадцать. Со своего места мне было видно крошечное серебряное распятие, висевшее в вырезе ее курты между крошечными грудями. Мой отец, испытывавший инстинктивную неприязнь к христианским миссионерам и их пастве, назвал бы девочку насмешливым прозвищем Аллилуйя. При всем его уме отец слишком часто проявлял бестактность.

Восседая в своем нелепом кухонном арбузе, лучезарно глядя на меня из-под ореола крашенных волос, Пухляшка полушепотом и не слишком связно поведала мне историю, случившуюся наверху. «Я думаю, что она не совсем нормальная», — не один раз повторила она. Кто знает, возможно, ее рассказ и был связным, просто мне была неприятна сама мысль о том, что придется ее выслушать. Анкита что-то говорила о ребенке и полиции («Я была ужасно потрясена, когда в дверь постучала полиция»), о том, что та женщина опозорила весь дом и даже квартал. Рассказ ее показался мне преувеличенным и злорадным. Я поблагодарил ее за рассказ и откланялся. Женщина на прощание, едва ли не силой, вручила мне подарок — диск с документальным фильмом об озере Дал в Кашмире. Ее муж сделал этот фильм по заказу министерства туризма.

Прошла пара часов, и вот я в квартире. Мне пришлось привести в дом слесаря с рынка, чтобы сделать ключ для замка. Другими словами, мне надо было вломиться в квартиру, потому что моя жиличка, похоже, уехала навсегда. «Уехала», если верить Пухляшке, можно в данном случае считать своего рода эвфемизмом. Правда, и «жиличка» — слово здесь не вполне уместное, и его тоже можно считать эвфемизмом. Нет, мы не были любовниками. Ни разу в жизни она ни одним намеком не выказала желания вступить со мной в отношения такого рода. Если бы она это сделала, то я и сам не знаю, как бы все повернулось. Всю мою жизнь, с тех пор, как я много лет назад познакомился с нею в колледже, я все время подстраивался под нее. Ну, точнее, не под нее, а под память о моей любви к ней. Сама она об этом никогда не догадывалась. Да и никто не догадывался, кроме, может быть, Наги, Мусы и меня — мужчин, любивших ее.

Я достаточно вольно использую здесь слово «любовь» и делаю это только потому, что у меня просто не хватает слов для описания истинной природы того запутанного лабиринта, тех джунглей чувств, что привязывали нас троих к ней и друг к другу.

Впервые я увидел ее ровно тридцать лет назад, в 1984 году (кто из жителей Дели сможет забыть тот год?), на репетиции любительского спектакля «Норман, это ты?», в котором я играл одну из ролей. Грустно, но

после двухмесячных репетиций спектакль так и не состоялся. За неделю до нашего выступления миссис Г. — Индира Ганди — была убита своими телохранителями-сикхами.

В течение нескольких дней после этого убийства толпы, ведомые сторонниками Индиры Ганди и ее обожателями, убили в Дели тысячи сикхов. Дома, магазины, стоянки такси с водителями-сикхами, целые кварталы, где жили сикхи, были разрушены и сожжены дотла. По всему городу к небу поднимались клубы дыма от многочисленных пожаров. В один из тех ясных, безоблачных дней я видел из окна автобуса, как толпа линчевала пожилого сикхского джентльмена. С него сорвали тюрбан, выдрали ему бороду, а на шею, словно ожерелье, надели горящую автомобильную покрывку. Стоявшие кругом люди неистовыми криками поддерживали и воодушевляли убийц. Я поспешил домой, ожидая, что испытаю потрясение от увиденного. Странно, но никакого потрясения я не испытал. Хотя нет, меня потрясло собственное равнодушие и безразличие. Я чувствовал отвращение к этой глупости, к этой бессмыслице, но потрясения не было. Наверное, все дело было в знании жестокой и кровопролитной истории города, в котором я вырос. Все выглядело так, будто страшный Призрак, о существовании которого знают в Индии все — от мала до велика, — вдруг вырвался на поверхность из неведомых глубин и повел себя так, как от него и ожидали. Когда Призрак насытил чудовищный аппетит, он снова погрузился в свои бездны, и видимость нормальности покрыла зияющую трещину. Безумные убийцы спрятали клыки и вернулись к своим повседневным занятиям, снова превратившись в клерков, портных, водопроводчиков, плотников, лавочников. Жизнь, как ни в чем не бывало, вернулась в свою прежнюю колею. Нормальность, эта часть нашего обыденного бытия, напоминает не до конца сваренное яйцо: плотный белок скрывает под собой текучий желток вопиющего насилия. Наша постоянная тревога о насилии, наша память о его прошлых вспышках и страх перед его будущими проявлениями — вот что закладывает основы правил совместного проживания такого сложного и разнообразного народа, как мы, чтобы мы могли и дальше жить вместе, терпеть друг друга, а время от времени и убивать друг друга. Пока держится центральное правительство, пока желток не вытекает, с нами ничего не случится. В критические моменты не мешает взглянуть на вещи в широкой перспективе.

Мы решили отложить премьеру на месяц в надежде, что за это время страсти улягутся. Но в начале декабря случилась новая трагедия, на этот раз еще более ужасная. На заводе пестицидов «Юнион карбайд» произошла

утечка смертоносного газа, убившая тысячи людей. Газеты были полны страшных рассказов о людях, пытавшихся убежать от накрывшего их ядовитого облака, которое преследовало их, выжигая глаза и легкие. В этом кошмаре было что-то библейски эпическое. Журналы публиковали фотографии убитых, заболевших, умирающих, искалеченных и ослепших, зловеще смотревших в камеры невидящими глазами. В конце концов мы решили, что боги отвернулись от нас и что постановка «Нормана» была бы неуместной, и отложили ее на неопределенный срок. Если вы позволите, я сделаю небольшое прозаическое наблюдение — возможно, в этом и состоит жизнь, или так заканчивается большинство людских предприятий: она и есть бесконечная репетиция спектакля, которому никогда не суждено увидеть свет театральной рампы. Правда, в случае «Нормана» нам и не нужен был готовый спектакль для того, чтобы изменить течение нашей жизни. Репетиций оказалось больше чем достаточно.

Дэвид Квотермейн, постановщик спектакля, был молодым англичанином, переехавшим в Дели из Лидса. Это был худощавый, атлетически сложенный человек и, да будет мне позволена такая вольность, ослепительно красивый мужчина. Светлые волосы падали ему на плечи, глаза его, голубые, как сапфиры, напоминали бездонные глаза Питера О’Тула. Большую часть времени он ходил пьяный, был открытым геем, но никогда не упоминал об этом в разговорах. Через его уставленные книгами комнаты квартиры в Дефенс-Колони прошла бесчисленная вереница смуглых подростков — он менял их весьма часто. Они лежали на кровати или, развалившись, сидели в шезлонге, листая журналы, которые — я уверен — были не в состоянии читать (Дэвид предпочитал пролетарских мальчиков). Мы никогда в своей жизни не видывали ничего подобного. В тот день, когда мы собрались в его двухкомнатной квартире для первого чтения пьесы, его расторопная молчаливая служанка сноровисто увела в ванную своего третьего сына. Мы молчаливо, но трепетно восхищались Дэвидом Квотермейном, его отважной сексуальностью, коллекцией его книг, перепадами его настроения, невнятным бормотанием и многозначительными паузами, каковые казались нам непременно атрибутом всякого истинного художника. Некоторые из нас пытались копировать его в свободное время, воображая, что тем самым готовят себя к театральной карьере. Мой одноклассник Нага, Нагарадж Харихаран, получил роль Нормана. Мне предстояло играть его любовника, Гарсона Хобарта. (Мне сейчас кажется, что на первых репетициях мы слегка переигрывали, и думаю, это было проявлением ребяческого, глупого желания, чтобы нас, не дай бог, не заподозрили в настоящем

гомосексуализме.) Мы с Нагой оба окончили магистратуру по истории в Делийском университете. Вследствие того что наши родители были друзьями (его отец служил в министерстве иностранных дел, а мой был видным сердечно-сосудистым хирургом), мы с Нагой держались вместе в школе, а потом и в университете. Подобно многим другим таким детям, мы никогда не были по-настоящему близкими друзьями. Нет, мы нравились друг другу, между нами не было неприязни, но в наших отношениях было, пожалуй, чересчур много соперничества.

Тило тогда училась на третьем курсе архитектурного факультета и в спектакле участвовала в качестве сценографа и осветителя. Сама она представлялась как Тилоттама. Когда я впервые ее увидел, часть моего существа покинула свое брненное тело и обвилась вокруг этой девушки. И продолжает пребывать в этом состоянии.

Хотелось бы мне знать, что именно в ней в такой степени меня обезоружило, что я стал вести себя в абсолютно не свойственной мне манере, — я был с ней заботлив до приторности и даже пылок. Тило не была похожа на других, бледных и ухоженных девушек, знакомых мне по колледжу. Цвет ее лица можно было обозначить французской фразой *café au lait*<sup>[26]</sup> (при очень скромном добавлении *lait*), что, насколько это касается индийцев, сразу исключало ее из числа признанных красавиц. Я не могу назвать другого человека, который произвел бы на меня такое же впечатление, оказывал бы на меня такое же влияние в течение столь многих лет. Я смотрю на нее, как на часть моего собственного тела — например, на руку или ступню. Но я все же попытаюсь, пусть даже и грубыми мазками, набросать ее портрет. У нее было небольшое, с мелкими чертами лицо и прямой нос с задиристо раздутыми ноздрями. Длинные густые волосы нельзя было назвать ни прямыми, ни курчавыми, но они вечно топорщились на ее голове, как неухоженная копна или львиная грива. Можно было без труда вообразить маленькую птичку, свившую гнездо в волосах Тилоттамы. Если воспользоваться рекламой популярного шампуня «До и после», то волосы Тило являли собой картину «до». Волосы она заплетала в косу и отбрасывала на спину, а иногда свертывала их в бесформенный пучок и закалывала на затылке желтым карандашом. Косметикой она не пользовалась и не делала ничего — ничего из тех восхитительных вещей, какие делают девушки со своими волосами, глазами и губами, — чтобы выглядеть привлекательнее. Ее нельзя было назвать высокой, но недостаток роста она возмещала стройностью. Стояла она обычно слегка приподнявшись на цыпочках и широко расправив плечи, что делает большинство женщин — но не ее — немного мужеподобными.

В тот день, когда я впервые ее встретил, она была одета в белые хлопчатобумажные пижамные брюки и отвратительную — явно с намерением — цветастую и непомерно великую мужскую рубашку, которая, казалось, была с чужого плеча. (Здесь я, как выяснилось, ошибся — через несколько недель, когда мы познакомились ближе, Тило сказала, что это ее собственная рубашка, которую она купила в комиссионном магазине за одну рупию. Нага — это было вполне в его духе — сказал, что ему из надежных источников известно, будто в этом магазине продают одежду, снятую с погибших в железнодорожных катастрофах. Тило сказала, что ей все равно — лишь бы на одежде не было кровавых пятен.) Единственным ее украшением были широкое серебряное кольцо на правом среднем пальце, вечно запачканном чернилами, и такое же серебряное кольцо на большом пальце ноги. Курила она дешевые пахитоски, которые перекладывала в ярко-красные пачки из-под «Данхилла». Она не замечала разочарования на лицах людей, стрелявших у нее сигареты в надежде покурить импортные сигареты с фильтром и получавших в результате ароматные, но крепкие палочки из скрученного низкосортного местного табака. Многим было уже неловко отказываться, тем более что Тило тут же услужливо щелкала зажигалкой. Мне случалось видеть такое не один раз, но она при этом ни разу даже не изменилась в лице — она ни разу не улыбнулась и не подмигнула попавшему впросак неудачнику, и я так и не разобрался, была ли это шутка или просто обычный для нее стиль поведения. Полное отсутствие желания угодить или помочь другому выйти из неловкого положения можно было бы у менее уязвимого человека принять за высокомерие, но у Тило это было проявлением непреходящего безнадежного одиночества. За стеклами простеньких немодных очков прятались слегка раскосые кошачьи глаза, в которых таилось беззаботное безразличие пиромана. Было такое впечатление, что эта девушка сумела сорваться с поводка. Она гуляла сама по себе, в то время как нас, всех остальных, выгуливали на поводке, как щенков. Она холодно и расчетливо наблюдала за жизнью словно со стороны, с приличной дистанции, а мы семенили по ней, благодарные своим хозяевам за длинный поводок и свободный ошейник, не собираясь, впрочем, от них освободиться.

Я пытался хоть что-то о ней выведать, но она уклонялась от ответов. Когда я спросил, как ее фамилия, она ответила, что ее зовут С. Тилоттама. На вопрос о том, что обозначает С., она ответила, что С. обозначает С. Она не отвечала и на косвенные вопросы о доме и о том, чем занимается ее отец. В то время она почти не говорила на хинди, и я предположил, что она южанка. По-английски она, как это ни удивительно, говорила без акцента,

если не считать того, что иногда смягчала «з» и у нее получалось «с», например, она говорила «сонт» вместо «зонт». Думаю, что родом она была из штата Керала.

Потом выяснилось, что в этом я был прав. Что касается остального... Я выяснил, что она вовсе не уклонялась от ответов; она действительно не могла правдиво ответить на обычные для колледжа детские вопросы: «Откуда ты? Что делает твой отец?» — и так далее, и тому подобное. Из слухов и сплетен я узнал, что ее мать одинока, потому что муж оставил ее — или она его оставила. Говорили также, что он умер. Все это было подернуто дымкой таинственности. Никто не мог найти для нее *место* в этом мире. Ходили слухи, что она — приемное дитя. Но ходили и другие, противоположные слухи. Потом я узнал — от записного сплетника с младшего курса, парня по имени Маммен П. Маммен, земляк Тило, — что верны были оба эти слуха. Ее мать была ее настоящей матерью, но сначала бросила ее, а потом удочерила. В их маленьком городке это случилось после скандала, неуместной любовной истории. Мужчина был из касты неприкасаемых («Парайя», — шепотом сказал Маммен П. Маммен, словно произнести это слово вслух уже означало оскверниться), и от него отделились, как отделяются в таких ситуациях семьи из высших каст — в данном случае сирийские христиане Кералы. Мать Тило отослали с глаз долой до родов, а потом отдали малютку в христианский приют. Через несколько месяцев мать явилась туда и удочерила собственное дитя. Семья отвернулась от женщины. Она так и не смогла выйти замуж. Для того чтобы заработать на жизнь, она открыла небольшой домашний детский сад с начальной школой, который со временем превратился в успешную среднюю школу. Женщина — по вполне понятным причинам — так и не призналась, что она родная мать Тилоттамы. Собственно, это все, что я знал.

Тилоттама никогда не ездила домой на каникулы и никогда не говорила почему. К ней тоже никто не приезжал. Деньги на учебу она зарабатывала трудом чертежницы в архитектурных фирмах в свободное от учебы время. В общежитии она не жила, говорила, что ей это не по карману, и снимала жалкую хибарку в расположенных неподалеку трущобах, приютившихся возле старой разрушенной крепостной стены. К себе Тило никого не приглашала.

Во время репетиций «Нормана» она называла Нагу Нагой, но ко мне, по неизвестной мне причине, обращалась исключительно как к Гарсону Хобарту. Вот так мы с Нагой, студенты-историки, наперебой ухаживали за девушкой, у которой не было прошлого, семьи, родины и даже дома.

Собственно, Нага не ухаживал за ней. В то время он был очарован и заворожен только самим собой и никем другим. Он заметил Тило и включил свое обаяние (весьма и весьма мощное), как включают фары автомобиля, и сделал это только потому, что она не обращала на него внимания. Нага не привык к такому отношению.

Я так и не смог до конца разобраться в том, какие отношения на самом деле связывали Мусу — Мусу Есви — с Тило. В обществе они никогда не демонстрировали открыто своих чувств и вели себя очень сдержанно. Иногда они больше походили на брата и сестру, нежели на влюбленных. На архитектурном факультете они учились в одной группе. Оба были одаренными художниками. Я видел некоторые их работы: выполненные Тило углем и мелом портреты и акварели Мусы, изображавшие развалины старых городов Дели, Туглакабада, Фероз-Шах-Котлы и крепости Пурана-Кила, а еще его же карандашные наброски лошадей, даже их частей — головы, глаза, развевающиеся гривы и отдельно скачущие копыта. Однажды я спросил, откуда берутся рисунки — срисовывает ли он их с фотографий, или копирует с книжных иллюстраций, или рисует их с натуры (может быть, у него дома, в Кашмире, были лошади). Он сказал, что лошади ему снятся. Этот ответ меня не удовлетворил. Я плохо, почти никак, не разбираюсь в живописи, но на мой любительский взгляд, его и Тило рисунки были отчетливыми и поразительными. Помнится, у них обоих был одинаковый почерк — угловатый, почти каллиграфический. Такому письму учили в архитектурных учебных заведениях до наступления эпохи всеобщей компьютеризации.

Не могу сказать, что я хорошо знал Мусу. Он был спокойный, всегда консервативно одетый парень, плотно сбитый и невысокий — не выше Тило. Его застенчивость, возможно, объяснялась тем, что он не слишком бегло изъяснялся по-английски и говорил с довольно сильным кашмирским акцентом. В компаниях он никогда не старался привлечь к себе внимание, что, наверное, требовало от него некоторого искусства, ибо он был красивой поразительной красотой, какой отличаются многие молодые кашмирцы. Он был хоть невысок, но широкоплеч, за сухощавостью угадывалась незаурядная, выносливая сила. Он коротко стриг свои черные, как вороново крыло, волосы, а глаза у него были карие, с зеленоватым оттенком. Он был всегда гладко выбрит и белизной кожи сильно отличался от смуглой Тило. Я очень хорошо помню две его черты: щербинку в передних зубах, которая делала мальчишеской его улыбку (хотя он крайне редко улыбался), и его руки — это не были руки художника — то были руки крестьянина, большие, с толстыми короткими пальцами.

Для Мусы были характерны мягкость и безмятежное хладнокровие, что мне нравилось, несмотря на то что именно эти черты, сливаясь, с большой вероятностью могут сделать человека чудовищем. Я абсолютно уверен, что он прекрасно видел, какие чувства я испытывал к Тило, но не выказывал ни опасений, ни торжества. Это было, на мой взгляд, громадным достоинством. В его отношениях с Нагой такого хладнокровия не было, но здесь дело было больше в Наге, нежели в Мусе. Нага становился особенно неуверенным и неловким в его присутствии.

Контраст между этими двумя людьми был просто разительным. Если Муса был воплощением (или во всяком случае производил впечатление) солидного, надежного, как скала, человека, то Нага был ветреным и переменчивым. Рядом с ним было невозможно чувствовать себя спокойно. Он был незаурядным актером: громогласным, остроумным, задиристым и неприкрыто, жизнерадостно безжалостным с людьми, которых ему хотелось публично осмеять. Нага был хорош собой, строен, в нем было что-то мальчишеское, а кроме того, он прекрасно играл в крикет (был подающим), обладал мягкими, слегка вьющимися волосами и носил очки. Это законченный портрет холодного, интеллектуального спортсмена. Однако дело было не только и не столько во внешности. Девушкам он нравился своей неумной шаловливостью. Они легкомысленной толпой вились вокруг него, ловя каждое его слово и глупо хихикая даже над тем, что вовсе не казалось смешным. За чередой его девушек было невозможно уследить. Он, как добросовестный актер, был чем-то похож на хамелеона — он мог менять свою внешность — не поверхностно, а радикально — в зависимости от того, кем он хотел быть в каждый данный момент. Пока мы были молоды, это казалось забавным и бодрящим. Все ждали, каким будет следующий аватар Наги. Но когда мы повзрослели, это начало восприниматься как утомительная пустота.

После окончания архитектурного факультета Муса и Тило, видимо, расстались. Он вернулся в Кашмир, а Тило получила место младшего архитектора в какой-то проектной строительной фирме. Она говорила мне, что ее главной обязанностью было отдуваться за чужие ошибки. Зарплата ее была весьма скудной, но она смогла улучшить свои жилищные условия, выбравшись из трущобы и поселившись возле дарги хазрата Низамуддина Аулии. Несколько раз я был у нее в гостях.

Во время последнего моего визита мы сидели у могилы Мирзы Галиба, среди брошенных окурков биди и сигарет, в окружении пестрого сборища калек, прокаженных, бродяг, наркоманов и странных личностей,



которые в Индии почему-то всегда собираются в священных местах, и пили густой, отвратительный до тошноты чай.

— Вот так мы чтим память нашего великого поэта, — помнится, сказал я, пожалуй, несколько претенциозно — в то время я был совершенно незнаком с его поэзией. (Теперь я хорошо ее знаю — по долгу службы, — ибо ничто так не воспламеняет горячие сердца мусульман субконтинента, как несколько хорошо подобранных строк на урду.)

— Наверное, так он чувствует себя счастливее, — возразила Тило.

Потом мы пошли мимо массы нищих по улице к дарге, чтобы послушать суфийскую музыку. Это было не самое лучшее каввали из тех, что мне приходилось слышать, но иностранные туристы жмурились от восторга и дрожали в экстазе.

После того как была спета последняя песня, а музыканты упрятали в чехлы свои потертые инструменты, мы пошли по темной улочке, огибавшей колонию, вдоль ливневых канавок, от которых тянуло застоявшейся канализацией, а затем поднялись по крутой лестнице в квартиру Тило. Пыльная терраса была заставлена чьей-то — вероятно, домовладельца — старой мебелью, выгоревшей под беспощадным солнцем. Рыжий кот дико орал от неудовлетворенной сексуальной страсти, предмет которой забаррикадировался в куче прутьев, оставшихся от продавленного деревенского плетеного стула. Наверное, я так хорошо запомнил этого кота, потому что он сильно напоминал меня самого.

Комнатка была крошечной, как чулан. Обстановки практически не было, если не считать покрытой циновкой лежанки, терракотового кувшина для воды, картонной коробки для одежды и нескольких книг. Круглая электрическая спираль, водруженная на кирпичи, поставленные на ветровое стекло старого джипа, заменяла плиту. Во всю стену был нарисован мелом неправдоподобный радужный петух в пурпурно-синих тонах. Эта птица презрительно косилась на нас своим суровым желтым глазом. Похоже, за неимением настоящих родителей Тило нарисовала себе воображаемого, который внимательно присматривал за ней со стены.

Я облегченно вздохнул, избавившись от этого осуждающего взгляда, когда мы с Тило вышли на террасу. Мы курили гашиш, убивали нахальных комаров и беспричинно смеялись. Тило, скрестив ноги, сидела, опершись на стену спиной и глядя в темноту. На небо вошла пятнистая луна. Ее неземная красота составляла поразительный контраст с вполне мирскими испарениями, поднимавшимися из канавы. С улицы на террасу прилетел камень, ударившись о стену в паре сантиметров от виска Тило. Она инстинктивно отскочила от стены, но мне показалось, что этот камень не

слишком сильно ее напугал.

— Эта толпа идет из кино, — сказала она. — Наверное, только что кончился сеанс.

Я посмотрел вниз. Было слышно негромкое хихиканье, но мне не удалось никого рассмотреть в темной тени. Должен признаться, что мне стало немного не по себе. Я спросил — это был невероятно глупый вопрос, — какие меры предосторожности она принимала, чтобы избежать опасности. Она ответила, что не опровергает распушенные соседями слухи о том, что она приторговывает наркотиками. Люди думают, что у нее есть защитники, и не наглеют.

Махнув рукой на приличия, я спросил ее о Мусе, где он, вместе ли они до сих пор и не собираются ли пожениться. Тило ответила: «Я ни за кого не выйду замуж». Когда я спросил, почему она так думает, Тило ответила, что хочет сохранить свободу умереть, не испытывая ни за кого никакой ответственности, чтобы никто этого не заметил и не огорчился.

В ту ночь, засыпая у себя дома, я думал о пропасти, отделявшей мою жизнь от жизни Тило. Я в то время по-прежнему жил с родителями, в доме, где родился и где прошло мое детство. Родители спали в соседней комнате. Я слышал до боли знакомое жужжание холодильника. Все предметы — ковры, серванты, кресла в гостиной, картины Джамини Роя, первое издание книг Тагора на бенгальском и английском языках, собрание отцовских книг по альпинизму (это было заочное увлечение, отец не был восходителем), семейные фотоальбомы, сундуки с зимней одеждой, кровать, в которой я спал с тех времен, когда был еще мальчишкой, — все это были стражи, хранившие меня много лет. Это правда, что моя взрослая жизнь была впереди, но фундамент, на котором она будет построена, казался неизменным и несокрушимым. Тило, напротив, казалась бумажным корабликом, носящимся по бурному переменчивому морю. Она была совершенно, абсолютно одинока. В нашей стране даже у бедных людей, страдающих от жестокости и притеснений, есть семьи. Как она выживет? Сколько она продержится до того, как ее бумажный кораблик пойдет ко дну?

После того как я поступил в Разведывательное бюро и приступил к учебе, я потерял ее из вида.

В следующий раз я встретился с Тило на ее свадьбе.

Не знаю, что свело их с Мусой после стольких лет разлуки и как они начали жить семьей в Сринагаре.

Учитывая то, что я знал о Мусе, я так и не смог понять, как буря убогого, бестолкового тщеславия — абсурдная идея о том, что Кашмир может стать «свободным», — захватила его, как и целое поколение молодых кашмирцев. Да, это верно, что он пережил трагедию, которой не пожелаешь и злему врагу, но Кашмир тогда был зоной боевых действий. Положа руку на сердце, могу поклясться, что, несмотря ни на какие провокации, я никогда бы не совершил того, что сделал Муса.

Но он — это не я, а я — это не он. Он сделал то, что сделал. И заплатил за это дорогую цену. Что посеешь, то и пожнешь.

Через несколько недель после смерти Мусы Тило вышла замуж за Нагу.

Что касается меня, то я — самый неприметный из нас троих — любил ее без гордости. И без надежды. Без надежды, потому что понимал, что даже если по какому-то невероятному стечению обстоятельств она вдруг ответила бы на мои чувства, то мои родители, мои браминские родители, никогда не приняли бы ее — девушку без прошлого, девушку без касты — в нашу семью. Если бы я стал настаивать, то мое упорство обернулось бы такими неприятностями, какие я был бы просто не в состоянии переварить. Даже при самой спокойной и безмятежной жизни нам приходится выбирать свои битвы, но эта битва была не моя.

Теперь, много лет спустя, мои родители уже мертвы, а я стал солидным, «семейным» человеком. Мы с женой терпимо относимся друг к другу и обожаем наших детей. Читра — Читтарупа — моя жена (да, да, моя браминская жена) — служит в министерстве иностранных дел и работает в Праге. Наши дочери, Рабия и Аня — им, соответственно, семнадцать и пятнадцать лет, — живут с матерью и ходят во французскую школу. Рабия рассчитывает заняться английской литературой, а юная Аня решила сделать карьеру юриста по правам человека. Это неортодоксальный выбор, и ее решимость, ее отказ даже обсуждать другие возможности выглядят несколько странно, особенно в ее нежном возрасте. Поначалу это сильно меня расстроило. Мне казалось, что она переживала ползучую версию бунта против отца. Но, кажется, я ошибся. В течение последних десяти лет область прав человека стала уважаемой отраслью юриспруденции и весьма престижной в профессиональном плане. Я успокоился и стал даже всячески поощрять ее. Но, как бы то ни было, окончательное решение она примет не сегодня, а через несколько лет. Посмотрим, что из этого выйдет. Обе девочки учатся хорошо. Нам с Читрой пообещали, что нас скоро направят работать в одно место. Надо надеяться, что это будет страна, где

девочки пойдут в университет.

Я не был готов даже вообразить себе, что смогу сделать что-то неподобающее, каким-то образом навредить моей семье. Однако когда Тило снова вторглась в мою жизнь, эти законные узы, эти высокие моральные принципы съезжились и даже стали представляться мне абсурдными. Но, как оказалось, все мои страхи были несущественными и преждевременными — Тило, кажется, даже не заметила, что я испытываю какую-то моральную неловкость.

Сдав ей свои комнаты, когда она в этом нуждалась, я говорил себе, что тактично и ненавязчиво расплачиваюсь за свои прегрешения. Я употребляю слово «прегрешения», потому что всегда чувствовал, что потерпел в Тило неудачу, пусть туманную, но фундаментальную. Она смотрела на эти вещи не так, как я, но она была другим человеком.

С тех пор как она вышла замуж за Нагу, я видел ее очень редко — от случая к случаю. Свадьба в Дели навсегда запечатлелась в моей памяти, словно выжженная каленым железом, и не по причине, которая могла бы показаться очевидной, — по причине отвергнутой любви и разбитого сердца. Нет, этот фактор играл самую незначительную роль. Я в то время был в определенной степени счастлив. Мой брак к тому времени продолжался всего лишь два года, и нас с женой связывало какое-то подобие страсти, если не настоящая любовь. Хрупкость отношений с Читрой, характерная для нынешнего состояния нашего брака, тогда была еще незаметна.

К моменту своего брака с Тило Нага прошел тернистый и извилистый путь от бунтующего студента-иконоборца, невыносимого ни в одном учреждении интеллектуала крайне левых взглядов, от ярого сторонника палестинского движения (его кумиром одно время был Жорж Хабаш) до традиционной умеренной журналистики. Подобно многим другим шумливым экстремистам, он в своей жизни придерживался самых разнообразных, как правило, крайних политических взглядов. Неизменным оказывался лишь уровень их выражения в децибелах. Теперь Нага стал агентом — хотя сам он так не считает — Разведывательного бюро. Занимая высокий пост в своей газете, он является для нас бесценным кадром.

Его путь на службу тьмы — возможно, вы (в отличие от меня) так захотите это назвать — начался с обычной, банальной сделки. Тогда его коньком был Пенджаб. Партизанская война была практически прекращена, сопротивление подавлено, но Нага продолжал раскапывать старые истории, доставляя взрывоопасный материал пародийным фарсовым организациям

— так называемым народным трибуналам, после чего они составляли народные списки обвиняемых, куда вносились имена полицейских и членов военизированных организаций. Надо, конечно, понимать, что администрация, управляющая регионом во время войны против свирепой, вооруженной оппозиции, не может действовать методами, какими та же администрация действовала бы в условиях мира. Но кто бы взялся объяснить это донкихотствующему журналисту, который писал свои колонки, слыша неумолчный гром аплодисментов в ушах? Однажды, решив отдохнуть от своего демонстративного, театрального радикализма, Нага отправился в Гоа, где как безумный влюбился в австралийскую хиппи и сразу же женился на ней. Кажется, девушку звали Линди. (Или Шарлоттой? Впрочем, это неважно, и я буду называть ее Линди.) Не прошло и года, как Линди была арестована за перепродажу героина. Девушке светило несколько лет тюремного заключения. Нага был сам не свой. Его отец был достаточно влиятельным человеком и мог бы легко помочь в этом деле, но Нага — поздний ребенок в семье — всегда находился в контрах с отцом и не хотел даже говорить ему о неприятном происшествии. Но он позвонил мне, и я потянул за нужные ниточки. Генеральный директор полиции Пенджаба переговорил по телефону со своим коллегой в Гоа. Линди выпустили на свободу и сняли с нее все обвинения. Как только Линди поняла, что ей не грозит тюрьма, она купила билет на первый же самолет до Перта. Через несколько месяцев состоялся официальный развод. Нага продолжал работать в Пенджабе, но несколько умерил свой пыл.

Когда нам потребовалась помощь журналиста в одном пустяковом деле, о котором подняли невероятный шум активисты, озабоченные правами человека, хотя многие из приведенных ими фактов нуждались, мягко говоря, в корректировке, я позвонил Наге. Он помог. Так, собственно, и началось наше сотрудничество.

Постепенно Наге стала нравиться ситуация, когда он оказывался на корпус впереди своих коллег благодаря посещению брифингов в Бюро. Это была невероятная ирония судьбы, что-то сродни торговле наркотиками. Правда, на этот раз наркодилерами были мы, а Нага — попавшим на крючок наркоманом. Через несколько лет он стал известным репортером, звездой журналистики, самым востребованным аналитиком по вопросам безопасности на журналистском Олимпе. Когда его отношения с Бюро стали чем-то большим, чем единовременные задания, — браком, а не мимолетными встречами, — я благоразумно решил устраниваться из игры. Один мой коллега, Р. Ч. Шарма — Рам Чандра Шарма — занял мое место, и все пошло, как по маслу. Они оба обладали беспощадным, жестоким

чувством юмора, а также были без ума от рок-н-ролла и блюза. В пользу Наги можно сказать одну немаловажную вещь — он ни разу не взял ни рупии за свои услуги Бюро. В этом он был — и остается до сих пор — честным до глупости. Так как идея о профессиональной честности требует от него жить в согласии с принципами, он изменил свои принципы, чтобы оставаться честным и цельным человеком, и теперь верит в нас больше, чем мы сами. Какая метаморфоза для мальчика, который в школе дразнил меня прозвищем Цепной Пес Империализма, и это в возрасте, когда большинство из нас не читало ничего, кроме комиксов про Арчи.

Я не знаю, где Нага выучил пламенный язык левых трибунов. Возможно, его обучил один из его родственников — коммунист. Кто бы ни был тот человек — неважно, мужчина или женщина, — он оказался превосходным учителем, и Нага талантливо и с блеском применял эту науку. Он шел от победы к победе. Однажды, еще в школе, я на свою беду согласился состязаться с ним в публичных дебатах. Нам было тогда лет тринадцать-четырнадцать. Тема дебатов была такая: «Существует ли Бог?» Я должен был привести аргументы за, а Нага — против. Я говорил первым. Потом заговорил Нага. Его худощавое тело напряглось, как туго натянутая струна, голос вибрировал от неподдельного негодования. Одноклассники, как зачарованные, послушно записывали в тетради его откровенные богохульства: «Фальшь трехсот тридцати миллионов немых идолов, эгоистичные божества, которых мы именуем Рамой и Кришной, не избавят нас от голода, болезней и нищеты. Наша глупая вера в призраков с обезьяньими и слоновьими головами не накормит голодающие массы...» У меня не было ни малейшего шанса на победу. Речь Наги сделала мое выступление бледным и бесцветным, словно написанным под диктовку моей благочестивой престарелой тетки. Странно, но при том что я превосходно помню охватившее меня ощущение собственной неполноценности, я совершенно не помню, что я тогда говорил. Через несколько месяцев после дебатов я, оставшись один дома, тайно продекламировал перед зеркалом святотатственную речь Наги: «Наша глупая вера в призраков с обезьяньими и слоновьими головами не накормит голодающие массы...» От отвращения я смачно плюнул в зеркало, покрыв брызгами слюны мое отражение.

Еще одно эпохальное выступление Наги состоялось несколько лет спустя, на культурном мероприятии в колледже. Только что вернувшийся из летнего путешествия в Бастар, где он с двумя друзьями провел в лесу летние каникулы, посещая окрестные деревни, населенные поистине первобытными племенами, Нага вышел на сцену, потрясая гривой

нестриженных волос, босой, голый, если не считать набедренной повязки, с луком и колчаном стрел, висевшим за спиной. Нага вызывающе и демонстративно хрустел темной плотной массой, которая, как он утверждал, была приготовлена из запеченных термитов. На лицах сидевших в зале девушек, многие из которых были бы не прочь выйти за Нагу замуж, отразилось неподдельное отвращение. Проглотив последний кусок деликатеса, Нага подошел к микрофону и исполнил роллинговскую песню «Сочувствие к дьяволу». Нага имитировал ритм и аккорды воображаемой гитары и делал это мастерски — он вообще был замечательным певцом, но именно это его выступление я нашел безвкусным и пошлым, неуважительным по отношению к аборигенам, а также и к Мику Джаггеру, который в ту пору был моим богом. (Мне стоило бы вспомнить о нем во время тех приснопамятных религиозных дебатов.) Впрочем, на этот раз я не преминул сам сказать об этом Наге. Он рассмеялся и сказал, что это выступление было как раз данью уважения и людям, и Мику Джаггеру.

Теперь, когда оранжевая волна индусского национализма поднимается над нашей страной, как когда-то поднималась над другой свастика, выходка Наги с критикой «глупой веры» могла стоить ему исключения из школы, если не по инициативе школьной дирекции, то в результате кампании активных родителей. На самом деле исключение, по нашим временам, было бы самым лучшим вариантом — сейчас людей линчуют за куда более мелкие прегрешения. Даже многие мои коллеги в Бюро искренне не видят разницы между религиозной верой и патриотизмом. Мне кажется, они хотят построить в Индии индуистский Пакистан. Большинство из них консерваторы, скрытые брамины, носящие под сорочками священные шнуры, а связанные в хвост волосы болтаются у них под крышкой черепа, незаметные стороннему взгляду. Меня они терпят только потому, что я, как и они, дважды рожденный. (На самом деле я принадлежу к касте вайдья, но мы считаемся браминами. Тем не менее я предпочитаю по большей части держать мое мнение при себе.) Напротив, Нага соскользнул в совершенно новую ипостась одним ловким и непринужденным движением. Былое бунтарство исчезло, растворилось без следа. Его теперешний аватар носит твидовые пиджаки и курит дорогие сигары. Я не виделся с ним много лет, но вижу, как он разыгрывает из себя эксперта по безопасности на волнительных ток-шоу, — вероятно, он и сам не понимает, что играет роль чревоуещателя или говорящей куклы. Мне грустно видеть это перерождение. Теперь Нага беспрестанно экспериментирует с растительностью на лице — иногда отпускает, на французский манер,

аккуратную козлиную бородку, иногда пышные нафабранные, как у Сальвадора Дали, усы; порой он щеголяет двухсуточной ухоженной щетиной, а бывает, и чисто бреется. Видимо, он никак не может найти подходящий «образ», не может надолго в него войти. Это ахиллесова пята его самоуверенной важности. Она выдает его с головой, но, возможно, это лишь мое частное мнение.

К сожалению, в последнее время он начал зарываться, и его несдержанность стала превращаться в помеху. Дважды за два года Бюро было вынуждено вмешиваться (разумеется, негласно) и входить в контакт с владельцами его газеты, чтобы уладить бурные конфликты Наги с главным редактором. В обоих случаях наш протезе писал импульсивные заявления об уходе. В последний раз нам удался ловкий ход. Нага был восстановлен на работе с повышением.

Видимо, посещения одного детского сада, учебы в одной школе и одном университете и совместного участия в любительском спектакле на гомосексуальные темы было мало, и во время моей работы в Сринагаре заместителем главы местного управления Бюро Нага был корреспондентом своей газеты в Кашмире. Он не стал туда переселяться, но жил в Кашмире большую часть своего времени. У Наги был забронирован номер в отеле «Ахдус», где останавливаются репортеры почти всех газет. Именно тогда его связи с Бюро сильно окрепли и упрочились, но тогда это было не столь очевидно, как теперь. Для своих читателей — а возможно, и для самого себя — он оставался мужественным, бестрепетным журналистом, которому можно доверять в его разоблачениях «преступлений» индийского государства.

Было, должно быть, довольно далеко за полночь, когда по горячей линии губернатора позвонили в лесной гостевой дом в национальном парке Дачигам, что приблизительно в двадцати километрах от Сринагара. Я находился там в составе свиты Его Превосходительства. (У нас в то время были большие неприятности, неприятности с большой буквы. Гражданское правительство штата было распущено. Шел 1996 год, шестой год прямого правления губернатора.)

Его Превосходительство, бывший командующий индийской армией, считал, что кровопролития следует избегать, если это только возможно. Выходные дни губернатор проводил в Дачигаме, гуляя вдоль горных речек с семьей и друзьями, в то время как дети, каждый под охраной дюжего сотрудника службы безопасности, косили из игрушечного оружия воображаемых повстанцев (которые перед смертью кричали «Аллаху



Акбар!») и пытались выманывать из нор длиннохвостых сурков. На прогулке подавали легкие закуски, но обедал губернатор всегда только дома — обычно это был рис с приправленной карри форелью с близлежащей рыбной фермы. В нерестовых прудах рыбы было так много, что можно было спуститься в пруд, сунуть руку в воду (если вы способны выдержать стояние в почти ледяной воде) и схватить переливающуюся всеми цветами радуги трепещущую форель.

Стояла осень. Лес был трогательно красив, как может быть красив только гималайский лес. Чинары начали менять цвет. Луга стали медно-золотистыми. Если повезет, то в это время в лесу можно увидеть черного медведя или леопарда и даже знаменитого дачигамского оленя, хангула. (В одном из своих репортажей Нага назвал похотливого бывшего премьер-министра Кашмира «ни на что не способным вурдалаком»<sup>[27]</sup>. Это был удачный ход, признаю, но, к несчастью, большинство читателей едва ли поняли намек.) За время пребывания в Кашмире я стал завзятым любителем птиц, каковым остаюсь и до сих пор и могу отличить гималайского грифона от орла-бородача, могу распознать снегиря, славку и кашмирскую мухоловку, которая уже тогда была на грани исчезновения, а теперь, наверное, уже окончательно вымерла. Беда от пребывания в Дачигаме, главным образом, заключалась в том, что этот заповедник размывал и подрывал всякую решимость и желание действовать, ибо высвечивал бесполезность и тщету всяких действий. Было такое впечатление, что Кашмир на самом деле принадлежит именно этим пестрым, голосистым созданиям. Никто из нас, кто дрался за Кашмир — кашмирцы, индийцы, пакистанцы, китайцы (у них тоже был кусок Кашмира — Аксайчин, который был когда-то частью древнего царства Джамму и Кашмира) или, если уж на то пошло, пахади, гуджарцы, догры, пуштуны, шины, ладакхи, балти, гильгити, пурики, вакхи, яшкуны, тибетцы, монголы, татары, моны, кховары, — никто из нас, ни святоши, ни солдаты, не имел права притязать на божественную красоту этих мест. Однажды, совершенно случайно, я сказал об этом Имрану, молодому кашмирскому полицейскому, который очень славно поработал для нас под прикрытием. Он ответил так: «Это отличная мысль, сэр. Я тоже, как и вы, очень люблю животных. Путешествуя по Индии, я испытывал точно такие же чувства — я чувствовал, что Индия принадлежит не пенджабцам, бихарцам, гуджаратам, мадрасцам, мусульманам, сикхам, индусам, христианам, а этим чудесным созданиям — павлинам, слонам, тиграм, медведям...»

Он был вежлив до подобострастия, но я понял, что он хотел сказать.

Это было поразительное и очень неприятное открытие; было нельзя тогда — и нельзя до сих пор — доверять даже тем, кто вроде бы находится на твоей стороне. Даже этим проклятым *полицейским*.

Высоко в горах уже шел снег, но перевалы были еще проходимы, и небольшие группки бойцов — оболваненные юные кашмирцы и заматерелые убийцы из Пакистана, Афганистана и даже из Судана, — принадлежавшие к тридцати или около того оставшимся террористическим группировкам (раньше их было почти сто), просачивались тайными тропами через линию пограничного контроля, толпами умирая по дороге. «Умирая», наверное, — это не самое подходящее слово для обозначения того, что с ними происходило. Сейчас я пытаюсь вспомнить знаменитую фразу из «Апокалипсиса сегодня»: «Устранить без права восстановления». Инструкции, которые получали наши солдаты-пограничники, звучали почти слово в слово так же.

Но что еще можно было им говорить? «Позвоните их матерям?»

Боевики, сумевшие проникнуть в долину, редко выживали дольше, чем два или, в лучшем случае, три года. Если их не брали в плен или не убивали сотрудники службы безопасности, то они погибали в междоусобных стычках. Мы сопровождали их вдоль всего пути, но для того, чтобы умереть, им не нужна была наша помощь — и не нужна до сих пор. Истинно верующие идут со своим оружием, молитвенными четками и собственными инструкциями по самоуничтожению.

Вчера мой друг-пакистанец прислал мне вот этот текст — он путешествует по мобильным телефонам всего мира, так что, возможно, вы его уже видели:

На мосту я увидел человека, готового прыгнуть вниз.

Я сказал: «Не делай этого!»

Он ответил: «Меня никто не любит».

Я сказал: «Тебя любит Бог. Ты веришь в Бога?»

Он ответил: «Да».

Я спросил: «Ты мусульманин или не мусульманин?»

Он ответил: «Мусульманин»

Я спросил: «Шиит или суннит?»

Он ответил: «Суннит».

Я сказал: «И я тоже! Деобанди или барелви?»

Он ответил: «Барелви».

Я сказал: «Я тоже! Танзиhi Асматии или Танзиhi Фархатии?»

Он ответил: «Танзиhi Фархатии».

Я сказал: «Танзихи Фархати Джамия уль Улум Аджмер или Танзихи Фархати Джамия уль Нур Меват?»

Он ответил: «Танзихи Фархати Джамия уль Нур Меват».

Я воскликнул: «Умри, неверный!» и столкнул его вниз.

К счастью, некоторые из них сумели сохранить чувство юмора.

Этот генетический идиотизм, эта идея джихада проникли в Кашмир из Пакистана и Афганистана. Теперь, прослужив в конторе двадцать пять лет, я думаю, что нам сильно повезло, что в Кашмире воюют между собой восемь или девять версий «истинного» ислама. У каждой версии свой штат мулл и законоучителей. Самые радикальные из них — выступающие в проповедях против национализма, за создание мировой исламской уммы — находятся у нас на содержании. Одного из них недавно взорвал на выходе из мечети велосипедист-смертник. Заменить проповедника не составит большого труда. Единственное, что удерживает Кашмир от саморазрушения — в отличие от Пакистана и Афганистана, — это старый, добрый мелкобуржуазный капитализм. При всей своей религиозности, кашмирцы предприимчивые и оборотистые бизнесмены, а все бизнесмены — рано или поздно, но неизбежно стремятся к сохранению статус-кво — или того, что мы называем мирным процессом, каковой, между прочим, предоставляет бизнесу совсем иные возможности, нежели сам мир.

В основном границу переходили очень молодые люди — до двадцати или немного за двадцать. Целое поколение совершало самоубийство. К девяносто шестому году поток боевиков через границу превратился в тонкий ручеек, но полностью заблокировать его нам не удалось. Приходилось расследовать донесения разведки о вопиющем поведении наших солдат на пограничных пунктах. Солдаты продавали «безопасный проход» и деликатно отворачивались, когда очередная группа боевиков проходила мимо них. Гуджарские пастухи, знавшие горы как свои пять пальцев, вели эти группы тайными тропами дальше. Безопасные проходы были не единственным товаром этого преступного рынка. Торговали всем — дизельным топливом, алкоголем, патронами, гранатами, армейскими сухими пайками, колючей проволокой и древесиной. На древесину под корень вырубали целые леса. На эту работу силой сгоняли кашмирских лесорубов и кашмирских плотников. Военные грузовики, везшие снабжение для армии из Джамму, каждый день возвращались назад, груженные резной ореховой мебелью. Наша армия оснащена оружием и

техникой не самым лучшим образом, но могу держать пари, что мебелью мы оснащены лучше любой другой армии мира. Но кто сможет помешать победоносной армии?

В горах, окружавших Дачигам, было относительно тихо. Однако в дополнение к постоянно размещенным здесь постам военизированных формирований каждый раз, когда приезжал Его Превосходительство, за день до его прибытия, военные патрули прочесывали холмы, между которыми проезжал бронированный кортеж, а саперы проверяли дорогу на предмет минирования. Местным жителям вход в парк был запрещен. Для обеспечения безопасности гостевого дома более сотни наших людей располагались на его крыше, на сторожевых вышках по периметру участка и по концентрическим окружностям до километра в глубину леса. Немногие в Индии смогли бы поверить в те меры, которые мы предпринимали ради того, чтобы наш босс мог полакомиться свежей рыбкой.

В ту ночь я сильно запозднил, заканчивая рапорт, который мне предстояло утром подать Его Превосходительству. Из старенького «Сони» звучала приглушенная музыка. Расулан Бай пела чаити «Яхин тхайян мотийя хираи гаэли Рама». Конечно, самой выдающейся певицей всего Индостана была Кесар Бай, но Расулан превосходила ее эротичностью. У Расулан был низкий, мужеподобный, грудной голос, в противоположность писклявым, подростковым голосам, к которым мы сейчас все привыкли, благодаря саундтрекам Голливуда. (Отец, большой любитель и знаток классической индийской музыки, считал Расулан слишком вульгарной. Этот конфликт между нами так и остался неразрешенным.) Я мог явственно представить себе, как разлетается ожерелье в руках женщины, изнывающей от жажды любви, а голос томительно следовал за звонким падением каждой жемчужины на пол спальни. (Да, были же времена, когда мусульманская куртизанка могла так откровенно взывать к индуистскому божеству.)

В то утро в городе начались проблемы. Правительство объявило о проведении в ближайшие несколько месяцев выборов. Они должны были стать первыми в течение почти девяти лет. Боевики заявили о бойкоте выборов. Тогда было совершенно ясно (в отличие от нашего времени, когда толпы у избирательных участков становятся неуправляемыми), что люди не придут на участки и не проголосуют, если мы не сумеем доходчиво убедить их. «Свободная» пресса, как всегда, уже была готова своим ослепительным идиотизмом подлить масла в огонь, и поэтому следовало соблюдать известную осторожность. Нашим тузом пик была «Ихван-уль-Муслимун»,

«Братья-мусульмане», — наша главная контртеррористическая группа — бывшие боевики, сдавшиеся нам в полном составе, с амуницией, боеприпасами и вооружением. Постепенно ряды организации стали пополняться другими несогласными, сдававшимися нам целыми подразделениями. Мы заново организовывали их, вооружали и снова отправляли на поле боя. «Ихваны» были закаленными бойцами, но по большей части рэкетирами и мелкими уголовниками, которые вступали в организации мусульманских боевиков, когда видели в этом материальную выгоду. Однако они же первыми дезертировали, когда начинало пахнуть жареным. Они знали обо всех местных событиях намного лучше, чем мы, и, когда переходили на нашу сторону, получали преимущество пользования своими источниками, что позволяло им проворачивать операции, бывшие вне полномочий регулярной армии. Сначала они оказывали нам просто неоценимые услуги, но затем стали постепенно выходить из-под контроля. Самым жестоким и устрашающим из всех, воплощением Князя Тьмы, был человек, прозванный Папой, который раньше был неприметным заводским сторожем. За свою карьеру в «ихванах» он убил десятки людей. (Мне помнится, что речь шла о ста трех убитых.) Устроенный им террор поначалу склонил чашу весов на нашу сторону, однако к девяносто шестому году он стал совершенно бесполезен, и нам пришлось его обуздать (сейчас он в тюрьме). В марте того года, без всяких инструкций с нашей стороны, Папа ликвидировал известного редактора выходившей на урду ежедневной газеты — совершенно безответственной, должен сказать, газеты. (Безответственные, ядовитые антииндийские ежедневные листки, которые вечно преувеличивали число жертв и неверно интерпретировали факты, подрывали репутацию всех остальных местных СМИ, что давало нам возможность мазать их одним миром. Больше того, могу честно признаться, что мы даже негласно финансировали некоторые из таких газет.) В мае Папа огородил общинное кладбище в Пулваме и объявил его участок своей наследственной собственностью. После этого он убил всеми любимого сельского учителя в одной пограничной деревне и забросил его тело на заминированную нейтральную полосу. Подойти к телу было невозможно, а значит, его нельзя было и похоронить по обряду, со всеми положенными молитвами, и ученикам оставалось только в бессильной ярости наблюдать, как тело их любимого учителя расклеивают коршуны и ястребы.

Вдохновленные подвигами Папы, другие командиры «ихванов» последовали его примеру.

В то утро группа таких молодчиков остановила на контрольно-

пропускном пункте возле Сринагара пожилую кашмирскую чету. После того как мужчина отказался расстаться с бумажником, его скрутили и увезли в неизвестном направлении. Однако народ не стал терпеть. Люди организовались и преследовали похитителей до лагеря, где «ихваны» стояли вместе с пограничниками. У ворот лагеря старика просто вышвырнули из машины. Оказавшись за забором лагеря, похитители совершенно обезумели — они бросили в толпу гранату, а затем открыли по людям огонь из пулемета. Был убит маленький мальчик, и десятки людей получили ранения, по большей части серьезные. После этого «ихваны» отправились в полицейский участок и, угрожая полицейским, заставили их порвать рапорт о преступлении. Вечером они остановили похоронную процессию и похитили гроб с телом убитого мальчика. Тело исчезло, а значит, предъявить обвинение в убийстве стало невозможно. К вечеру протесты приобрели насильственный характер. Три полицейских участка были сожжены. Сотрудники службы безопасности открыли по толпе огонь и убили еще четырнадцать человек. Во всех крупных городах был объявлен комендантский час — в Сопоре, Барамулле и, конечно, в Сринагаре.

Когда я услышал телефонный звонок и ответ адъютанта Его Превосходительства, я решил, что ситуация вышла из-под контроля и у нас просят новых указаний. Однако я ошибся.

Человек на другом конце провода сказал, что звонит из объединенного центра дознаний, расположенного в кинотеатре «Шираз».

Не стоит поддаваться первому впечатлению. Это не мы закрыли действующий кинотеатр и превратили зрительный зал в центр дознаний. «Шираз» был закрыт много лет назад организацией «Тигры Аллаха». «Тигры» приказали закрыть все кинотеатры, винные магазины и бары как антиисламские учреждения и проводники индийской культурной агрессии. Прокламации были подписаны неким маршалом авиации Нур-Ханом. «Тигры» заклеивали город угрожающими плакатами и закладывали бомбы в бары. Когда маршал авиации был, наконец, задержан, он оказался полуграмотным крестьянином из какой-то отдаленной горной деревни. Возможно, этот парень никогда в жизни не видел самолет. Я был младшим следователем в команде дознавателей (это было до моего назначения в Сринагар), и мне довелось допрашивать его и еще нескольких боевиков, содержащихся в тюрьме. Мы беседовали с ними, надеясь склонить на нашу сторону. Нур-Хан отвечал на наши вопросы лозунгами, словно обращаясь к массовому митингу: «Джис Кашмир ко кхун се синча, вох Кашмир хамара хай!» («Кашмир, политый нашей кровью, — это наш Кашмир!») Иногда он издавал боевой клич «Тигров Аллаха»: «Ла

Шаракейя ва Ла Гарабейя, Исламия, Исламия!» («Ни Запад, ни Восток — Ислам — вот лакомый кусок!»)

Маршал авиации был храбрым человеком, и я почти завидовал его простосердечному пылу. Он не раскаялся даже после отбытия срока в «Карго». Он отбыл срок и уже вышел на волю. Мы до сих пор следим за ним и такими, как он. Но, кажется, он теперь не вызовет никаких неприятностей. Он зарабатывает на хлеб продажей печатей возле здания окружного суда в Сринагаре. Мне говорили, что он не совсем в себе, но я лично не могу это подтвердить. Наверное, «Карго» — не санаторий.

Адъютант, ответивший по телефону, сказал, что звонивший назвался майором Амриком Сингхом и попросил к телефону меня, назвав не только по званию и должности, но и по имени — он попросил Биплаба Дасгупту, заместителя начальника отдела «Индия Bravo»<sup>[28]</sup> (это был кашмирский код для обозначения в радиограммах Разведывательного бюро).

Я знал этого парня, хотя и не лично — я ни разу его не видел, — но по отзывам. Он был известен под прозвищем Амрик Сингх «Ищейка» — за свою невероятную способность угадывать в траве змей, а в толпе гражданских — террористов. (Он славится и теперь, но посмертно. Недавно он покончил с собой — застрелил жену, троих маленьких сыновей, а потом прострелил себе голову. Не могу сказать, что я скорблю, но мне стыдно за офицера, убившего жену и детей.) Майор Амрик был порченным яблоком. Нет, точнее сказать, он был гнилым яблоком и был таковым уже тогда, во время того ночного звонка, оказавшись в центре довольно зловонной бури. Спустя два месяца после того, как я прибыл в Сринагар, а это было в январе 1995 года, Амрик Сингх, скорее всего по приказу, арестовал известного адвоката и правозащитника Джалиба Кадри на контрольно-пропускном пункте. Кадри сильно нам мешал — этот дерзкий и несговорчивый человек совершенно не понимал значения нюансов. В ту ночь, когда его арестовали, он должен был прибыть в Дели, чтобы вылететь в Осло, где он собирался выступить со свидетельскими показаниями на международной конференции по правам человека. Арест должен был всего-навсего помешать проведению этого дурацкого цирка. Амрик Сингх задержал Кадри публично, в присутствии его жены, без оформления задержания, что, в принципе, было в порядке вещей. По поводу этого «похищения» поднялся страшный шум — намного более громкий, чем мы ожидали, и поэтому через несколько дней мы сочли целесообразным отпустить его. Но мы никак не могли его найти. Разразился невообразимый скандал. Мы сформировали поисковую комиссию, стараясь успокоить

страсти, а через несколько дней тело убитого Кадри было обнаружено в мешке, выловленном в реке Джелам. Труп был в ужасном состоянии — череп проломлен, глаза выколоты и так далее. Даже по кашмирским меркам это было нечто из ряда вон выходящее. Общественное негодование вышло из берегов, и полиции было разрешено возбудить дело. Для надзора за расследованием была создана высокопоставленная комиссия с широкими полномочиями. Свидетели ареста, люди, видевшие Кадри под охраной Амрика Сингха в армейском лагере, люди, видевшие ссору Амрика Сингха с арестованным — едкие замечания адвоката привели Сингха в ярость, — изъявили готовность дать письменные показания, что, вообще говоря, было большой редкостью в нашей практике. Даже сообщники Амрика Сингха, «ихваны» — во всяком случае, большая их часть, — изъявили готовность свидетельствовать против него в суде. Но затем тела этих потенциальных свидетелей стали с завидной регулярностью обнаруживаться в полях, лесах и на обочинах дорог... он убил их всех. Армии и администрации пришлось хотя бы сделать вид, что проводится расследование, несмотря на то что мы просто не могли выступить против Амрика Сингха. Он слишком много знал и дал понять, что если его начнут топить, то он очень многих потянет за собой. Он был загнан в угол и стал опасен. Было решено отправить его за границу и найти надежное убежище в какой-нибудь нейтральной стране. Однако сделать это сразу было невозможно, во всяком случае до тех пор, пока он был в центре всеобщего внимания. Надо было дождаться, пока улягутся страсти. Для начала его отстранили от оперативной работы и усадили за документы в центре расследований в кинотеатре «Шираз». Его надо было убрать с глаз долой, и мы думали, что нам это удалось.

Мне позвонил именно этот человек. Не могу сказать, что я горел желанием с ним разговаривать. Такую заразу лучше держать в карантине.

Я взял трубку. По голосу было понятно, что майор Сингх очень взволнован. Он заговорил так быстро, что я не сразу понял, что он говорил по-английски, а не по-пенджабски. Майор сказал, что поймали террориста категории А, некоего полевого командира Гульреза, страшного предводителя отряда «Хизб-уль-Муджахидин» — в результате крупной разыскной операции — в плавучем доме.

Это был Кашмир: сепаратисты изъяснялись лозунгами, а наши люди изъяснялись пресс-релизами; разыскные операции всегда были «крупными», всякий пойманный назывался террористом категории А и был «ужасным» боевиком, а саму операцию по захвату неизменно называли «боевой». Ничего удивительного в этих преувеличениях не было, потому что они означали премии, повышение по службе, благодарность в



послужном списке или медаль за храбрость. Так что, как вы понимаете, это сообщение не очень сильно меня взволновало.

Майор сказал также, что террорист был застрелен при попытке к бегству. Эта новость тоже не вызвала у меня сердцебиения. Такое происходит каждый день, и назвать такой день можно хорошим или плохим в зависимости от того, как вы относитесь к таким вещам. Так зачем мне позвонили среди ночи, чтобы сообщить о совершенно заурядном событии? Какое отношение рвение Амрика Сингха имело ко мне или моему отделу?

Дальше майор сказал, что вместе с террористом была задержана какая-то женщина. Не кашмирка.

Вот это уже было неожиданно. Мало того, это было просто неслыханным.

Для допроса женщину передали следователю Розочке. Мы все знали помощника коменданта Розочку Содхи, персиковый цвет ее лица и длинные черные волосы, заплетенные в косу, которую она прятала под фуражку. Родной брат Розочки — Бальбир Сингх Содхи — был старшим полицейским офицером, застреленным боевиками в Сопоре во время утренней пробежки. (Эти утренние пробежки — большая глупость со стороны старших офицеров полиции, даже если они — чаще всего ошибочно — гордятся тем, что их очень любят местные жители.) Розочка — Пинки — получила назначение на должность помощника коменданта в центральном резервном отделе. Это была компенсация семье за убийство ее брата. Эту женщину никто и никогда не видел в гражданской одежде, она всегда была в форме. При всей своей поразительной красоте она была очень жестоким следователем и часто выходила за рамки должностных инструкций, так как, видимо, старалась изгнать демонов и из своей души. Она не могла, конечно, сравниться с Амриком Сингхом, но не дай бог было кашмирцу попасть в ее нежные руки. Что же касается тех, кого судьба избавила от участи подследственного, многие писали ей письма с пылкими признаниями в любви и даже с предложениями руки и сердца. Такова была сила рокового обаяния помощника коменданта Розочки Содхи.

Женщина, которую они задержали, отказалась назвать свое имя. Так как женщина оказалась не кашмиркой, то, как я понимал, Розочка во время допросов так или иначе себя сдерживала. Если бы она дала себе волю, то ни женщина, ни мужчина не смогли бы утаить от нее свое имя. Как бы то ни было, я начал проявлять нетерпение. Я все еще не мог понять, какое отношение все это имело ко мне.

Наконец, Амрик Сингх перешел к делу: во время допроса женщина назвала *мое* имя. Она попросила разрешения написать мне сообщение.

Америк сказал, что не понял, что это за сообщение, но женщина сказала, что я его пойму. Он прочитал сообщение по буквам:

Г-А-Р-С-О-Н Х-О-Б-А-Р-Т

В моей голове, словно гром, зазвучал голос Расулан, ищущей рассыпанные по полу жемчужины: «Кахан ваэка дхундхун ре? Дхундхат дхундхат баура гаэли Рама...»

Должно быть, словосочетание «Гарсон Хобарт» звучало как тайный код для обозначения запланированного удара боевиков или как подтверждение получения партии оружия. Этот сумасшедший на противоположном конце провода ждал моих объяснений, а я даже не мог сообразить, с чего мне начать.

Мог ли полевой командир Гульрез иметь что-то общее с Мусой? Был ли это сам Муса? Я пытался найти его после приезда в Сринагар, хотел выразить сочувствие в связи с семейной трагедией, но я так и не смог его найти. В те дни этому могло быть только одно объяснение — Муса находился в подполье.

Да и с кем еще могла быть Тило? Неужели они убили Мусу у нее на глазах? Боже милостивый...

Я коротко сказал Амирку Сингху, что перезвоню, и положил трубку.

Первым моим побуждением было как можно дальше дистанцироваться от женщины, которую я любил. Не делала ли такая позиция меня трусом? Возможно, да, но во всяком случае честным трусом.

Даже если бы я захотел поехать к ней, в данный момент это было просто невозможно. Я находился в чаще джунглей, на дворе стояла глухая полночь. Выезд означал вой сирен, тревожные маячки на машинах, четыре джипа сопровождения и бронированный автомобиль для меня. Для сопровождения мне пришлось бы взять не меньше шестнадцати человек, и это минимум. К тому же весь этот цирк не помог бы ни Тило, ни мне. Мало того, под угрозой оказалась бы безопасность Его Превосходительства, что вообще могло привести к непредсказуемым последствиям. Возможно, это была ловушка с целью выманить меня. В конце концов, Муса знал о Гарсоне Хобарте. Наверное, это была паранойя, но в те дни трудно было провести грань между разумной предосторожностью и паранойей.

Выбора у меня не было, и я набрал номер отеля «Ахдус» и попросил к телефону Нагу. К счастью, он оказался там. Он сразу сам вызвался поехать

в «Шираз». Чем больше заботы и сочувствия он выказывал, тем сильнее я раздражался. Я буквально слышал, как он вживается в предложенную ему роль, двумя руками ухватившись за возможность сделать то, что он обожал больше всего на свете, — произвести громкий эффект. Готовность Наги действовать успокоила меня, но одновременно привела в ярость.

Я позвонил Амрику Сингху и приказал ему ждать журналиста по имени Нагарадж Харихаран. Это наш человек, сказал я. Если на женщину ничего нет, продолжил я, то немедленно освободите ее и передайте журналисту.

Через несколько часов позвонил Нага и сказал, что Тило находится рядом с ним в его номере в «Ахдусе». Я предложил Наге утром посадить ее на первый же авиарейс в Дели.

— Она не мертвый груз, Дас-Гусь, — ответил он. — Она говорит, что пойдет на похороны командира Гульреза. Понятия не имею, кто это такой.

Дас-Гусь. Он не называл меня так с окончания колледжа. В колледже, когда он еще был ультрарадикалом, он издевательски называл меня (почему-то всегда с немецким акцентом) «Биплаб Дас-Гусь-да», его вариант имени Биплаб Дасгупта. Революционный братец Гусь.

Я никогда не мог простить своим родителям, что они — в честь моего деда по отцу — назвали меня Биплабом. К тому времени, когда я родился, мы уже не были британской колонией, мы были свободной страной. Как им только пришло в голову назвать дитя Революцией? Как может нормальный человек пройти по жизни с таким, с позволения сказать, имечком? Однажды я хотел поменять имя на что-нибудь более мирное — на Сиддхартху, или Гаутаму, или что-то подобное. Но я оставил эту идею, зная, что с такими друзьями, как Нага, вся эта история прилипнет ко мне и будет грохотать, как консервная банка, привязанная к кошачьему хвосту. Так я и остался — и до сих пор остаюсь — Биплабом, Революцией, в самом логове истеблишмента, именующего себя правительством Индии.

— Это был Муса? — спросил я Нагу.

— Она не хочет говорить. Но кто еще это мог быть?

К утру понедельника число убитых за выходные достигло девятнадцати; четырнадцать демонстрантов убиты огнем армии, мальчик, которого застрелили люди из «ихванов», Муса (Гульрез или как он там себя называл?) и еще трое боевиков, убитых в перестрелке у Гандербала. Сотни тысяч скорбящих собрались для того, чтобы отнести девятнадцать гробов (один пустой, потому что тело мальчика так и не было найдено) на своих

плечах к кладбищу мучеников.

Позвонили из резиденции губернатора и сказали, что нам нецелесообразно возвращаться в город до наступления следующего дня. Позже позвонил мой секретарь:

— Сэр, *сун лиджийе*, пожалуйста, послушайте. Сэр...

Сидя на веранде гостевого дома в Дачигамском лесу, откуда доносились пение птиц и стрекотание сверчков, я слышал в трубке гром сотен тысяч голосов, взывавших к свободе: «Азади! Азади! Азади!» Этот гром не прекращался ни на секунду, он длился вечно. Даже по телефону он внушал страх. Это было совсем не то, что слушать лозунги маршала авиации в тюремной камере. Казалось, что весь город дышал одними легкими, кричал одной гигантской глоткой. Мне не раз приходилось бывать на демонстрациях и слышать, как толпа выкрикивает лозунги, — и было это в самых разных концах страны. Но этот кашмирский хорал превосходил всякое воображение и не укладывался ни в какие рамки. Это было нечто большее, чем политическое требование. Это был гимн, молитва. Вся ирония заключается здесь в том, что если вы посадите четырех кашмирцев в одну комнату и попросите их объяснить, что именно они понимают под словом «Азади», попросите очертить идеологические и географические контуры этого понятия, то они, вероятно, в конце концов перережут друг другу глотки. Но будет ошибкой списывать это на путаницу и неразбериху в головах. Проблема, на самом деле, не в путанице. Скорее, это ужасающая, отчетливая ясность, каковая царит за пределами языка современной геополитики. Все активные участники этого конфликта, в особенности мы, безжалостно эксплуатируют эту линию разлома. Именно эта линия делает нашу войну идеальной — такую войну невозможно ни выиграть, ни проиграть, она будет длиться вечно.

Ритмичный рев, услышанный мною в то утро по телефону, был конденсированной, дистиллированной страстью — и, как всякая страсть, этот порыв, как это бывает всегда, был слепым... и абсолютно безнадежным. Во время таких (по счастью, кратковременных) случаев, когда боевой клич толпы звучит во всю силу народных легких, он обладает невероятной силой, способной обрушить твердыни истории и географии, уничтожить разум и всякую политику. Он обладает такой силой, что даже самые закаленные из нас задумываются — пусть и ненадолго — о том, какой ад мы устроили в Кашмире, пытаясь управлять народом, инстинктивно ненавидящим нас.

Так называемые похороны мучеников — это всегда состязание нервов. Полиция и силы безопасности получают приказ быть в полной готовности,

но без нужды не показываться на глаза толпе. Дело здесь не только в том, что в такой ситуации страсти и без того накалены до предела и любой повод может привести к новому кровопролитию, — это мы усвоили на собственном горьком опыте. Другая мысль заключается в том, чтобы дать людям возможность выпустить пар, время от времени выкрикивая лозунги. Так можно избежать накопления гнева и не допустить его консолидации в неуправляемую ярость. Пока, на протяжении почти двадцатипятилетнего кашмирского конфликта, такая тактика себя оправдывала. Кашмирцы горевали, рыдали, выкрикивали лозунги, но в конце концов достаточно мирно расходились по домам. Постепенно, с течением времени, это вошло в привычку, стало ритуальным, предсказуемым циклом, а люди постепенно начинали презирать себя за эти нелепые вспышки и быструю капитуляцию. В этом заключалось наше незапланированное преимущество.

Тем не менее позволить полумиллиону человек, а иногда и миллиону, выйти на улицы в *любой* ситуации, а тем более во время партизанской войны, есть серьезная игра с очень высокими ставками.

На следующее утро, когда уличные страсти улеглись, мы вернулись в город, и я сразу направился в отель «Ахдус», но не застал там ни Нагу, ни Тило. Нага не возвращался в Сринагар довольно долго. В отеле мне тогда сказали, что он уехал в отпуск.

Через несколько недель я получил приглашение на их свадьбу. Я, конечно, его принял, да и как я мог поступить иначе? Я хорошо осознавал свою ответственность за эту пошлую комедию с переодеванием, за то, что отдал Тило в руки человека, который был с ней, мягко говоря, не слишком честен. Не думаю, что кто-то просветил ее насчет связей ее будущего мужа с Разведывательным бюро. Она, без сомнения, была на сто процентов уверена, что выходит замуж за журналиста, борца за справедливость, за противника и обличителя власти, убившей человека, которого она любила. Этот обман страшно меня злил, но, разумеется, не я стал бы человеком, избавившим ее от этого заблуждения.

Торжество состоялось на залитой лунным светом лужайке, в доме родителей Наги — в дипломатическом анклав. Все мероприятие было обставлено довольно скромно, без приглашения массы гостей, как это любят практиковать в наши дни. Повсюду были белые цветы — лилии, розы, гирлянды жасмина, — составленные в прихотливые композиции матерью Наги и его старшей сестрой. Ни мать, ни сестра даже не старались прикидываться счастливыми. Центральная дорожка и цветочные клумбы

были обрамлены глиняными лампами, а в кронах деревьев висели японские фонарики — сквозь листву просачивался сказочный свет. Официанты в ливреях с медными пуговицами, перепоясанные красно-золотыми кушаками и с накрахмаленными тюрбанами на головах, сновали среди гостей, предлагая еду и напитки. Напоминающие стрижкой щетки маленькие собачки, пропахшие духами и дымом сигарет, обезумев, носились между гостями, похожие на моторизованные швабры.

На высоком помосте, покрытом белым настилом, играли одетые в белые дхоти и курты музыканты из Бармера, своей музыкой перенесшие нас в пустыню Раджастана. Мусульманские народные музыканты на свадьбе такого рода смотрелись несколько странно, но мой друг Нага любил эклектику во всем. Этих музыкантов он обнаружил во время поездки в пустыню. Играли они отменно. Их искренняя, первобытная, томительная музыка воспаряла в городские небеса и стряхивала пыль со звезд. Солист, Бхунгар-Хан, лучший из них, пел о муссоне, несущем живительную влагу. Своим высоким, почти женским голосом он преобразил песню об иссохшей земле, жаждавшей дождя, в песню о женщине, ждущей возвращения любимого. Память о свадьбе Тило неразрывно связана для меня с этой песней.

Прошло больше десяти лет с тех пор, как я видел Тило в последний раз до свадьбы — на ее террасе. За десять лет она заметно похудела, у основания шеи резко выступали ключицы. На Тило было тонкое сари цвета солнечного заката. Голова была покрыта, но сквозь ткань платка угадывался контур черепа. Сначала мне показалось, что она облысела. Волосы покрывали голову мягким бархатистым войлоком. Я подумал было, что она больна и голый череп — следствие химиотерапии или какой-нибудь болезни, лишившей ее волос. Но густые брови и ресницы заставили меня отбросить эту мысль. Да и вообще, Тило не выглядела больной или истощенной. Лицо было открыто, я не увидел на нем никакой косметики — ни кайала, ни бинди, ни хны, — никакие краски не оживляли ее руки и ноги. Выглядела она дублершей невесты, ожидавшей, когда настоящая невеста переоденется и сама выйдет к гостям. Думаю, что самым подходящим словом для описания ее вида в тот вечер было бы слово «одинокость». Она производила впечатление абсолютно, безнадежно, невыносимо одинокого человека — даже на своей свадьбе. Аура безмятежного безразличия исчезла без следа.

Когда я подошел к ней, Тило встретила меня прямым взглядом, но мне показалось, что сквозь ее глаза на меня смотрит кто-то другой. Я ожидал

увидеть в ее глазах гнев, но увидел лишь пустоту. Возможно, виной было мое воображение, но, встретив мой взгляд, она задрожала. В девяти тысячный раз я заметил, как красивы ее губы. Меня завораживало их движение. Я почти физически чувствовал, каких усилий стоит ей складывать губы для того, чтобы произносить слова и придавать им звучание:

— Это всего лишь стрижка.

Стрижка? Скорее, голова была выбрита наголо, и идея наверняка принадлежала Розочке Содхи. Полицейская психотерапия болезни, которую Содхи сочла изменой, — спать с врагом, с одним из убийц ее брата. Розочка Содхи любила простые решения.

Никогда прежде не видел я Нагу таким расстроенным, таким встревоженным. Весь вечер он держал Тило за руку. Призрак Мусы, словно вбитый между ними клин, незримо присутствовал на церемонии. Мне даже казалось, что я его вижу — коренастого, плотно сбитого, со щербатой мальчишеской улыбкой, излучающим непробиваемое спокойствие. Казалось, что свадьбу справляют три человека — Муса, Нага и Тило.

Так оно, собственно, в конце концов и оказалось.

Мать Наги царила в группе женщин, аромат духов которых я ощущал с противоположного конца лужайки. Тетушка Мира происходила из княжеской семьи, из семьи младших правителей Мадхья Прадеш. Она была юной вдовой, так как ее августейший муж заболел агрессивным раком легких и умер через три месяца после свадьбы. Не зная, что делать с дочерью, ее родители отправили Миру в Англию, завершать школьное образование. Там, в Лондоне, она на званом вечере познакомилась с отцом Наги. Для царицы без царства не могло быть лучшей партии, чем учтивый и обходительный чиновник министерства иностранных дел. Мира стала образцовой хозяйкой дома — современной индийской магарани, говорящей с характерным для высшего общества британским акцентом, усвоенным у гувернантки и усовершенствованным в английской школе. Тетушка носила шифоновые сари, жемчуга и всегда покрывала голову паллу, как положено членам княжеских домов раджпутов. Она храбро старалась сохранить присутствие духа, видя шокирующий цвет лица своей невестки. У самой тетушки лицо было белым, как алебастр. У ее мужа, который был брамином несмотря на тамильское происхождение, цвет лица был ненамного темнее, чем у жены. Проходя мимо, я слышал, как внучка тетушки Миры, дочь ее дочери, спросила:

— Бабушка, она ниггер?

— Конечно, нет, дорогая, не будь такой глупой. И, дорогая, мы уже давно не пользуемся таким словом — «ниггер». Надо говорить «негритянка».

— Негритянка.

— Умница.

Убитая происшедшим тетушка Мира обернулась к подругам, отважно улыбнулась и сказала, покосившись в сторону нового члена семьи:

— Но у нее очень красивая шея, вы не находите?

Подруги тотчас с восторгом согласились.

— Но, бабушка, она похожа на служанку.

Малышку отругали и послали по какому-то надуманному делу.

Другие гости, старые приятели Наги по колледжу — я бы назвал их прихлебателями — ни разу не видевшие Тило, кучковались на лужайке и сплетничали, упражняясь, подобно Наге, в жестоком юморе. Один из друзей предложил тост:

— За нашего Гарибальди. (Это был Абхишек, работавший у своего отца на фирме, производившей и продававшей канализационные трубы.)

Они громко рассмеялись, как смеются мужчины, притворяющиеся мальчишками.

— Ты не пробовал с ней заговорить? Она не разговаривает.

— Ты не пробовал ей улыбнуться? Она не улыбается в ответ.

— Да где, черт возьми, он вообще ее откопал?

Я сделал последний глоток виски и направился к воротам, где меня неожиданно окликнул отец Наги, посол Шивашанкар Харихаран:

— Баба!

Этот человек принадлежал другой эпохе. Он произносил «баба» так, как англичане произносят слово «цирюльник»<sup>[29]</sup>. (Свое собственное имя он тоже произносил на британский манер: Shiver<sup>[30]</sup>.) Он никогда не упускал возможность напомнить людям, что он — выпускник Баллиол-колледжа в Оксфорде.

— Дядя Шива, сэр!

Отставка редко красит могущественных и властных людей. Этот человек очень сильно сдал и постарел. Он выглядел исхудавшим и казался слишком маленьким для своего костюма. Между безупречными зубными протезами была зажата дорогая сигара, на бледных висках выступали толстые вены. Шея выглядела слишком тонкой для воротника сорочки. Он



горячо, как никогда прежде, пожал мне руку. Голос тоже стал ломким и дрожащим.

— Уже убегаешь? Оставляешь нас наедине с нашим неожиданным счастьем?

Это было единственное, что он сказал о последней эскападе своего сына.

— Где твоя чудесная жена? Где вы сейчас работаете?

Когда я ответил, лицо его стало каменным. Эта перемена была почти устрашающей.

— Держи их за яйца, баба. Сердца и умы пойдут за ними сами. Такими сделал нас Кашмир.

После этого я выпал из их жизни. За прошедшие годы я видел ее только один раз, и то случайно. Я в это время был с Р. Ч. — Р. Ч. Шармой — и еще одним коллегой. Мы гуляли по парку Лодхи и обсуждали разные служебные неприятности. Я увидел ее издали. Она была в тренировочном костюме и быстро бежала по дорожке рядом с собакой. Издали я не мог рассмотреть, был ли это ее пес или присоединившаяся к ней парковая дворняга. Думаю, она тоже заметила нас, потому что замедлила бег, а потом перешла на шаг. Когда мы, наконец, встретились, она была покрыта потом и тяжело дышала. Не знаю, какой бес в меня тогда вселился. Наверное, всему виной было замешательство оттого, что она застала меня с Р. Ч. Или, может быть, все дело было в смущении, какое я всегда испытывал в ее присутствии. Как бы то ни было, что-то заставило меня произнести несусветную глупость — я мог бы сказать это жене коллеги, с которой случайно столкнулся на улице, — шутку в духе вечеринки с коктейлем.

— Привет! Где твой муженек?

Произнеся эти слова, я сразу был готов убить себя за них.

Она взмахнула поводком (собака все-таки принадлежала ей) и сказала: «Муженек? О, иногда он позволяет мне гулять самой».

Это звучит ужасно, но ничего ужасного я тогда не почувствовал. Она произнесла эту фразу с улыбкой. Своей неповторимой улыбкой.

\* \* \*

Четыре года назад она, совершенно неожиданно, позвонила мне и спросила, не тот ли я Библаб Дасгупта (оказывается, нас, несчастных с

таким абсурдным именем, очень много), который дал объявление в газетах о сдаче внаем квартиры на третьем этаже. Я ответил, что да, на самом деле это я. Тило сказала, что она работает фрилансером-иллюстратором и графиком, и ей нужен офис, и она вполне в состоянии оплачивать квартиру. Я сказал, что буду счастлив сдать ей квартиру. Через два дня в дверь позвонили. Это была она. Она, конечно, стала намного старше, но в чем-то осталась неизменной — именно в своей особости и непохожести. На ней было фиолетовое сари и черно-белая клетчатая блузка, даже, скорее, рубашка с отложным воротником и длинными, закатанными до локтей рукавами. Серые волосы были очень коротко подстрижены — настолько коротко, что топорщились ежиком. Выглядела она то ли намного моложе, то ли намного старше своих лет. Я так и не смог понять это до конца.

В то время я был прикомандирован к министерству обороны и жил в своем доме на первом этаже (там, где теперь живут квартиранты в своем арбузе). Была суббота, Читра и девочки были в отъезде. Я был дома один.

Инстинкт подсказал мне, что надо держаться официально, а не дружески, чтобы не будить воспоминаний о прошлом. Я сразу проводил ее наверх, чтобы показать квартиру — две комнаты: крошечную спальню и немного более просторный кабинет. Конечно, это было улучшение жилищных условий по сравнению с квартиркой на могиле Низамуддина, но эти апартаменты не могли идти ни в какое сравнение с домом в дипломатическом квартале, где Тило прожила много лет. Она не стала придирчиво осматривать квартиру, а просто сказала, что хотела бы переехать как можно скорее.

Она прошла по пустым комнатам, села у окна эркера и выглянула на улицу. Кажется, увиденное чем-то ее захватило, и я тоже посмотрел наружу, но, вероятно, мы смотрели на какие-то разные вещи.

Тило не делала никаких попыток заговорить — похоже, ее вполне устраивало молчание. На среднем пальце правой руки у нее до сих пор было надето то же широкое серебряное кольцо. Я видел, что она напряженно беседует о чем-то сама с собой. Она заговорила неожиданно, причем о вещах сугубо практичных.

— Я могу расплатиться чеком? Оставить депозит?

Я сказал, что не тороплюсь и в течение следующих нескольких дней составлю договор.

Она спросила, можно ли курить в квартире. Я ответил, что, конечно, можно — теперь это ее квартира, и она может делать в ней то, что считает нужным. Она достала из пачки сигарету и прикурила, закрыв, как делают мужчины, огонек ладонями.

— Ты бросила курить биди? — спросил я.

Ее улыбка осветила тесную комнату.

Я оставил ее наедине с сигаретой и пошел проверять состояние квартиры — электричество, водопроводные краны и трубы на кухне и в ванной комнате. Когда Тило встала, чтобы уйти, она вдруг сказала таким тоном, словно продолжала прерванный разговор: «Так много данных, но никто, на самом деле не хочет ничего знать. Тебе не кажется?»

Я не понял, что она имела в виду, но спросить не успел. Она ушла. Ее отсутствие заполнило квартиру — точно так же, как и сейчас.

Через пару дней она переехала на третий этаж моего дома. Мебели у нее почти не было.

В то время она не сказала мне, что рассталась с Нагой и собирается не только работать, но и жить в сданной ей квартире. Оплату она регулярно, без задержек, переводила на мой банковский счет по первым числам каждого месяца.

Ее приезд, ее присутствие в доме открыли во мне какие-то шлюзы.

Мне тревожно из-за того, что я использую прошедшее время.

Даже беглого взгляда на комнату — на фотографии (пронумерованные и словно брошенные посреди работы), приколотые к деревянной настенной доске, на стопки документов, аккуратно разложенные на полу или по помеченным коробкам и папкам, желтые закладки в книгах, стоящих на полке, посудный шкаф, двери — все это говорит мне, что здесь что-то неблагополучно и что лучше оставить все это в неприкосновенности, позвонить Наге, а еще лучше в полицию. Но заставлю ли я себя это сделать? Должен ли я, обязан ли и смогу ли противостоять этому приглашению к интимности, смогу ли сопротивляться этой возможности разделить ее доверие?

В дальнем конце комнаты я вижу длинную толстую доску, положенную на две массивные металлические подставки. Эта доска служит письменным столом. Стол завален бумагами, старыми видеокассетами, стопками компакт-дисков. К настенной доске, наряду с фотографиями, приколоты записки и какие-то рисунки. Рядом со старым, допотопным компьютером я вижу этикетки, визитные карточки, брошюры и листы с шапками фирменных бланков — наверное, это графика, которой она зарабатывала (черт тебя возьми — *зарабатывает!*) себе на жизнь. Это единственные вещи в комнате, которые придают ей вполне нормальный вид. Я вижу несколько вариантов этикетки шампуня — они выполнены разными шрифтами:

Натуральный сверхнежный питательный  
кондиционер с ореховым маслом и листьями  
персика

Натуральный сверхнежный кондиционер соединяет в себе питательные свойства и успокаивающее действие орехового масла и умиротворяющий эффект персиковых листьев, растворенных в масле, которое немедленно тает в смоченных волосах.

*Результаты: После мытья волосы легко расчесываются.*

*Волосы приобретают невероятную мягкость, но не становятся тяжелыми.*

*Получая питание от самых корней, ваши волосы будут гладкими и текучими.*

*Восхитительное ощущение*

В слове «восхитительное» во всех вариантах была пропущена буква «с». Видимо, в эту фазу ее жизни пришло время писать этикетки шампуней с ошибками.

Существуют ли, однако, шампуни, предупреждающие выпадение волос?

На стене над компьютером висят две маленькие фотографии, заключенные в рамки. На одной фотографии девочка четырех или пяти лет. Глаза ее закрыты, тельце завернуто в плотную ткань. Из раны на виске кровь просочилась сквозь ткань, обозначившись на ней розовым пятном. Девочка лежит на снегу. Под головку ее поддерживают чьи-то руки, у верхнего края фотографии виден ряд ног, обутых в зимние сапоги. Наверное, этот ребенок — дочка Мусы. Странно, что именно эту фотографию Тило выбрала для того, чтобы повесить на стену.

Другая фотография не такая мрачная. Снимок сделан у входа в плавучий дом. Дом довольно неказистый и обшарпанный. На заднем плане, на глади озера видны многочисленные кашмирские плоскодонки. Озеро обрамлено горами. На снимке изображен низкорослый, бородатый молодой человек, одетый в коричневый кашмирский пхеран. Голова молодого человека непропорционально велика. За каждое ухо у него заткнуто по несколько цветков. Он смеется, зеленые глаза сверкают. Рот открыт, и видно, что у молодого человека кривые редкие зубы. Открытость и

беззащитность улыбки делают его похожим на ребенка. В каждой большой руке сидит котенок — один дымчато-серый в черную полоску, а другой, словно арлекин, — белый с черными пятнами. Он протягивает котят вперед, словно предлагая фотографу потрогать их или погладить. Они же смотрят сквозь растопыренные толстые пальцы, словно сквозь решетку, своими влажными, настороженными и живыми глазами.

Кто этот парень? Не знаю.

Я беру со стола толстую зеленую папку, выудив ее из стопки таких же, и наугад открываю. К листу бумаги приклеены две фотографии. На первой — смазанное изображение мотоциклиста, несущегося мимо забранного железом дверного проема в розовой кирпичной стене высотой шесть-семь футов, похожей на стену общественного мужского туалета. Виден густонаселенный квартал с одно- и двухэтажными домами, украшенными балконами. На стене большими зелеными буквами нанесена реклама «Рокси — фотокопирование». Вторая фотография сделана уже в туалете. Розовые стены покрыты сыростью и поросли мхом; ржавые водопроводные трубы протянуты вдоль стен в горизонтальном и вертикальном направлениях. В стену вделана грязная белая раковина, а в бетонном полу видны три отверстия, заменяющие унитазы. Рядом с отверстиями лежат тяжелые чугунные крышки с ручками, похожие на крышки исполинских сковородок. Оконная рама сломана, вдоль одной стены тянется длинная деревянная полка. Мне никогда в жизни не приходилось видеть таких прямолинейных фотографий. Кто их сделал? Кто вообще делает такие снимки? И главное, зачем их так бережно хранить?

Объяснение я нашел на следующей странице:

### История Гафура

Это место называют Наваб-базаром. Вы видите этот общественный туалет? Ну, тот, на котором нарисована реклама «Рокси — фотокопирование»? Именно здесь-то все и произошло. Дело было в 2004 году, должно быть, в апреле. Было холодно, и шел сильный дождь. Мы пили чай в лавке моего друга, в магазинчике «Новая электроника», рядом с портняжной мастерской Рафика, — я и Тарик. Было около восьми вечера. Вдруг мы услышали визг тормозов. Четыре или пять машин остановились на противоположной стороне улицы и блокировали вход в туалет. Машины принадлежали

силам особого назначения. В лавку вошли восемь солдат и под дулами автоматов заставили нас перейти улицу. Когда мы подошли к туалету, солдаты приказали нам войти внутрь и осмотреть его. Нам сказали, что из-под стражи бежал афганский террорист, который спрятался в этом туалете. Мы не хотели подчиняться, мы боялись, что моджахед вооружен. Тогда солдаты приставили к нашим головам пистолеты, и мы вошли в туалет. Мы не увидели ничего особенного. Внутри никого не было. Солдаты попросили нас выйти и дали нам фонарь. Мы никогда в жизни не видели такого огромного фонаря. Один из солдат показал нам, как он работает, несколько раз включив и выключив его. Другой солдат не спускал с нас глаз и все время щелкал предохранителем автомата. Короче, они отправили нас обратно, но уже с фонарем. Мы осветили каждый угол, но никого не увидели. Мы даже покричали, но никто не отозвался.

Солдаты спецназа тем временем заняли позиции на балконе второго этажа соседнего дома. Они сказали, что видели кого-то в канализации. Как такое может быть? Было очень темно, как они могли что-то разглядеть, тем более с такого расстояния? Я посветил фонарем в отверстия в полу и увидел человеческую голову. Я сильно испугался, потому что мне показалось, что в руке того человека был пистолет. Солдаты попросили, чтобы я предложил тому человеку выйти. Стоявший рядом со мной Тарик прошептал: «Они снимают фильм. Делай, что тебе говорят». Под словом «фильм» он отнюдь не подразумевал кино — просто солдаты снимали все на пленку. Чтобы иметь на руках документальное подтверждение своих действий.

Я попросил человека в отверстии выйти. Он не ответил. Вглядевшись, я понял, что этот человек не афганец, а кашмирец. Он просто тупо смотрел на меня. Говорить он не мог. Так мы и стояли вокруг очка с фонарем. Дождь продолжался. Из очка нестерпимо воняло. Так прошло часа полтора. Мы молчали, не смея произнести ни слова, и только то и дело включали и выключали фонарь. Потом голова человека бессильно

упала на грудь. Он умер, погребенный в дерьме.

Солдаты дали нам ломы и лопаты. Мы должны были разбить бетонные края очка, чтобы вытащить труп наружу. Мы дрожали от холода. Промокли и насквозь провоняли говном. Вытащив труп, мы увидели, что его ноги опутаны веревкой и к ним привязан тяжелый камень.

Только много позже мы узнали, что было снято солдатами до этого.

Солдаты забрались в одну из машин и связали человека, вытащили его наружу и затолкали в очко туалета. Было видно, что человека пытали и он уже был близок к смерти. Вытащив человека в туалет, солдаты обнаружили там справлявшего малую нужду молодого человека. Парня арестовали и увезли — возможно, он отказался делать то, что согласились делать мы. Потом солдаты вернулись в машину. То, что происходило дальше, вы знаете. В их фильме нашлись роли и для нас.

Офицер попросил нас подписать какую-то бумагу. Он пригрозил убить нас, если мы откажемся. Мы подписались как свидетели стычки, в которой солдаты спецназа якобы выследили и убили опасного афганского террориста, загнанного в общественный туалет в Наваб-базаре.

Человек, которого они убили, был на самом деле рабочим из Бандипора. Парень, которого они арестовали за то, что он очень некстати решил пописать, исчез.

У нас с Тариком теперь на совести ложь и предательство.

Эти глаза смотрели на нас целых полтора часа — в них было прощение и понимание. Нам, кашмирцам, не надо говорить слов для того, чтобы понять друг друга.

Мы причиняем друг другу страшные вещи, мы раним, убиваем и предаем друг друга, но мы понимаем друг друга.

\* \* \*

Неприятная история, даже, можно сказать, ужасная. Если, конечно, это правда. Как можно подтвердить правдивость этого рассказа? Люди и их свидетельства ненадежны. Они всегда преувеличивают, особенно кашмирцы, а потом сами начинают верить в свои преувеличения как в божественную истину. Я не могу себе представить, зачем мадам Тилоттама собирает весь этот бессмысленный хлам. Лучше бы занялась этикетками шампуней. В любом случае это не улица с односторонним движением. На той стороне баррикад тоже творят ужасные вещи. Некоторые боевики — просто опасные маньяки. Если бы я мог выбирать, то предпочел бы индуистского фундаменталиста мусульманскому. Да, это правда, мы делали — и делаем — ужасные вещи в Кашмире, но... я вспоминаю, что пакистанская армия делала в Восточном Пакистане, и это был неприкрытый, явный геноцид. Откровенный и законченный. Когда же индийская армия освободила Бангладеш, добрые кашмирцы называли это — и называют до сих пор — «падением Дакки». Они нечувствительны к чужой боли. Да и кто ее чувствует? Белуджам, которых преследуют в Пакистане, нет никакого дела до Кашмира. Бангладешцы, которых мы освободили, охотятся на индусов. Старые добрые коммунисты называют сталинский ГУЛАГ «необходимой частью революции». Американцы теперь читают вьетнамцам лекции о правах человека. Это не частная, это наша видовая проблема. Исключений здесь нет. Кроме того, сейчас возникла еще одна проблема, затмевающая все остальные. Люди — сообщества, касты, расы и даже целые страны — несут с собой свою трагическую историю, словно бесценный трофей, словно живое имущество, каковое можно продать и купить на свободном рынке. О себе могу сказать, что, к великому несчастью, мне нечего продать на этом рынке, у меня нет за плечами никакой трагедии. Как на меня ни посмотри, я — угнетатель из высшей касты, из правящего класса.

Можете посмеяться надо мной.

Так, что еще у нас здесь?

Открытая коробка из-под картриджа для старенького принтера «Хьюлетт-Паккард» стоит на столе. Я испытываю некоторое облегчение, видя, что содержание ее несколько более оптимистично. Я вижу два желтых конверта с фотографиями. На одном написано «Фотографии выдры», на другом — «Выдра убивает». Отлично. Вот не знал, что она интересуется выдрами. Этот интерес сделал ее в моих глазах — как бы точнее выразиться — менее опасной. Мысль о том, как она гуляет по берегу моря, вдоль реки, с развевающимися на ветру волосами и ищет выдр, вселяет в меня радость за Тило. Я люблю выдр. Наверное, это мои



самые любимые животные. Помню, я целыми днями наблюдал за ними, когда мы с семьей проводили отпуск на тихоокеанском побережье Канады. Даже в шторм, когда поверхность океана покрыта высокими волнами и бурунами, эти щекастые отважные твари беззаботно плавали на спинах, взирая на мир так, словно читали в постели утреннюю газету.

Я вытряхнул фотографии из одного конверта.

Там не было ни одного снимка с выдрами.

Я мог бы догадаться об этом сразу, но почувствовал себя жертвой розыгрыша.

На первом снимке запечатлена набережная в Сринагаре близ Далских ворот. Смуглый солдат-сикх в бронежилете присел на корточки, держа в руке винтовку. Одно колено приподнято, а другое он торжественно поставил на труп молодого человека. По положению тела понятно, что человек мертв. Подбородком он зацепился за каменный бордюр набережной, а остальная часть тела дугой свисает по склону. Ноги неестественно вывернуты, колено выгнуто вправо почти под прямым углом. Парень одет в бежевую футболку. Пуля вошла ему в шею, и крови вытекло немного. На заднем плане, не в фокусе, видны силуэты плавучих домов. Голова солдата обведена красным фломастером. Судя по одежде убитого и по оружию солдата, снимок сделан довольно давно. На всех других, менее мрачных фотографиях видны группы солдат, снятых на рынках, контрольно-пропускных пунктах или на шоссе, где они останавливают проезжающие машины. На всех снимках один из солдат непременно выделен таким же фломастером. Между этими солдатами нет никакой очевидной связи — некоторые из них сикхи, другие, несомненно, мусульмане. Все снимки, за исключением одного, были сделаны в Кашмире. На той единственной фотографии изображен солдат, сидящий на синем пластиковом стуле в бункере, заложеном мешками с песком. Похоже, что пост находится в пустыне. Каска лежит на коленях, а сам солдат держит в руке оранжевую мухобойку и смотрит куда-то вдаль. Внимание привлекает пустой взгляд и отсутствие всякого выражения на лице. Голова этого солдата тоже обведена кружком.

Кто все эти люди?

Только разложив все фотографии на столе, я понял, в чем дело. На снимках изображен один и тот же человек, один и тот же солдат. На всех фотографиях он выглядит по-разному, если не считать выражения глаз. Мастер перевоплощения. Наверное, это один из наших контрразведчиков. Но почему он везде выделен красным фломастером?

В коробке с надписью «Выдра» я обнаруживаю папку. Первый

документ в этой папке представляет собой нечто вроде послужного списка. Документ озаглавлен: Ральф М. Бауэр, лицензированный медицинский социальный работник. Далее следует перечень пройденных им специализаций. Я улавливаю и выделяю одно слово — *Кловис*. Это слово фигурирует в почтовом адресе Ральфа Бауэра — Ист-Буллард Авеню, Кловис, Калифорния.

Кловис — это город, где Амрик Сингх убил свою семью и застрелился сам. Это произошло в их собственном доме, в пригороде, в небольшом изолированном квартале. Теперь я все понял. Выдра. Ищейка<sup>[31]</sup>. Ну, конечно же, человек на снимках — это Амрик Сингх, «Ищейка». В Кашмире я никогда не встречался с ним лично. Я не знал, как он выглядел в молодости (тогда еще не было «Гугла»). На этих снимках он совсем не похож на фотографии, сделанные во время следствия, на которых Амрик выглядел старше и плотнее. Он был чисто выбрит, а в глазах сквозила полная растерянность. Этих фотографий было тогда много в газетах.

Мне показалось, что кровь в моих жилах сменилась какой-то другой, едкой и пустой жидкостью. Как она смогла достать все эти документы? И зачем? *Зачем?* Как она собиралась ими воспользоваться? Что все это значит? Что это — месть в стиле вуду?

Первые несколько страниц документа в этой папке представляют собой нечто вроде опросника — последовательность простодушных психологических вопросов: «Не тревожат ли вас сны об этом событии? Не отмечали ли вы неспособность испытывать печаль или любовь? Нет ли у вас трудностей с представлением о долгой будущей жизни и о достижении поставленных целей?» Вот такая болтовня. К анкете были приложены два письменных свидетельства, подписанные Амриком Сингхом и его женой (у нее длинная подпись, у него — короткая), а также фотокопии двух объемистых заявлений о предоставлении убежища в Соединенных Штатах, тоже подписанных ими.

Нет, мне надо сесть. Мне надо выпить. У меня с собой бутылка виски «Карду», которую мне не следовало покупать в дьюти-фри в Кабуле и не надо было брать с собой сюда, особенно после того, как я поклялся Читре, что никогда больше не возьму в рот спиртное. Ни одной капли. Особенно теперь, когда под вопросом находится моя карьера. Особенно после тривиальных слов шефа: «Приведи себя в порядок или увольняйся».

Мне нужен лед, но его не оказалось. Холодильник изнутри покрылся инеем и снегом — его надо немедленно разморозить. Холодильник пуст, хотя вся кухня заставлена коробками из-под фруктов. Может быть, она придерживалась — придерживается — детокс-диеты, когда можно есть

только фрукты? Может быть, она отправилась в убежище к йогам?

Конечно же, нет.

Мне надо выпить «Карду». Здесь реально холодно, и эти проклятые голуби все ходят и ходят по подоконнику. Почему они не могут остановиться, черт бы их взял?

**Дата: 16 апреля 2012 года**

**Заявление: Лавлин Сингх, урожденная Каур, и Амрик Сингх**

Это требование о проведении психосоциальной экспертизы состояния Амрика Сингха и его жены, Лавлин Сингх, урожденной Каур, для выяснения вопроса о том, являются ли они жертвами преследований в результате злоупотребления властью, полицейской коррупции и вымогательства у себя на родине, в Индии. Действительно ли они испытывают «обоснованный страх» перед пытками и убийством от рук их собственного правительства? Они просят убежища, ибо, как они утверждают, Амрик Сингх будет подвергнут пыткам или убит после возвращения в Индию. В ходе беседы я использовал список травматических симптомов, диагностический опросник для оценки ментального статуса, скрининговые тесты, а также шкалу Дэвидсона для оценки степени психологической травмы. В течение двухчасовой беседы с каждым из них они, кроме того, записали рассказ о событиях, которые им пришлось пережить в Кашмире, Индия.

### **Основания**

Господин и госпожа Амрик Сингх проживают в Кловисе (штат Калифорния). Лавлин Сингх, урожденная Каур, родилась в Кашмире (Индия) 19 ноября 1972 года. Амрик Сингх родился в Чандигархе (Индия), 9 июня 1964 года. У супругов трое детей. Младший ребенок родился в Соединенных Штатах. Супруги бежали из Индии в Канаду с двумя старшими детьми. В

Соединенные Штаты они пришли пешком 1 октября 2005 года. Сначала они остановились в Блейне (штат Вашингтон), но теперь живут в Кловисе (штат Калифорния), где господин Амрик Сингх работает водителем грузовика. Лавлин Каур — домохозяйка. Супруги постоянно опасаются за безопасность своей семьи.

### **Рассказ Лавлин:**

*Это изложение рассказа Лавлин, сделанного ею во время беседы.*

Мой муж Амрик Сингх в чине майора индийской армии служил в Сринагаре (Кашмир). Я не жила с ним на военной базе. Мы с сыном жили в частном доме в квартире на третьем этаже, в Джавахар-Нагаре (Сринагар). В этом квартале живут, в основном, сикхи, но есть и несколько мусульманских семей. В 1995 году был похищен и убит адвокат и правозащитник Джалиб Кадри. Местная полиция обвинила в этом преступлении моего мужа, и мы понимали, что мусульмане верят этому обвинению. Мой муж не брал взятки и не любил мусульманских террористов. Он всегда вел себя как честный человек и не раз говорил: «Я не буду обманывать свою страну и поэтому не могу брать взятки».

В то время моя подруга Манприт, журналистка, работала в Сринагаре. Она выяснила, кто ложно обвинял моего мужа и кто на самом деле убил Джалиба Кадри. Она и моя мать пошли в полицейский участок, чтобы сообщить эти сведения. В полиции не стали слушать мать, потому что она женщина и, мало того, родственница подозреваемого. Но дело еще и в том, что в Джамму и Кашмире большинство полицейских — мусульмане. Старший полицейский следователь сказал: «Если захочу, я сплужу вас заживо. У меня вполне хватит на это власти».

Через год полицейские подразделения окружили колонию Джавахар-Нагар, где я тогда жила одна, без мужа, и начали прочесывать дома. Они постучали в дверь и вошли. Схватив меня за волосы, полицейские выволокли меня с третьего этажа на первый. Один из полицейских взял сына. Они похитили все мои драгоценности. По дороге они все время пинали и били меня, повторяя: «Это семья Амрика Сингха, убившего Кадри!» В полицейском участке меня привязали к деревянной лавке и начали избивать. Они били меня по голове резиновой дубинкой. Они говорили: «Мы превратим тебя в овощ до конца твоих дней». Человек, обутый в подкованные ботинки, бил меня ногами по груди и животу. Потом они прижали мне ноги деревянными брусками, смазали гелем тело и кисти и принялись бить током. Они требовали, чтобы я оговорила мужа. В полицейском участке меня продержали два дня. Сына они содержали в соседнем помещении и говорили, что я увижу его только после того, как дам нужные показания. В конце концов они меня все же отпустили и я снова увидела сына. Мы оба долго плакали. Я не могла идти, потому что у меня сильно болели ноги. Добрый рикша отвез нас в дом моей матери.

Ни один врач не соглашался меня лечить из страха, что будет убит мусульманскими террористами. За мной и мужем постоянно следили. Жизнь для нас стала невыносима.

Через три года мы покинули Кашмир и переехали в Джамму. В 2003 году мы покинули Индию и уехали в Канаду. Мы подали прошение о предоставлении убежища, но нам отказали. Это было жестоко. Мы нуждались в помощи. Мы представили все доказательства, но нам все равно отказали. В октябре 2005 года мы приехали в Сиэтл. Муж получил работу водителя грузовика, и мы переехали в Калифорнию, в

Кловис. Мы совершенно не защищены. Мы никуда не выходим, мы все время сидим дома и дрожим от страха. Если мы все же покидаем дом, то не знаем, вернемся ли назад. Мы все время чувствуем, что террористы следят за нами. Когда я слышу любой шорох, мне кажется, что это пришла смерть. Каждый громкий звук сильно меня пугает. В прошлом, 2011 году, когда мой муж принялся громко отчитывать детей за какую-то провинность, я так испугалась, что решила, будто нас пришли убивать, и бросилась к телефону, чтобы набрать 911. По дороге я упала, сильно ушибла голову, грудь и колени. Мне казалось, что я умру, а ведь он всего-навсего повысил голос на детей. Сердце билось так сильно, что мне казалось, что я сойду с ума. Несмотря на то что он всего лишь кричал на детей, я все же позвонила в полицию, и я не помню, что я говорила приехавшим полицейским. Мужа арестовали и освободили только под залог. До сих пор не могу понять, как это произошло. Новость просочилась в прессу, и в газетах написали, что мой муж такой-то и такой-то и что он служил в Кашмире. Сведения о нас появились в интернете и докатились до Кашмира. Мусульманские террористы вновь потребовали выдачи мужа. Через несколько дней нам позвонил один журналист и сказал, что какой-то индийский корреспондент собирает сведения о нас. Но мы понимали, что это никакой не корреспондент. Он часто проезжал мимо нашего дома, я видела его много раз и сказала мужу, что нам надо уехать. Он ответил: «У нас нет денег на постоянные переезды. Я не хочу бежать, я хочу просто жить». Этот человек не отстает от нас. Есть и другие. Все они — мусульманские террористы. Я живу в постоянном страхе. У нас постоянно задернуты шторы на окнах, и я все время сквозь щель смотрю, что происходит перед нашими окнами. Эти люди все время стоят на улице и наблюдают за нашим домом. Дом все время заперт. Раньше я держала в доме небольшой салон красоты — подравнивала женщинам брови, делала депиляцию, но теперь я не могу допустить, чтобы у нас бывали чужие люди.

Прошло уже семнадцать лет, но кашмирские мусульмане до сих пор чувствуют того убитого адвоката, как героя. В газетах и в интернете они до сих пор обвиняют в его смерти моего мужа. Мои дети живут в постоянном страхе. Они спрашивают: «Мама, когда мы будем просто радоваться жизни?» Я отвечаю: «Я стараюсь, но это не в моей власти».

\* \* \*

Она ушибла колени, голову и грудь, когда бежала к телефону. Да, это требует настоящего мастерства. Интересно, что сделал муж, чтобы заставить ее отозвать жалобу? Если бы она этого не сделала, то, наверное, и она, и ее дети были бы сейчас живы. Мне особенно понравилась та часть, где описано, как местная полиция оцепила и принялась прочесывать квартал, причем именно Джавахар-Нагар, а потом арестовала и подвергла пыткам жену проходящего действительную службу майора индийской армии. Это просто бесподобный пассаж. В Кашмире все расценили бы эту историю как дешевый и глупый анекдот. Чисто внешнее правдоподобие сквозит во всем. Что касается детального и правдивого описания пыток, то мне кажется, что муж хорошо ее проинструктировал относительно своего опыта, хотя надо надеяться, что не показывал их в действии на собственной жене. «Он всего лишь кричал на детей». Эта фраза в разных вариантах встречается трижды в одном абзаце. Это произвело на меня гнетущее впечатление.

\* \* \*

Свидетельство Амрика Сингха написано по-военному немногословно, четко и по делу:

Я служил в индийской армии кадровым офицером. Мне по долгу службы приходилось участвовать в контртеррористических и миротворческих операциях как в Индии, так и за ее пределами. В 1995 году я был

переведен в Кашмир, где с 1990 года продолжалась партизанская война. В 1995 году был похищен и убит правозащитник, который, как я узнал впоследствии, принадлежал к запрещенной террористической организации. Кашмирская полиция и правительство Индии обвинили меня в этом преступлении. Меня сделали козлом отпущения. Выбора у меня не было, и мне пришлось вместе с семьей бежать из Индии. Если я вернусь, то правительство Индии не допустит, чтобы я предстал перед судом и публично ответил на обвинения. Меня будут подвергать пыткам током, утоплением, лишением сна или просто убьют. В любом случае я бесследно и навсегда исчезну.

Это заявление было написано от руки самим заявителем. У Амрика Сингха был аккуратный, почти девичий почерк и аккуратная, почти девичья подпись. Было неловко видеть его почерк. Создавалось ощущение, что подсматриваешь в замочную скважину.

Эти двое превосходно знали свое дело и отлично понимали задачу. Откуда мог бедняга Ральф Бауэр, лицензированный медицинский социальный работник, знать, что эта история звучит так правдиво именно потому, что она и *была* правдой, за исключением того что палачи и жертвы в ней поменялись местами? Неудивительно, что он пришел к следующему бодрому заключению:

### **Результаты:**

Основываясь на вышеприведенных данных, я нисколько не сомневаюсь, что госпожа Лавлин Сингх и господин Амрик Сингх страдают тяжелым посттравматическим стрессовым расстройством. Выявлена степень хронического стресса, со всей определенностью указывающая на то, что обследованные лица действительно пережили деструктивные и травмирующие события, такие как пытки, периоды неопределенно долгого заключения и разлук с семьей. Они искренне и сильно боятся, что если вернуться в Индию, то эти события повторятся. Нет



никакого сомнения, что действительно существует множество людей, жаждущих мщения и распространяющих угрозы в блогах интернета.

Учитывая эти факты, я рекомендую предоставить господину и госпоже Амрик Сингх, а также их семье убежище в Соединенных Штатах Америки с тем, чтобы они смогли начать вести нормальную жизнь в той степени, насколько это возможно для них.

Итак, они почти добились своего, эти господин и госпожа Сингх. Они были в одном шаге от получения статуса граждан Соединенных Штатов. Но, несмотря на это, через пару месяцев Амрик Сингх предпочел застрелиться, а перед этим убил всю свою семью.

Какой был в этом смысл?

Было ли это на самом деле самоубийство?

Кто был тот человек, которого упомянула в своих показаниях жена Сингха? Кто были другие?

Имеет ли это теперь какое-то значение?

Нет — во всяком случае для меня.

И не для правительства Индии.

И уж совершенно точно не для калифорнийской полиции, у которой и без этого хватает забот.

Жаль только жену и ни в чем не повинных детей.

Однако зачем моя квартирантка мадам С. Тилоттама хранит эту папку? И, черт возьми, где она сама?

Звякнул мой телефон. Странно. Этот номер не знает никто. Для всего мира я сейчас нахожусь на реабилитации. Или в учебном отпуске, что, собственно говоря, то же самое. Кто мне пишет? О, «Щит и прикрытие». Интересно, кто мог это написать:

«Дорогой клиент. Большая просьба посетить наш оздоровительный лагерь.

Необходимо иметь следующие анализы: витамин D + B<sub>12</sub>, сахар крови, липиды, АЛТ, АСТ, КФК, тиреоидные гормоны, железо, ЦРБ, общий анализ мочи».

Дорогие мои, может быть, мне лучше сразу умереть?

Я уже выпил четверть бутылки. Настало время для запрещенного послеобеденного сна. Работающий человек не имеет права спать днем. Нельзя брать «Карду» в спальню. Нельзя. Но я должен это сделать. Просто обязан. Это мой долг.

Кровати нет. На полу лежит матрац. Зато есть книги, записные книжки и словари, разложенные по полу аккуратными стопками.

Я включаю высокий торшер и вижу листок цветной бумаги, приклеенный скотчем к абажуру лампы. Что это? Напоминание? Афоризм, изречение? На листке написано:

Придется ли мне рассказывать про их смерть? Она станет для всех смертью человека, который, узнав от суда присяжных, что ему предстоит умереть, только и пробормочет со своим рейнским акцентом: «Я уже далеко отсюда».<sup>[32]</sup>

*Жан Жене*

P. S. Этот абажур сделан из кожи какого-то животного. Если вы присмотритесь к нему внимательно, то увидите, что из него растут волоски.

Спасибо.

Кажется, эти комнаты стали свидетелями своего рода откровения. Откровения любого человеческого существа страшны для узнавших их людей. Но что можно сказать об *этом* человеческом существе? В комнате пахнет опасностью, как едко пахнет порохом на месте недавно совершенного убийства.

Я не читал Жене, да и надо ли? Вы читали?

«Карду» — отличный виски. И чертовски дорогой. Его надо пить с почтением. Я уже слегка пьян — «ян», как бы сказал мой старый друг Голак. Они, в Ориссе, всегда глотают первые согласные.

\* \* \*

Темно, как в гробу.

Мне снятся сложенные в грудку крышки сковородок и ряд очков общественного туалета, из которых торчат странные вещи — папки и изображения лошадей, нарисованные Мусой. А еще оттуда торчат цилиндры очень сухого снега, похожие на выбеленные солнцем кости.

Кто выпил мой виски?

Кто притащил сюда водку и ящик пива из багажника моей машины?

Кто превратил ночь в день?

Как много дней уже успели превратиться в ночь за то время, что я здесь нахожусь?

Кто это скребется у двери? Я слышу, как в замочной скважине поворачивают ключ.

Это она?

Нет, это не она.

Это два человека, говорящих тремя голосами. Как странно. Они входят и включают свет, как будто вошли в свое собственное жилище. Теперь мы смотрим друг другу в лицо. Их действительно двое — молодой человек в темных очках и человек постарше. Женщина постарше. Нет, мужчина. Нет, все-таки женщина. Женщина-мужчина. Да, пусть будет и то и другое. Странное существо, одетое в патхани и дешевую синтетическую куртку. Очень высокое существо. Губы густо намазаны красной помадой, а во рту торчит ярко-белый сверкающий зуб. Может быть, это все-таки сон? Чувства мои возбуждены, но одновременно и притуплены. Кругом валяются бутылки. Они с грохотом перекатываются по полу и валятся в очко общественного туалета.

Нам нечего сказать друг другу, к тому же я еле стою на ногах, и поэтому я возвращаюсь в спальню, чтобы снова лечь. Собственно, что мне еще остается делать?

Однако! Эти двое следуют за мной. Это кажется мне странным даже для сновидения — если, конечно, все это видится мне во сне. Женщина-мужчина обращается ко мне, говоря на два разных голоса. Говорит она на блистательном урду. Говорит, что ее зовут Анджум, что она — подруга Тилоттамы, которая сейчас живет у нее, а молодого человека зовут Саддам Хусейн. Они пришли, потому что Тило просила кое-что забрать из серванта. Я сказал, что я тоже друг Тило и они могут войти и взять все, что им нужно. Молодой человек достает из кармана ключ и открывает сервант.

Из него тучей вылетают воздушные шарики.

Молодой человек откуда-то достает пластиковый мешок и

принимается его набивать. Туда сыплется многое — во всяком случае, судя по тому, что я могу рассмотреть: резиновая утка, надувная детская ванночка, большая мягкая зебра, несколько одеял, книги и теплая одежда. Окончив, они благодарят меня за терпение и спрашивают, не хочу ли я что-нибудь передать Тило. Я говорю, что хочу.

Я вырываю страничку из какой-то записной книжки и пишу на нем: ГАРСОН ХОБАРТ. Буквы, помимо моей воли, получаются очень крупными, я собирался писать помельче. Получилось нечто вроде объявления. Я вручаю им клочок бумаги.

После этого они уходят.

Я подхожу к окну и смотрю, как они выходят из дома. Один из них — старший-старшая — садится в моторикшу, а другой, младший, — я клянусь моими детьми, что это не галлюцинация! — садится на лошадь и уезжает верхом. Пара странных созданий с огромным мешком, набитым мягкими детскими игрушками, рысью исчезает в тумане, гарцуя на какой-то чертовой кляче.

Мое сознание рассыпается на мелкие осколки. Какие жалкие у меня галлюцинации. Как реально они выглядят. Мне кажется, что у них даже есть запах. Кстати, когда я в последний раз ел? Где мой телефон? Который час? Какой сегодня день или какая ночь?

Я осматриваю комнату. Шарик плавают на фоне стены, как на заставке компьютерного монитора. Дверцы серванта распахнуты. Оттуда, где я стою, мне видна какая-то таблица, нанесенная на дверь изнутри. Обычно так отмечают рост детей. Мы тоже так измеряли рост Ани и Рабии, когда они росли. Рост какого ребенка она измеряла? Я подхожу ближе и вижу, что ошибся. Как я вообще мог подумать, что увижу что-нибудь домашнее и милое?

Это был своего рода словарь. Все слова были написаны неровно и разными цветами:

### **Основные понятия**

**А:** Азади / армия / Аллах / Америка / Атака / АК-47 / Аатанквади<sup>[33]</sup> / «Аль-Бадр» / «Аль-Мансурян» / Аль-Джихад / Афганец / Амарнатх-ятра

**Б:** Безопасность / батальон / Без происшествий / боевик / Бессрочный комендантский час / Бессудное убийство / Боеприпасы / бункер / Байт / бегар (подневольный труд)

**В:** «Виктор Форс» / взрывчатка / взрыв / взрыв гранаты / Версия (местных жителей, официальная, полиции, армии) / Военный / Вооруженные люди / ваза / вазван

**Г:** Гранатомет

**Д:** Допрос третьей степени / Двойная игра / Двойной агент / Деревенский комитет обороны / Джамаат / «без происшествий») / Допрос / Дознание / Дорожный патруль / джихад / джаннат / джаханнам / «Джамиат-уль-Муджахедин» / Джаиш-э-Мухаммад /

**Ж:** Живой щит

**З:** Засада / Задержанные / ЗОБ (Закон об общественной безопасности) / Закон о предотвращении терроризма / Закон о предупреждении террористической и подрывной деятельности / Закон о районах волнений / Закон об особых полномочиях вооруженных сил / Зулюм (угнетение)

**И:** изнасилование / Индия / Иностраный боевик / «ихваны» / Информатор / Информационная война / Идентификационная карта / Источники

**К:** Коран / Калашников (см. также АК-47) / «Кило Форс» / Кашмир / Кашмирият / Кафир (неверный) / Кладбище / колючая лента / комендантский час / Капитуляция / Компенсация / Контроль над территорией / Контрольно-пропускной пункт / колючая проволока / колючая проволока «Концертина» / Контрразведка / Категория безопасности Z+ / Культ оружия

**Л:** «Лашкар-э-Тайба» / лагерь / Любовное письмо / Лахор

**М:** Моджахеды / Минтри (военные) / Мины / Машины с противоминной защитой / Медовый месяц / Мина-растяжка / Минюст / Мир / «Муслим-Муджахидин» / Мухбир (стукач) / Мученики / Мирный процесс / Могила / Мускаан (военно-сиротский дом)

**Н:** НПО (неправительственные организации) / Нью-Дели / «Низам-э-Мустафа» / Набад (см. также «ихваны») / Ночной патруль / наводка / насилие / неопознанный труп / НПЧ (нарушения прав человека) / Норма

**О:** Оккупация / Оперативный пункт / ОИА (Отдел исследований и анализа) / Общий отдел (Разведслужба пограничных сил безопасности) / Ошибочное опознание / оперативная группа / официальная версия / Операция «Тигр» / Операция «Садбхавана» / Осведомитель / Осечка (случайная смерть) / ОЦД (Объединенный центр дознания) / Оцепление и прочесывание

**П:** Пакистан / Пуля / Похороны / ПДК (Полиция Джамму и Кашмира) / ПМР (Пакистанская межведомственная разведка) / Полиция / Папа I, Папа II (центры допросов) / Повстанец / Первый информационный отчет / Полувоенные формирования / Перекрестный огонь / Пресса / Пересечение границы / Перестрелка / Перехват / Пограничные силы безопасности / Правозащитник / Пытка / Подозреваемый / подпольная деятельность / перемирие / «Поймать и убить» / Полувдовы / Полусироты / Пособник / Посттравматическое стрессовое расстройство / похищение / Предостережение / Пресс-секретарь минобороны / Противодействие повстанцам / пропавшие без вести / Психологические операции (психологическая война) / Парад ногтей / Пандиты / Пресс-конференция / Прикомандированный журналист / Паар (Переправа) / победа / пресс-релиз

**Р:** Раштрийские стрелки / Резня / Разведка / Регулярная армия / радиосигнал / разгон демонстрации / Разведывательное бюро / РПГ (ручной противотанковый гранатомет) / референдум / Ручной пулемет / Ренегаты

**С:** Сепаратисты / СОГ (Специальная оперативная группа) / Спецназ / снаряжение / Слежка / Специальная программа поддержки / Садбхавана (доброжелательность) / Столкновение / Судя по имеющимся данным / Схрон

**Т:** тело / труп / Террорист / допрос третьей степени / Трансграничность / туризм / Тюрьма

**У:** Убийства / Уличный бой / Убийство заключенного / угроза

**Ф:** Федаины / ФОДК (Фронт освобождения Джамму и Кашмира) / Фантомное нападение / Фугас

**Х:** ХУМ («Хизб-уль-Муджахидин») / Хартал / «Харакат уль-Муджахидин»

**Ц:** цель / Центральная резервная полиция / Целительство

**Ш:** Шпион / Шахид / Шквальный огонь / Шохадда (мученики) / штатский

**Э:** Экс-гратиа / Экстремист

**Я:** Ятра (Амарнатх)

Мусы уже давно нет, так кто же набил ее голову всем этим хламом?

Почему она до сих пор барахтается в этом старье?

Другие оставили прошлое позади.

Я думал, что и она тоже.

Я лежу на ее постели.

Голова, кажется, сейчас лопнет от боли.

В комнате полно воздушных шаров.

Почему, когда я соприкасаюсь с ней, со мной вечно происходят всякие гадости?

Открываю записную книжку, из которой я вырвал страницу. На первой странице написано:

Дорогой доктор,

Ангелы порхают надо мной, когда я пишу эти строки. Как я могу сказать им, что их крылья пахнут курятником?

Честное слово, в Кабуле мне было намного легче.

## 8. Квартирантка

*И даже потом, когда она уже умерла в ней пять-шесть раз, квартира все равно казалась достойной стать обрамлением драмы куда более значительной, чем ее собственная смерть*<sup>[34]</sup>.

*Жан Жене*

Пятнистый соенок на фонарном столбе раскачивался и кланялся с прирожденным изяществом и безупречным вкусом японского бизнесмена. Соенок мог беспрепятственно видеть через окно маленькую комнатку с голыми стенами и голую женщину на кровати. Женщина тоже могла беспрепятственно видеть соенка. Иными ночами она кланялась ему в ответ и говорила «моши-моши» — единственные известные ей японские слова.

Стены даже изнутри источали нестерпимый, изматывающий жар. Медленно вращавшиеся лопасти потолочного вентилятора толкли раскаленный воздух и сдабривали его слоями пыли.

Обстановка в комнатке была, можно сказать, праздничная. К оконному переплету были привязаны воздушные шарики, бесцельно бившиеся друг о друга — впрочем, не сильно и довольно вяло, видно, окончательно раскиснув от жары. В центре комнатки, на стуле, стоял торт, покрытый яркой клубничной глазурью и сахарными цветками. Торт был украшен единственной свечой с обгоревшим фитилем. Рядом валялось несколько обгорелых спичек. На торте красовалась надпись: «С днем рождения, мисс Джебин!» Торт был порезан на дольки, одна из них была съедена. Глазурь растаяла, и струйки ее стекали на фольгу упаковки. Муравьи растаскивали куски торта, большие, чем эти трудолюбивые насекомые. Черные муравьи тащили розовые крошки.

Дитя, по поводу дня рождения и крещения которого и было устроено



это успешное празднество, почти спало.

Похитительница, известная под именем С. Тилоттама, не спала и выглядела вполне сосредоточенной. Она отчетливо слышала, как растут ее волосы. Растущие волосы издавали неприятный хрустящий звук. Хруст был похож на треск горящего полена. Уголь. Тосты. Мотыльки трещали вокруг лампочки. Она где-то читала, что у мертвецов еще несколько дней растут волосы и ногти. Как звездный свет, который продолжает лететь в пространстве, неся сигнал с давно умерших звезд. Или как города. Булькающие, искрящиеся, симулирующие иллюзию жизни, в то время как ограбленная ими планета тихо умирает вокруг них.

Она подумала о ночном городе и о ночных городах вообще, об этих падших созвездиях, перестроившихся на Земле в несколько ином порядке, вдоль дорог и в стенах высоких башен, населенных долгоносиками, научившимися ходить на двух ногах.

Ученый долгоносик-философ с тяжеловесными манерами и тонко подстриженными усами громко читал своим ученикам выдержки из большой книги. Восхищенные ученики напряженно записывали в тетрадках каждое слово, исходившее из уст учителя. «Ницше считал, что если сострадание станет сущностью этики, то несчастье станет заразным, а счастье станет предметом подозрения». Молодые долгоносики записывали. «Наоборот, Шопенгауэр полагал, что сострадание является и должно быть главной добродетелью долгоносика. Но задолго до них Сократ задал ключевой вопрос: „Почему мы должны быть добродетельны?“»

Он потерял на Четвертой мировой войне ногу и теперь был вынужден пользоваться костылем. Оставшиеся пять (ног) были в прекрасном состоянии. Граффити на задней стене класса гласило:

У злых долгоносиков самые длинные носики

В класс толпой повалили разнообразные другие твари.

Аллигатор с кошельком из человеческой кожи.

Кузнечик с добрыми намерениями.

Постыющаяся рыба.

Лисица с флагом.

Опарыш с манифестом.

Тритон-неоконсерватор.

Голографическая игуана.

Корова-коммунист.

Сова с альтернативой.

Ящерица — телеведущая. «Здравствуйте и добро пожаловать, вы смотрите „Ящерицыны новости в 9 вечера“. На острове ящериц случилась пурга».

Ребенок — это начало чего-то. Похитительница отчетливо это сознавала. Эту истину нашептывали ее кости в ту ночь (*высказанную* ночь, упомянутую ночь, ночь, о которой шла речь, ночь, названную «эта ночь»), когда она вышла на мостовую. А ее кости были надежными осведомителями, очень надежными. Дитя было вернувшейся мисс Джебин. Вернувшейся, правда, не к ней (мисс Джебин Первая никогда не была ее), а в мир. Мисс Джебин Вторая, когда вырастет и станет женщиной, сведет нужные счета и исправит книги. Мисс Джебин повернет волну и обратит ее вспять.

Так что есть еще надежда для мира злых долгоносиков.

Да, счастливый луг исчез и пропал, но зато явилась мисс Джебин.

\* \* \*

Нага пытался узнать у Тило причину, по которой она ушла от него. Разве он не любил ее? Разве не заботился о ней? Разве он не считался с ней? Разве не был он щедрым, понимающим? Почему она уходит? После стольких лет? Он говорил ей, что четырнадцать лет вполне достаточно, чтобы преодолеть все — если, конечно, хотеть сделать это. Люди переживали и намного худшие вещи.

— А, ты об этом, — отмахнулась она. — Я уже давно оставила весь этот кошмар за спиной. Я счастлива и приспособилась к новой жизни — как народ Кашмира. Я научилась любить свою страну и даже, наверное, пойду на следующие выборы.

Он выслушал жену и посоветовал ей обратиться к психиатру.

От одной мысли об этом у Тило пересохло в горле. Это был хороший повод для того, чтобы забыть о психиатре.

Нага стал носить твидовые костюмы и курить сигары — как его отец. Со слугами он теперь разговаривал повелительно и высокомерно — как его мать. Термиты на поджаренном хлебе, набедренные повязки и «Роллинг стоунз» были забыты, как лихорадочные и болезненные фантазии прошлой жизни.

Мать Наги, жившая одна на первом этаже их большого дома (отец,

посол Шивашанкар Харихаран, умер), советовала сыну отпустить Тило. «Она не сможет жить одна и скоро попросится назад». Но Нага знал, что этого никогда не будет. Тило справится. Но даже если не справится, то никогда не попросит помощи. Он чувствовал, что ее несет волна, с которой ни он, ни она не могут ничего поделать. Он не мог сказать, были ли ее тревожное беспокойство, ее навязчивые и небезопасные блуждания по городу признаком расстроенного ума или саморазрушительно обостренного душевного здоровья. Но не одно ли это и то же?

Единственное, что, по мнению Наги, могло в какой-то степени объяснить это беспокойство, это смерть матери Тило, что казалось ему странным, ибо мать и дочь почти не поддерживали отношений. Да, Тило провела у ее постели те две недели, что мать находилась перед смертью в больнице, но до этого они в течение нескольких лет виделись всего пару раз.

Нага был прав в одном отношении, но ошибался в другом. Смерть матери (она умерла зимой 2009 года) освободила Тило от состояния внутренней закрепощенности, о каковой не догадывался никто, включая и ее саму, потому что эта закрепощенность казалась чем-то совершенно противоположным — особой, оукленной независимостью, ибо всю свою сознательную жизнь Тило определяла и формировала себя отграничением от матери — ее реальной и приемной матери. Когда эта необходимость исчезла, лед начал таять, и его место заняло нечто незнакомое.

Погоня Наги за Тило обернулась совсем не так, как он планировал. Он думал, что она станет такой же легкой добычей, как многие другие женщины, не способные устоять перед его блеском и угловатым шармом, женщины, сердца которых он разбивал играючи. Но Тило вползла в его душу, овладела им, стала его навязчивым, почти болезненным пристрастием, его наркотической зависимостью. Зависимость от женщины имеет свои примечательные признаки — кожу, запах тела, длину любимых пальцев. В случае Тило это были раскосые глаза, изгиб рта, едва заметный шрам, слегка искажавший симметрию губ и делавший ее лицо вызывающим даже тогда, когда она находилась в самом мирном расположении духа. Ее привычка раздувать ноздри, что говорило о неудовольствии раньше, чем выражение глаз. Он впал в зависимость от разворота ее плеч, от того, как она, голая, сидела на ночном горшке и курила. То, что они были женаты много лет, что ее молодость давно прошла, ничуть не изменило положение вещей. Причина была намного глубже, чем внешние признаки. Причина была в ее величественном высокомерии (несмотря на большой вопросительный знак на ее

происхождении, как без обиняков говорила мать Наги). Дело было в том, как она жила — в стране, ограниченной ее кожей, в стране, которая не давала виз и не имела консульств.

Да, надо признать, что эта страна не была особенно дружественной даже в лучшие времена. Но границы ее оказались на замке, и режим более или менее полного изоляционизма был введен только после несчастья в кинотеатре «Шираз». Нага женился на Тило, потому что никогда не мог по-настоящему дотянуться до нее, и именно из-за этого он не мог теперь отпустить ее. (Конечно, возникает и другой вопрос: почему Тило вышла замуж за Нагу? Великодушный человек сказал бы, что она сделала это, потому что ей нужна была крыша над головой. Менее великодушный возразил бы, что ей нужно было прикрытие.)

Несмотря на то что это была лишь небольшая часть всей истории, в сознании Наги «до» и «после» «Шираза» имели тот же смысл, что до и после Рождества Христова.

\* \* \*

После того ночного звонка Биплаба Дас-Гуся-Да из Дачигама Наге потребовалось несколько часов и телефонных звонков, чтобы организовать поездку из «Ахдуса» в кинотеатр «Шираз». Действовал комендантский час, и Сринагар был закрыт. Были предприняты беспрецедентные меры безопасности из-за похорон людей, убитых в выходные дни. Улицы должны были на следующее утро превратиться в яростно бурлящие потоки. Был отдан приказ стрелять без предупреждения по первому подозрению. Передвигаться по улицам города ночью было практически невозможно. Нага организовал машину, пропуск под ветровое стекло и разрешение на проезд только к рассвету.

Дежурный офицер встретил его в фойе кинотеатра около бывших билетных касс, где теперь был КПП. Дежурный сказал, что майор-сахиб (Амрик Сингх) уехал, но Нагараджа примет его заместитель. Дежурный проводил Нагу в заднюю часть здания, а затем они по аварийному выходу поднялись в импровизированный кабинет на втором этаже. Офицер попросил Нагу сесть и сказал, что «сахиб» сейчас придет. Войдя в комнату, Нага никоим образом не догадался, что человек в пхеране и накинутой на голову балаклаве, сидевший спиной к входной двери, была Тило. Он слишком давно ее не видел. Когда она обернулась, его больше, чем

выражение глаз, встревожила и привела в смятение ее попытка улыбнуться и сказать «привет». Близкие друзья давно усвоили, что если Тило не здороваются, то это служит признаком ее наиболее теплого отношения к собеседнику. Благодаря балаклаве новая «стрижка» не бросалась в глаза. Нага решил, что балаклава была всего лишь преувеличенной южноиндийской реакцией на холод. (У него была в запасе масса анекдотов о южных индийцах, которые он рассказывал с неподражаемым акцентом и самоуверенностью, не боясь оскорбить слушателей, ибо и сам наполовину был южным индийцем.) Увидев его, Тило сразу встала и пошла навстречу.

— Это ты! Я думала, Гарсон...

— Он позвонил мне. Гарсон сейчас с губернатором, а я случайно оказался в городе. Ты в порядке? Что с Мусой?.. Он?..

Он обнял ее за плечи. Тило не дрожала, она вибрировала так, словно у нее под кожей работал мотор. Углы рта подергивались в такт пульсу.

— Мы можем идти? Мы уйдем?..

Прежде чем Нага успел ответить, в помещение вошел Ашфак Мир, заместитель начальника следственного центра, наполнив воздух ароматом дорогого одеколona. Нага опустил руки, чувствуя вину за недостойное поведение. (В те дни в Кашмире понимание разницы между виновностью и невиновностью можно было считать оккультным знанием.)

Ашфак Мир был на удивление коренаст, на удивление силен и на удивление белокож даже для кашмирца. Уши и ноздри отливали розоватым цветом. Этот человек излучал почти металлический блеск. Бриджи цвета хаки были безупречно отутюжены, коричневые армейские ботинки сверкали, пуговицы мундира и пряжка ремня сияли, как солнце. Напомаженные волосы были гладко зачесаны назад с гладкого блестящего лба. Он мог сойти за албанца или молодого армейского офицера с Балкан, но стоило ему заговорить, как стало ясно, что он — старый добрый обитатель плавучего дома, воспитанный в традициях легендарного кашмирского гостеприимства. Он приветствовал Нагу, как приветствует кашмирский торговец старого клиента.

— Добро пожаловать, сэр, добро пожаловать! Должен сказать, что я большой ваш поклонник, сэр! Нам нужны такие журналисты, как вы, которые умеют направлять таких, как я, на правильный путь! — он, словно флаг, удерживал на лице искреннюю, мальчишескую улыбку. Детские голубые глаза сверкали от неподдельной радости. Он обеими руками пожал руку Наги и довольно долго удерживал ее, а потом шагнул к столу, сел и жестом предложил Наге сесть напротив.

— Простите, что я немного опоздал. Всю ночь ездил по городу — вы

уже, должно быть, знаете: протесты, стрельба, убийства, похороны... Обычная сринагарская чрезвычайщина. Только что вернулся. Мой начальник, сэр Сингх, попросил меня лично прийти и передать вам мадам.

Несмотря на то что Ашфак назвал Тило «мадам», он вел себя так, словно ее не было в помещении. (Что позволяло Тило вести себя так, словно ее и правда здесь не было.) Даже назвав ее, Ашфак не взглянул в ее сторону. Было непонятно, то ли это жест уважения, то ли неуважения, то ли просто местный обычай.

Немногое из того, что происходило тогда в том кабинете, было понятно Наге. Представление, устроенное Ашфаком Миром, могло быть тщательно спланированным и мастерски сыгранным сценарием, но могло быть и привычной импровизацией. Единственное, что было недвусмысленно ясно, так это подтекст хвастливой улыбчивой угрозы: «мадам» будет передана, но сэр и мадам смогут уйти только с разрешения Ашфака Мира. Тем не менее он вел себя как смиренный миньон, который наилучшим образом старается выполнить возложенную на него задачу. Ашфак создавал впечатление, что он совершенно не в курсе того, что произошло, не имеет никакого понятия, что Тило делает в этом кабинете следственного отдела и почему ее надо «передать».

Воздух в кабинете, казалось, дрожал от напряжения, и из этого было очевидно, что происходит нечто весьма гнусное. Было непонятно, что именно, и кто был грешником, и против кого он действовал.

Ашфак Мир позвонил и велел принести чай и пирожные, даже не спросив, хотят ли его гости пить чай. Пока они ждали, офицер, проследив за взглядом Наги, понял, что тот смотрит на прикрепленный к стене постер:

Мы следуем своим законам  
Свирепы и дики  
Смертоносны в любой форме  
Усмирители приливов  
Играем мы с бурями  
И, да, вы правы  
Мы  
Люди в форме

— Наше самодеятельное стихоплетство, — Ашфак Мир откинул назад голову и грубо расхохотался.

Чай — а может быть, предписанный сценарий — сделал его

разговорчивым. Не обращая внимание на беспокойство (или мертвящее спокойствие) своих гостей, он дружелюбно вещал о своей учебе в колледже, политических взглядах и превратностях службы. Когда-то он был студенческим лидером, сказал Ашфак, и, как положено молодому человеку, отъявленным сепаратистом. Но, пережив кровопролитие начала девяностых, потеряв двоюродного брата и пятерых друзей, он прозрел. Теперь он понял, что борьба Кашмира за «Азади» пошла неверным путем и едва ли удастся чего-то добиться без «правления закона». Он вступил в полицию Джамму и Кашмира, став сотрудником отдела специальных операций. Деликатно держа кусок бисквита между большим и указательным пальцами, он продекламировал стихи Хабиба Джалиба, которыми поэта озарило, когда он изменил свои взгляды:

Мохаббат голийон се бо рахе хо  
Ватан ха чехра кхун се дхо рахе хо  
Гумаан тум ко ке раста катт раха хай  
Якин муджжко ке манзил кхо рахе хо

Вы сеете пули вместо любви,  
Залили вы родину кровью.  
Подумали вы, что видите путь,  
Но уклонились с пути.

Не ожидая реакции, он перешел от декламации к конспирологии:  
— Что будет после достижения *Азади*? Кто-нибудь задумывался над этим? Как поступит большинство с меньшинством? Кашмирские пандиты давно бежали из Кашмира. Остались только мы, мусульмане. Что мы будем делать друг с другом? Что сделают салафиты с барелви? Что сделают сунниты с шиитами? Они утверждают, что попадут в Джаннат скорее, если убьют шиита, а не индуса. Какой будет судьба буддистов в Ладакхе? Что будет с индусами в Джамму? Джамму и Кашмир — это не просто Кашмир, это именно Джамму и Кашмир, и еще Ладакх. Кто-нибудь из сепаратистов думал об этом? Уверяю вас, ответ может быть только один, и этот ответ: нет.

Нага был согласен с тем, что говорил Ашфак Мир; он, кроме того, знал, как тщательно сеет эти семена сомнения правительство, старающееся овладеть ситуацией и вернуть ее в нормальное русло, балансируя на грани

всеобщего хаоса. Слушать Ашфака Мира было то же самое, что следить за сменой времен года и созревaniem урожая. Это осознание на мгновение преисполнило Нагу гордостью за причастность к всеведению. Однако он не желал продолжения этой беседы и поэтому молчал. Склонив шею, он принялся читать список разыскиваемых террористов — более двадцати пяти имен, записанных зеленым маркером на листе бумаги, приколотом к доске объявлений на стене. Против почти половины имен виднелось примечание в скобках: (убит), (убит), (убит).

— Все они пакистанцы или афганцы, — не оборачиваясь, сказал Ашфак, проследив за взглядом Наги. — Срок их жизни здесь не больше полугода. По прошествии года все они будут ликвидированы. Но мы никогда не убиваем кашмирских юношей. НИКОГДА. Только если они совсем закоренелые.

Эта наглая, беззастенчивая ложь повисла в воздухе. Собственно, она и была сказана для того, чтобы проверить реакцию.

Ашфак Мир мелкими глотками отпивал чай и продолжал смотреть на Нагу немигающим взглядом. Вдруг — а может быть, и не совсем вдруг — ему в голову пришла новая идея.

— Не хотите увидеть мятежника? У меня в камере есть один раненый. Кашмирец. Хотите, я прикажу его привести?

Он снова позвонил. Через несколько секунд в дверном проеме появился солдат, выслушавший приказ так, словно это было распоряжение принести еще сладостей

На лице Ашфака появилась озорная улыбка.

— Пожалуйста, не говорите об этом моему боссу. Он будет меня ругать, потому что такие вещи, конечно, не положены. Но вы — и мадам — найдете это интересным.

Ожидая добавки к закускам, офицер склонился над разложенными на столе бумагами и торопливо расписался в некоторых из них. Лицо его было при этом веселым и торжествующим. В тишине был отчетливо слышен скрип пера. Тило, сидевшая на стуле в глубине кабинета, встала и, подойдя к окну, принялась смотреть на площадку, забитую армейскими автомобилями. Она не хотела быть зрительницей спектакля, затеянного Ашфаком Миром. Это был жест солидарности с заключенным, жест бунта против тюремщика — независимо от причин, сделавших узника узником, а тюремщика — тюремщиком.

Будучи человеком, пытающимся превратить свое присутствие в демонстративное отсутствие, она всем своим существом излучала нестерпимо горячие флюиды, которые остро чувствовали оба мужчины,



хотя и совершенно по-разному.

Через несколько минут рослый полицейский вошел в кабинет, неся на руках тощего мальчишку. Брючина на одной ноге была закатана, обнажив тонкую, как щепка, голень в гипсовой повязке. На руке тоже был гипс. А шея — обмотана бинтом. Лицо было напряжено от боли, но парень ничем не выказал боль, когда полицейский положил его на пол.

Отказ признаваться в боли был пактом, который этот мальчик заключил сам с собой. Это был акт сопротивления человека, оказавшегося в зубах полного и окончательного поражения. Это поведение выглядело величественным, но все было напрасно, потому что никто не обратил на это внимания. Этот покалеченный птенец полусидел-полулежал на полу, опершись на локоть. Он мелко и часто дышал, но взгляд был направлен внутрь, ничего не выражая вовне. Он не проявлял ни малейшего любопытства к обстановке кабинета и к людям, в нем находившимся.

Тило, стоявшая лицом к окну, проявляя то же неповиновение и выказывая такое же сопротивление, не проявляла никакого любопытства к мальчику.

Ашфак Мир нарушил молчание тем же декламационным тоном, каким совсем недавно читал стихи. Впрочем, то, что он сказал сейчас, тоже очень напоминало декламацию:

— Средний возраст мятежника от семнадцати до двадцати лет. Ему промывают мозги, оболванивают и вручают оружие. В большинстве своем, это бедные мальчишки из низших каст — да, да, к вашему сведению, мы, мусульмане, тоже успешно практикуем разделение на касты. Они сами не знают, чего хотят. Пакистанцы просто используют их, чтобы обескровить Индию. Эту политику мы называем «Уколы и кровопускания». Этого мальчика зовут Айджаз. Его схватили во время операции в яблоневых садах блих Пулвама. Он был в группе новых *танзимов*, которые недавно начали здесь действовать. Группа называется «Лашкар-э-Тайба». Командир группы Абу Хамза, пакистанец. Он нейтрализован.

Наге стали ясны правила игры. Ему предложили сделку в специфической кашмирской валюте. Интервью с пленным мятежником из относительно нового и — согласно разведывательным донесениям, с которыми Нага был знаком, — смертельно опасного движения в обмен на мир в отношении событий прошедшей ночи, независимо от того что произошло с Тило и свидетельницей каких жутких событий она стала.

Ашфак Мир подошел к своей добыче и заговорил с ним по-кашмирски тоном, каким обычно разговаривают со слабослышащими.

— *Йи чуй* Нагарадж Харихаран-сахиб. Это знаменитый журналист из

Индии (бунтарство заразительно в Кашмире — иногда оно непроизвольно проскальзывает даже в лексиконе лоялистов). Он открыто выступает против нас, но мы все равно уважаем его и восхищаемся им. В этом и заключается смысл демократии. Когда-нибудь и ты поймешь, какая это прекрасная вещь, — он обернулся к Наге и заговорил по-английски (на языке, понятном мальчику, хотя он и не умел на нем говорить): — Побыв тут с нами и хорошенько с нами познакомившись, этот мальчик увидел, какую ошибку он совершил. Теперь он считает нас своей семьей. Он отказался от своего прошлого, осуждает своих сотоварищей и тех, кто насильно оболванил его. Он сам попросил нас поддержать его в тюрьме два года, чтобы быть в безопасности. Мы разрешаем родителям навещать его. Через несколько дней его переведут в настоящую тюрьму, где он и будет находиться. Теперь много таких мальчиков, как он, готовых сотрудничать с нами. Можете поговорить с ним, спрашивайте его о чем угодно, никаких проблем. Он будет говорить с вами.

Нага молчал. Тило продолжала безучастно стоять у окна. На улице было прохладно, но воздух был пропитан запахом дизельного топлива и содрогался от рокота моторов. Тило смотрела, как солдаты ведут сквозь лабиринт автомобилей молодую женщину с ребенком на руках. Женщина шла против воли. Она постоянно озиралась и оглядывалась, словно ища что-то взглядом. Солдаты вывели ее на улицу, за ворота и колючую проволоку, которая отделяла от дороги этот пыточный центр. Женщина остановилась у ворот — маленькая, беззащитная, одинокая, смертельно напуганная, всеми покинутая фигурка, островок на перекрестке дорог, ведущих в никуда.

Молчание в кабинете стало невыносимым.

— О, я все понял... вы хотите поговорить с ним наедине? Мне выйти? Нет никаких проблем. Я выйду, — Ашфак позвонил. — Я выйду из кабинета, — сказал он изумленному дежурному. — Выходим. Мы пока посидим в соседней комнате.

Приказав себе выйти из собственного кабинета, он вышел и закрыл за собой дверь. Тило стремительно обернулась — посмотреть, как он вышел. Через щель между полом и дверью она отчетливо видела коричневые ботинки, застывшие свет. Через несколько секунд Ашфак вернулся с человеком, принесшим синий пластиковый стул, который был поставлен перед лежавшим на полу мальчиком.

— Прошу вас, садитесь, сэр. Он будет говорить. Не беспокойтесь, он не причинит вам никакого вреда. Ну, теперь я пошел, ладно? Можете

поговорить с ним наедине.

Он вышел, снова закрыв за собой дверь, но почти тотчас вернулся.

— Я забыл сказать вам, что его зовут Айджаз. Спрашивайте его о чем хотите, — он посмотрел на Айджаза, и в голосе его зазвучали властные нотки. — Отвечай на все вопросы, какие он тебе задаст. Можешь говорить на урду.

— *Джи*, сэр, — произнес мальчик, не подняв головы.

— Он кашмирец. Я кашмирец, мы братья, но посмотрите на нас! Ладно, я ухожу.

Ашфак Мир снова вышел. И снова его ботинки принялись расхаживать за дверью.

\* \* \*

— Ты хочешь мне что-нибудь сказать? — спросил Нага, проигнорировав стул и усевшись на пол рядом с Айджазом. — Если не хочешь, то можешь молчать. Я буду записывать твои слова, только если ты согласишься на это.

Айджаз посмотрел в глаза Наге. Страдания, причиненные смертельным оскорблением в предательстве, явно превосходили физическую боль, которую испытывал этот мальчик. Он знал, кто такой Нага. Он не знал его в лицо, но имя Наги было хорошо известно в кругах повстанцев, считавших его бесстрашным журналистом — конечно, ни в коем случае не другом и не товарищем, но человеком, который мог оказаться полезным — представителем «правозащитного крыла», как шутливо называли повстанцы индийских журналистов, одинаково объективно и беспристрастно писавших об эксцессах как со стороны правительственных сил безопасности, так и со стороны повстанцев. (Политическая трансформация Наги была еще не очевидна даже для него самого.) Айджаз понимал, что решение надо принимать быстро. Как вратарь, ожидающий пенальти, он должен был сделать какое-то одно движение. Айджаз был молод и пошел на риск. Он начал говорить, негромко и отчетливо, на урду с кашмирским акцентом. Несоответствие между его внешностью и его словами было почти таким же поразительным, как и его слова.

— Я знаю, кто вы, сэр. Борющийся народ, народ, сражающийся за свою свободу и достоинство, знает Нагараджа Харихарана как честного и

принципиального журналиста. Если вы решите писать обо мне, то пишите правду. Это неправда — то, что сказал обо мне Ашфак-сахиб. Меня пытали, били электрическим током и заставили подписать чистый лист. Здесь так поступают со всеми. Не знаю, что они потом написали на этом листке. Не знаю, в чем я признаюсь в письменном виде. Правда заключается в том, что я ни от кого и ни от чего не отрекался. Правда заключается в том, что я почитаю моих инструкторов и учителей джихада больше, чем собственных родителей. Меня никто не заставлял вступать в ряды джихадистов. Я сам их нашел.

Тило обернулась.

— Я учился в двенадцатом классе государственной школы в Тангмарге. Потребовался целый год для того, чтобы меня приняли в движение. Лашкарцы отнеслись ко мне с большим подозрением, потому что никого из моих родственников не арестовывали, не пытали и не похищали. Я пришел к ним только ради *Азади* и во имя ислама. Потребовался целый год, чтобы мне поверили, убедились в том, что я не армейский агент, и в том, что моя семья не останется без кормильца, если я стану воином джихада. Эти люди очень щепетильны в таких вопросах...

В кабинет вломилась четверо полицейских, неся подносы, уставленные тарелками с омлетами, хлебом, кебабами, порезанным кольцами луком, морковью и новым чаем. Ашфак Мир шел за ними, словно колесничий, правивший четверкой лошадей. Он лично поставил еду на стол, уложил порезанную морковь по краям блюд, а лук в их середину, словно построил к бою военный отряд. В помещении наступила тишина. Тарелок было только две. Айджаз снова опустил взгляд и уставился в пол. Тило вернулась к окну. Джипы по-прежнему приезжали и уезжали. Женщина с ребенком до сих пор стояла на дороге. Небо пылало розовым рассветным огнем. Горы в отдалении были сказочно красивы, но туристам в этом году там было не место.

— Продолжайте, продолжайте. Ешьте. Не хотите кебаб? Сейчас или позже? Прошу вас. Продолжайте беседовать. Я уйду, — в четвертый раз за последние десять минут Ашфак вышел из кабинета и встал у двери.

Нага был очень доволен словами Айджаза, но больше всего его радовало то, что они были произнесены в присутствии Тило. Нага не смог устоять перед искушением устроить маленькое представление.

— Тренировочный лагерь был за границей? Тебя учили воевать в Пакистане? — спросил Нага, уверенный, что Ашфак его не слышит.

— Нет, я тренировался здесь, в Кашмире. У нас все было здесь — инструкторы, оружие... Боеприпасы мы покупали у военных. Патрон стоит

двадцать рупий, девятьсот рупий за...

— У военных?!

— Да, они не хотят, чтобы война прекратилась. Они не хотят уходить из Кашмира. Им очень нравится такая ситуация. Люди по обе стороны границы делают деньги на убийствах молодых кашмирцев. Многие гранаты взрываются в руках, отчего погибает множество людей.

— Ты кашмирец. Почему ты выбрал «Лашкар», а не, скажем, «Хизб» или ФОДК?

— Потому что даже «Хизб» выказывает уважение к некоторым политическим лидерам Кашмира. В «Лашкаре» их никто не уважает. Я тоже их не уважаю. Они все время обманывают и предают нас, они наживают политический капитал на кашмирских трупах. Никакого плана действий у них нет. Я вступил в «Лашкар», потому что хотел умереть. Я предназначен для того, чтобы умереть. Я никогда не думал, что меня захватят живым.

— Но сначала — прежде чем умереть — ты хотел убивать?

Айджаз посмотрел Наге в глаза.

— Да, я хотел убивать убийц моего народа. Разве это неправильно? Можете написать об этом.

Ашфак Мир ворвался в кабинет с широкой улыбкой на лице, переводя строгий и сосредоточенный, отнюдь не улыбающийся взгляд с Наги на Айджаза, стараясь понять, что здесь происходило без него.

— Достаточно? Вы довольны? Он готов сотрудничать? Перед публикацией, прошу вас, согласуйте со мной все факты, которые он вам сообщил. В конце концов, он все-таки террорист. Мой брат-террорист.

Он снова грубо расхохотался, довольный своей шуткой, и позвонил. Вернулся рослый полицейский, поднял Айджаза на руки и вынес его из кабинета.

После того, как принесенные обильные закуски были тоже унесены, Наге и Тило было дано милостивое (хотя и невысказанное) разрешение уйти. Еда на блюдах осталась нетронутой, ранжир лука и моркови остался ненарушенным.

По дороге в «Ахдус», сидя на тесном заднем сиденье бронированного джипа, Нага держал Тило за руку. Тило не отнимала ее. Он прекрасно понимал, в какой ситуации проходил этот робкий обмен нежностью. Он чувствовал, что Тило продолжала бить сильная дрожь, мотор под кожей работал не останавливаясь. Но возможность держать за руку именно эту,

единственную из всех женщин мира, наполняла Нагу невероятным счастьем.

Запах в кабине джипа был невыносим — смесь ржавого металла, пороха, бриолина, страха и предательства. Самыми частыми пассажирами машины были информаторы в масках, известные под прозвищем «коты». Во время прочесываний и облав взрослых мужчин из окруженных населенных пунктов хватали и проводили мимо бронированных джипов, этих символов ужаса Кашмирской долины. Сидевший в недрах этой железной клетки замаскированный «кот» кивал головой или подмигивал, и по этому знаку людей выхватывали из колонны для пыток, похищения или убийства. Нага, естественно, знал об этом, но ничто не могло нарушить его умиротворенность.

Угрюмый город бодрствовал, но притворялся спящим. Пустые улицы, закрытые рынки, ставни на окнах магазинов и запертые двери домов пролетали мимо решетчатых окон джипа — «окон смерти», как называли их местные жители, ибо смотрели оттуда либо автоматы солдат, либо глаза информаторов. По улицам носились стаи бродячих собак, похожих на маленьких медведей, — густой мех говорил о приближавшейся зиме. Кроме вооруженных солдат, на улицах не было видно ни одного человека. Незадолго до полудня кончится комендантский час, и люди снова на несколько часов станут хозяевами своего города с милостивого разрешения службы безопасности. Они выйдут из домов и, собравшись в толпы из сотен и тысяч людей, пойдут к кладбищу, не ведая, что даже их скорбь и ярость суть не более чем часть военно-стратегического плана усмирения.

Нага ждал, что Тило что-нибудь скажет, но она молчала. Когда же он попытался заговорить, она ответила: «Пожалуйста, мы можем... возможно ли... ничего не говорить?»

— Гарсон сказал, что убили какого-то человека, командира Гульреза... думают, не знаю, правда, кто... Гарсон думает или ему сказали, что это был Муса. Это так? Скажи мне хотя бы это.

Она несколько секунд молчала, а потом посмотрела ему прямо в лицо своими остекленевшими глазами.

— Об этом невозможно говорить.

Описывая конфликт в Пенджабе, Нага видел и знал, в каком состоянии находились трупы, вынесенные из таких центров дознания. Ответ Тило он принял за подтверждение своих подозрений. Он понимал, что Тило понадобится время для того, чтобы справиться с пережитым ужасом. Он был готов ждать. Думал, что знал достаточно — или, по крайней мере, все, что ему надо было знать, — о том, что произошло. Он охотно простил себе

тот печальный факт, что муки Тило стали для него источником невероятного удовольствия.

Ответ Тило не был откровенной ложью. Но определенно это было неправдой. Правда состояла в том, что, учитывая состояние изуродованного трупа, если бы она не знала, кто это был, сказать это было бы невозможно. Но она знала, кто это был. Она очень хорошо знала, что это был не Муса.

Эта неправда, или полуправда, или одна десятая (или еще какая-нибудь ее доля) правды установила барьеры на границах государства без консульств. Эпизод в «Ширазе» был пройден и сдан в архив, как безнадежное судебное дело.

Когда они вернулись в Дели, Нага решил, что она, по ее состоянию, не может находиться в своем чулане на Низамуддин-басти, и предложил ей пожить в его квартире в верхнем этаже родительского дома. Когда он, в конце концов, увидел ее «стрижку», Нага сказал, что ей очень идет такая прическа и что человек, сделавший ее, зарывает в землю талант парикмахера. Эта шутка заставила Тило улыбнуться.

Через несколько недель Нага спросил ее, не хочет ли она выйти за него замуж, и пришел в полный восторг, когда она согласилась. Очень скоро, к вящему неудовольствию родителей, торжественная церемония, как они это называли, состоялась. Нага и Тило поженились на Рождество 1996 года.

Если Тило было необходимо прикрытие, то она не могла бы найти лучшее решение, чем стать снохой посла Шивашанкара Харихарана и поселиться в его доме в дипломатическом анклаве Дели.

Она выдерживала их совместную с Нагой жизнь в течение четырнадцати лет, прежде чем поняла, что больше не может. Объяснений было множество, но самым главным была усталость. Она устала жить чужой жизнью в доме, в котором ей было не место. Самое удивительное заключалось в том, что этот сдвиг произошел, когда она сильнее всего была привязана к Наге. Она устала не от него, а от самой себя. Она едва не утратила способность удерживать свой внутренний мир в цельности — способность, каковую считают залогом сохранности душевного здоровья. Дорожное движение в ее голове перестало доверять мозговым светофорам. Результатом стал нескончаемый шум, частые дорожные происшествия и, в конечном итоге, безнадежная пробка.

Оглядываясь на все прожитые вместе с Тило годы, Нага вдруг понял, что все это время он жил в подсознательном страхе, что Тило просто случайно вошла в его жизнь и пересекает ее, как верблюд пересекает

пустыню. Настанет день, когда, дойдя до ее границы, верблюд — Тило — покинет ее.

Правда, когда это на самом деле произошло, Наге потребовалось некоторое время, чтобы поверить в случившееся.

Р. Ч., старый друг Наги, всегда считавший, что работа в Разведывательном бюро и чтение протоколов допросов учат пониманию человеческой природы в тысячу раз лучше, чем все взятые вместе писания проповедников, поэтов и психиатров, дал свой совет:

— Мне очень неприятно это говорить, но ей сейчас надо дать пару увесистых оплеух. Этот ваш современный подход работает не всегда. В конце концов, мы все животные, и нам надо иногда показывать зубы. Небольшая ясность никогда не повредит всем заинтересованным сторонам. Ты окажешь ей услугу, за какую она будет благодарна тебе до конца своих дней. Поверь мне, я знаю все это на своем опыте.

Р. Ч. часто понижал голос на середине фразы и произносил совершенно банальные слова так, будто пытался обвести вокруг пальца воображаемого соглядатая, чтобы он не понял произнесенного слова. Людей Р. Ч. всегда называл «сторонами». «В конце концов» было для него излюбленной стартовой площадкой всех его советов и прозрений; точно так же если он собирался унижить собеседника, то непременно произносил в начале фразы «при всем моем уважении».

Р. Ч. укорял Нагу за то, что тот не может заставить Тило родить. Дети, говорил Р. Ч., накрепко привяжут Тило к семье — для этого нет лучшего средства. Сам Р. Ч. был маленьким, мягким, женоподобным человеком с начавшими сидеть густыми усами. У него была маленькая, мягкая жена и маленькая, мягкая дочь, изучавшая в университете молекулярную биологию. Это была образцовая семья, состоявшая из маленьких мягких игрушек. Исходившие от Р. Ч. брутально-мужественные советы изумляли даже Нагу, знавшего Р. Ч. много лет. Интересно было бы узнать, насколько часто отвечивал Р. Ч. оплеухи своей жене для того, чтобы она знала свое место. Внешне миссис Р. Ч. выглядела послушной женой и женщиной, вполне удовлетворенной своим положением и домом — табличками с напоминаниями и афоризмами, коллекцией довольно безвкусных драгоценностей и дорогих кашмирских шалей. Нага не мог себе представить, что в действительности она была вулканом скрытых страстей, каковые надо было время от времени усмирять пощечинами.

Р. Ч., бывший большим любителем блюза, как-то раз дал Наге послушать песню. Билли Холидей, «Нехороший мужчина».



Я — та, которой  
Пренебрегают,  
И должна ненавидеть его,  
Но все же  
Я люблю его,  
Потому что мне нужна любовь,  
Горящая, как пламя.

Р. Ч. слышал «I oughta hate him»<sup>[35]</sup> как «all the hittin»<sup>[36]</sup>.

— Женщины, — назидательно произносил он, — *все и всегда* женщины. Исключений не бывает. Ты понял?

Тило всегда напоминала Наге Билли Холидей. Не внешне, а голосом. Если бы человеческие существа могли перевоплощаться в голоса, то для Наги Тило стала бы физическим воплощением голоса Холидей — в Тило была такая же текучая, неуловимая, хватающая за живое и совершенно идиотская непредсказуемость. Р. Ч. и сам не подозревал, какого джинна он выпустил из кувшина, когда воспользовался Билли Холидей для иллюстрации своей точки зрения.

Однажды утром Нага, который, какими бы недостатками он еще ни обладал, был довольно мягким и добрым человеком, действительно ударил жену. Ударил не сильно и не убедительно — это понимали они оба, но он все же ее ударил. Потом он обнял ее и заплакал.

— Не уходи, прошу тебя, не уходи.

В тот день Тило стояла у ворот и смотрела, как Нага уезжает на работу в служебной машине со служебным водителем. Она не могла видеть, как он всю дорогу проплакал на заднем сиденье. Нага плакал редко и отнюдь не был плаксой. (Когда он в тот день появился на телевизионных дебатах по национальной безопасности, на его лице никак не отражались его семейные неприятности. Он был резок, остроумен и в два счета не оставил камня на камне от утверждений своего визави — правозащитницы, утверждавшей, что Новая Индия семимильными шагами скатывается к фашизму. Лаконичные реплики Наги вызывали одобрительный смех тщательно подобранной аудитории — опрятно одетых студентов и амбициозных молодых профессионалов. Другой гость студии, увешанный орденами и медалями отставной пожилой генерал с огромными густыми усами, которого приглашали в студии для того, чтобы добавить яду и глупости всем дискуссиям о национальной безопасности, смеялся и

аплодировал громче всех.)

Тило села в автобус и поехала на окраину. Там она вышла и долго шла по растянувшейся на километры городской свалке. Это было живописное поле, усеянное яркими пластиковыми мешками, в которых рылись оборванные дети. Небо казалось темным из-за туч воронов и коршунов, состязавшихся с детьми, свиньями и бродячими собаками в борьбе за лакомства. В отдалении виднелись мусорные грузовики, привозившие новые мешки к горе старых. Обвалившиеся стены из мешков показывали мощь пластов накопленного мусора.

Потом Тило села в другой автобус и поехала на берег реки. Остановившись на мосту, она долго смотрела, как по затхлой, отравленной реке, на плоту, сооруженном из пластиковых бутылок и металлических канистр, плывет какой-то человек. Буйволы блаженно погружались в черную воду, а на набережной торговцы продавали сочные дыни, выращенные на чистых, беспримесных фабричных стоках.

В третьем автобусе Тило провела около часа, прежде чем добралась до зоопарка. Она долго наблюдала за маленьким гиббоном с Борнео, жившим в огромном пустом вольере. Это лохматое, казавшееся точкой существо цеплялось за дерево так, словно от этого зависела его жизнь. Трава под деревом была усеяна предметами, которые посетители бросали в вольер, чтобы привлечь внимание обезьяны. Перед вольером стоял мусорный ящик, сделанный в форме гиббона, а перед вольером с гиппопотамом стоял мусорный ящик, сделанный в форме гиппопотама. Цементная пасть бегемота была широко раскрыта и набита мусором. Настоящий гиппопотам лениво ворочался в маленьком грязном пруду. Гладкий, широкий, похожий на воздушный шар, зад животного блестел как мокрая автомобильная крышка. Крошечные глазки, прячущиеся за розоватыми, пухлыми веками, внимательно смотрели поверх воды. Вокруг бегемота плавали пластиковые бутылки и пустые сигаретные пачки. Какой-то человек склонился к маленькой, одетой в цветастое платьице девочке с густо подведенными глазами, указал пальцем на бегемота и, смеясь, сказал: «Крокодил». «Кокодил», — повторила девочка, невольно пародируя отцовскую шутку. Шумная компания молодых людей развлекалась тем, что швыряла бритвенные лезвия на цементный берег пруда, в котором лежал гиппопотам. Когда у них кончились лезвия, они попросили Тило сфотографировать их. Один из молодых людей, все пальцы которого были унижены кольцами, а на запястьях болтались выцветшие браслеты, выстроил своих друзей, дал Тило телефон и торопливо занял место в кадре, обняв за плечи двоих приятелей и сделав пальцами знак победы. Вернув

ему телефон, Тило похвалила их за мужество, проявленное при скармливании острых лезвий пленному гиппопотаму. Молодым людям потребовалось некоторое время для того, чтобы понять, что это оскорбление. Когда же они это поняли, то принялись преследовать ее с популярной делийской речевкой: «Ойе! Хапши-мадам!» — «Эй, мадам-ниггер!» Они издевались над ней не потому, что Тило была темнокожей: темная кожа — не редкость для Индии, а потому, что по ее поведению и внешнему виду поняли, что эта эфиопка — на хинди «хапши» — смогла подняться выше положения своего сословия. Тило явно не была служанкой или фабричной работницей.

В каждой клетке серпентария непременно был индийский скалистый питон. Жалкое подобие питона. Были клетки с индийскими оленями-замбарами. Жалким подобием замбаров. Подсобные рабочие-женщины таскали мешки с цементом к клетке с уссурийским тигром. Жалким подобием уссурийского тигра. Большую часть птиц в птичнике можно было видеть на улицах города, но и здесь это были лишь жалкие подобия птиц. У клетки с какаду какой-то молодой человек пристроился рядом с Тило и пропел, притворно обращаясь к попугаю, популярную песенку из болливудского фильма, но с собственными стихами:

Дуния кхатам хо джайеги  
Чудай кхатам нахи хоги.

Мир погибнет,  
Но перепихон останется.

Это было вдвойне оскорбительно, потому что Тило была по меньшей мере вдвое старше его.

Когда Тило была у вольера с розовыми пеликанами, ей на телефон пришло СМС:

Экологически чистые дома в квартале-24 в  
Газибаде  
3 комнаты 15 лакх  
4 комнаты 18 лакх

5 комнат 31 лакх  
Первый взнос от 35 000 рупий  
О скидках по телефону 91-103-957-9-8

Никарагуанский ягуар, покрытый толстым слоем пыли, неподвижно лежал, положив морду на пыльный уступ клетки. Он лежал здесь, абсолютно равнодушный к окружающему, часами (а может быть, и годами).

Тило чувствовала себя, как этот ягуар. Запыленной, старой и абсолютно равнодушной.

Может быть, она и *была* этим ягуаром.

Кто знает, может быть, когда-нибудь и ее именем назовут дорогую городскую машину.

\* \* \*

Переехав, она не стала брать с собой много вещей. Сначала ни Наге, ни даже ей самой не было до конца понятно, выехала она из дома или нет. Мужу Тило сказала, что сняла себе кабинет для работы, но не сказала где. (Гарсон Хобарт тоже ничего не сказал Наге.) Несколько месяцев Тило то уходила, то возвращалась. Со временем она стала уходить чаще, а возвращаться все реже и в конце концов перестала возвращаться совсем.

Нага стал вести жизнь неженатого мужчины, окунувшись в работу и череду печальных романов. Будучи частым и заметным гостем на телевидении, он стал, как это называют в журналах и газетах, «знаменитостью», что многие люди считают какой-то отдельной профессией. В ресторанах и аэропортах к Наге часто подходили незнакомые люди и просили автограф. Многие из этих людей не были даже уверены, что это он, или не знали точно, чем он занимается и почему кажется им знакомым. Нага же настолько устал от всего этого, что у него не было сил отказывать. В отличие от большинства людей его возраста Нага сохранил стройность и пышную шевелюру. «Успешность» повышала его котировки в глазах женщин — одиноких и моложе его, а также ровесниц (замужних и разведенных) — замужние искали разнообразия, а разведенные надеялись еще раз попытаться счастья. Лидерство в этой гонке захватила стройная стильная вдова тридцати с небольшим с молочно-белой кожей и гладкими блестящими волосами — младший отпрыск владельцев небольшого княжества. Мать Наги увидела в этой женщине себя и жаждала

заполучить ее в свой дом больше, чем ее сын. Она часто приглашала эту леди вместе с Принцем Чарльзом (так звали милого чихуахуа) к себе на первый этаж, где обе дамы плели заговор с целью пленения Наги.

Через несколько месяцев этого романа Принцесса начала величать Нагу «джааном» — возлюбленным. Слуг в доме она приучила называть себя Бай-Са, как это принято согласно раджпутскому этикету во владетельных домах. Она готовила Наге блюда по секретным семейным рецептам княжеской кухни. Она заказала новые занавески, расшитые подушки и милые дхурри на пол. Она придала женскую аккуратность и опрятность вопиюще запущенному дому Наги. Ее внимание было бальзамом для его уязвленной гордости. Он не отвечал на чувства Принцессы с таким же пылом, но принимал их с некоей утомленной грацией. Он почти забыл, что значит быть обожаемой стороной в любви. Невзирая на прошлую неприязнь к маленьким собачкам, он теперь души не чаял в Принце Чарльзе и регулярно гулял с ним по парку, где бросал песику летающий диск размером с блюдце, который он нашел и заказал в интернете. Принц Чарльз резво отыскивал диск и приносил хозяину, продираясь сквозь траву, которая была едва ли не выше его холки. Принцесса выступила в роли хозяйки на нескольких данных Нагой званных обедах. Р. Ч., очарованный Принцессой и восхищенный Нагой, сказал другу, что он должен немедленно жениться на ней, пока та не вышла из детородного возраста.

Нага, все еще сильно расстроенный, внял совету Р. Ч. и спросил Принцессу, не хочет ли она переехать к нему и пожить в его доме. Она в ответ протянула вперед руку и нежно пригладила кустистые брови Наги, зажимая волосы между большим и указательным пальцем. Она сказала, что ничто в жизни не сделает ее более счастливой, но сначала она хочет освободить *ци* Тило, которое до сих пор витало в доме. С разрешения Наги она положила в медный кувшин стручки сухого красного перца, подожгла их и обошла с этим дымящимся горшком все комнаты Наги. При этом Принцесса деликатно кашляла, постоянно отбрасывала назад свои блестящие волосы, чтобы они не пропитались едким дымом, и жмурила глаза. Когда перцы прогорели, она произнесла молитву и закопала перец вместе с кувшином в саду. После этого она повязала на запястье Наги красную нитку, зажгла в каждой комнате ароматические свечи и дождалась, когда они сгорят дотла. Покончив с этими формальностями, она купила дюжину картонных коробок и попросила Нагу упаковать в них вещи Тило и отнести их в подвал. Когда Нага освобождал шкаф Тило (что отдавало некоторым бесстыдством), он и обнаружил пухлую историю болезни

матери Тило из Кочинского госпиталя.

За все годы, что он и Тило были женаты, Нага ни разу не видел ее матери. Тило никогда о ней не говорила, но, конечно, Нага в общих чертах знал ее историю. Мать звали Марьям Ипе. Она происходила из старинного аристократического христианского сирийского семейства, переживавшего не лучшие времена. Представители двух поколений этой семьи были выпускниками Оксфорда, а сама она получила образование в приходской школе в Утакаманде, среди холмов Нилгири, а затем продолжила образование в христианском колледже Мадраса, после чего болезнь отца заставила ее вернуться в родной город в Керале. Нага знал, что она преподавала английский язык в местной школе до того, как основала собственную школу, которая со временем стала самой успешной средней школой, известной своими образовательными инновациями. Эту школу Тило посещала до поступления в делийский колледж. Нага читал несколько газетных статей о матери Тило, в которых имя Тило не упоминалось, но говорилось о приемной дочери, жившей в Дели. Р. Ч. (чьим призванием было знать все обо всех, а самое главное, давать понять всем, что он знает все и обо всех) однажды принес Наге целую папку газетных вырезок, сказав: «Твоя приемная теща очень непростая птичка». В статьях был охвачен период в несколько лет. В некоторых статьях речь шла о школе и передовых методах преподавания, о превосходном общежитии и подобных вещах. В некоторых же статьях говорилось о кампаниях по защите окружающей среды, которые вела мать Тило на деньги, полученные в виде премий министерства просвещения и других наград. В статьях говорилось о женщине, которая преодолела происшедшую с ней в молодости беду и стала тем, кем стала, — образцовой феминисткой, не переехавшей в большой город, но решившей вести нелегкую борьбу в родном маленьком городке, сражаться с мужским семейным насилием. В статьях говорилось о том, как эта женщина постепенно завоевала восхищение и уважение со стороны тех, кто вначале издевался над ней. Говорилось и о том, что она смогла вдохновить целое поколение женщин, внушив им уверенность в достижимости заветных желаний и поделившись с ними способностью мечтать.

Всем, кто знал Тило, было ясно, что она отнюдь не приемная дочь женщины на фотографиях. Несмотря на разительное отличие в цвете кожи, черты лица у них были почти одинаковыми.

Из того немногого, что знал Нага, он понимал, что в этих газетных историях упущена значимая часть общей мозаики — безумие Макондо<sup>[37]</sup>,

но это уже предмет литературы, а не журналистики. Он никогда ничего не говорил жене, но считал, что ее отношение к матери было демонстративно карательным и неразумным. По его мнению, даже если правдой было то, что Тило была ее родной дочерью, которую эта женщина не признала официально и публично, то правдой было и то, что для молодой женщины, воспитанной в традиционном обществе, выбор независимой, не связанной узами брака жизни ради того, чтобы взять своего ребенка, рожденного вне брака, — даже притворившись благотворительницей и приемной матерью, — было уже актом высокого мужества и любви.

Нага заметил, что во всех газетных статьях Тило был посвящен один стандартный абзац: «Ученая сестра позвонила мне и сказала, что какая-то женщина-кули оставила на пороге приюта „Гора Кармель“ корзинку с новорожденным ребенком. Сестра спросила, не хочу ли я взять ребенка себе. Моя семья была решительно против этого, но я подумала, что, если удочерю ее, то смогу дать девочке новую жизнь. Девочка была черна, как вороново крыло, как кусочек угля. Она была так мала, что могла уместиться у меня на ладони. Я назвала ее Тилоттамой, что на санскрите означает „семечко сезама“»

Конечно, это звучало очень обидно для Тило, но Нага считал, что она могла бы взглянуть на это дело с точки зрения своей матери. Ей пришлось отдалиться от родной дочери только затем, чтобы иметь возможность взять ее себе, воспитывать и любить.

Нага также был уверен, что вся человеческая индивидуальность Тило, ее странность и необычность — будь они наследственными или приобретенными — передались ей от матери. Но ничто сказанное Нагой так и не смогло привести к примирению и воссоединению Тило с матерью.

Нага, таким образом, был сильно озадачен, когда Тило, сколько лет избегавшая всяких контактов с матерью, вдруг поехала в Кочин ухаживать за ней в госпиталь. Он решил (хотя Тило никогда не давала повода так считать), что она надеялась в эти последние дни выведать какие-то сведения — возможно, на смертном одре — о себе и о том, кем на самом деле был ее отец. Нага был прав. Но оказалось, что Тило опоздала.

\* \* \*

К тому моменту, когда она приехала в Кочин, легкие ее матери были поражены настолько сильно, а в крови скопилось так много углекислого

газа, что это привело к поражению мозга, и мать уже плохо ориентировалась в обстановке. Кроме того, действие лекарств и длительное пребывание в отделении интенсивной терапии вызвало у матери своеобразный психоз, который, как сказали врачи, чаще всего поражает сильных волевых людей, которые вдруг оказываются безвольными и беспомощными пешками в руках людей, которых прежде они не удостоивали вниманием. Гнев и возмущение ее обратилось не на персонал госпиталя, а на старых верных слуг и учителей школы, которые по очереди дежурили у ее госпитальной койки. Они толпились в коридоре в ожидании очереди, и их пускали к их любимой Аммачи на несколько минут каждые два часа.

Когда в палату вошла Тило, лицо матери просветлело.

— Меня все время царапают, — сказала она вместо приветствия. — Врач говорит, что царапать — это хорошо, но я не могу это больше выносить и поэтому приняла лекарство от царапания. Как твои дела?

Она подняла свои фиолетово-багровые руки, одна из которых была соединена с капельницей, чтобы показать Тило, что произошло с ее кожей оттого, что ее постоянно тычут и колют иглками и при этом постоянно ищут все новые и новые вены, потому что большинство их спалось и затромбировалось. Теперь они выглядели пурпурными узелками на фоне багровой кожи.

— «Рукав засучит и покажет шрамы: „Я получил их в Кристианов день“». Помнишь? Я тебя учила.

— Да.

— Ты помнишь следующие строчки?

— «Хоть старики забывчивы, но этот не позабудет подвиги свои»<sup>[38]</sup>.

Тило успела забыть, что помнит эти строки. Шекспир пришел ей на ум не от напряжения памяти, а сам собой, как является старая забытая мелодия. Она была ошеломлена состоянием матери, но врачи были довольны: по их словам, сам факт, что мать узнала ее, говорит о значительном улучшении. В тот день мать перевели в отдельную палату, откуда открывался вид на соленую лагуну и обрамлявшие ее кокосовые пальмы, гнущиеся под сильными муссонами.

Улучшение было недолгим. В течение следующих дней периоды ясности ума чередовались у пожилой женщины с периодами помраченного сознания, когда она переставала узнавать собственную дочь. Каждый новый день являл собой совершенно непредсказуемую главу истории заболевания. У матери появились новые чудачества и иррациональные предрассудки. Госпитальный персонал, врачи, сестры и даже санитарки



были добры к ней и не принимали близко к сердцу то, что она говорила. Они ласково называли ее Аммачи, протирали влажными губками, меняли ей памперсы и расчесывали волосы, не выказывая ни раздражения, ни злобы.

Через несколько дней после приезда Тило у матери появилась новая идея фикс. Она превратилась в своего рода кастового инквизитора. Она настаивала на том, что хочет знать, к какой касте, подкасте и подподкасте принадлежит каждый человек из госпитального персонала. Ей было мало, если они говорили: «Я сирийский христианин». Ей надо было знать, принадлежали ли они к течению Мартома, Якоба, Церкви Южной Индии или Ка-Нааху. Если же человек отвечал, что он индус и принадлежит к касте Эзхава, то мать сразу уточняла: тейя или чекавара. Если же человек отвечал, что принадлежит к «зарегистрированной касте», то матери непременно надо было знать, является ли он парайей, пулайей, параваном или улладаном. Принадлежит ли он к касте сборщиков кокосовых орехов? Были ли его предки официальными перевозчиками трупов, ассенизаторами, прачками или крысоловами? Она настаивала на подробном ответе и только потом соглашалась на процедуры и манипуляции. Если собеседник оказывался сирийским христианином, то мать обязательно интересовалась его родовым именем. Чей племянник женился на племяннице свояченицы? Чей дед был женат на дочке сестры чьей правнучки?

— Это ХОБЛ, — улыбаясь, говорили медицинские сестры Тило, видя обескураженное выражение на ее лице. — Не переживайте, при этой болезни такое случается сплошь и рядом.

Тило справилась в интернете. Хроническая обструктивная болезнь легких. Сестры объяснили Тило, что эта болезнь может превратить добропорядочную бабушку в содержательницу борделя, а епископа заставить ругаться, как пьяного рикшу. Нельзя принимать все это на свой счет. Это были сказочные девушки, эти сестры, грамотные, умелые — профессионалы до мозга костей. Каждая из них ждала случая получить работу в странах Персидского залива, в Англии или Соединенных Штатах, где смогут присоединиться к привилегированному сообществу малайяламских медицинских сестер. Ожидая такого случая, они, словно бабочки, порхали вокруг пациентов Озерного госпиталя. Они подружились с Тило, обменялись с ней телефонами и электронными адресами. В течение многих лет она получала по ватсапу рождественские поздравления и анекдоты от тех керальских медсестер.

Тем временем болезнь прогрессировала, мать становилась все более беспокойной, теперь с ней было почти невозможно справиться. Она

практически перестала спать и ночами лежала с широко открытыми глазами — ночь за ночью — с расширенными зрачками, беспрестанно что-то говоря — сама с собой и со всеми, кто был готов ее слушать. Казалось, она хочет обхитрить смерть постоянным бодрствованием. Она все время что-то говорила — иногда что-то воинственное, но чаще что-то приятное и милое. Она пела — обрывки старых песен, гимны, рождественские хоралы, песни онамских гребцов. Она декламировала Шекспира на своем безупречном школьном английском. Расстраиваясь, она начинала оскорблять всех, кто попадал ей под руку, такими отборными малаяламскими ругательствами, что все недоумевали, откуда могла их набраться женщина ее положения и воспитания. Шли дни, и мать становилась все более и более агрессивной. Аппетит ее стал просто чудовищным, она поглощала вареные яйца и выпечку с жадностью приговоренного к смерти. У нее оказались сверхчеловеческие резервы жизнеспособности, особенно для женщины ее возраста. Она отважно сражалась с врачами и сестрами, вырывала иглы из вен. Ее нельзя было успокаивать лекарствами, потому что все успокаивающие лекарства угнетали дыхание. Наконец, ее снова перевели в отделение интенсивной терапии.

От этого она пришла в неопишумую ярость и впала в психоз. В глазах появился заговорщический блеск. Она днями и ночами планировала побег. Она предлагала взятки сестрам и санитаркам. Одному молодому врачу она обещала завещать свою школу и земельный участок, если он поможет ей выбраться из госпиталя. Дважды она пробегала по коридору в своей больничной пижаме. С тех пор за ней неотступно наблюдали две медсестры, которым иногда приходилось силой удерживать больную в постели. Когда она до предела утомила весь персонал, врач сказал, что госпиталь не может позволить себе круглосуточное наблюдение и что больную придется привязать к койке. Тило, как ближайшую родственницу, попросили подписать соответствующие документы. Тило попросила дать ей последний шанс успокоить мать. Врачи согласились, правда, не слишком охотно.

Когда Тило в последний раз звонила Наге из госпиталя, она сказала, что ей разрешили находиться с матерью неотлучно, потому что она нашла способ утихомирить беспокойную больную. Наге показалось, что в голосе жены прозвучали смешливые нотки и даже неподдельная любовь. Тило сказала, что нашла простой и эффективный способ. Она села на стул у постели матери, положила на колени блокнот, и мать начала диктовать ей бесконечные заметки. Иногда это были письма: «Дорогой отец, запятая, со

следующей строки: я заметила... ты поставила запятую после „Дорогой отец“?» По большей части все это был несусветный бессвязный вздор. Тило сказала также, что эта диктовка помогает матери чувствовать, что она все еще капитан корабля и от нее что-то зависит, и это хорошо ее успокоило.

Нага не совсем понял, что имела в виду жена, и сказал ей, что она и сама говорит, словно в бреду. Тило в ответ рассмеялась и сказала, что он все поймет, когда увидит записи. Он вспомнил, как сильно удивился тогда личности Тило, которая лучше всего чувствовала себя у постели галлюцинирующей матери, притворяясь ее стенографисткой.

Все в этом мире кончается, и в Озерном госпитале тоже все подошло к концу — не радужному, но ожидаемому. Тило вернулась после похорон матери, исхудавшая и еще более замкнутая, чем раньше. Рассказ о последних днях и смерти матери был короток и больше напоминал клинический отчет. Через несколько недель после возвращения в Дели Тило принялась за свои бесцельные странствия по городу.

Нага так и не увидел тех записей.

\* \* \*

В то утро, когда он бесцельно листал историю болезни тещи, Нага наткнулся на те записи. Они были написаны почерком Тило на линованных страницах, вырванных из блокнота, сложенных и засунутых между страницами истории болезни, назначениями, картами наблюдения и данными о насыщении гемоглобина кислородом. Читая эти записи, Нага все больше осознавал, насколько плохо знал он женщину, с которой прожил четырнадцать лет, и как мало суждено ему о ней узнать.

9.07.2009

Ухаживай за горшечными растениями, они могут погибнуть.

А эта складка — мягкое одеяло — я бы могла их всех исправить.

Что это говорит о тебе, госпожа Посол, девушка-

строитель из парайев?

Эти люди в голубом возят дерьмо. Это твои родственники?

Насколько я знаю, Паулоз не уживается с орхидеями, он их убивает. Это проблема касты париев.

Попроси Биджу или Реджу забрать нас.

Ты слышишь ночами собак? Они приходят за ногами диабетиков, которым ампутировали конечности и выбросили их прочь. Я хорошо слышу, как псы воют, убегая с человеческими руками и ногами. Никто им этого не запрещает.

Это твои собаки? Они мальчики или девочки? Кажется, они любят сладости.

Ты не можешь достать мне хороших китайских фиников?

Хоть бы эти голубые перестали виться вокруг нас.

Мы должны быть очень осторожны — ты и я. Ты же и сама это знаешь, не так ли?

У меня взяли на анализ слезы и убедились, что в них нормальное содержание соли и воды. Глаза у меня сухие, и мне приходится все время их промывать и есть сардины, чтобы делать слезы. Знаешь, в сардинах так много слез.

Эта девушка на входе поразительно играет в лотерею.

Пошли?

Попроси Реджу взять машину. Я просто не могу и не хочу просить.

Привет, очень рада тебя видеть! Это моя внучка. Она себя не контролирует, поэтому последи за чистотой этого места.

Как только придет Реджу, мы отнимем его машину и убежим. Горшочек возьмем, а говно оставим.

Приходи и шепни мне что-нибудь. Меня заело. Тебя тоже заело?

Мы сядем на горшок и попрыгаем на нем.

У меня есть «Джонни Уокер». Он пришел нас покрыть?

Я просто пользуюсь двумя простынями. Но что мне делать с ногами?

Придет ли лошадь?

Я объявила большую войну бабочкам.

Ты выйдешь — как можно быстрее — с Принси, Найси и друзьями? Возьми бронзовую вазу, скрипку и нитки. Оставь дерьмо и темные очки и забудь о сломанных стульях, их здесь много, и можно поменять один на другой.

Эта девушка в клетку поможет тебе убрать говно. Скоро придет ее отец и все уберет. Я не хочу, чтобы его застукали с тобой. Нам надо, чтобы мусор был убран.

Выглядывая за занавески, ты видишь там толпу людей? Я чувствую, что они там. Я определенно чувствую их вонь. Вонь толпы, с гнильцой, как от моря.

Думаю, тебе надо бросить свои стихи и оставить все планы касательно Элискутти. Она совершенно безобразна, страшна, как смертный грех. Хотелось бы мне иметь ее фотографию, чтобы было над чем

посмеяться. Вот какая я плохая.

Епископ захочет увидеть меня в гробу. Это большое облегчение. Потому что все это будет на моих похоронах. Никогда не думала, что до этого дойдет. Идет дождь или светит солнце? Что сейчас — день или ночь? Будьте любезны, кто-нибудь, скажите мне.

Вот это КОЙКА.

Уберите отсюда этих коней.

Думаю, это нехорошо — взять эту девочку и выпотрошить ее.

Встать!!!

Я ухожу, а ты делай, что хочешь. Получишь здесь изрядную трепку.

Как тебе не стыдно стоять здесь и говорить всем, что ты — Тилоттама Ипе, хотя это и не так. Я ничего не скажу тебе ни о тебе, ни о себе, и не надеюсь.

Я буду стоять здесь и просто говорить: «Делай то и делай это», а ты будешь с радостью и готовностью делать. С завтрашнего дня не будешь получать за это никакой платы. Ты написала. Я буду каждый раз тебя штрафовать.

Пойди и скажи всем: «Это моя мать, мисс Марьям Ипе, и ей сто пятьдесят лет».

У них хватит лекарств на всех этих лошадей?

Ты замечала, как люди похожи на лошадей, когда зевают?

Изо всех сил следи за своими зубами, не то их у тебя кто-нибудь отберет.

Иногда тебе предлагают скидку, и это страшно глупо.

Все проверь, и пошли отсюда.

А это Ханна. Я должна ей денег, и мне придется перепрыгнуть через всех этих детей с катетерами.

Здесь так много катетеров, и все были рады, что у миссис Ипе есть луковицы. Но как она хороша, эта девочка. Ты вот не удалила мне катетер, а она удалила. Она настоящая парайя, а ты забыла, что значит быть ею.

Кто-то пришел, а потом еще кто-то и еще кто-то.

Это настоящее потрясение — то, что ТЫ задаешь свои правила всем. Но я надеюсь, что люди будут подчиняться мне.

Я во главе. Очень трудно лишаться власти, и ты скоро, без сомнения, это поймешь. Аннамма — самая спокойная женщина в нашей общине.

Кто такая Аннамма, которая играет Шерлока Холмса, и кто Шерлок Холмс? Она превосходна в обеих ролях. Она была моим главным учителем, и как прекрасно она умерла. Она пришла домой и заразила меня своим кашлем.

Привет, док. Это моя дочь. Она получила домашнее образование. Она очень зла и отвратительна. Сегодня на скачках она была ужасна, но и я была не лучше. Мы раздавали всем пинки и затрещины.

Я всю жизнь делала смешные вещи. Я произвела на свет ребенка. Вот ее.

Вы видите этого мальчика в грязной одежде и с грязным катетером в руке? Я сидела с ним в грязной

речке.

Я чувствую, что окружена евнухами. Это правда?

Музыка... что с ней не так? Я больше не могу запомнить ни одной мелодии.

Слушай... ты слышишь? Это кислород. Он будет булькать до самой смерти. У меня кончается кислород. Но мне все равно, прибудет он или убудет.

Я хочу уснуть. Как было бы хорошо умереть. Оберните мои ноги теплой водой.

Я иду спать и не прошу на это разрешения.

Этот файл hpsf — чук, чук, чук.

Это мой мотор.

После смерти можно уцепиться за облако и получать всю вашу информацию. Потом вам предъявят счет.

ГДЕ МОИ ДЕНЬГИ?

Артериальный порт — это винт Иисуса Христа. Совсем не больно.

Я — просто писающий манекен.

Нравится мне моя задница. Не понимаю, почему доктор Вергезе не хочет, чтобы она осталась в кадре.

Замороженные цветы никогда не вянут. Они висят как новенькие все время. Нам надо поговорить о вазах.

Ты слышишь звучание белых цветов?

Нага нашел лишь небольшую часть записей. Все «стенограммы», если



их не выбросили с прочим больничным мусором, составили бы несколько томов.

\* \* \*

Однажды утром, после недели непрерывного стенографирования, Тило, совершенно измотанная, стояла у постели матери, опершись руками на спинку осточертевшего ей стула. Это было самое напряженное время в отделении интенсивной терапии. Врачи делали обход, сестры и санитары тоже были по горло заняты, убирая помещение. Марьям Ипе была сегодня в особенно дурном настроении. Лицо покраснелось, глаза горели лихорадочным огнем. Она задрала рубашку и лежала в памперсах, бесстыдно раскинув прямые, как палки, ноги. Когда она закричала, то вся палата содрогнулась от почти мужского рева:

— Скажи парайам, что им пора убирать мое говно!

Кровь Тило забыла, куда ей надо течь, сбилась с пути и вся, без остатка, бросилась ей в голову. Не говоря ни слова, Тило схватила стул, взмахнула им, как палицей, и с силой опустила на пол. По палате разнесся треск ломающейся древесины. Иглы повыскакивали из вен. Флаконы задребезжали в корзинках капельниц. Слабые сердца на мгновение замерли. Тило смотрела, как звук продефилировал по телу матери — от стоп до пальцев рук, словно простыня, которую набрасывают на труп.

Тило не знала, сколько времени она так простояла и кто отвел ее в кабинет доктора Вергезе.

Доктор Якоб Вергезе, заведующий отделением интенсивной терапии, был раньше военным врачом в США и в Дели работал всего четыре года. В армии он был заместителем начальника отделения интенсивной терапии и проходил службу в Кувейте, а по окончании срока службы вернулся в Кералу. Большую часть жизни доктор Вергезе прожил за границей, но, несмотря на это, так и не приобрел американский акцент, что само по себе было удивительно, потому что в Керале даже бытовала такая шутка: одно только получение американской визы уже заставляет человека говорить с акцентом. Всем своим видом доктор Вергезе утверждал, что он истинный местный сирийский христианин и никогда в жизни не покидал штат Керала. Он ласково улыбнулся Тило и велел принести кофе. Он был родом из того же городка, что и Марьям Ипе, и, вероятно, знал все касавшиеся ее

слухи и сплетни. Кондиционер работал с полной нагрузкой, и его стук делал атмосферу в кабинете более непринужденной. Тило смотрела на кондиционер так внимательно, словно от этого зависела ее жизнь. Мужчины и женщины в зеленых костюмах и в хирургических тапочках сновали по коридору. У некоторых на резиновых перчатках виднелись пятна крови. Доктор Вергезе посмотрел на Тило поверх очков и, потянувшись к ней через стол, взял ее за руку. Возможно, он не понимал, что пытался успокоить дом, разбитый молнией. От него осталось слишком мало материала для успокоения. После того, как кофе доктора был выпит, а кофе Тило остался нетронутым, Вергезе предложил пойти в палату и извиниться перед матерью Тило.

— Ваша мать — замечательный человек. Вы должны понимать, что это не она изрыгает грубости и непристойности.

— О, но если не она, то кто?

— Кто-то другой. Ее болезнь. Ее кровь. Ее страдания. Наши условности, наши предрассудки, наша история...

— Так перед кем я буду извиняться? Перед предрассудками или перед историей?

Однако, говоря это, она уже шла вслед за доктором по коридору, в палату ОИТ.

Когда они пришли, мать уже была в коме. Она уже ничего не слышала, не видела и находилась по ту сторону истории, предрассудков и извинений. Тило склонилась над ней и, прижавшись лицом к ногам матери, сидела так до тех пор, пока они не остыли. Сломанный стул взирал на них, как печальный ангел. Интересно, откуда мама могла знать, что будет со стулом. Как могла она знать?

«Забудь о сломанных стульях, их здесь много, и можно поменять один на другой».

Марьям Ипе умерла утром следующего дня.

Сирийская христианская церковь не простила ей прегрешения молодости и отказала в отпевании. На похоронах были только школьные учителя и родители нескольких учеников. Простились с Марьям в местном государственном крематории. Тило забрала прах в Дели. Наге она сказала, что ей надо хорошенько подумать, что с ним делать. Больше она не сказала мужу ничего. Урна с прахом с тех пор все время стояла на рабочем столе Тило. Недавно Нага заметил, что она исчезла. Он не знал, то ли Тило нашла место, куда погрузить урну (или развеять ее по ветру, или похоронить в земле), то ли взяла ее с собой на новое место жительства.

\* \* \*

Принцесса, войдя в комнату, наткнулась на Нагу, сидевшего на полу и читавшего пухлую историю болезни. Встав за спиной Наги, она принялась вслух читать выдержки из «стенограммы»:

— «Артериальный порт — это винт Иисуса Христа... Ты слышишь звучание белых цветов?» Что за бред ты читаешь, джаан? С каких пор цветы начали издавать звуки?

Нага продолжал сидеть и долго молчал. Казалось, он пребывал в глубокой задумчивости. Потом он встал и обхватил ладонями красивое лицо Принцессы.

— Прости меня...

— За что, джаан?

— Ничего не выйдет...

— Что?

— У нас с тобой ничего не выйдет.

— Но она ушла! Она оставила тебя!

— Да, она ушла. Она ушла, да... Но она вернется. Она должна вернуться, и она вернется.

Принцесса жалостливо посмотрела на Нагу и покинула комнату. Вскоре она вышла замуж за главного редактора одного из телевизионных новостных каналов. Они составили красивую, счастливую пару, а затем произвели на свет много здоровых, счастливых детишек.

\* \* \*

Комнаты, которые снимала Тило, находились на третьем этаже городского дома и выходили окнами на государственную начальную школу, где училось много детей из относительно бедных семей, и на дерево ним, в кроне которого гнездились невероятное количество относительно благополучных попугаев. Каждое утро группа детей хором выкрикивала целиком «Хум Хонгей Каамьяб» — версию «We Shall Overcome» на хинди. Тило пела вместе с ними. По выходным и в праздники ей очень сильно не хватало детей и школьных собраний, и она ровно в семь утра сама пела эту песню. Те дни, когда петь почему-либо не удавалось, она считала продолжением дней предыдущих, а новый день еще не наступил. Однако

по большей части, если бы кто-то приложил ухо к ее двери в семь часов утра, то услышал бы, как она поет.

Но никто не прикладывал ухо к ее двери.

День рождения и крещение мисс Джебин ознаменовали четвертый год и последнюю ночь пребывания Тило в квартире на третьем этаже. Тило задумалась: что делать с остатками торта? Наверное, муравьи позовут на пир всю свою родню, и эта орда либо доест торт, либо по крошкам утащит в хранилища муравейника.

Жара встала в комнате во весь рост и принялась мерить ее шагами. Транспорт за окнами ревел, как небесный гром, — правда, без дождя.

Она вдруг заметила, что совенок улетел — видимо, на другой столб, кланяться другой женщине в другом окне.

Когда до нее дошло, что птичка улетела, Тило стало невыразимо грустно. Она понимала, что скоро и сама уйдет и, наверное, никогда больше не увидит совенка. Но эта птица была кем-то. Тило, правда, не знала точно кем. Может быть, Мусой. Каждый раз, когда он уходил после своих коротких таинственных посещений, всегда под чужой маской, похожий на господина Никто из района Нигде, Тило понимала, что, может быть, никогда его больше не увидит. Обычно он исчезал, а она ждала. Теперь же настало время исчезнуть ей. Она никоим образом не могла дать ему знать, где находится. Мобильными телефонами он не пользовался и мог звонить ей только на городской номер, но теперь и по этому телефону никто не ответит. Она не смогла устоять перед неудержимым желанием сообщить о неопределенности своего прощания совенку. Она черкнула строчку на листке бумаги и прилепила к стеклу надписью наружу — для птички.

«Кто может знать при слове „расставанье“, какая нам разлука предстоит».

Она вернулась на свой матрас, довольная собой и заимствованной ясностью своего послания. Потом вдруг ей стало стыдно. Осип Мандельштам имел в виду нечто более серьезное, когда писал эту строку. Он, наверное, уже предвидел сталинский ГУЛАГ и обращался не к совам. Она оторвала листок от стекла и вернулась к своей постели.

В нескольких милях от того места, где она лежала на матрасе без сна, предыдущей ночью три человека были задавлены насмерть грузовиком, свалившимся с дороги в канаву. Водитель, вероятно, уснул за рулем. По телевизору сказали, что этим летом очень много бездомных ночуют на

обочинах трасс с интенсивным движением. Люди открыли, что выхлопные газы проезжающих автобусов и грузовиков являются отличными репеллентами, отпугивающими комаров и москитов, а значит, защищающих от лихорадки денге, которая в этом году уже убила в городе несколько сот человек.

Тило представила себе этих людей: новые мигранты, каменщики, возвращаются на свои забронированные, предоплаченные места, цена которых определяется отношением оптимальной плотности выхлопа к допустимой плотности москитов. Точная, выверенная алгебра, которой не найдешь в учебниках математики.

Люди устали на стройке от тяжелой работы, легкие и ресницы побелели от цементной пыли и каменной крошки от плит, укладываемых в полы многоэтажных торговых центров и высотных домов, заполонивших город, как стремительно растущий лес. Они раскладывают свои мягкие, поношенные гамчи на склоне дорожной насыпи, усеянной собачьими какашками и уставленной стальными скульптурами, созданными на деньги корпорации Памнани, раскручивающей модных скульпторов, использующих в качестве материала нержавеющей сталь в надежде подхлестнуть сталелитейную промышленность. Скульптуры были похожи на пучки стальных сперматозоидов или на воздушные шары на веревочках, но в любом случае в них было что-то бодрящее. Люди выкурили по последней биди. Дымок колечками поднимался к ночному небу, тая в темноте. Неоновое освещение окрашивало траву в металлический синеватый цвет, а человеческие лица делало серыми. Они смеялись, потому что двое из них умели пускать дым колечками, а третий — не умел, и эти двое беззлобно подтрунивали над ним. Он обычно последним усваивал подобные штучки.

Сон пришел к ним легко и быстро, как приходят деньги к миллионерам.

\* \* \*

Если бы они не умерли от задавившего их грузовика, то могли бы умереть от:

- (а) лихорадки денге,
- (б) жары,

- (в) курения биди
- или
- (г) каменной пыли.

Но, может быть, и нет. Может быть, они бы поднялись, чтобы стать:

- (а) миллионерами,
- (б) супермоделями
- или
- (в) столоначальниками.

Имело ли какое-нибудь значение, что они оказались вдавленными в траву, в которой спали? Для кого это имело значение? Было ли это важно для тех, для кого это могло бы иметь какое-то значение?

Дорогой доктор,  
Нас задавили. Существует ли какое-нибудь лечение?

*С почтением, Биру, Джайрам, Рам  
Кишор*

Тило улыбнулась и закрыла глаза.

Беспечные идиоты. Кто просил их ложиться спать под колеса проезжавших грузовиков?

Она задумалась: как можно перестать знать определенные вещи — вещи, которые она знала, но хотела бы не знать. Как, например, перестать знать, что когда легкие пропитываются каменной пылью, они отказываются сгорать в крематории. Даже когда сгорает все остальное, остаются две глыбы, повторяющие силуэты окаменевших легких. Ее друг, доктор Азад Бхартия, живший на мостовой Джантар-Мантар, рассказал ей о своем старшем брате Джитене Й. Кумаре, который работал в гранитном карьере и умер в возрасте тридцати пяти лет. Доктор рассказывал, как ему пришлось ломом разбивать на погребальном костре легкие брата, чтобы его тело догорело до конца и душа могла освободиться от тела. Доктор сказал, что сделал это, несмотря на то, что он коммунист и не верит в бессмертную душу.

Он сделал это, чтобы успокоить мать. Еще Азад говорил, что легкие блестели, так как были буквально инкрустированы песчинками.

Дорогой доктор,

Нет, нет, ничего особенного. Я просто хотела поздороваться. Да, кстати, есть и один вопрос. Вообразите, что вам надо разбить ломом легкие своего брата, чтобы угодить вашей матери. Вы смогли бы назвать это нормальной человеческой деятельностью?

Она снова задумалась: как может выглядеть не отпущенная из тела душа, камень в форме души на погребальном костре? Наверное, она похожа на морскую звезду. Или на сороконожку. Или на пятнистого мотылька с живым телом и окаменевшими крыльями. Несчастный мотылек, парадоксально придавленный к земле органами, которые должны позволять ему летать.

Мисс Джебин Вторая заворочалась во сне.

«Сосредоточься, — сказала себе похитительница, погладив мокрый от пота лобик ребенка. — Иначе дела могут принять совсем неуправляемый оборот». Тило сама не понимала, зачем она, женщина, никогда не желавшая иметь детей, вдруг подобрала этого ребенка и убежала с ним. Но теперь дело сделано. Ее роль в этом спектакле уже написана. Но не ею. Но тогда кем? Кем-то.

Дорогой доктор,

Если хотите, можете изменить каждый квадратный дюйм поверхности моего тела. Ведь я же всего-навсего история.

Мисс Джебин была добродушным и великодушным ребенком, ей, кажется, нравился несоленый суп и овощное пюре, какими потчевала ее Тило. Для женщины, никогда не имевшей дело с детьми, Тило очень сноровисто обходилась с ребенком — легко и уверенно. Когда мисс Джебин несколько раз принималась плакать, Тило удавалось успокоить ее в считанные секунды. Самым лучшим способом (не считая, конечно, еды) было положить рядом с младенцем выводок из пяти черных щенков, которых пять недель назад родила на лестничной площадке рыжая дворняжка Товарищ Лаали. Обеим сторонам (щенкам и мисс Джебин) явно было что сказать друг другу. Подружились и обе матери. Это объединение стало залогом обоюдного успеха. Когда все уставали, Тило возвращала щенков в джутовый мешок, постеленный на площадке, а Товарищ Лаали получала мисочку молока и немного хлеба.

Днем, когда Тило только зажгла свечу на торте и принялась вальсировать с новокрещеной мисс Джебин по комнате, напевая «С днем рожденья тебя!», позвонила Анкита, соседка с первого этажа, тоже снимавшая квартиру у Гарсона Хобарта. Она сказала, что утром приходил полицейский, интересовался ею (Тило) и спрашивал, не знает ли она (Анкита) что-нибудь о возможном появлении в доме маленького ребенка. Полицейский сильно торопился и оставил Анките газету, в которой была напечатана заметка о ребенке. Анкита прислала газету на третий этаж со своей девочкой-служанкой. В заметке говорилось:

Извещение о похищении ребенка ДП/1146  
НЬЮ-ДЕЛИ 110001

Сим общественность ставится в известность о том, что неопознанный ребенок (имя неизвестно, фамилия неизвестна) был без одежды оставлен на площади Джантар-Мантар в Нью-Дели. После того, как полиция была поставлена в известность о происшествии, но до того, как наряд прибыл на место происшествия, ребенок был похищен неизвестным лицом (или неизвестными лицами). Случай зарегистрирован по следующим законодательным статьям: 361, 362, 365, 366А и статьям 367 и 369. Для получения дополнительной информации обращайтесь в контактный центр полиции по адресу: Парламент-стрит, Центральный полицейский участок, Нью-Дели. Описание ребенка:

Имя: неизвестно. Имя отца: неизвестно. Адрес проживания: неизвестен. Возраст: неизвестен. Одежда: отсутствует.

Анкита говорила по телефону высокомерным и неодобрительным тоном. Но это была ее обычная манера общения с Тило. Она понимала, что самодовольство и чувство превосходства вообще характерно для тона, каким замужняя женщина говорит с женщиной незамужней. К ребенку это высокомерие и неодобрение не имело никакого отношения, тем более что Анкита просто не могла знать о мисс Джебин. (К счастью, Гарсон Хобарт позаботился о достаточной толщине стен в своем доме — звукоизоляция была на удивление хороша.) Никто в квартале не мог ничего слышать. Тило не выносила ребенка на улицу. Она и сама редко выходила — только на



рынок за едой, когда девочка спала. Продавцы, конечно, могли удивиться тому, что Тило стала покупать детское питание, но полиция едва ли зашла бы так далеко в своем расследовании.

Прочитав в первый раз полицейское извещение в газете, Тило не восприняла его всерьез. Заметка выглядела как бездумное исполнение рутинного бюрократического требования. Однако, прочитав извещение еще раз, Тило поняла, что дело приняло серьезный оборот и может грозить ей нешуточными неприятностями. Для того чтобы дать себе время хорошенько подумать, Тило аккуратно, слово в слово переписала заметку в блокнот старомодным каллиграфическим почерком, украсив поля виньетками и растительным орнаментом, словно библейские десять заповедей. Трудно было представить, как полиция могла выследить ее, но Тило понимала, что ей нужен план действий. Но плана у нее не было. Тогда она позвонила единственному человеку, который, как она твердо верила, мог понять проблему и дать дельный совет.

Они были друзьями уже четыре года — она и доктор Азад Бхартия. Они познакомились в очереди к уличному сапожнику в Коннот-Плейсе. Этот сапожник славился своим мастерством и крошечным ростом. В его руках даже малюсенькие женские босоножки выглядели как сапог великана. Они ждали свои сандалии, стоя в одной сандалиии и поджав босую ногу, когда доктор Бхартия (по-английски) спросил у Тило, не найдется ли у нее сигареты. Она очень удивила его, ответив (на хинди), что у нее нет сигарет, но она может угостить его биди. Маленький сапожник, не отрываясь от дела, прочел им короткую лекцию о вреде курения, рассказав о своем отце, заядлом курильщике, умершем от рака легких. Сапожник даже очертил в пыли контуры опухоли. «Вот такая она была большая», — сказал он. Доктор Бхартия уверил сапожника, что он курит только в очередях к сапожникам, когда ему надо починить обувь. Разговор переключился на политику. Сапожник проклял современный климат, отругал богов всех религий и вероисповеданий и закончил свою диатрибу тем, что наклонился и поцеловал стальную обувную колодку, сказав, что это единственный бог, в которого он верует. К тому моменту, когда сандалии были починены, сапожник и его клиенты стали друзьями. Доктор Бхартия пригласил обоих в свой «дом» на мостовой Джантар-Мантар. Тило пришла и нисколько об этом не пожалела.

Она приходила на Джантар-Мантар дважды в неделю, а иногда и чаще, приходила вечером и задерживалась до рассвета. Время от времени она приносила своему новому другу глистогонные таблетки, каковые — по какой-то причине — считала оздоравливающими. Доктор Бхартия был

настолько учтив, что принимал эти таблетки, невзирая на свою голодовку. Тило считала этого доктора человеком мира, самым здравомыслящим и душевно здоровым из всех, кого она знала. Со временем она стала переводчиком/переписчиком, а также типографом и издателем одностраничного бюллетеня «Ньюс энд вьюс», которую он редактировал и исправлял каждый месяц. Им удавалось продавать 8–9 экземпляров каждого нового издания. В целом это было процветающее медийное предприятие — политически острое, бескомпромиссное и насквозь красное.

Партнеры не встречались уже целых восемь дней после пришествия мисс Джебин Второй, когда Тило позвонила доктору Бхартии, чтобы рассказать о полицейском извещении. Доктор мгновенно понизил голос до шепота и сказал, что не надо говорить об этом по мобильному телефону, потому что его прослушивает Интерпол. Однако сказав это, доктор Бхартия оставил все предосторожности и заговорил громко и свободно. Он рассказал о том, как полицейские избили его и конфисковали все экземпляры его бюллетеня. Сказал он также, что вполне вероятно, что они выследили ее по статье-памфлету, потому что в конце его мелкими буквами были напечатаны выходные данные издателя. Возможно, однако, что о Тило полицейские догадались по ее подписи на гипсовой повязке. Полицейские несколько раз сфотографировали подпись с разных ракурсов — это была единственная подпись, выполненная зелеными чернилами с указанием почтового адреса. «Поэтому ты, скорее всего, стоишь в их списке первой», — добавил доктор Бхартия. Исходя из всего этого, доктор посоветовал Тило незамедлительно взять малышку и переехать вместе с ней на постоянный двор «Джаннат» возле похоронного бюро в Старом городе. Там Тило следует обратиться к человеку по имени Саддам Хусейн или непосредственно к владелице, доктору Анджум. Она очень хороший человек, добавил доктор Бхартия («приходила ко мне несколько раз после того ночного инцидента и интересовалась, где ребенок»). Поскольку он сам именовал себя почетным титулом доктора философии (хотя вопрос о присвоении звания пока только рассматривался), доктор Бхартия именовал докторами всех людей, к которым испытывал симпатию и уважение.

Тило не удивилась. Она уже знала о постоянном дворе и о Саддаме Хусейне из визитной карточки, которую бросил в ее почтовый ящик человек, верхом провожавший ее до дома в ту ночь. Она позвонила ему, и Саддам сказал, что доктор Бхартия уже связывался с ним и он, Саддам, ждал звонка Тило. Сказал он также, что полностью согласен с доктором Бхартией и скоро познакомит ее с планом действий. Саддам предупредил,

что Тило поступит неразумно, если попытается уйти из дома с ребенком, не дождавшись его (Саддама) звонка. Полицейские не имеют права войти в ее дом без ордера на обыск, но если они следили за ней и знают, что ребенок у нее, то могут схватить Тило на улице и сделать с ней все что им захочется. Тило, слыша уверенный и спокойный голос, прониклась доверием к Саддаму, а он, в свою очередь, поверил Тило.

Он позвонил через несколько часов и сказал, что план действий готов. Он приедет за ней и ребенком на рассвете — между четырьмя и пятью часами, до того, как в город будет запрещен въезд грузовиков. Если дом под наблюдением, то это будет легче выяснить именно рано утром, когда на улицах безлюдно. Саддам приедет с другом на пикапе «Муниципальной корпорации Дели». «Нам надо будет забрать труп коровы, обожравшейся пластиковых пакетов на свалке в Хаузе-Кхасе». Заезд за Тило не будет большим крюком. План сработает на сто процентов, уверил Тило Саддам. «Полицейские не станут останавливать муниципальный пикап сдохлой коровой, — смеясь, сказал он. — Если мы откроем окна, то они учуют нас, прежде чем увидят», — добавил он.

Ну вот, настало время еще одного переезда.

Тило осмотрела дом, словно вор, решающий, что еще надо забрать. Какие тут могут быть критерии? Вещи, которые ей, возможно, понадобятся? Или вещи, которые просто нельзя оставлять? Или взять и то и другое? Или вообще оставить здесь все? Она смутно понимала, что если полиция взломает квартиру, то похищение ребенка окажется самым мелким ее преступлением.

Самыми страшными уликами в ее квартире были коробки из-под фруктов, которые, по одной, доставил ей один кашмирский торговец. В коробках было то, что Муса назвал своими «пожитками», уцелевшими после наводнения, случившегося в Сринагаре год назад.

Когда Джелам вспучился и вышел из берегов, город исчез. Под водой оказались все городские кварталы. Армейские лагеря, пыточные центры, госпитали, суды, полицейские участки — все скрылось под волнами. Плавающие дома покачивались над местом, где только вчера была рыночная площадь. Тысячи людей спасались на крутых крышах и в импровизированных убежищах на возвышенных местах, ожидая спасателей, которые так и не прибыли. Утонувший город — это зрелищно. Утонувшая же гражданская война — это явление. Армейские вертолеты на камеры зависали над Сринагаром. Все должны были видеть, как доблестные индийские солдаты спасают неблагодарных кашмирцев,

которых, собственно, и не следовало бы спасать. Вода в конце концов отступила, обнажив покрытый грязью город, непригодный для обитания. Лавки, забитые грязью, дома, забитые грязью, банки, забитые грязью, холодильники, шкафы и книжные полки — все-все было полностью забито жидкой грязью. И были неблагодарные озлобленные люди, которые выжили, несмотря на то что их никто не спасал.

Все время, несколько недель, пока длился потоп, Тило ничего не слышала о Мусе. Она даже не знала, в Кашмире он или нет. Она не знала, выжил он или утонул и не вынесло ли его тело на какой-нибудь дальний берег. В те ночи, ожидая вестей от Мусы, она ложилась спать, приняв лошадиную дозу снотворного, а днем ей наяву грезился потоп. Ей виделся дождь и ревуций водный поток, несущий мотки колючей проволоки, которая выглядела, как жесткая трава. Поток нес пулеметы с рожками, похожими на плавники огромных рыб, а стволы блестели, словно спины русалок. Трудно было сказать, на кого были направлены стволы и кому было суждено умереть, если бы это оружие вдруг начало стрелять. Солдаты и мятежники, обхватившие друг друга под водой в последней схватке, медленной, как в старых фильмах о Джеймсе Бонде. Воздух выходил из легких похожими на пули пузырьками. По волнам, кружась, плыли чайники без свистков, газовые котлы, диваны, книжные полки, столы и кухонная утварь, делая поток похожим на улицу с неуправляемым, но интенсивным движением. Кружились трупы коров, собак, яков и кур. Заявления, протоколы допросов, армейские пресс-релизы сами свернулись в бумажные лодочки и плыли в надежную гавань, весело прыгая по бурной воде. Были в этом потоке также политики в костюмах и телезвезды в блестящих купальниках, похожие на морских коньков, исполнявших сложный танец. Они то ныряли, то выпрыгивали на поверхность, поднимая брызги и шлепая по воде ладонями и ступнями. Ярko сияли белые зубы, напоминавшие колючую проволоку. Особенно выделялся один политик, взгляды которого недалеко ушли от взглядов охранных отрядов нацистской Германии. Он катился по волнам в накрахмаленном и казавшемся водонепроницаемым дхоти.

Этот кошмар преследовал ее день за днем, не давая покоя и обрастая все новыми и новыми ужасающими деталями.

Прошел целый месяц, прежде чем Муса наконец, позвонил. Тило пришла в ярость, услышав его бодрый голос. Он сказал, что в Сринагаре не осталось ни одного целого дома, в котором он мог бы хранить уцелевшие после наводнения вещи, и спросил, нельзя ли поддержать их на квартире Тило до тех пор, пока город не оправится от бедствия.

Ну конечно, она ответила, что можно.

Они были отменного качества — те кашмирские яблочки, что были доставлены в аккуратных картонных коробках, — красные, менее красные, зеленые, почти черные — делишес, голден делишес, амбри, каала-мастана. Каждое яблоко было упаковано в хрустящую перфорированную бумажку. В каждой коробке Тило нашла визитную карточку Мусы — кусочек картона с силуэтом лошадиной головы. И в каждой коробке, естественно, было двойное дно, под которым и находились уцелевшие вещи.

Тило снова открыла коробки, чтобы вспомнить, что в них находится, и решить, что со всем этим делать — взять с собой или оставить здесь. У Мусы был запасной ключ от квартиры. Гарсон Хобарт сейчас проходил службу в Афганистане, да и в любом случае ключа у него не было. Так что риск оставления вещей здесь был невелик. Правда, кто знает, вдруг полиция все же взломает квартиру?

Вещей было немного, и собраны они были наспех и без всякого плана. Некоторые были покрыты грязью — густым, темным речным илом. Некоторые, однако, были в прекрасном состоянии — очевидно, избежали вод потопа. Тило нашла испорченный семейный фотоальбом с подмоченными снимками, на которых с трудом можно было узнать лица. В основном это были фотографии дочери Мусы, мисс Джебин Первой, и ее матери Ариффы. Была здесь и стопка паспортов, упакованных в пакет с молнией, — всего семь штук — два индийских и пять иностранных на имена: Ияд Хариф (Муса — агент ливанской полиции), Хади Хассан Мохсени (Муса — иранский мудрец и учитель), Фарис Али Халаби (Муса — сирийский наездник), Мохаммед Набиль аль-Салем (Муса — катарский шейх), Ахмед Ясир аль-Кассими (Муса — богач из Бахрейна). На фотографиях были: Муса чисто выбритый, Муса с седеющей бородой, Муса с длинными волосами, но без бороды, Муса с короткой стрижкой и маленькой бородкой. Тило сразу узнала первое из этих имен. Муса очень его любил, и они часто смеялись над ним еще в колледже, потому что оно означало: «голубь, рожденный осенью». Вариантами этого имени Тило называла людей, вызывавших у нее раздражение, например, одного типа она звала Ганду Хариф — «задница, рожденная осенью». (В молодости Тило обожала сквернословить и, когда начала учить хинди, получала несказанное удовольствие запоминать вначале всякую похабщину, а потом на ее основе формировать дальнейший словарный запас.)

В другом пластиковом пакете находились покрытые коркой грязи кредитные карты с именами, которые соответствовали именам в паспортах, удостоверениях и на авиабилетах — реликт тех времен, когда еще

существовали бумажные авиабилеты. Нашла Тило и старые телефонные книжки с именами, адресами и телефонами. На последней странице обложки одной из них Муса по диагонали написал куплет одной песни:

Из тьмы — да будет свет, из света — мрак,  
Три черные кареты, три белые телеги.  
Что нас соединяет, то и разлучает.  
Ушел наш брат, и сердце наше перестало биться.

Кого он оплакивал? Она не знала. Может быть, все свое поколение.

В одной из коробок Тило обнаружила неоконченное письмо, написанное на синей линованной почтовой бумаге. Адресата не было. Может быть, Муса писал его себе... или ей, потому что начиналось оно со стиха на урду, который Муса попытался перевести. Он часто переводил для Тило стихи с урду:

Дуния ки мехфилон се укта гайя хун йя Раб  
Кья лутф анджуман ка, джаб дил хи буджх гайя хо  
Шориш се бхагта хун, дил дхундта хай мера  
Айса сукут джис пе такрир бхи фида хо

Устал я от мирских собраний, о Боже,  
Что удовольствий в них, коли угас свет сердца моего?  
Блеска толпы бегу я, сердце жаждет  
Тишины, что околдовывает речь саму.

Ниже Муса написал:

Я не знаю, когда надо останавливаться, а когда — продолжать. Обычно я останавливаюсь, когда этого делать нельзя, и продолжаю, когда надо остановиться. Это утомляет. Но в этом заключается и открытое неповиновение. Вместе они определяют мою сущность сегодня. Вместе они лишают меня сна, но и исцеляют мою душу. У меня масса проблем, решения которых я не вижу. Друзья становятся врагами, если не явными, то

скрытыми и молчаливыми. Мне лишь предстоит увидеть врага, ставшего другом, но, кажется, на это почти нет надежды. Но притворяться, что она есть, — это единственная данная нам милость...

Тило не поняла, каких друзей он имел в виду.

Она понимала: то, что Муса до сих пор жив, — это почти чудо. Все восемнадцать лет, что прошли после 1996 года, каждая его ночь могла превратиться для него в ночь длинных ножей. «Как можно снова меня убить? — спрашивал он, когда чувствовал тревогу Тило. — Ты меня уже похоронила, возложила цветы на мою могилу. Что еще могут они мне сделать? Я всего лишь тень в лунную ночь. Меня не существует». Во время их последней встречи он сказал ей одну вещь, от которой у Тило кровь застыла в жилах, хотя фраза была сказана шутливым тоном со усмешкой на губах: «Сейчас в Кашмире могут убить ради того, чтобы выжить».

На войне, сказал Муса Тило, дух могут сломить не враги, а только друзья.

В следующей коробке Тило нашла охотничий нож и девять мобильных телефонов — пожалуй, многовато для человека, который принципиально ими не пользовался. Там были старые модели размером с кирпич, маленькие «нокии», смартфон «самсунг» и два айфона. Покрытые грязью, все они выглядели, как плитки окаменевшего от времени шоколада. Теперь, очищенные, они казались просто старыми и непригодными к работе. Была там еще связка пожелтевших газетных вырезок, первая из которых содержала заявление, сделанное тогдашним главой кашмирского кабинета министров. Кто-то подчеркнул в нем такие строчки:

Мы не можем просто идти и раскапывать все захоронения без разбора. Надо, по крайней мере, иметь какие-то указания от родственников пропавших людей, если невозможно получить точную информацию. Где может быть наиболее высока вероятность захоронения их исчезнувших родственников?

В следующей коробке оказался пистолет и несколько патронов россыпью, а также флакон с таблетками (Тило не поняла, что это за таблетки, но поняла, что название начинается на К) и записную книжку, которая совсем не пострадала от наводнения. Тило сразу узнала ее — это

была ее книжка, в которой были ее записи, но она перечитала их с таким жадным любопытством, словно они были сделаны кем-то другим. Она ощущала теперь свой мозг как «уцелевшее» имущество, заключенное в грязь. Это был даже не ее мозг, это была вся она — «уцелевшее» имущество — сгусток уцелевших фрагментов, кое-как, случайным образом собранных воедино.

Задолго до того, как она стала добровольной стенографисткой у матери и доктора Азада Бхартия, Тило была одно время профессиональной военной стенографисткой. После эпизода в «Ширазе», после того, как она вернулась в Дели и вышла замуж за Нагу, она, словно одержимая, месяц за месяцем, год за годом ездила в Кашмир, как будто искала там какую-то потерянную и очень дорогую ей вещь. Они с Мусой редко встречались во время этих поездок (встречались они, как правило, в Дели). Но когда Тило приезжала в Кашмир, она чувствовала, что Муса следит за ней из какого-то потайного места. Она понимала, что дружелюбные люди, появлявшиеся словно ниоткуда, ездившие вместе с ней, заботившиеся о ней и приглашавшие ее в свои дома, были людьми Мусы. Они привечали ее и говорили с ней только потому, что любили Мусу или, по меньшей мере, свои идеи о нем, о человеке, которого они знали как тень среди других теней. Муса не знал, что она искала, да она и сама об этом не ведала. Тем не менее она тратила на эти поездки почти все свои деньги, заработанные оформительством и печатью. Иногда она делала необычные снимки и писала странные вещи. Она, без всякой видимой цели, собирала обрывки чужих историй и необъяснимых воспоминаний. В этом интересе не было ни определенной схемы, ни определенной темы. Она не ставила перед собой никаких задач, не затевала никаких проектов. Она не писала ни для газет, ни для журналов. Она не писала сценарий фильма. Она не обращала внимания на вещи, которые другие люди сочли бы важными. За эти годы ее беспорядочный, рваный, личный архив становился все опаснее и опаснее. Это был архив уцелевших вещей и душ — не после наводнения, а после другого катастрофического бедствия. Инстинктивно она прятала этот архив от Наги. Она упорядочивала его согласно какой-то интуитивной логике, смысла которой не понимала и сама. Ни один из элементов этого архива не дорос до статуса настоящего аргумента, значимого в нашем мире, но это не имело для Тило никакого значения.

Правда заключается в том, что она ездила в Кашмир, чтобы успокоить мятущуюся душу и каяться в преступлениях, которых не совершала.

Еще надо было возлагать цветы на могилу командира Гульреза.

Это был ее дневник, который Муса прислал вместе со своим



уцелевшим имуществом. Должно быть, она забыла его во время одного из своих наездов в Кашмир. Первые несколько страниц были исписаны ее почерком, остальные были пусты. Тило улыбнулась, взглянув на первую страницу:

Справочник по английской грамматике в изложении  
для детей младшего школьного возраста  
Автор  
С. Тилоттама

Она взяла пепельницу и, удобно усевшись на полу и прикуривая одну сигарету от другой, прочитала справочник до конца. Книжка состояла из рассказов, газетных вырезок и нескольких дневниковых записей.

### Старик и его сын

Когда Манзур Ахмед Ганай стал бойцом, солдаты пришли в его дом и схватили его отца, красивого и опрятного Азиза Ганая. Его отвезли в центр дознаний в Хайдер-Байге. Манзур Ахмед Ганай работал бойцом полтора года, и его отец оставался в заключении тоже полтора года.

В тот день, когда Манзур Ахмед Ганай был убит, улыбающиеся солдаты открыли дверь камеры его отца. «Дженааб, ты хотел Азади? Мубарак хо аанко! Мы тебя поздравляем! Сегодня твое желание исполнится. Ты свободен».

Жители деревни горше плакали от вида ковылявшего по саду старика в лохмотьях, старика с потухшими глазами, чьих волос и бороды в течение полутора лет не касались ножницы, чем от скорби по убитому юноше.

Бессильный старик пришел как раз вовремя для того, чтобы приподнять саван и перед погребением поцеловать холодное лицо сына.

*Вопрос 1:* Почему жители деревни сильнее оплакивали бессильного старика?

*Вопрос 2:* Почему Азиз превратился в шаркающего

старика?

## Новости

### Служба главных новостей Кашмира

Десятки голов крупного рогатого скота пересекли линию контроля в Раджуре

Не меньше 33 голов крупного рогатого скота, включая 29 буйволов, пересекли границу с Пакистаном в секторе Новшера в районе Раджури (Джамму и Кашмир).

Согласно данным службы новостей, скот пересек границу в районе пропускного пункта в подсекторе Калсиан. Скот, принадлежавший Раму Сарупу, Ашоку Кумару, Чарану Дасу, Веду Пракашу и другим, пасся возле контрольно-пропускного пункта, а затем переместился на другую сторону границы, рассказали местные жители корреспонденту службы.

Отметьте верный вариант:

*Вопрос 1:* Для чего скот пересек границу?

- а) Для тренировки.
- б) Для осуществления разведывательной деятельности.
- в) Ничто из перечисленного не верно.

### Идеальное убийство (рассказ полицейского)

Это случилось несколько лет назад, до того, как я уволился со службы. Было это в 2000 или 2001 году. Я в то время был заместителем начальника полиции в Матгане.

Однажды около половины двенадцатого ночи нам позвонили из близлежащей деревни. Звонивший был местным жителем, но отказался назвать свое имя. Он сказал, что в деревне произошло убийство. Мы отправились в деревню — я и мой шеф, начальник полиции. Дело было в январе, стоял жуткий холод, и все вокруг было завалено снегом.

Мы прибыли в деревню. Люди сидели по домам, не

высовывая нос на улицу. Все двери были заперты. Ни в одном окне не горел свет. Снегопад прекратился. Ночь была ясная, на небе сияла полная луна. Лунный свет отражался от чистого снега. Видимость была отличная.

Мы увидели тело жертвы — рослого сильного мужчины. Он лежал в снегу. Убили его совсем недавно. По снегу растекалась лужа крови. Тело еще не успело остыть. Снег вокруг трупа подтаял. От снега шел пар, и было такое впечатление, что труп варится...

Было видно, что после того, как мужчине перерезали горло, он прополз еще метров тридцать и постучал в дверь одного из домов. Но раненому не открыли из страха, и он умер от потери крови. Как я уже говорил, это был рослый и сильный мужчина, крови в нем было много. Одет он был в костюм патхани — шальвары и камиз, поверх одежды на нем был бронежилет. На поясе были подсумки с патронами. Рядом с убитым лежал АК-47. У нас не было никаких сомнений, что это повстанец, но кто его убил? Если бы это сделали армейцы, то они убрали бы труп и публично заявили о ликвидации. Если бы его убили члены соперничающей группировки, то они бы забрали оружие. Для нас все это было полнейшей загадкой.

Мы обошли деревню и опросили местных жителей. Никто ни в чем не признался. Никто ничего не видел и не слышал. Мы забрали труп с собой. В полицейский участок Маттана. Оттуда мой шеф позвонил в лагерь Раштрийского стрелкового полка и спросил, знают ли они об этом. Но они тоже ничего не знали.

Нам не составило никакого труда опознать тело. Это оказался хорошо известный полевой командир из «Хизба» — «Хизб-уль-Муджахидин». Однако никто не взял на себя ответственность за убийство. В конце концов армейское командование и полицейское начальство решили взять ответственность на себя. Было объявлено, что этот человек был убит в ходе контртеррористической операции, проведенной совместно полицией Джамму и Кашмира и Раштрийским полком.

Рассказ об этом появился в прессе: «В ходе ожесточенной перестрелки, продолжавшейся несколько часов, в совместной операции Раштрийских стрелков и полиции Джамму и Кашмира под командованием майора X и суперинтенданта полиции Y был уничтожен опасный боевик».

Военным и полицейским была объявлена благодарность в приказе и выплачена денежная премия. Мы передали труп родственникам и тайно навели справки о возможном убийце, но ничего не узнали.

Спустя семь дней в другой деревне, был убит другой мятежник из «Хизба». Ему отрезали голову. Он был вторым в иерархии мятежников после первого убитого. К убийству «Хизб» имел самое непосредственное отношение. По своим каналам мы узнали, что он был казнен за убийство своего командира и хищение двадцати пяти лакхов, предназначенных для личного состава.

В прессе появилось следующее сообщение:

*Мятежники жестоко расправились с ни в чем не повинным мирным жителем.*

*Вопрос 1: Кто является героем этой истории?*

Информатор — I

Некая область в Трале. Деревня под названием Нав-Дал. Дело происходит в 1993 году. Деревня оштетинилась повстанцами. Это «освобожденная» деревня. Армейские подразделения стоят по периметру деревни, но солдаты не отваживаются входить в населенный пункт. Это тупик. Жители деревни не приближаются к армейским постам, между жителями и солдатами нет никаких контактов.

Тем не менее офицеру, командующему солдатами, становятся известны все перемещения и маневры повстанцев. Он знает, какие жители поддерживают Движение, какие нет; кто предлагает еду и кров повстанцам, а кто — нет.

Повстанцы установили наблюдение за деревней. Ни один человек за это время не приблизился к постам, но тем не менее информация продолжала поступать.

Наконец, повстанцы обратили внимание на лоснящегося черного быка, который регулярно ходил к армейским постам. Быка перехватили и обнаружили на его рогах *тавиз*, записанные на листках бумаги молитвы за быка от дурного глаза и полового бессилия. В тавиз были завернуты донесения.

На следующий день повстанцы приделали к рогам быка самодельное взрывное устройство и отправили его к посту. На подходе к военным устройство сработало. Никто из людей не погиб, а бык был серьезно ранен. Деревенский мясник предложил приготовить халяль и устроить пир.

Однако повстанцы объявили фетву. Этот бык был предателем. Никому не разрешили есть его мясо.

Аминь.

*Вопрос 1: Кто главный герой этой истории?*

Информатор — II

Ему нравилось продавать других, потому что это доказывало его бесчувственность. Сделать себя бесчувственным и бесчеловечным — это и мое подспудное желание<sup>[39]</sup>.

*Жан Жене*

От счастья я не исцеляю<sup>[40]</sup>.

*Анна Ахматова*

*Вопрос 1: Кто главный герой этой истории?*

Девственник

Запланированное нападение федаинов на армейский лагерь было отменено самими федаинами в самую последнюю минуту. Они приняли это решение, потому что Абид Ахмед по прозвищу Абид Судзуки, водитель

«Марути-Судзуки», в которой они ехали на операцию, вдруг потерял способность к вождению. Машину мотало по дороге из стороны в сторону, как будто водитель пытался объезжать какие-то препятствия, хотя на дороге не было ни людей, ни машин, ни препятствий. Когда товарищи Абида Судзуки (ни один из которых не умел водить машину) спросили, в чем дело, он ответил, что ему явились гурии, которые заберут их всех на небеса. Они были голыми и танцевали на приборной панели, отвлекая его.

Не было никакого способа удостовериться, что эти танцующие гурии были девственницами.

Но, определенно, девственником был сам Абид Судзуки.

*Вопрос 1:* Почему Абид Судзуки плохо вел машину?

*Вопрос 2:* Как можно определить, девственник мужчина или нет?

### Храброе сердце

Мехмуд был портным в Будгаме. Самым заветным его желанием было сфотографироваться с оружием в руках. В конце концов один его школьный друг, вступивший в Движение, взял Мехмуда с собой в лагерь, и там мечта портного стала явью. Мехмуд вернулся в Сринагар с негативами и отдал их на проявку в студию «Тадж-фото», где сговорился о цене в 25 пайс за отпечаток. После того как он забрал снимки, его арестовала пограничная стража. Естественно, снимки были обнаружены, а сам Мехмуд угодил под следствие. Его много дней пытали, но он никого не выдал и был в конце концов приговорен к десяти годам тюрьмы.

Полевой командир, который помог Мехмуду сфотографироваться с оружием, был арестован через несколько месяцев. При нем были обнаружены несколько автоматов АК-47 и цинки с патронами. Через два месяца он был освобожден.

*Вопрос 1: Стоило ли фотографироваться?*

Карьерист

Этот мальчик всегда хотел стать важной персоной. Он пригласил на обед четверых повстанцев и подсыпал в еду снотворное. Когда они уснули, он вызвал солдат. Они убили повстанцев и сожгли дом. Мальчику пообещали большой участок земли и сто пятьдесят тысяч рупий. На самом деле он получил пятьдесят тысяч рупий и квартиру неподалеку от армейского лагеря. Парню сказали, что если он хочет получить постоянную работу в армии и перестать перебиваться случайными заработками, то ему надо передать в руки армии двух федаинов-иностранцев. Он смог достать одного «живого» пакистанца, но второго найти не смог. «Беда, дела идут сейчас совсем плохо, — сказал он офицеру разведки. — Теперь стало трудно убить кого-нибудь и сказать, что это иностранец. Так что никакая постоянная работа мне не светит».

Офицер спросил, если бы состоялся референдум, то за что проголосовал бы парень — за вхождение в Индию или за вхождение в Пакистан.

— Конечно, я бы проголосовал за Пакистан, — ответил парень.

— Почему?

— Потому что это наш мульк (страна). Но пакистанские повстанцы не могут нам ничем помочь. Если бы я мог убивать их и получить за это хорошую работу, это здорово бы мне помогло.

Он сказал офицеру, что если бы Кашмир стал частью Пакистана, то он (офицер) не смог бы там выжить, а он (парень) смог бы. Но это все теория. Вскоре его убили.

*Вопрос 1: Кто, по мнению парня, мог его убить?*

а) Военные.

б) Повстанцы.

в) Пакистанцы.

г) Владельцы сожженного дома.

Лауреат Нобелевской премии

Манохар Матту был кашмирским пандитом. Он остался в долине даже после того, как оттуда бежали все индуисты. Втайне от испытывал страшную усталость и обиду от колкостей своих мусульманских друзей, говоривших, что все индуисты в Кашмире на самом деле в большей или меньшей степени являются агентами индийских оккупационных сил. Манохар участвовал во всех антииндийских протестах и кричал «Азади!» громче всех остальных. Но ничто не помогало. Одно время он даже всерьез собирался взять в руки оружие и вступить в «Хизб», но в конце концов решил этого не делать. Однажды в гости к Манохару пришел его старый школьный друг, офицер разведки Азиз Мохаммед, и сказал, что очень за него тревожится. Еще тот друг сказал, что видел досье на него (Манохара). Досье на него завели как на человека с «антинациональными наклонностями».

Услышав эту новость, Матту просиял, гордо расправил плечи и выпятил грудь.

— Ты удостоил меня Нобелевской премии! — сказал он другу.

Он повел Азиза Мохаммеда в кафе «Арабика» и накормил его на 500 рупий.

Год спустя он (Матту) был застрелен неизвестным за то, что был кафиром.

*Вопрос 1:* Почему застрелили Матту?

- а) Потому что он был индуист.
- б) Потому что он выступал за Азади.
- в) Потому что он получил Нобелевскую премию.
- г) Ничто из перечисленного.
- д) Все из перечисленного.

*Вопрос 2:* Кем мог быть неизвестный, убивший Матту?



а) Исламистским повстанцем, считающим, что все кафиры должны быть уничтожены.

б) Агентом оккупантов, хотевшим, чтобы люди подумали, будто его убили исламистские повстанцы, которые считают, что все кафиры должны быть уничтожены.

в) Ничто из перечисленного.

г) Человеком, который хотел, чтобы все свихнулись, стараясь понять, кто мог убить Матту.

Хадиджа говорит...

В Кашмире, когда мы, просыпаясь, говорим «доброе утро», мы хотим сказать «доброе оплакивания»<sup>[41]</sup>.

Времена меняются

Бегум Диль Афроз была известной оппортунисткой, которая всерьез верила, что, меняя время, мы изменяемся сами. Когда Движение набирало силу и было на подъеме, она перевела свои наручные часы на полчаса вперед, поставив их по пакистанскому стандартному времени. Когда же оккупанты прижали Движение и загнали его в подполье, она снова перевела часы на индийское стандартное время. В долине бытует поговорка: «Часы бегум Диль Афроз — это на самом деле не часы, а газета».

*Вопрос 1: Какова мораль этой истории?*

Апрельский День дураков 2008 года: на самом деле это апрельская Ночь дураков. Всю ночь люди с одного мобильного телефона на другой передают одну новость: «Боестолкновение в одной деревне в Бандипоре». Армия и силы безопасности заявляют, что получили достоверную агентурную информацию о том, что мятежники — глава местного отделения организации «Лашкар-э-Тайба» и его сообщники — в одном из домов деревни Читхи-Банди. Солдаты и полицейские атаковали дом. Перестрелка продолжалась всю ночь. После полуночи военные объявили, что операция успешно завершена. Было сказано, что двое повстанцев

убиты. Полицейские, однако, заявляют, что убитых не было.

Вместе с П. я отправилась в Бандипору. Мы поехали на рассвете.

От Сринагара до Бандипоры дорога вьется среди горчичных полей. Поражает загадочностью тихая гладь озера Вулар. Хрупкие лодки скользят по нему, как модели по подиуму. П. говорит, что недавно военные в ходе «Операции доброй воли» взяли на борт военного корабля 21 ребенка, чтобы покатать их по озеру. Корабль перевернулся. Все дети утонули. Когда родители погибших детей вышли на демонстрацию протеста, по ним открыли огонь. Счастливы те, кого убили.

Говорят, что Бандипора «освобождена». Так же, как когда-то была освобождена Сопора. Как до сих пор «освобожден» Шопиан. Бандипора расположена у подножья горы. Приехав, мы обнаружили, что перестрелка еще не кончилась.

Деревенские сказали нам, что она началась в половине четвертого предыдущего дня. Людей под дулами автоматов выгоняли из домов. Им приходилось бросать дома незапертыми. Горячий чай стоял на столе, книги лежали раскрытыми, домашняя работа была брошена неоконченной. Еда осталась на огне, лук жарился в сковородках, порезанные помидоры так и не были добавлены к мясу.

Жители сказали, что в деревне находится больше тысячи солдат. Некоторые утверждали, что их больше — четыре тысячи. Но ночью страх усиливается, может быть, люди принимали стволы чинар за солдат. Стрельба продолжалась, когда забрезжил рассвет, и не только грохот выстрелов тревожил селян, но и более неприметные звуки — звуки открываемых шкафов, похищаемых купюр и драгоценностей, треск разбиваемых ткацких станков. Скот заживо поджаривался в стойлах.

Большой дом, принадлежавший брату известного поэта, был разрушен до основания. От него осталась только груда камней. Никаких трупов не обнаружили. Повстанцы смогли ускользнуть. Или, возможно, их там не было с самого начала.

Но почему военные до сих пор здесь? Солдаты с автоматами, саперными лопатками и гранатометами держали под прицелом толпу.

Еще новости:

Двое молодых людей были схвачены у расположенной неподалеку бензоколонки.

Толпа в сильнейшем напряжении.

Военные уже объявили о ликвидации двух террористов в Читхи-Банди. Но теперь они должны предъявить трупы. Люди-то знают, как все происходит в реальной жизни. Иногда сценарии перестрелок пишут загодя.

— Если нам покажут только что сгоревшие трупы, мы примем выдумки военных.

*Индия вон! Убирайся домой!*

Люди замечают солдата, стоящего на минарете деревенской мечети, как на наблюдательном пункте. Он не снял ботинки, войдя в святое место. Поднимается громкий ропот. Солдат не спеша поднимает автомат и прицеливается. Все стихает, воздух съеживается и твердеет.

От бывшего дома брата поэта доносится громкий хлопок. Это сигнал. Сейчас солдаты уйдут. Деревенская улица слишком узка для нас и солдат одновременно, и нам приходится прижаться к стенам домов, чтобы дать им пройти. Солдаты проходят мимо. Их провожают тихими проклятьями, которые несутся им вслед, как свист ветра. Солдаты пристыжены и озлоблены. Чувствуется, что они испытывают и беспомощность. Все это может измениться в долю секунды.

Единственное, что им надо для этого сделать, это развернуться и открыть огонь.

Тогда людям останется одно — упасть и умереть.

Когда мимо проходит последний солдат, люди бросаются к развалинам сгоревшего дома. Искореженная жестяная крыша до сих пор чадит. Стоит открытый сундук, из которого вырываются языки пламени. Что может так красиво и живописно гореть?

Люди становятся на гору обгорелых камней и скандируют:

*Хум кья чахтей?*

*Азади!*

Они зовут «Лашкар»:

*Айва-айва!*

*Лашкар-э-Тайба!*

\* \* \*

Новости продолжают прибывать.

Силами специального назначения арестован Мудасер Назир.

Приходит его отец. Он тяжело и поверхностно дышит. У него серое, как пепел, лицо. Он выглядит как осенний лист весной.

Его мальчика увезли в армейский лагерь.

— Он не повстанец. В прошлом году его ранили во время протестов.

— Мне сказали, что если я хочу получить сына, то должен отправить к

ним дочь. Говорят, что она — связная, что она помогает переправлять имущество повстанцам «Хизба».

Может быть, это правда, но может быть, и нет. Но, как бы то ни было, она обречена.

Я буду помогать повстанцу из «Хизба» переправлять имущество.

И он убьет меня за то, что я — это я.

Скверная женщина с непокрытой головой.

Индианка.

Индианка?

Это неважно.

Так все это и происходит.

Ни о чем

Я бы с удовольствием написала что-нибудь замысловатое, что-то вроде тех рассказов, в которых происходят всякие пустяки, о которых можно много писать. В Кашмире так не получится. То, что здесь происходит, не отличается замысловатостью. Здесь слишком много крови для хорошей литературы.

*Вопрос 1:* Почему мои рассказы незамысловаты?

*Вопрос 2:* Сколько крови достаточно для хорошей литературы?

\* \* \*

К последней странице дневника приклеен листок с армейским пресс-релизом:

Информационное пресс-бюро (военного ведомства)  
Отдел по связям с общественностью правительства  
Индии

Министерство обороны (Сринагар)

Девочки из Бандипоры едут на экскурсию

Бандипора, 17 сентября: Сегодня наступил

волнующий и важный день в жизни 17 девочек из деревень Эрин и Дардпора (район Бандипора); сегодня они отправляются на 13-дневную экскурсию в Агру, Дели и Чандигарх по инициативе госпожи Сони Мехра и Анила Мехра, командира 81-й горнострелковой бригады, расквартированной в деревне Эрин. Эти девочки отправятся в поездку в сопровождении двух женщин и двух членов деревенского совета, а также нескольких офицеров 14-го батальона Раштрийских стрелков. Они посетят места, имеющие исторический и образовательный интерес, в Агре, Дели и Чандигархе. Они будут иметь честь быть лично принятыми губернатором Пенджаба и губернатором их собственного штата.

Коммандер Анил Мехра, командир 81-й горнострелковой бригады, обращаясь к участникам экскурсии, посоветовал им извлечь как можно больше пользы из предоставленной возможности. Он порекомендовал девочкам и другим экскурсантам внимательно присмотреться к прогрессу, достигнутому в других штатах, и выступить в поездке послами мира. На мероприятии также присутствовали полковник Пракаш Сингх Неги, командир 14-го батальона Раштрийских стрелков, выбранные старосты двух деревень, родители экскурсанток и представители местного населения.

*«Справочник по английской грамматике в изложении для детей младшего школьного возраста»* оказался длиной в два биди и четыре сигареты. В этом уравнении, конечно, две независимые переменные — скорость курения и скорость чтения.

Тило мысленно улыбнулась, вспомнив другую экскурсию доброй воли, похожую на описанную в пресс-релизе. Тогда это была экскурсия для мальчиков из Мускаана, армейского сиротского приюта в Сринагаре. Муса прислал сообщение с предложением встретиться в Красном форте. Это было около десяти лет назад. Она тогда еще жила с Нагой.

По такому случаю Муса, проявив незаурядную отвагу, сыграл роль одного из гражданских сопровождающих. Группа шла по улицам Дели на пути в Агру, чтобы посетить Тадж-Махал. В Дели сироты осмотрели Кутб-Минар, Красный форт, Индийские ворота, Раштрапати Бхаван, Дом

парламента, Бирла-Хаус (место, где застрелили Ганди), Теен Мурти (место, где жил Неру) и дом 1 по улице Сафдарджунг (место, где Индиру Ганди застрелили ее телохранители-сикхи). Муса был неузнаваем. Он называл себя Зауром Ахмедом, улыбался к месту и не к месту и вообще производил впечатление недалекого, глуповатого увальня.

Они с Тило, словно два незнакомца, якобы случайно сели на одну скамейку на представлении «Звук и свет» в Красном форте. Публика в большинстве состояла из иностранных туристов.

— Это тайное соглашение о сотрудничестве между нами и службой безопасности, — шепнул ей Муса. — Иногда бывает такое сотрудничество, когда стороны не догадываются, что они — партнеры. Военные думают, что приучают детей любить Мать-Родину. А мы думаем, что учим их распознавать врагов, чтобы, когда они вырастут, они не повели себя, как Хассан Лоне.

Один из сирот, маленький мальчик с огромными смышленными глазками, забрался на колени к Мусе и покрыл поцелуями его лицо, а потом, успокоившись, сидел тихо и смиренно, внимательно рассматривая Тило с расстояния трех дюймов. Муса был с мальчиком почти груб и на изъявления нежности не реагировал. Правда, Тило видела, что губы Мусы время от времени жалостливо подергивались, а глаза влажнели. Но она не стала обращать на это внимание.

— Кто такой Хассан Лоне?

— Он был моим соседом. Отличный парень, брат.

Слово «брат» в устах Мусы означало наивысшую похвалу.

— Он хотел вступить в ряды бойцов, но во время своей первой поездки в Индию, в Бомбей, увидел на вокзале огромную толпу людей и сдался. Вернувшись, он сказал: «Братья, вы видели, как их там много? У нас нет шансов! Я сдаюсь». И он действительно сдался. Сейчас у него какой-то мелкий текстильный бизнес.

Муса, широко улыбаясь, смачно поцеловал в головку сидевшего у него на коленях ребенка — в память о своем друге Хассане Лоне. Мальчишка, не двинувшись с места, просиял от удовольствия.

Представление, между тем, шло под звуки 1739 года. Император Мохаммед Шах Рангила восседал на Павлиньем троне в Дели уже почти тридцать лет. То был очень интересный император. Он любил наблюдать бои слонов, одетых в женские платья и обутых в изукрашенные драгоценными камнями башмаки. Под его покровительством зародилась школа художественной миниатюры с изображениями откровенных сексуальных сцен и буколических пейзажей. Но правление этого

императора не сводилось к одному сексу и распутству. При дворе демонстрировали свое искусство танцоры катхака и суфийские музыканты каввали. Ученый мистик Шах Валиуллах перевел Коран на персидский язык. В чайных домах Чандни-Чуока Хваджа Мир Дард и Мир Таки Мир нараспев читали свои стихи:

Ле саанс бхи ахиста ки назук хай бахут каам  
Афак ки исс каргах-э-шишагари ка

Дыши с оглядкой здесь, ведь хрупок этот мир.  
Он — мастерская, из стекла и чаша, и кумир.

Потом послышался цокот копыт. Мальчик спрыгнул с колен Мусы, чтобы посмотреть, откуда шел звук. Это кавалерия Надир-Шаха возвращалась из Персии в Дели, предавая по пути огню и мечу цветущие города. Однако император на Павлиньем троне оставался невозмутим. Поэзия, музыка и литература, считал он, должны быть выше банальностей войны. Лучи, освещавшие Диван-э-Кхас, поменяли цвет. Замелькали пурпурные, красные, зеленые всполохи. Послышался смех женщин зенаны. Зазвенели браслеты на их щиколотках. Грубо и кокетливо хохотнул придворный евнух.

После представления сироты и сопровождавшие их взрослые провели ночь в общежитии на улице Вишва-Ювак-Кендра — в дипломатическом анклавe, совсем недалеко от дома Тило (и Наги).

Когда Тило вернулась домой, Нага спал при включенном телевизоре. Тило выключила его и легла рядом с мужем. В ту ночь ей снилась извилистая дорога в пустыне, и Тило никак не могла понять, почему она такая извилистая. Она шла по этой дороге рядом с Мусой. Вдоль одной стороны дороги стояли припаркованные автобусы, а вдоль другой — товарные контейнеры. В каждом контейнере была дверь с проемом, занавешенным марлей. В некоторых проемах стояли проститутки, а в некоторых — солдаты. Высокие сомалийские солдаты. Из контейнеров выносили изуродованные тела, а внутрь заходили скованных цепями людей. Муса остановился поговорить с каким-то человеком в белых одеждах — видимо, со старым другом. Муса последовал за ним в контейнер, а Тило осталась ждать его на улице. Он очень долго не появлялся, и Тило заглянула в контейнер. Изнутри он был освещен

красным светом. На кровати в углу контейнера мужчина и женщина занимались сексом. Увидела Тило и большой туалетный стол с зеркалом. Мусы в помещении не было, но Тило видела в зеркале его отражение. Он висел на руках под потолком и раскачивался из стороны в сторону. Все помещение было усеяно тальком. Тальком были присыпаны и подмышки Мусы.

Тило проснулась, недоумевая, как ей могло все это привидеться. Она долго смотрела на Нагу, чувствуя нечто отдаленно похожее на любовь, но не поняла этого и не стала ничего делать.

\* \* \*

Она подсчитала, что прошло тридцать лет с тех пор, как все они — Нага, Гарсон Хобарт, Муса и она — познакомились на репетициях спектакля «Норман, это ты?». С тех пор они продолжали, как заколдованные, кружиться друг возле друга в странном танце.

Последняя коробка не имела никакого отношения к фруктам. Это была коробка из-под картриджа к принтеру «Хьюлетт-Паккард», и в ней находились документы, касающиеся Амрика Сингха, которые Муса привез Тило после одного из своих визитов в Соединенные Штаты. Тило открыла коробку, чтобы удостовериться, что память ее пока не подводит. Так оно и оказалось, она правильно все помнила. В коробке был пакет старых фотографий и папка с газетными сообщениями о самоубийстве Амрика Сингха. Одна из заметок сопровождалась фотографией дома Сингхов в Кловисе. Дом был окружен полицейскими, стоявшими внутри запретной зоны, огороженной желтой лентой, — как в криминальных фильмах. Была здесь и фотография Ксеркса — работа с вмонтированной видеокамерой, которого калифорнийские полицейские отправляли в подозрительные дома, чтобы убедиться, что там нет засады. Кроме того, в папке находились заявления Амрика Сингха и его жены о предоставлении убежища в США. Муса долго и с юмором рассказывал, как он добыл эту папку. Он вместе с адвокатом, который занимался прошениями о предоставлении убежища на Западном побережье — другом «братьев», — отправился к американскому социальному работнику из Кловиса, который занимался делом Амрика Сингха. Социальный работник, рассказывал Муса, оказался чудесным человеком, пожилым и не совсем здоровым, но преданным своему делу.



Этот человек придерживался социалистических убеждений и яростно выступал против американской иммиграционной политики. Тесный кабинет его был заставлен шкафами с папками — юридическими документами сотен людей, которым он помог получить убежище в США. В большинстве своем это были сикхи, бежавшие из Индии после 1984 года. Он был знаком с историей полицейских зверств в Пенджабе, вторжения военных в Золотой храм и массовых избиений сикхов после убийства в 1984 году Индиры Ганди. У этого человека было деформированное представление о времени, и он не ориентировался в современных событиях. Он перепутал Пенджаб с Кашмиром и смотрел на господина и госпожу Амрик Сингх именно сквозь эту призму — как на еще одну преследуемую сикхскую семью. Он наклонился к своим собеседникам через стол и доверительно шепнул, что трагедия произошла из-за того, что ни Амрик Сингх, ни его жена так и не смогли смириться с тем, что госпожу Сингх изнасиловали, когда она находилась под арестом. Он убеждал ее, что упоминание об изнасиловании увеличит шансы на получение убежища. Но она не желала этого признавать и пришла в сильное возбуждение, когда он сказал ей, что в этом признании нет ничего постыдного для нее.

— Это были простые, дружелюбные люди, эти двое, и все, что им было нужно, — это толковый совет — им и их малышам, — сказал социальный работник, передавая Мусе пачку документов. — Толковый профессиональный совет и поддержка друзей. Нужно было совсем немного, и они остались бы живы. Но я слишком многого требую от этой великой страны, не правда ли?

На дне коробки лежала пухлая старинная папка, которую Тило, насколько она помнила, еще не просматривала. В папке лежали разрозненные листки — пятьдесят или шестьдесят — положенные на лист картона и связанные красной тесьмой и белым шпагатом. Это были свидетельские показания из материалов расследования убийства Джалиба Кадри, дела почти двадцатилетней давности:

**Протокол показаний Гулама Наби Расула, сына Муштака Наби Расула, проживающего в Барбаршахе. Занятость: служба в департаменте туризма. Возраст: 37 лет. Показания даны в соответствии со статьей 161 Уголовно-процессуального кодекса.**

**Свидетель заявляет нижеследующее:**

Я проживаю в Барбаршахе, в Сринагаре. 08.03.1995 я увидел в Паррайпоре отряд военных. Они останавливали и обыскивали проезжавшие автомобили. Кроме того, там были припаркованы армейский грузовик и бронированный джип. Обысками руководил высокий офицер-сикх, в подчинении у которого были многочисленные военнослужащие в форме. Рядом стояло частное такси. В такси находился какой-то гражданский, укутанный в красный плед. Из страха я не стал подходить близко к этому месту. Потом я увидел подъезжающую белую «Марути». За рулем был Джалиб Кадри. Рядом с ним сидела его жена. Увидев Джалиба Кадри, высокий офицер остановил машину и заставил его выйти. Кадри затолкали в бронированный джип, после чего все машины, включая такси, тронулись с места и колонной уехали по объездной дороге.

**Протокол показаний Рехмата Баджада, сына Абдула Калама Баджада, проживающего в Курсу-Раджбагхе, Сринагар. Занятость: департамент сельского хозяйства. Возраст: 32 года. Показания даны в соответствии со статьей 161 Уголовно-процессуального кодекса.**

**Свидетель заявляет нижеследующее:**

Я проживаю в Курсу-Раджбагхе и работаю в Департаменте сельского хозяйства помощником начальника отдела полевых культур. Сегодня, 27.03.1995, я находился дома, когда услышал доносившийся с улицы шум. Выйдя из дома, я увидел толпу людей, собравшихся вокруг трупа, упакованного в мешок. Труп был извлечен из Джеламского канала местным молодым человеком. Этот парень и вытащил тело из мешка. Это был труп Джалиба Кадри. Я узнал его, потому что он жил неподалеку от меня в течение двенадцати лет. На трупе была следующая одежда:

1. Шерстяной свитер цвета хаки.
2. Белая рубашка.

3. Серые брюки.
4. Белая майка.

Кроме того, отсутствовали оба глаза. Лоб был испачкан кровью. Тело было изуродовано и сильно разложилось. Прибывшие полицейские забрали тело и составили протокол, который я подписал.

**Протокол показаний Маруфа Ахмеда Дара, сына Абдула Ахада Дара, проживающего в Курсу-Раджбагхе, Сринагар. Занятость: собственный бизнес. Возраст: 40 лет. Показания даны в соответствии со статьей 161 Уголовно-процессуального кодекса.**

**Свидетель заявляет нижеследующее:**

Я постоянно проживаю в Курсу-Раджбагхе, где у меня собственное дело. 27.03.1995 я услышал шум, доносящийся с берега Джеламского канала. Подойдя к каналу, я увидел труп Джалиба Кадри, лежавший на набережной в мешке. Я смог опознать покойного, потому что он прожил в нашем квартале двенадцать лет и мы были прихожанами одной мечети. На трупе были следующие предметы одежды:

1. Шерстяной свитер цвета хаки.
2. Белая рубашка.
3. Серые брюки.
4. Белая майка.

Кроме того, отсутствовали оба глаза. Лоб был испачкан кровью. Тело было изуродовано и сильно разложилось. Прибывшие полицейские забрали тело и составили протокол, который я подписал.

**Протокол показаний Мохаммеда Шафика Бхата, сына Абдула Азиза Бхата, проживающего в Гандербале. Занятость: каменщик. Возраст: 30 лет. Показания даны в соответствии со статьей 161 Уголовно-процессуального кодекса.**

**Свидетель заявляет нижеследующее:**

Я родом из Гандербала. По роду занятий я каменщик и в настоящее время работаю в доме Мохаммеда Аюба Дара в Курсу-Раджбагхе. Сегодня, 27.03.1995, около половины седьмого утра, я пошел к Джеламскому каналу ополоснуть лицо. Подойдя, я увидел плавающий в воде мешок с трупом. Из мешка торчали рука и нога. Из страха я никому об этом не сказал. Позже я пошел к Мохаммеду Шабиру Вару, где я тоже работаю каменщиком. Там я снова увидел тот же труп в мешке, который я видел в канале. Тело со следами разложения было сильно раздуто. На трупке были следующие предметы одежды:

1. Шерстяной свитер цвета хаки.
2. Белая рубашка.
3. Серые брюки.
4. Белая майка.

Кроме того, отсутствовали оба глаза. Лоб был испачкан кровью. Тело было изуродовано и сильно разложилось. Прибывшие полицейские забрали тело и составили протокол, который я подписал.

**Протокол показаний брата покойного, Парвеза Ахмеда Кадри, сына Алтафа Кадри, проживающего в Авантипоре. Занятость: служба в Академии искусств, культуры и языков. Возраст: 35 лет. Показания даны в соответствии со статьей 161 Уголовно-процессуального кодекса.**

**Свидетель заявляет нижеследующее:**

Я постоянно проживаю в Авантипоре и являюсь братом умершего Джалиба Кадри. Сегодня, после опознания и патологоанатомического вскрытия я забрал труп моего брата Джалиба Кадри из полиции. Полиция выдала отдельно протокол о травмах и разрешение на выдачу трупа. Оба документа были мне прочитаны, их достоверность я подтверждаю.

**Протокол показаний Муштака Ахмеда Хана, он же Усман, он же Бхайтотх, проживающего в городе Джамму. Возраст 30 лет. Показания даны 12.06.95 в соответствии со статьей 161 Уголовно-процессуального кодекса.**

**Свидетель заявляет нижеследующее:**

Сэр, я булочник. У меня был магазин в Равалпоре, и в 1990–1991 годах я снабжал хлебом армейские части. Потом ситуация в Кашмире ухудшилась, и повстанцы стали угрожать мне из-за того, что я поставляю хлеб военным. Так как эти поставки были единственным источником моего существования, я закрыл свою пекарню и переехал в свою родную деревню Ури. Через три месяца после этого трое повстанцев начали преследовать, и мучить мою жену. Но этого было мало. Они похитили мою пятнадцатилетнюю сестру и заставили ее выйти замуж за одного из их людей. По этой причине я покинул деревню и вернулся в Сринагар, где проживал на съемной квартире в доме на Магармал-Багх. Через некоторое время повстанцы из Фронта освобождения Джамму и Кашмира (ФОДК) нашли меня и заставили вступить в их ряды. Позже, во время конфликта между различными фракциями повстанцев, бойцы отряда «Аль-Умар» схватили меня, и я два года был связан с ними. Потом на меня обратила внимание служба безопасности, которая взяла в заложники моих детей. Тогда я сдался подразделению «Индия Bravo» и отдал им свой автомат АК-47. Восемь месяцев я провел в тюрьме в Барамулле, а затем был выпущен с условием каждые две недели отмечаться в местном отделении Разведывательного бюро. Я отмечался в течение трех месяцев, но потом бежал, потому что боялся, что меня могут увидеть в Разведывательном бюро, а это создало бы угрозу моей жизни. В Сринагаре я познакомился с Ахмедом Али Бхатом по кличке Кобра, который свел меня с заместителем начальника полиции в Котхи-Багхе. Тот отправил меня на работу в группу специальных операций в лагерь в Равалпоре. Кобра и Парваз Бхат были из группировки «ихванов» и работали в лагере

вместе с майором Амриком Сингхом. Они настроили майора против меня и сказали, что я знаю всех повстанцев и должен помочь с их арестом. Однажды майор Амрик Сингх взял меня с собой для участия в рейде на лагерь постанцев в Вазир-Багхе. Двое повстанцев были схвачены, но их отпустили после того, как они заплатили 40 тысяч рупий. Я работал с майором Амриком Сингхом много месяцев и был свидетелем ликвидации следующих людей:

1. Гулама Расула Вани.
2. Басита Ахмеда Хандая, работавшего в отеле «Сенчури».
3. Абдула Хафиза Пира.
4. Ишфака Ваза.
5. Одного портного-сикха по имени Кулдип Сингх.

С тех пор все они числятся как пропавшие без вести.

Потом, это было в марте 1995 года, майор Амрик Сингх и его друг Салим Годжри, который, как и я, был сдавшимся повстанцем и часто бывал в лагере, задержали человека в пальто, белой рубашке с галстуком и серых брюках. В то время в лагере были также Сукхан Сингх, Балбир Сингх и Доктор. Человек в пальто и брюках был очень образованным. Он спорил с ними и говорил: «За что вы меня арестовали и привезли сюда?» Из-за этого майор Амрик Сингх пришел в неопределимую ярость, начал избивать человека, а потом затащил его в отдельное помещение. Заперев его там, он вышел и сказал: «Вы знаете, что этот человек — знаменитый адвокат Джалиб Кадри? Мы арестовали его, потому что тех, кто поносит армию и помогает бандитам, не спасет никакой статус, даже самый высокий». Тем же вечером я слышал страшные крики, доносившиеся из того помещения, где находился Джалиб Кадри. Потом я слышал, как там стреляли. А потом видел, как в грузовик бросили мешок с трупом.

Через несколько дней, когда труп Джалиба Кадри был обнаружен и известие о его смерти попало в газеты, майор Амрик Сингх очень сожалел о случившемся и говорил мне, что поступил неправильно, что не надо было убивать Джалиба Кадри, но он ничего не мог поделать, потому что другие офицеры доверили эту грязную работу ему и Салиму Годжри. Когда он сказал мне это, я понял, что моей жизни угрожает опасность.

Потом Салим Годжри и его товарищи Мохаммед Рамзан, нелегальный иммигрант из Бангладеш, Мунир Насер Хаджам и Мохаммед Акбар Лавай перестали появляться в лагере. Майор Амрик Сингх послал на машинах меня, Сукхана Сингха и Балбира Сингха найти их и привезти в лагерь. Салима Годжри мы нашли в магазине в Будгаме и спросили, почему он уже неделю не показывается в лагере. Он ответил, что был занят в рейдах, но завтра придет. На следующий день он приехал с тремя своими товарищами. Приехали они на «Амбассадоре». Оружие у них забрали на КПП. Майор Амрик Сингх объяснил им, что это мера безопасности в связи с ожидаемым приездом начальника лагеря. После этого майор Амрик Сингх, Салим Годжри и трое остальных уселись прямо во дворе на стулья и принялись выпивать. Через два часа майор Амрик Сингх позвал Салима Годжри и троих его товарищей в столовую. Я в это время находился на веранде. Сукхан Сингх, Балбир Сингх, майор Ашок и Доктор связали Салима Годжри и его товарищей веревками и заперли в столовой. На следующий день их трупы были обнаружены в поле близ города Пампоре вместе с трупом водителя такси Мумтаза Афзала Малика. После всего этого я отвез жену и детей в дом моего друга, живущего у объездной дороги, а сам бежал в Джамму. Что было с Амриком Сингхом дальше, я не знаю.

\* \* \*

Тило сунула папки и пакет с фотографиями обратно в коробку и оставила ее на столе. Это были вполне официальные документы, в них не содержалось ничего преступного или противозаконного.

Она упаковала «пожитки» Мусы — пистолет, нож, телефоны, паспорта, пропуска и все подобное — в герметичные пластиковые контейнеры для еды и засунула в морозильник. В один из контейнеров она положила визитную карточку Саддама Хусейна, чтобы Муса знал, куда ехать. Холодильник был старый, то есть покрывался изнутри коркой льда, если его регулярно не размораживали. Тило знала, что если перед уходом включит охлаждение на полную мощность, то компрометирующие улики очень скоро превратятся в ледяную глыбу. Тило была уверена, что вещи, которые пережили катастрофическое наводнение, обладают такой сверхъестественной силой, что легко перенесут и небольшое обледенение.

Она положила в сумку самое необходимое — одежду, книги, детские вещи, компьютер и зубную щетку. Захватила и урну с прахом матери.

Осталась только одна нерешенная проблема: что делать с тортом и воздушными шариками.

Одетая и готовая в любой момент встать и уйти из дома, Тило лежала на кровати.

Пробило три часа ночи.

От Саддама Хусейна по-прежнему не было ни слуху ни духу.

Чтение документов про Выдру было ошибкой. Серьезной ошибкой. Тило чувствовала себя так, будто ее вместе с Сингхом запечатали в одну бочку с дегтем и убитыми им людьми. Она ощущала запах убийцы. Видела его холодные пустые глаза, как будто он сидел в лодке напротив нее и смотрел ей прямо в лицо. Она почти физически ощущала прикосновение его ладони к своей голове.

Кровать, на которой она лежала, не была кроватью в прямом смысле слова. Это был просто матрас, положенный на коричневый цементный пол. По полу сновали муравьи с крошками торта. Жар от нагретого пола проникал сквозь матрас, и простыня немилосердно обжигала кожу. По полу проковылял детеныш геккона. Он остановился в нескольких футах от матраса. Поднял несоразмерно огромную голову и посмотрел на Тило своими ясными широкими глазами. Тило заглянула в них.

— Прячься, — шепнула она. — Вегетарианцы идут!

Она предложила зверьку одного мертвого комара из груды, которую собрала на листочке бумаги. Тило положила трупик комара на пол между собой и гекконом, но он сделал вид, что ему это неинтересно. Однако стоило Тило отвернуться, как геккон молниеносно отправил насекомое в рот.

«Вот кем мне следовало стать, — подумала она. — Кормилицей гекконов».

В окна били резкие неоновые лучи, плохо притворяющиеся лунными. Несколько недель назад, идя ночью по высокой залитой светом эстакаде, она невольно подслушала разговор двух велосипедистов. Один из них сказал другому: «Ис шехер мейн аб раат ка сахаара бхи нахин милта. В этом городе мы лишились даже уютного покрыва ночи».

Она лежала неподвижно, как труп в морге.

У нее росли волосы.

Ногти на ногах тоже росли.



Волосы на голове были абсолютно седыми.

Треугольник волос между ног был черным, как смоль.

Что бы это могло *значить*?

Старая она или еще молодая?

Жива она или уже мертва?

Потом, не повернув головы, она поняла, что они пришли — быки. Массивные головы с точеными рогами четкими силуэтами виднелись на фоне яркого света. Их было двое. Двое быков цвета темной ночи. Это был краденый цвет того, что когда-то считалось ночью. Грубые завитки обрамляли влажные лбы быков, словно камчатные платки. Влажные бархатистые носы блестели, пухлые фиолетовые губы шевелились, складываясь трубочкой. Быки не производили ни малейшего шума. Они никогда не причиняли Тило вреда — только смотрели на нее. Белки их глаз, с любопытством заглядывающих в комнату, напоминали лунные полумесяцы. Тем не менее они не казались ни чересчур любопытными, ни чересчур мрачными. Они были похожи на врачей, которые у постели больного решают, какой диагноз ему поставить.

«Вы снова забыли дома свой стетоскоп?»

В присутствии быков время меняло свой бег. Тило не могла бы сказать, как долго быки стояли у окна. Она даже не взглянула в их сторону. Она поняла, что быки ушли, только после того, как они перестали заслонять льющийся в комнату свет.

Убедившись, что быки ушли, Тило встала, подошла к окну и долго смотрела, как уменьшались их удаляющиеся фигуры. Городские жулики. Пара ночных хулиганов. Один из них, проходя мимо припаркованной у обочины машины, поднял ногу, как пес, и помочился на окно автомобиля. Как очень большой пес. Она включила свет и поискала в словаре значение слова «*insouciant*». В словаре было сказано: «Радостное неведение относительно чего-либо». Словари всегда высокой горой громоздились возле ее изголовья.

Она вытащила из стопки лист бумаги, извлекла из кофейной кружки один из торчащих пучком остро отточенных синих карандашей, и принялась писать:

Дорогой доктор,

Я стала свидетелем любопытного научного феномена. Рядом с моей квартирой на улице живут два быка. Днем они ведут себя совершенно нормально, но по ночам они вырастают — думаю, что здесь более

уместным будет слово «приподнимаются» — и заглядывают в окна моей квартиры на третьем этаже. Когда они мочатся — они поднимают ногу, как псы. Прошлым вечером (около восьми часов), когда я вернулась с рынка, один из них зарычал на меня. Я на сто процентов уверена, что мне не послышалось. Вот мой вопрос: есть ли возможность того, что это генномодифицированные быки с имплантированными собачьими и волчьими генами? Может быть, эти быки просто сбежали из лаборатории? Если так, то быки это или собаки? Или это волки?

Я никогда не слышала, чтобы такие эксперименты проводили на крупном рогатом скоте, а вы? Я знаю об имплантации человеческих генов роста форели, и в результате вырастает рыба гигантских размеров. Люди, выращивающие такую форель, говорят, что делают это для того, чтобы накормить голодных в бедных странах. Вопрос заключается в следующем: кто будет кормить гигантских форелей? Человеческие гены роста имплантировали также в геном свиней. Я как-то видела результат такого эксперимента. Этот косоглазый мутант так тяжел, что не может самостоятельно стоять на ногах из-за чрезмерного веса. Это животное надо поддерживать специальными подпорками. Отвратительное зрелище, должна вам сказать.

Сегодня невозможно с уверенностью сказать, кто перед тобой — бык или собака, а кукурузный початок может оказаться свиной ногой или бифштексом. Но, быть может, это единственный правильный путь к истинной модернизации? Почему, в конце концов, нельзя сделать из стакана ежа, а из живой изгороди справочник по хорошим манерам?

Искренне ваша,

*Тилоттама*

P. S. Я узнала, что ученые, работающие в птицеводстве, пытаются подавить материнский инстинкт у кур, чтобы уменьшить или вообще устранить их

стремление к высиживанию яиц. Несомненно, цель этого — заставить кур прекратить зря тратить время и сосредоточиться на эффективном производстве яиц. Несмотря на то что я принципиальный противник всей и всяческой эффективности, хочу все же спросить, не поможет ли проведение подобных экспериментов (я имею в виду искоренение материнского инстинкта) на мааджи — матерях пропавших в Кашмире людей — облегчить их участь. Сейчас эти женщины являются совершенно неэффективными и непроизводительными единицами, живущими на принудительной диете из безнадежных надежд, суесящимися на своих огородах и кухнях и ломающими голову над тем, что вырастить и что сварить своим сыновьям, если те вернутся. Уверена, что вы согласитесь со мной: это очень плохая бизнес-модель. Вы сможете предложить нечто лучшее? Какую-нибудь выполнимую, реалистичную (хотя я противник и реализма) формулу, позволяющую получить эффективную Порцию Надежды? В случае матерей Кашмира есть три возможных варианта — Смерть, Исчезновение и Семейная Любовь. Все остальные формы любви, если допустить, что они и в самом деле существуют, должны быть исключены из рассмотрения. За исключением, Любви к Богу, конечно (понятное дело).

Р. Р. S. Сегодня я переезжаю. Не знаю, правда, куда, и это наполняет меня надеждой.

Окончив письмо, она аккуратно сложила его и сунула в сумку. Нарезала торт, положила его в контейнер и поставила в холодильник. Потом, один за другим, отвязала шарики и заперла их в шкаф. Потом включила телевизор и убрала звук. Какой-то человек продавал на аукционе свои брови. Первоначальная цена была пятьсот долларов. В конце концов, за тысячу четыреста долларов он согласился сбрить брови электробритвой. По лицу мужчины блуждала забавная, застенчивая улыбка. Он был похож на Элмера Фадда в «Чокнутом кролике».

Небо посветлело.

Саддам Хусейн пока не появился.

Похитительница, проявляя легкое нетерпение, выглянула из окна.  
На ее телефон пришло сообщение:

«Мы проводим Международный день йоги.  
Медитация при свечах на берегу бассейна под  
руководством гуру Хануманта Бхардваджа.  
Присоединяйтесь!»

Тило набрала ответ:

«Можно я не буду присоединяться?»

Прямо у школьных ворот, на которых нарисованная медсестра вводила нарисованному малышу нарисованную вакцину от полиомиелита, группка заспанных работниц-мигранток со строительства дороги окружила маленького мальчика, который, согнувшись, как запятая, скорчился над открытым канализационным люком. Женщины стояли, опираясь на свои лопаты и кирки, словно ожидая представления поп-звезды. Запятая не отрываясь смотрела на одну из женщин — ее, запятой, мать. Но вот вдохновение посетило мальчика, и он сделал лужу. Рядом с люком расплылось пятно, похожее на желтый лист. Мать положила на землю кирку и подмыла ребенка грязной водой из старой бутылки из-под минеральной воды. Остатком она сполоснула руки и смыла желтый лист в люк. Этим женщинам в городе не принадлежало ничего. Ни крошечного клочка земли, ни последней лачуги в трущобах, ни кусочка жестяной крыши над головой. Канализация им тоже не принадлежала. Но теперь они внесли прямой, оригинальный взнос, сделали экспресс-отправление, да не куда-нибудь, а в эту самую канализацию, захватив пусть небольшой, но плацдарм. Мать взяла запятую на руки, взвалила кирку на плечо, и маленькая компания двинулась дальше.

Улица опустела.

Потом, словно их уход был сигналом, появился Саддам Хусейн. Явление протекало в следующем порядке:

Звук

Образ

Запах (вонь).

Желтый муниципальный грузовик свернул в переулок и остановился в нескольких домах от дома Тило. Саддам Хусейн спрыгнул с пассажирского сиденья (с той же живостью, с какой он обычно спрыгивал с лошади), ища

глазами окно Тило на третьем этаже. Она высунула голову и помахала рукой, показав, что ворота открыты и Саддам может подняться.

Она встретила его в дверях с собранной сумкой, ребенком и коробкой с клубничным тортом. Товарищ Лаали же ждала Саддама на лестнице, словно вновь обретенного возлюбленного. Она усердно вихлялась всем телом из стороны в сторону, прижимала уши и кокетливо косила глазами.

— Твоя? — спросил Саддам после того, как они представились. — Можем ее забрать. Места хватит на всех.

— У нее есть щенки.

— *Арре*, и в чем проблема?..

Он осторожно снял щенков с мешка, на котором те лежали, раскрыл его и вывалил их туда — словно кучку пищащих, вертящихся баклажанов. Тило заперла дверь, и маленькая процессия зашагала по лестнице к выходу.

Саддам с сумкой и мешком с щенками.

Тило с ребенком и тортом.

И Товарищ Лаали, с бесстыдной преданностью бегущая за своей новообретенной любовью.

Кабина водителя была велика, как небольшой гостиничный номер. Водитель, Нирадж Кумар, и Саддам Хусейн были старыми друзьями. Саддам (гений предусмотрительности и внимания к деталям) поставил к двери вместо ступеньки деревянный ящик из-под фруктов. Товарищ Лаали запрыгнула в кабину, а за ней последовали Тило и мисс Джебин Вторая. Они уселись сзади, на красную, обитую искусственной кожей скамью, на которой в таких машинах спят сменяющие друг друга водители-дальнобойщики. (Муниципальные мусоровозы не совершали дальних рейсов, но спальня для водителей там тоже были.) Саддам сел впереди, на пассажирском сиденье, поставив между ног мешок со щенками. Он раскрыл горловину мешка, чтобы щенки не задохнулись, надел темные очки и дважды, как автобусный кондуктор, легонько стукнул по двери, давая сигнал к отправлению. Машина тронулась.

Желтый автомобиль ярким пятном двигался по городу, оставляя за собой шлейф невыносимого зловония от раздутого коровьего трупа. В этот раз, в отличие от прошлой поездки Саддама с таким же грузом, дело происходило в столице страны. Гуджарату ка Лалле оставалось еще целый год ждать премьерского трона, оранжевые попугаи затаились и выжидали, копя силы. Так что они были в безопасности — во всяком случае пока.

Грузовик прогрохотал мимо ряда автомастерских, возле которых попеременно продолжали спать люди и собаки, вымазанные машинным

маслом.

Потом они проехали мимо рынка, мимо сикхской гурдвары, потом мимо еще одного рынка. Промелькнул госпиталь с больными и их родственниками, стоявшими лагерем на обочине дороги. Проплыла мимо толпа возле круглосуточной аптеки. Машина взобралась на эстакаду, на которой все еще горели фонари.

Проехали они и Город-сад с его пышными, ландшафтными перекрестками.

По мере продвижения сады исчезли, дорога стала хуже, на мостовой стали попадаться тела спящих существ — собак, козлов, коров, людей. Припаркованные моторикиши стояли вдоль дороги, напоминая скелет змеиноного позвоночника.

Нестерпимо воняя, грузовик взбирался на горбатые мосты, приближаясь к стенам Красного форта. Обогнув окраину Старого города, грузовик, наконец, прибыл на постоянный двор «Джаннат» близ похоронного бюро.

\* \* \*

Анджум уже ждала их. По ее лицу, освещая могильные плиты, блуждала восторженная, почти экстатическая улыбка.

Наряд Анджум был просто блистателен, она сверкала блестками и шелком, вспомнив свои прежние славные дни. Она сделала макияж и ярко покрасила губы, она выкрасила волосы и вплела в толстую косу красную ленту. Она заключила Тило и мисс Джебин в медвежьи объятия и многократно их расцеловала.

Она организовала приветственную встречу, праздник. Постояльный двор «Джаннат» был украшен воздушными шариками и яркими лентами серпантина.

Собрались и пышно разодетые гости: Зайнаб, пухлая восемнадцатилетняя девушка, изучавшая теперь модный дизайн в местном политехническом колледже, Саида (сдержанно одетая в строгое сари — помимо того, что она была устатом Кхвабгаха, она еще и возглавляла некоммерческую организацию, борющуюся за права трансгендеров), Ниммо Горакхпури (привезшая из Мевата три кило свежей баранины для праздника), Ишрат Прекрасная (решившая продолжить затянувшийся визит), Рошан Лал (со своим непроницаемым, как у игрока в покер, лицом),

имам (который пощекотал мисс Джебин своей бородой, потом благословил девочку и произнес молитву). Устад Хамид играл на гармонии и приветствовал ребенка рагой «Тилак Камод»:

Ае ри сакхи мора пия гхар аайе  
Багх лага исс аанган ко

О милые друзья, любовь моя вернулась,  
И двор пустой расцвел, как пышный сад.

Саддам и Анджум показали Тило приготовленную для нее комнату на первом этаже. Она будет жить там вместе со своей семьей — Товарищем Лаали, мисс Джебин и могилой Ахлам Баджи. Стреноженная кобыла Пайяль стояла возле окна. Комната была украшена серпантинном и воздушными шариками. Не вполне понимая, как обставить комнату для женщины, настоящей женщины из Дунии — и не просто из Дунии, а из Южного Дели — они в конце концов решили поставить в комнате подержанный туалетный столик с большим зеркалом, чтобы помещение походило на парикмахерский салон. Для той же цели в комнату привезли металлическую тележку с лаком для ногтей и помадой «Лакме» всех цветов, расческой, щеткой для волос, бигуди, феном и бутылкой шампуня. А Ниммо Горакхпури захватила из дома журналы о моде, которые она собирала всю жизнь, и сложила их высокими стопками на широком журнальном столике. Рядом с большой кроватью была поставлена детская кроватка. На подушке горделиво восседал плюшевый медведь. (Спорный вопрос о том, где будет на самом деле спать мисс Джебин Вторая и кого она будет называть мамой — не «бади-мамой» и не «чхоти-мамой», а просто мамой, — возникнет позже, но решится он мирно и благополучно, потому что Тило согласится со всеми предложениями Анджум.) Анджум церемонно представила Тило Ахлам Баджи, словно та была еще жива. Она не замедлила рассказать о своих свершениях и достижениях, перечислив имена шахджаханабадских знаменитостей, которых она, Анджум, вывела в люди: Акбара Миана, булочника, пекущего лучший *ширмал* в *Старом городе*, Джаббара Бхая, портного, Сабиха Алви, чья дочь открыла в их доме мастерскую по пошиву бенаресских сари. Анджум говорила так, словно это был знакомый Тило мир: мир, который все должны были знать, и, более того, единственный мир, который *стоило* знать.

Впервые в жизни Тило вдруг ощутила, что теперь у нее будет место, где она сможет комфортно расположить свое тело со всеми его потрохами.

Первый отель, виденный ею еще в детстве, в маленьком городке, где она росла, назывался «Анджали». На рекламных щитах новое впечатляющее строение расхваливали так: «Приезжайте в „Анджали“, и вы останетесь здесь до Конца Своих Дней». Шутка получилась, конечно, непреднамеренно, но ребенком Тило всегда воображала, что отель «Анджали» набит трупами ничего не подозревавших постояльцев, убитых во сне и оставшихся в отеле до конца своих (мертвых) дней. Глядя на постоялый двор «Джаннат», Тило подумала, что тот рекламный слоган не только был бы здесь уместным, но и действовал бы успокаивающе. Инстинкт подсказывал, что, возможно, здесь она обретет дом до Конца Своих Дней.

Пиршество началось, как только взошло солнце. Анджум весь предыдущий день провела в магазинах (мясо, игрушки и мебель), а потом всю ночь готовила.

В меню значились:

Баранья корма

Бирьяни из баранины

Карри из бараньих мозгов

Роган-Джош по-кашмирски

Жареная печень

Шаами-кебаб

Нан

Тандури Роти

Ширмал

Фирни

Арбуз с черной солью

Наркоманы и бездомные с окраины кладбища уже подтягивались, чтобы принять участие в пиршестве и веселье. Пайяль приняховилась к выделенной ей основательной порции пхирни. Явился с небольшим опозданием доктор Азад Бхартия, но его встретили громом аплодисментов, ибо он и никто другой организовал побег и обретение дома дорогой гостей. Голодовка доктора Бхартии продолжалась уже одиннадцать лет, три месяца и двадцать пять дней. Он не стал ничего есть, если не считать противоглистных таблеток и стакана воды.

Несколько кебабов и бирьяни были отставлены в сторону на случай появления муниципальных чиновников, которых ждали позже.

— Эти ребята очень похожи на хиджр, — сказала Анджум и ласково



засмеялась. — Стоит им учуять, что где-то праздник, как они уже тут как тут.

Биру и Товарищ Лаали от души наслаждались костями и требухой. Зайнаб забрала щенков, сунула их в место, недоступное для Биру, и все время увлеченно играла с ними, не забывая отчаянно строить глазки Саддаму Хусейну.

Мисс Джебин Вторая переходила из рук в руки, ее обнимали, целовали и перекармливали. Так она вступила в новую жизнь в таком же месте — и все же совершенно непохожем не то, — в каком больше восемнадцати лет назад закончилась земная жизнь ее предшественницы, мисс Джебин Первой.

На кладбище.

На еще одном кладбище, просто чуть севернее того, другого.

## 9. Безвременная кончина мисс Джебин Первой

*Они не могли  
поверить мне именно  
потому, что знали, что  
я говорил правду.*

*Джеймс Болдуин*

С того возраста, когда она научилась настаивать на своем, она стала настаивать, чтобы ее называли мисс Джебин. Это было единственное обращение, на какое она отзывалась. Называть так ее приходилось всем — родителям, бабушкам, дедушкам и даже соседям. Она была не по годам ранней поклонницей фетиша обращения «мисс», эпидемии, охватившей Кашмирскую долину в первые годы восстания. Внезапно все модные юные леди, особенно в городах, стали требовать, чтобы к ним обращались «мисс». Мисс Момин, мисс Газала, мисс Фархана. Это был всего лишь один из фетишей тех дней. В те подернутые кровавым туманом годы люди стали — по непонятным никому причинам — склонны к сотворению кумиров и фетишей. Помимо этого, были и другие: фетиш медицинских сестер, фетиш спортивных тренеров, фетиш катания на роликах. Так что, в дополнение к контрольно-пропускным пунктам, бункерам, оружию, гранатам, противопехотным минам, контртеррористическим операциям, шпионам, спецагентам, двойным агентам и чемоданам наличности от разведок обеих противоборствующих сторон, долина была заполнена медсестрами, спортивными тренерами и любителями роликовых коньков. И конечно, женщинами, которых следовало называть «мисс».

Среди последних была и мисс Джебин, которая прожила слишком недолго, чтобы стать медсестрой или даже катальщицей на роликах. Над воротами Мазар-э-Шохадды, кладбища мучеников, была установлена кованая решетка с надписью (на двух языках): «Мы пожертвовали своим сегодня ради вашего завтра». Теперь арка проржавела, зеленая краска облупилась, каллиграфическая надпись стала едва заметной. Но она до сих пор есть, эта решетка, выделяющаяся отчетливым силуэтом филигранного кружева на фоне сапфирового неба и заснеженных горных вершин.

Эта решетка сохранилась до сих пор.

Мисс Джебин не состояла в комитете, который решал, что следует написать на воротах кладбища. Но она не могла ничего возразить против принятого решения. Правда, надо сказать, что у мисс Джебин было слишком мало «сегодня», чтобы обменять их на «завтра», но в то время алгебра бесконечной справедливости была еще очень груба. Так что с мисс Джебин никто не посоветовался по существу дела, и она стала одной из самых юных мучениц. Ее похоронили рядом с матерью, бегум Арифой Есви. Мать и дочь погибли от одной пули. Она прошила голову мисс Джебин через левый висок и попала в сердце ее матери. На последней фотографии это пулевое ранение выглядело как веселый красный цветок, распустившийся над левым ухом. Несколько лепестков упали на *каффан*, белый саван, в который мисс Джебин завернули, прежде чем положить на место вечного упокоения.

Мисс Джебин и ее мать были похоронены с пятнадцатью другими жертвами, доведя их общее число до семнадцати.

Ко времени их похорон Мазар-э-Шохадда было еще сравнительно новым кладбищем, но уже изрядно «населенным». Тем не менее организационный комитет внимательно следил за происходящим с самого начала восстания и весьма реалистично представлял, к чему все клонится. Комитет тщательно планировал расположение участков под захоронения, эффективно используя имевшееся в наличии пространство. Все понимали, как важно хоронить мучеников на больших, коллективных кладбищах, а не оставлять их (многие тысячи) гнить в горах, лесах, вблизи от армейских лагерей и пыточных центров, которые росли по всей Кашмирской долине, как грибы после дождя. Когда началась настоящая война и оккупация стала более жестокой, для простых людей единение вокруг могил мучеников стало само по себе актом сопротивления.

Первым на этом кладбище был похоронен *гумнаам шахид*, неизвестный мученик, чье тело доставили на кладбище и предали земле глубокой ночью. Он был погребен на кладбище, которое тогда еще не было кладбищем, с соблюдением всех ритуалов, с почестями и в присутствии немногочисленных скорбящих соратников. На следующее утро, когда возжигали свечи и рассыпали лепестки роз на свежей могиле, когда произносились новые молитвы в присутствии тысяч людей, собравшихся там после пятничной молитвы в мечетях, комитет приступил к огораживанию под кладбище огромной территории размером с горное пастбище. Через несколько дней появилась и вывеска: «Мазар-э-Шохадда».

Начали ходить упорные слухи о том, что никакого неизвестного

мученика — положившего начало захоронениям — не было вовсе, что похоронили пустой шерстяной мешок. Много лет спустя этот (якобы имевший место) хитроумный план был поставлен под вопрос одним юным *санг баазом*, возмутителем спокойствия, представителем молодого поколения борцов за свободу, которые слышали эту историю и были не на шутку ею встревожены: «Но *дженааб*, *дженааб*, не означает ли это, что наше Движение, наш *техрик*, основано на лжи?» Пожилой, обожженный сражениями и утомленный борьбой лидер, задумавший (якобы) дело с кладбищем, ответил: «Беда с вами, молодыми; вы абсолютно не представляете себе, как ведутся войны».

Многие, однако, сразу предположили, что этот слух, подобно многим другим, был сфабрикован и запущен отделом по распространению слухов в Бадами-Багхе, в армейской штаб-квартире в Сринагаре. Это была еще одна уловка оккупационных властей, задуманная для подрыва *техрика*, для того, чтобы посеять в людях неуверенность, подозрительность и сомнения.

Ходили также слухи, что действительно существует отдел по распространению слухов и руководит этим отделом офицер в звании майора. Говорили также, что страшный батальон из Нагаленда (тоже бывшего объектом индийской оккупации, только на востоке), батальон пожирателей свиней и собак, иногда не брезгует и человечиной — так, во всяком случае, утверждали знающие люди. Ходил еще слух о том, что каждый, кто доставит (по неизвестному адресу) здоровую сову весом три и больше килограммов (совы в этой области — даже самые жирные — весили не больше полутора), получит приз в миллион рупий. Люди ставили капканы, в которые попадались ястребы, соколы, мелкие совы и прочие хищные птицы, скармливали совам крыс, рис и изюм, делали птицам инъекции стероидов и ежечасно их взвешивали, несмотря даже на то, что никто не знал, куда, собственно, надо было нести этих сов. Циники утверждали, что это происки армии, которая постоянно ищет способы чем-нибудь занять внушаемых людей, чтобы избавиться от проблем и забот. Циркулировали слухи, очень похожие на правду, и правда, очень похожая на слухи. Например, правдой было то, что армейский отдел по правам человека много лет возглавлял подполковник Сталин — дружелюбный и приветливый человек, сын старого коммуниста. (Говорили, что это была его идея создать Мускаан — «улыбка» на урду — систему военных центров «Доброй воли» для реабилитации вдов, соломенных вдов, полных и неполных сирот. Разъяренные люди, обвинявшие армию в том, что она сама плодит вдов и сирот, регулярно сжигали приюты и швейные мастерские «Доброй воли». Однако их все время отстраивали заново — лучше, богаче

и краше.)

В случае кладбища мучеников, однако, вопрос о том, не был ли первый мученик просто тюком шерсти, так и остался без последствий. Страшная правда заключалась в том, что относительно новое кладбище с устрашающей быстротой заполнялось вполне реальными мертвецами.

Мученичество проникало в Кашмирскую долину через линию контроля, через залитые лунным светом горные проходы, патрулируемые солдатами. День и ночь тонкий ручеек мучеников двигался по узким каменистым тропам, выющимся вокруг синеватых глыб льда, по обширным ледникам и по лугам, по пояс заваленным снегом. Путь этот пролегал мимо лежавших в сугробах застреленных юношей, на которых равнодушно взирали холодная луна и звезды, что висели так низко, что, казалось, до них можно было дотронуться рукой.

Когда ручеек достигал долины, он растекался по земле, проникал в ореховые рощи, шафрановые поля, яблочные, миндальные и вишневые сады, окружая их, словно ползущий по земле туман. Этот ручеек доходил в долине до каждого, он нашептывал слова борьбы в уши врачей и инженеров, студентов и рабочих, портных и плотников, ткачей и крестьян, пастухов, поваров и поэтов. Они внимательно слушали, а потом откладывали в сторону свои книги и инструменты, свои иглы, долота, ткани, отставляли плуги, топоры и сценические костюмы. Они останавливали ткацкие станки, на которых ткали самые красивые в мире ковры и тончайшие шали, и узловатыми пальцами ощупывали гладкие стволы автоматов Калашникова, которые им разрешали потрогать принесшие их незнакомцы. Люди уходили вслед за этими гаммельнскими крысоловами в высокогорные луга, где были устроены тренировочные лагеря. Только после того как им давали в руки оружие, когда непривычные пальцы, нажимая на спусковой крючок, чувствовали, что он поддается нажиму, после того как, взвесив все за и против, они решали, что сделали правильный выбор, — только после этого они впускали в душу ярость и стыд за многолетние унижения, только после этого кровь в их жилах превращалась в пороховой дым.

Туман клубился, превращался в вихрь, увлекавший в рекруты всех без разбора. Туман нашептывал страстные слова в уши дельцов черного рынка, фанатиков, бандитов и аферистов на доверии. Они тоже внимательно слушали, прежде чем менять свои планы. Они ощупывали своими загребущими руками холодные металлические бугорки на рубашках гранат, которые раздавались так же щедро, как баранина на праздник

жертвоприношения. Они примеряли язык бога и свободы, Аллаха и Азади к своим убийствам и жульническим схемам. Они получали на этом деньги, собственность и женщин.

Конечно, женщин.

Женщин, конечно же.

Так начиналось восстание. Смерть была всюду. Смерть стала всем. Карьерой. Стремлением. Мечтой. Поэзией. Любовью. Самой юностью. Умирание стало образом жизни. Кладбища стали возникать в парках и на лужайках, на берегах рек и ручьев, в полях и на лесных прогалинах. Могильные камни вырастали из земли, как детские молочные зубы. В каждой деревне, в каждом поселке было теперь свое кладбище. В этих деревнях и поселках жили люди, не горевшие желанием прослыть коллаборационистами. Они возникали в пограничных районах с той же быстротой и регулярностью, с какой там появлялись трупы, состояние которых подчас вызывало неопиcуемый ужас. Некоторые трупы доставляли на похороны в мешках, некоторые — в маленьких полиэтиленовых пакетах — просто куски мяса, иногда с волосами и зубами. К некоторым квартирмейстеры смерти прикрепляли записки: «1 кг», «27 кг», «500 г». (Это примеры тех истин, которым было бы лучше оставаться слухами.)

Туристы хлынули из долины. Вместо них в долину хлынули журналисты. Пары, справлявшие медовый месяц в Кашмире, бежали оттуда без оглядки. Вместо них прибежали солдаты. Женщины толпились вокруг полицейских участков и армейских лагерей, держа в руках маленькие, потрепанные фотографии, размокшие от слез: «Прошу вас, сэр, вы, случайно, не видели моего мальчика? Вы не видели моего мужа? Мой брат не проходил через ваши руки?» Сэры горделиво выпячивали грудь и крутили усы, звеня медалями, поглядывая на женщин сквозь прищуренные веки и думая, отчаяние какой из них можно конвертировать в выгоду («Я посмотрю, что можно сделать») и какова может быть эта выгода («Деньги? Еда? Секс? Грузовик грецких орехов?»).

Тюрьмы переполнялись, рабочие места исчезали. Гиды, ярмарочные зазывалы, владельцы пони (вместе с пони), посыльные, официанты, секретарши, санные инструкторы, продавцы безделушек, флористы и лодочники на озере нищали и голодали.

Работы не убавлялось только у могильщиков. Они, не зная отдыха, трудились день и ночь. Правда, никто из них не получал сверхурочных.

Мисс Джебин и ее мать были похоронены рядом на кладбище Мазар-э-Шохада. На могильном камне жены Муса Есви написал:

Арифа Есви  
12 сентября 1968 года — 22 декабря 1995 года  
Жена Мусы Есви

Ниже было написано:

Аб вахан кхаак удхаати хай кхизаан  
Пхул хи пхул джахаан тхай пехле

Ныне пыль вьется на осеннем ветру там,  
Где прежде были цветы, только цветы.

Рядом, на могиле мисс Джебин, было написано:

Мисс Джебин  
2 января 1992 года — 22 декабря 1995 года  
Любимая дочь Арифы и Мусы Есви

В самом низу камня Муса попросил гравера выбить слова, которые многим показались бы неуместными в эпитафии мученика. Надпись нанесли там, где, как знал Муса, она зимой будет завалена снегом, а летом прикрыта высокой травой и дикими нарциссами. Более или менее. Вот что там было написано:

Акх далила ванн  
Йетх манз не кахн балай ааси  
На аэс сох кунни джунглас манз роазаан

Эти слова мисс Джебин произносила вечерами, лежа рядом с Мусой на ковре, опершись спиной на потертую бархатную подушку (выстиранную, заштопанную и снова выстиранную — и так много-много раз), одетая в свой маленький пхеран (выстиранный, заштопанный и снова выстиранный — и так много-много раз), малюсенький, как чехольчик для чайника (бирюзово-синий, обшитый розовым орнаментом у воротничка и рукавчиков), подражая позе отца — согнув левую ножку, положив правую щиколотку на левую коленку и вложив свой крошечный кулачок в большую руку Мусы. «Акх далила ванн». («Расскажи мне сказку».) Сразу, не

дождавшись ответа, она принималась сама рассказывать сказку, выкрикивая ее в мрачную тишину ночного комендантского часа. Звонкий восторженный голосок выпархивал из окна и разносился по тихому кварталу. «Йетх манз не кахн балай ааси! На аэс сох кунни джунглас манз роазаан! Только в сказке не *будет* никакой ведьмы, живущей в джунглях. Расскажи мне сказку, только такую, чтобы в ней не было всей этой ерунды про ведьму и джунгли, ты сможешь? Ты можешь рассказать мне *настоящую* сказку?»

Промерзшие солдаты, которые патрулировали обледеневшее шоссе, огибавшее квартал, надевали теплые шапки, прикрывавшие уши, и снимали свои автоматы с предохранителей. «Что там? Что это за звук?» Они прибыли издалека и не знали, как сказать по-кашмирски «стой», «стреляю» или «кто идет?». Но у них были автоматы, и знать язык им было необязательно.

Самый молодой из солдат, С. Муругесан, почти мальчик, никогда не бывал на таком холоде, никогда не видел снега и не переставал удивляться колечкам пара, вылетавшего из его рта. «Смотрите! — обратился он к своим товарищам, когда впервые заступил в патруль, и, сложив два пальца, поднес их к губам, словно держа воображаемую сигарету и выдыхая синеватый дым. — Бесплатная сигарета!» Заиндевевшая улыбка сорвалась с его темного лица и растворилась в воздухе, растаяв от раздражения товарищей. «Давай, давай, Раджиникант, — сказал они ему, — можешь на радостях выкурить целую пачку. Спешу, сигареты хороши, только пока они не оторвали тебе голову».

*Они.*

Они на самом деле добрались и до него. Бронированный джип, в котором он ехал по шоссе, подорвался на mine у въезда в Купвару. Он и еще двое солдат истекли кровью и умерли на обочине дороги.

Тело его уложили в гроб и доставили семье, в деревню Тханджавур, в район Тамил-Наду, вместе с DVD-диском с документальным фильмом «Сага о несказанной доблести», поставленным майором Раджу и снятым министерством обороны. С. Муругесана в этом фильме не было, но семья думала, что был, потому что они так и не увидели этого фильма — у них просто не было видеоплеера.

Деревенские ванийяры (они не были неприкасаемыми) не разрешили пронести тело С. Муругесана (который неприкасаемым был) мимо своих домов на кремацию. Похоронной процессии пришлось сделать изрядный крюк дорогой, которая вела к отдельному крематорию для неприкасаемых, расположенному рядом с деревенской мусорной свалкой.



Будучи в Кашмире, С. Муругесан втайне радовался одной вещи — тому, как белокожие кашмирцы издевательски насмехались над индийскими солдатами, дразня их за темную кожу и называя «чамар-насл» — чамарским отродьем. Его забавляла ярость, какую вызывало это прозвище у солдат, считавших себя представителями высших каст и обзывавших чамаром его, С. Муругесана. Этим прозвищем уроженцы Северной Индии обычно называют далитов, независимо от того, к какой именно касте они принадлежат. Кашмир был одним из немногих мест, где белокожие были в подчинении у темнокожих. Этот позор был проявлением некой извращенной справедливости.

Для того чтобы увековечить доблесть С. Муругесана, армия за свой счет установила цементный монумент Сипаю С. Муругесану — в солдатской форме и с винтовкой на плече — у въезда в деревню. Молодая вдова, проходя мимо статуи с ребенком на руках (девочке было полгода, когда погиб ее отец), каждый раз махала статуе рукой и говорила ребенку: «Аппа». Младенец беззубо улыбался, махал статуе, подражая матери, и лепетал: «Аппаппаппаппа».

Не всем в деревне, однако, нравился памятник неприкасаемому у въезда на главную улицу. Особенно не нравилось то, что неприкасаемый был изваян с оружием. Это могло зародить в головах неприкасаемых опасные идеи. Через три недели после установления статуи винтовка исчезла с плеча Сипая С. Муругесана. Семья попыталась подать жалобу, но в полиции отказались даже зарегистрировать заявление под тем предлогом, что винтовка могла рассыпаться из-за плохого качества бетона — действительно, бетон был плохим сплошь и рядом — и поэтому обвинять в этом было некого. Прошел еще месяц, и статуя лишилась обеих рук. В полиции снова отказались регистрировать заявление, но на этот раз полицейские не снисзошли до объяснений и только гнусно и понимающе посмеивались. Через две недели после ампутации кистей статуе С. Муругесана отбили голову. Население возмутилось. Люди из соседних деревень, принадлежавшие к той же касте, организовали протест. Несколько десятков человек начали голодовку у подножия статуи. Местный суд пообещал создать комиссию для разбора этого случая, а до принятия решения постановил оставить все как есть. Голодовка была прекращена, но комиссию так и не создали.

В некоторых странах некоторые солдаты погибают дважды.

Безголовая статуя так и осталась стоять у въезда в деревню. Несмотря на то, что она уже даже отдаленно не напоминала человека, которого была призвана увековечить, она стала более достоверной эмблемой времени,

нежели в своем первоначальном виде.

Дочка С. Муругесана продолжала махать ручкой статуе:  
— Аппаппаппа...

Война, набирая силу, продолжалась, и кладбища стали в Кашмирской долине такими же неперемненными элементами пейзажа, как многоэтажные парковки в благополучных городах равнин. Когда кладбища переполнялись, могилы делали двухэтажными, как автобусы, некогда возившие туристов по Сринагару от Лал-Чуока до Бульвара.

По счастью, могилы мисс Джебин не коснулась эта печальная участь. Много лет спустя, после того как правительство объявило мятеж подавленным (правда, в Кашмире были, для полной уверенности, оставлены полмиллиона солдат), после того как главные группы повстанцев обратились (или были заботливо обращены) друг против друга, после того как паломники, туристы и молодожены с «материка» начали возвращаться в долину, чтобы повеселиться среди снегов (покататься на санях, управляемых бывшими повстанцами), после того как соглядатаи и информаторы (ради сохранения приличий и из предосторожности) были убиты их кураторами, после того как перебежчики стали тысячами привлекаться к работе в бесчисленных НКО, занятых восстановлением мира, после того как местные дельцы, нажившие состояния на поставках армии угля и древесины, начали вкладывать деньги в туристический сектор (давая людям шанс встроиться в мирный процесс), после того как топ-менеджеры банков присвоили себе не востребуемые деньги, находившиеся на счетах убитых повстанцев, после того как пыточные центры были превращены в роскошные резиденции политиков, после того как кладбища мучеников были покинуты и практически остались без паломников (при этом резко подскочило число самоубийств), после того как были проведены выборы и провозглашена демократия, после того как Джелам успел несколько раз разлиться и снова обмелеть, после того как партизанская война затихла, вспыхнула снова, была подавлена, а потом снова разгорелась и снова была подавлена, — даже после всего этого могила мисс Джебин осталась одноэтажной.

Девочка вытащила счастливый жребий. У нее была хорошенькая могилка, заросшая дикими полевыми цветами, и к тому же она лежала рядом с мамой.

\* \* \*

Расстрел, во время которого она погибла, был в городе вторым за два месяца.

Из семнадцати убитых в тот день семь человек были случайными прохожими, как мисс Джебин и ее мать. (Правда, их следовало бы назвать не прохожими, а просидевшими.) Они наблюдали за происходившим с балкона. Мисс Джебин, которой в тот день нездоровилось, сидела на коленях у матери в то время, когда по улице проходили тысячи скорбящих, несших тело Усмана Абдуллы, популярного университетского профессора. Он был застрелен неустановленным стрелком — так это называлось в то время, несмотря на то что имя стрелявшего было известно всем и каждому. Усман Абдулла был выдающимся идеологом борьбы за Азади, но ему несколько раз угрожали представители новых, более радикальных фракций, пришедшие из-за линии контроля и вооруженные новейшим оружием и новыми бескомпромиссными идеями, с которыми Абдулла публично не соглашался. Убийство Усмана Абдуллы означало, что повстанцы не собираются терпеть кашмирский синкретизм, проповедником которого был Абдулла. Этим старомодным, интеллигентским мечтаниям был положен конец. Никакого поклонения домашним святым, никаких местных гробниц, говорили новые повстанцы, никакой путаницы в головах. Никаких побочных святых, никаких местных боголюдей. Был только один Аллах, один Бог. Был только Коран. Был пророк Мухаммед (мир ему!). Был только один способ молиться, одно толкование божественного закона и одно определение Азади, вот такое:

Азади ка матлаб кья?  
Ла илаха иллаллах

Что значит свобода?  
Нет Бога, кроме Аллаха.

Это не подлежало никакому обсуждению. В будущем единственным аргументом могла быть только пуля. Шииты — не мусульмане. Женщинам же придется научиться одеваться, как положено.

Женщинам, конечно.

Конечно же, женщинам.

Эти строгости пришлись не по вкусу многим простым людям. Они любили свои святилища — например, Хазратбал, где находилась священная

реликвия, *Мои-э-Мукаддас*, прядь волос пророка Мухаммеда. Сотни тысяч людей плакали на улицах, когда в 1963 году эта святыня пропала. Сотни тысяч людей ликовали месяц спустя, когда она нашлась (и была признана подлинной авторитетными людьми). Но когда Строгие вернулись из-за кордона, они объявили, что поклонение местным святым и обожествление волос является ересью.

Линия поведения Строгих поставила долину перед дилеммой. Люди понимали, что свобода, которой они жаждали, не придет без войны, и знали, что Строгие — лучшие воины. Они были лучше подготовлены, лучше оснащены — как оружием, так и божественными установлениями, короткими бриджами и длинными бородами. Они заручились благословением и деньгами с той стороны границы. Их стальная непреклонная вера дисциплинировала их ряды, опрощала их и придавала сил сражаться со второй по численности армией мира. Повстанцы, называвшие себя «светскими», были менее строгими и более общительными. Они были более стильными, более эксцентричными. Они писали стихи, флиртовали с медсестрами и катальщицами на роликах, а патрулируя улицы, небрежно забрасывали автоматы за спину. Но они не выглядели как люди, способные выиграть войну.

Люди любили Менее Строгих, но боялись и уважали Строгих. В войне на истощение, которую первые вели со вторыми, гибли сотни людей. В конце концов Менее Строгие объявили о прекращении огня, вышли из подполья и поклялись перейти к методам Ганди. Строгие продолжали сражаться, за ними охотились много лет, отстреливая одного за другим. Однако на месте каждого убитого появлялся новый повстанец.

Через несколько месяцев после убийства Усмана Абдуллы его убийца (хорошо известный всем неизвестный стрелок) был схвачен и убит военными. Тело было отдано семье с пулевыми ранениями и следами ожогов от сигарет. Кладбищенская комиссия после долгих прений решила, что он тоже был мучеником и поэтому заслуживает чести быть погребенным на кладбище мучеников. Его похоронили на противоположном краю кладбища, надеясь, вероятно, что большое расстояние между Усманом Абдуллой и его убийцей предотвратит их ссоры в загробной жизни.

По мере того как война разгоралась все сильнее, размытая линия противостояния становилась все жестче и жестче. Каждая из этих линий стала дробиться на вторичные линии. Из среды Строгих выделились Более Строгие. Простые люди умудрялись каким-то непостижимым образом угождать им всем, поддерживать их всех и мешать им всем одновременно и

продолжать жить при этом своей — запутанной, с точки зрения Строгих, — жизнью. Авторитет *Мои-э-Мукаддаса* остался непоколебимым. Даже увлекаясь быстрым потоком Строгости, все большее число людей приходили к святилищу, чтобы выплакаться и облегчить ношу разбитых сердец.

С безопасной высоты балкона мисс Джебин и ее мать смотрели на приближавшуюся похоронную процессию. Как многие другие женщины и дети, сгрудившиеся на деревянных балконах старых домов, мисс Джебин и Арифа приготовили лепестки роз, чтобы бросить их на тело Усмана Абдуллы, когда его будут проносить мимо. По случаю холода мисс Джебин была одета в два свитера и шерстяные варежки. Головку девочки украшал маленький шерстяной хиджаб. Тысячи людей нескончаемым потоком текли мимо дома, исступленно крича: «Азади! Азади!» Мисс Джебин и Арифа тоже присоединились к этому хору. Озорница мисс Джебин иногда кричала: «Матаджи!» («Мама!») вместо «Азади!». Во-первых, эти слова были похожи по звучанию, а во-вторых, каждый раз, когда дочка путала слова, мама смотрела на нее, улыбалась и целовала в лобик.

Процессия должна была пройти мимо бункера 26-го батальона пограничной стражи, расположенного в сотне футов от того места, где находились Арифа и мисс Джебин. Дула пулеметов выглядывали из затянутых стальной сеткой окон пыльного блокпоста, сооруженного из листового железа и деревянных брусьев. Бункер был забаррикадирован мешками с песком и оплетен колючей проволокой. Армейские бутылки из-под «Старого монаха» и тройного рома были привязаны к колючей проволоке и тихо позвякивали, ударяясь друг об друга, — это была примитивная, но надежная система тревожной сигнализации. Любое прикосновение к проволоке вызывало громкий звон. Бутылки из-под спиртного на службе нации. Кроме всего прочего, дополнительный эффект достигался оскорбительностью такой системы для правоверных мусульман. Солдаты в бункере подкармливали бродячих собак, которых местные жители сторонились (как и подобает правоверным), и эти собаки служили еще одним кольцом охраны. Собаки сидели вокруг бункера, наблюдали за процессией — внимательные, но не напуганные. Процессия приближалась. Солдаты внутри бункера превратились в тени, слившиеся с защитной сеткой. Капельки холодного пота текли по спинам под зимней военной формой и бронежилетами.

Вдруг раздался взрыв. Не очень сильный, но достаточно громкий, чтобы породить слепую панику. Солдаты вышли из бункера, заняли

позицию и открыли огонь из пулеметов и автоматов по безоружной толпе, запрудившей узкую улицу. Солдаты стреляли на поражение, стреляли, чтобы убить. Даже после того, как толпа обратилась в бегство, пули продолжали гнаться за ними, попадая в подставленные спины, затылки и ноги. Некоторые испуганные солдаты нацелили оружие на людей, смотревших на процессию с балконов, и разрядили диски автоматов — в балконы, в перила, подоконники, оконные переплеты, в мисс Джебин и ее мать Ариффу.

Люди, несшие гроб с телом Усмана Абдуллы, были убиты. Гроб открылся и еще раз убитое тело вывалилось на мостовую в неестественной, отвратительной позе, распростершись на белом саване. Дважды убитый рядом с убитыми один раз.

Да, некоторые кашмирцы тоже умирают дважды.

Стрельба затихла только после того, как улица совершенно опустела. Остались только убитые и раненые. И обувь. Тысячи пар обуви.

Некому было оглушительно повторять лозунг:

Джис Кашмир ко кхун се синча! Вох Кашмир хамара хай!

Мы оросили Кашмир своей кровью! Этот Кашмир наш!

Действия военных властей после этого массового расстрела были скорыми и эффективными. В течение часа все трупы были отвезены в центральный полицейский морг, а раненые доставлены в больницы. Улицу полили из шлангов, кровь смыли в канализацию. Снова открылись магазины, и было объявлено о восстановлении спокойствия. (Об этом всегда объявляли, чтобы люди знали.)

Позже было установлено, что хлопок, похожий на взрыв, прозвучал из-за того, что какой-то автомобиль наехал на пустую картонную коробку из-под мангового сока. Кто виноват? Кто оставил пакет из-под сока на проезжей части? Индус или кашмирец? Или, может быть, пакистанец? Кто был за рулем? Был учрежден трибунал для расследования массового убийства. Но факты так и не были установлены. Никого не обвинили. Это случилось в Кашмире. Значит, виноват Кашмир.

Жизнь продолжалась. Смерть продолжалась. Война продолжалась.

\* \* \*

Все, кто видел Мусу Есви во время похорон жены и дочери, отметили его полное спокойствие. Он не выказывал никакой скорби, наоборот, выглядел Муса отстраненным и отчужденным. Вид у него был настолько отсутствующим, что, казалось, его вообще не было на похоронах. Наверное, это в конце концов и послужило причиной его ареста. Или его выдало сердцебиение. Наверное, оно было либо слишком сильным, либо недостаточно сильным для мирного гражданина. Так, бывалые солдаты на блокпостах иногда присматриваются к груди молодых людей и прислушиваются, как бьется их сердце. Ходили слухи, что у некоторых солдат есть стетоскопы. «У этого парня сердце бьется за свободу», — якобы говорили солдаты, и этого было достаточно, чтобы отправить организм, сердце которого бьется слишком быстро или слишком медленно, в ближайший пыточный центр.

Мусу арестовали не на блокпосте. Его взяли дома, после похорон. Излишнее спокойствие на похоронах собственной жены и дочери не могло остаться незамеченным.

Сначала, конечно, все притихли и тряслись от страха. Похоронная процессия неслышно струилась по блеклому грязному городу в мертвой тишине. Единственным звуком был стук ботинок по серебристой от влаги мостовой улицы, ведущей в сторону кладбища Мазар-э-Шохадда. Молодые люди несли на своих плечах семнадцать гробов. Семнадцать плюс один, в котором покоился дважды убитый Усман Абдулла, которому, конечно, было невозможно выдать второе свидетельство о смерти. Итак, семнадцать гробов плыли по улицам, блестя на зимнем солнце. Человеку, смотрящему на процессию с высоких гор, кольцом окружавших город, процессия показалась бы колонной коричневых муравьев, несущих семнадцать-плюс-один кристаллик сахара в муравейник, чтобы накормить матку. Возможно, для человека, изучающего историю и человеческие конфликты, это можно было свести к относительному понятию того, что эта маленькая процессия была ничем иным, как цепочкой муравьев, несущих крошки, упавшие с высокого стола. Когда ведутся войны, на такие процессии обращают мало внимания. Какая мелочь. Вот так все и идет своим чередом. События разворачиваются, проходят, захватывая людей в свои железные, неразмыкающиеся объятия. Жестокость становится привычной, как смена времен года, и каждый вид ее обладает своим запахом и цветом, своим

циклом потерь и обновлений, распада и восстановления, восстаний и демократических выборов.

Из всех сахарных кристалликов, которые муравьи несли в то зимнее утро, самым маленьким был кристаллик, плывший под именем мисс Джебин.

Муравьи, которым не хватило духу участвовать в процессии, выстроились вдоль улиц, стоя на скользких грудях порыжевшего снега, засунув руки под полы пхеранов. Пустые рукава трепетали на пронизывающем ветру. Безрукие люди в самом сердце вооруженного восстания. Те, кто был напуган еще больше, не отважились выйти на улицу и смотрели на процессию из окон и с балконов, хотя сознавали, что и это опасно. Все знали, что находятся под прицелами солдат, наводнивших город. Вооруженные военные были везде — на крышах, на мостах, в лодках, в мечетях и на водонапорных башнях. Они заняли гостиницы, школы, магазины и даже некоторые частные дома.

В то утро было холодно; впервые в том году озеро замерзло, а метеорологи обещали усиление снегопада. Деревья вздымали к небу свои голые сучья, словно скорбно воздевали руки в немой мольбе о пощаде и милости к мертвым.

На кладбище уже были вырыты семнадцать-плюс-одна могила. Могилы были аккуратные, свежие, глубокие. Куча вынудой земли лежала рядом с каждой ямой, как шоколадная пирамида. Были приготовлены окровавленные металлические каталки, на которых тела возвращали семьям. Эти каталки были расставлены среди деревьев и напоминали своим видом лепестки гигантских хищных горных цветов.

Когда процессия прошла через ворота на территорию кладбища, толпа корреспондентов, дрожавших от напряжения у входа, как бегуны на старте, нарушила свои стройные ряды и бросилась вперед. Гробы были сняты с плеч, открыты и расставлены в ряд на обледеневшей земле. Толпа уважительно расступилась перед журналистами. Люди понимали, что без репортеров это массовое убийство сотрется из памяти и исчезнет, как будто его никогда не было, и мертвые умрут окончательно. Тела были предложены репортерам с надеждой и гневом. Это было празднество, пир смерти. Скорбящих родственников, отступивших назад, попросили вернуться и встать в кадр. Скорбь надо было запечатлеть и сохранить. В грядущие годы, когда война станет образом жизни, появятся книги, фильмы и фотоэкспозиции по теме кашмирской скорби и кашмирских потерь.

Мусы не будет ни на одном из этих снимков.



Мисс Джебин была в центре внимания. Объективы всех фотоаппаратов были нацелены, затворы щелкали и трещали, как разъяренные звери. Из всех этих фотографий одна стала классической. В течение многих лет ее неизменно перепечатывали газеты и журналы, она появлялась на отчетах докладов о положении с правами человека, докладов, которые никто не читал, с подписями такого рода: «Кровь на снегу», «Юдоль слез» и «Когда закончится это горе?».

На материке, по понятным причинам, фотография мисс Джебин пользовалась меньшей популярностью. В этом супермаркете скорби бхопальский мальчик, жертва утечки газа на «Юнион карбайд», пользовался большим спросом, нежели мисс Джебин. Несколько известных фотографов заявляли свои права на авторство этого известного снимка, на котором был запечатлен мертвый мальчик, погребенный по шею в кучу щебня, откуда торчала только его голова, смотревшая на мир выжженными ядовитым газом пустыми глазницами. Эти глаза поведали миру историю того, что произошло, правдивее, чем многословные рассказы очевидцев. Эти глаза смотрели со страниц глянцевого журнала всего мира. Потом, правда, это уже не имело никакого значения. История вспыхнула, а потом поблекла и погасла. Битва за авторские права, однако, продолжалась еще много лет, и вели ее так же жаростно, как битву за выплату компенсаций искалеченным жертвам утечки газа.

Хищно трещавшие камеры отступили, оставив в неприкосновенности мисс Джебин, нетронутую, безмятежную, почти спящую. Ее летняя роза над ухом тоже осталась на месте.

Когда тела были преданы земле, толпа начала вполголоса молиться.

Раббиш рахли садри; Ва яссир ли амри  
Вахлул укдатан мин лисаани; Яфкаху кавли

Господь мой! Освободи мой ум. Сними бремя мое,  
Развяжи мой язык, чтобы было понятно, что я говорю.

Маленькие дети, едва достававшие головами до животов матерей, закутанные по самые глаза их шарфами, едва способные дышать, говорили о своем: «Я дам тебе шесть обойм с патронами, если ты дашь мне неразорвавшуюся гранату».

К небу взметнулся одинокий женский голос, неестественно высокий, выразивший глубинную, дикую боль, пронизавшую его.

Ро рахи хай йех замин! Ро раха хай асмаан...

К женщине присоединились другие:

Эта земля вопиет и плачет! И небеса вторят ей...

Птицы ненадолго умолкли, слушая пение людей и косясь на них своими глазами-бусинами. Бродячие собаки вольготно слонялись между постами, сохраняя ледяное спокойствие. Коршуны и грифы парили в вышине в теплых воздушных потоках, лениво пересекая в обе стороны линию контрольно-пропускных пунктов — только чтобы подразнить горстку собравшихся внизу людей.

Когда небо впитало в себя напряжение песнопения, в толпе что-то вспыхнуло. Молодые люди начали прыгать, взлетая в воздух, словно искры, взметенные раскаленными углями. Все выше и выше становились их прыжки, как будто земля под их ногами превратилась в трамплин. Они несли свою муку, как броню, их гнев колыхался в прыжках, как пояса с патронами. В этот момент, потому ли, что они были так хорошо вооружены, потому ли, что решились отдаться в объятия смерти, потому ли, что сознавали, что они уже мертвы, — эти молодые люди в тот миг стали непобедимыми.

Солдаты, окружившие кладбище Мазар-э-Шохадда, получили приказ ни в коем случае не стрелять. Их информаторы (братья — родные и двоюродные, отцы, дяди, племянники), смешавшиеся с толпой и выкрикивавшие лозунги так же страстно, как и все остальные (и, может быть, вполне искренне), получили недвусмысленные инструкции фотографировать и, по возможности, снимать на видео всех молодых людей, подхваченных волной ярости и пылавших гневом.

Вскоре каждый из них услышит стук в дверь или будет отведен в сторонку на блокпосте.

— Такой-то такой-то? Сын такого-то? Работаешь там-то и там-то?

Очень часто этим все и ограничивалось — это было простая, неприкрытая угроза. В Кашмире иногда достаточно было высказать в лицо

человеку его анкетные данные, чтобы навсегда изменить ход его жизни.

За Мусой пришли в обычное время таких визитов — в четыре часа утра. Муса не спал. Он сидел за столом и писал письмо. Мать находилась в соседней комнате. Он слышал ее плач и молитвы сестер и других родственников. Любимый зеленый бегемот мисс Джебин, из которого уже лезла вата, — зверь с широченной улыбкой и розовым сердечком — сидел у подушки, ожидая возвращения своей маленькой мамы и готовясь выслушать сказку: «Акх далила ванн...» Муса услышал шум мотора подъехавшей машины. Из окна второго этажа он видел, как машина свернула в их переулок и остановилась у их дома. Он не испытал ни страха, ни гнева, увидев вооруженных солдат, выходящих из бронированного джипа. Отец, Шовкат Есви (Годзилла, как звали его домашние), тоже не спал. Скрестив ноги, он сидел на ковре в большой комнате. Годзилла был строительным подрядчиком, работавшим с военно-инженерным ведомством, поставляя армии строительные материалы и создавая для военных проекты под ключ. Он отправил сына в Дели изучать архитектуру в надежде, что Муса поможет ему развивать бизнес. Однако когда в 1990 году начался *техрик*, а Годзилла по-прежнему сотрудничал с армией, Муса стал избегать отца. Муса разрывался между сыновним долгом и чувством вины за то, что его отец — коллаборационист. Ему становилось все труднее жить с отцом под одной крышей.

Шовкат Есви, казалось, ждал появления солдат и не выказал особой тревоги.

— Звонил Амрик Сингх. Он хочет поговорить с тобой. Ничего особенного, можешь не волноваться. Утром тебя отпустят.

Муса не ответил. Он даже не повернул головы в сторону Годзиллы. Презрение сквозило в развороте его плеч и в неестественно выпрямленной спине. Он вышел из дома в сопровождении двух вооруженных людей и сел в машину. На него не надели наручники, а на голову не накинули мешок. Джип тронулся и поехал по скользким обледеневшим улицам. С неба снова повалил снег.

Кинотеатр «Шираз» был превращен в центр анклава, состоявшего из казарм, домов офицерского состава и окруженного изошренными порождениями паранойи — двумя concentрическими рядами колючей проволоки, между которыми был зажат мелкий ров. Четвертым рубежом этих укреплений была толстая стена, гребень которой был усеян битым стеклом. По обе стороны от ворот из гофрированного железа стояли две

сторожевые вышки, на которых бесменно дежурили пулеметчики. Джип, на котором привезли Мусу, беспрепятственно проехал в ворота. Несомненно, его здесь ждали. Джип остановился у входа в главное здание.

Вестибюль кинотеатра был ярко освещен. Гипсовый рифленый потолок, покрытый мозаикой маленьких зеркал, словно гигантский перевернутый глазированный свадебный торт, прихотливо отражал лучи крикливых дешевых люстр. Сквозь потертый красный ковер местами просвечивал цементный пол. В застоявшемся воздухе висел удушливый запах оружия, дизельного топлива и старой одежды. В бывшем буфете был оборудован приемный пункт для пытаемых и палачей. На стенах висели плакаты с названиями давно проданных закусок, фруктовых ассорти и шоколадного мороженого, а также с названиями когда-то шедших здесь фильмов. Все это было напоминанием о тех временах, когда кино еще не было запрещено «Тиграми Аллаха». На некоторых анонсах застыли куски красного выплюнутого бетеля. На полу рядами лежали молодые мужчины, связанные и закованные в наручники. Некоторые были избиты до такой степени, что были не силах шевелиться. У многих руки были прикованы к лодыжкам. Солдаты расхаживали между телами несчастных. Сюда приволакивали новичков, других оттаскивали на допрос. Из-за массивных деревянных дверей зрительного зала доносились приглушенные звуки, похожие на саундтрек триллера. Бетонные кенгуру с мусорными контейнерами вместо сумок (на них было написано «Воспользуйся мной») с равнодушными улыбками взирали на происходящее.

Мусу и сопровождавших его военных не стали задерживать на КПП, и они, как августейшие особы, проследовали мимо, провожаемые взглядами лежавших на полу людей, к полукруглой лестнице, поднялись на второй этаж и по другой, узкой лестнице прошли в будку киномеханика, переоборудованную в кабинет. Муса понимал, что и это было заранее обдумано. В этом действе не было ничего спонтанного.

Из-за стола, который был завален бумагами, придавленными весьма экзотичными пресс-папье — морскими раковинами, бронзовыми статуэтками, моделями парусных судов и фигурками балерин в стеклянных шарах, — поднялся майор Амрик Сингх, чтобы поздороваться с Мусой. Майор был смугл и очень высок — под метр девяносто. На вид ему можно было дать лет тридцать пять. Сегодня он выбрал для себя образ сикха. Кожа над линией бороды была пористой, словно суфле. Темно-зеленый тюрбан плотно охватывал уши и лоб, приподнимая уголки глаз и брови, что придавало Сингху сонный вид. Те, кто хотя бы поверхностно был знаком с майором Амриком Сингхом, знали, насколько обманчивым было это

впечатление. Обойдя стол, майор Амрик Сингх приветливо и даже, пожалуй, сердечно, поздоровался с Мусой. Потом он попросил выйти приведших Мусу солдат.

— *Ас салам алейкум бузур...* Прошу тебя, садись. Что будешь: чай, кофе?

В тоне прозвучало нечто среднее между вопросом и приказом.

— Ничего. *Шукрия*.

Муса сел. Амрик Сингх поднял трубку полевого телефона и приказал принести чай и «офицерский бисквит». Рядом с этим огромным человеком стол казался непропорционально маленьким, почти игрушечным.

Это была не первая их встреча. Муса виделся с Амриком Сингхом несколько раз и всегда в своем доме, куда Амрик Сингх приходил в гости к Годзилле, коего он решил высочайше одарить своей дружбой. Годзилла был не вполне волен отказаться от этого предложения. После нескольких первых визитов Амрика Сингха Муса заметил разительную перемену в домашней атмосфере. В доме стало тише. Ожесточенные политические споры, которые он вел с отцом, прекратились. Муса, однако, чувствовал, что отец стал подозрительным и часто смотрит на него внимательным, оценивающим взглядом. Однажды Муса, выйдя из своей комнаты, поскользнулся на лестнице, но сумел сохранить равновесие и приземлился на ноги. Годзилла, наблюдавший этот акробатический этюд, вдруг пристал к Мусе. Отец не повысил голос, но Муса видел, что Годзилла в ярости, по пульсирующей артерии на виске.

— Где ты научился так падать? Кто тебя научил этому?

Он осмотрел сына, подчиняясь инстинкту встревоженного кашмирского родителя. Он искал чего-то необычного — мозолей на указательном пальце от спускового крючка, потертостей на локтях и коленях — признаков военной подготовки в одном из лагерей. Никаких признаков он не нашел, но решил откровенно поговорить с Мусой о сведениях, сообщенных ему Амриком Сингхом — о ящиках с «железом», временно хранившихся в саду семьи в Гандербале, о поездках Мусы в горы, о его встречах с неблагонадежными «друзьями».

— Что ты можешь обо всем этом сказать?

— Спроси своего друга, майора-сахиба. Он скажет, что ум, который нельзя применить, стоит не дороже мусора.

— *Тсе чхуй марнуй асси сарней ти марнавакх,* — ответил на это Годзилла. («Тебя убьют и всех нас вместе с тобой».)

Когда Амрик Сингх пришел в следующий раз, Годзилла настоял, чтобы на встрече с гостем присутствовал и Муса. По случаю прихода

дорогого гостя все уселись на ковер вокруг пластикового, украшенного цветами *дастархана*, а мать Мусы обслуживала гостей. (Муса попросил Ариффу позаботиться о том, чтобы ни она, ни мисс Джебин не показывались на первом этаже до ухода визитера.) Амрик Сингх источал тепло и дружелюбие. Он чувствовал себя как дома, откинувшись на подушку. Он рассказал несколько вульгарных анекдотов о глупых сикхах и сам громче всех смеялся этим шуткам. Затем, сказав, что ремень мешает ему пить и есть вволю, он расстегнул и снял ремень с кобурой, из которой он даже не подумал вытащить пистолет. Если он хотел показать, что доверяет хозяевам, то это действие, наоборот, произвело противоположный эффект. Гибель Джалиба Кадри была еще впереди, но все знали о череде связанных с именем Амрика Сингха убийств и похищений. Пистолет зловеще лежал среди сладостей, закусок и чайников. Встав из-за стола и поблагодарив хозяев, он собрался уходить, забыв пистолет, или притворившись, что забыл. Годзилла взял пистолет со стола и отдал майору.

Амрик Сингх внимательно посмотрел на Мусу, рассмеялся, надел и застегнул пояс.

— Хорошо, что твой отец вспомнил. Представь себе, что было бы, если бы во время какой-нибудь облавы у вас нашли бы оружие. Не то что я, вам бы и сам Бог не смог бы помочь. Только вообрази.

Все послушно рассмеялись вслед за майором. Однако Муса заметил, что глаза Амрика Сингха не смеялись. Они только поглощали свет, но не отражали его. Это были матовые, бездонные черные диски без малейшего намека на блеск.

Теперь эти же матовые глаза смотрели на Мусу через заставленный пресс-папье стол в будке киномеханика кинотеатра «Шираз». Это было необычное зрелище — Амрик Сингх, сидящий за столом. Было совершенно ясно, что майор не имеет ни малейшего понятия, что делать с этим предметом, если не считать использования его как кофейного столика, заваленного сувенирами. Стол был поставлен так, что майору Амрику Сингху стоило лишь откинуться на спинку стула и посмотреть сквозь маленькое прямоугольное отверстие в передней стене — сквозь окно киномеханика, а теперь просто смотровое окно, — чтобы видеть, что творится в главном зале. Двери камер для допросов выходили из зала, и над каждой дверью светилась красная неоновая надпись «Выход». Иногда это соответствовало действительности. Экран был до сих пор занавешен тяжелым красным занавесом, который в прежние дни поднимался к потолку под веселую музыку детской песенки о слоненке. Сиденья были

сняты и свалены в углу, а в зале устроили площадку для игры в бадминтон, где уставшие солдаты могли выпустить пар. Даже в этот час в кабинете Амрика Сингха слышался ритмичный стук воланов о ракетки.

— Я приказал доставить тебя сюда, чтобы принести мои глубочайшие извинения и выразить мое искреннее человеческое сочувствие в связи с постигшим тебя горем.

Кашмирское сумасшествие зашло так далеко, что Амрик Сингх искренне не понимал жуткую иронию происходящего — в четыре часа утра вытащили из дома и под конвоем вооруженных солдат насильно привезли в следовательский центр человека, у которого только что застрелили жену и дочь, чтобы выразить ему соболезнования.

Муса знал, что Амрик Сингх был хамелеоном, что под тюрбаном он был «мона» — он не носил длинных волос, как положено сикхам. Амрик Сингх совершил это святотатство — отрезал волосы — много лет назад. Муса слышал, как он хвастался Годзилле, что во время контртеррористических операций он мог выдавать себя за индуса, сикха или за говорящего по-пенджабски пакистанца. Амрик, смеясь, рассказывал, как для того, чтобы выявлять сочувствующих, он и его люди переодевались в шальвары и камизы и глухими ночами стучались в деревенские дома, выдавая себя за пакистанских боевиков, ищущих убежища. Если их принимали, то на следующий день хозяина дома хватали как «пособника».

— Но как безоружные жители могли бы не принять вооруженных до зубов боевиков? — не удержавшись, спросил Муса.

— О, мы оценивали теплоту приема, — ответил Амрик Сингх, — у нас для этого есть специальный термометр.

«Возможно, но вы не понимаете всей глубины кашмирского двуличия, — подумал, но не сказал вслух Муса. — Вы не имеете ни малейшего понятия о том, как такой народ, как мы, переживший такую историю, как наша, научился прятать свою гордость под личиной смирения. Двуличие — это единственное наше оружие. Вы не знаете, как умеем мы лучезарно улыбаться, когда разбиваются наши сердца. Вы не знаете, с какой яростью можем мы ополчаться против тех, кого любим, и как радушно приветствовать тех, к кому не испытываем ничего, кроме отвращения. Вы не понимаете, как тепло мы можем принимать вас. Думая лишь об одном: скорее бы вы убрались прочь».

Но это была лишь одна из возможных точек зрения. С другой стороны, возможно, в тот момент именно Муса был наивен, потому что Амрик Сингх наверняка в полной мере понимал, с какой антиутопией ему приходится иметь дело — с антиутопией, население которой не соблюдало

никаких границ, не признавало никакой лояльности и не смущалось самой невероятной глубиной своего падения. Что же касалось кашмирской души, если таковая когда-нибудь существовала, то Амрик Сингх не искал ни ее понимания, ни ее прозрения. Для него это была игра, охота, в которой его ум и проницательность были противопоставлены уму и проницательности его добычи. Он считал себя скорее охотником, нежели солдатом. И это делало его абсолютно солнечной личностью. Майор Амрик Сингх был азартным игроком, лихим офицером, злым следователем и веселым, хладнокровным убийцей. Ему нравилась его работа, и он все время искал способы получить от нее максимум удовольствия. Он вступал в радиосвязь с боевиками, когда они случайно настраивались на его волну или, наоборот, он — на их. Тогда начинался обмен «любезностями». «*Арре*, кто я такой, если не скромный туристический агент? — говорил он боевику. — Для вас, джихадистов, Кашмир — это всего лишь перевалочный пункт, не так ли? Ваша цель — это *джаннат*, где вас ждут гурии. Я всего лишь облегчаю вам путешествие». Себя он именовал «*экспрессом в джаннат*». Если он говорил по-английски, а это бывало всякий раз, когда майор Амрик Сингх напивался, он именовал себя «райским экспрессом».

Одним из самых известных его высказываний был афоризм: «Декхо миан, мейн Бхарат Саркар ка лунд хун, аур мера каам хай чодна».

(«Слушай, брат, я — хер индийского правительства, и моя работа — трахать народ».)

Тяга к развлечениям была у него в крови. Известно, что однажды он отпустил захваченного им боевика единственно для того, чтобы не лишать себя удовольствия схватить его во второй раз. Это было вполне в его духе, согласовалось с извращенными понятиями об охоте, и это проявилось, в частности, в доставке Мусы в «Шираз» только затем, чтобы принести ему извинения. В течение нескольких предыдущих месяцев Амрик Сингх — и, видимо, вполне справедливо — начал считать Мусу потенциально достойным противником, человеком, бывшим его полярной противоположностью, но имевшим мужество и присутствие духа повышать ставки, чтобы из объекта охоты превратиться в охотника. Поэтому Амрик Сингх был искреннее и неподдельно расстроен, узнав о смерти жены и дочери Мусы. Ему хотелось, чтобы Муса знал: он, майор Амрик Сингх, не имеет ни малейшего отношения к их гибели. Это был удар ниже пояса, и такое подлое убийство никогда не было частью плана самого Амрика Сингха. Для того чтобы продолжить охоту, Сингх решил довести это до сведения добычи.

Охота была не единственной страстью Амрика Сингха. Он был



любителем широко жить и отличался дорогим вкусом, для удовлетворения которого у майора было слишком маленькое жалованье. Чтобы компенсировать этот недостаток, майор с толком эксплуатировал предпринимательские возможности, открывшиеся в Кашмире для победившей стороны оккупационного режима. Помимо доходов от похищений и вымогательств, у Амрика Сингха были доходы от записанного на имя жены лесопильного завода и мебельной фабрики в долине. Он был щедр настолько же, насколько был жесток, и охотно дарил резные кофейные столики людям, которые ему нравились или в которых он нуждался. (У Годзиллы было два ночных столика, буквально навязанных ему Амриком Сингхом.) Жена майора, Лавлин Каур, была четвертой из пяти сказочно красивых сестер — Тавлин, Харприт, Гурприт, Лавлин и Димпл — и двух младших братьев. Семья принадлежала маленькой общине сикхов, обосновавшейся в долине несколько столетий назад. Отец был мелким фермером, едва способным кормить свою большую семью. Говорят, что семья была так бедна, что когда какая-то девочка по дороге в школу уронила на дорогу завтрак, сестры Каур, нашедшие его, съели завтрак прямо с мостовой. Когда девочки подросли, вокруг них начали, словно осы, увиваться молодые люди с самыми разнообразными предложениями, среди которых не было только предложения выйти замуж. Родители поэтому пришли в полный восторг от возможности сбыть с рук одну из дочерей, да еще и выдать ее замуж (без приданого) за сикха с материка, да еще и за армейского офицера, ни больше ни меньше. После свадьбы Лавлин не последовала за Амриком Сингхом в его квартиры по месту службы в районе Сринагара, потому что ходили слухи, что на службе у Амрика была еще одна женщина, военно-полевая жена, следовательно Розочка, которая вместе с майором участвовала в операциях и в допросах в лагерях. По выходным, когда Амрик Сингх приезжал к жене и сыну в квартиру на втором этаже дома в Джавахар-Нагаре — маленькой сикхской колонии в Сринагаре, соседи шептались о домашнем насилии, слыша приглушенные крики жены о помощи. Никто, однако, не осмелился вмешиваться.

Несмотря на то что Амрик Сингх беспощадно преследовал боевиков и убивал их, он считал — во всяком случае, лучших из них — заслуживающими его восхищения. Было известно, что он отдавал им последний долг во время их похорон, включая несколько случаев, когда сам приводил в исполнение свои приговоры. (Один из боевиков даже удостоился ружейного салюта.) Он не уважал и, мало того, презирал правозащитников — по преимуществу адвокатов, журналистов и газетных

издателей. По его мнению, это были жалкие черви, портившие правила великой игры своими постоянными жалобами и нытьем. Каждый раз, когда Амрик Сингх получал разрешение взять одного из таких правозащитников или «нейтрализовать» его (эти разрешения никогда не давались в форме приказа убить, но, обычно, в виде отсутствия приказа не убивать), он с большим удовольствием исполнял свой долг. Случай с Джалибом Кадри был совершенно иного рода. Амрику приказали просто запугать этого человека и некоторое время подержать его под стражей. Но все пошло не так. Джалиб Кадри совершил ошибку — он не испугался и начал отвечать на угрозы и запугивания. Амрик Сингх страшно жалел о том, что утратил самообладание и перестал себя контролировать. Еще больше он жалел о том, что из-за этого Джалиба ему пришлось ликвидировать своего друга и товарища, «ихвана» Салима Годжри. Им было что вспомнить — ему и Салиму Годжри. Амрик понимал, что, повернись все по-другому и окажись он на месте друга, Салим Годжри поступил бы с ним точно так же. И он, Амрик Сингх, понял бы Салима Годжри. Во всяком случае он всячески убеждал себя в этом. Из всего, что он делал, убийство Салима Годжри заставило Амрика Сингха остановиться. Салим Годжри был единственным человеком в мире — жена не входила в это число, — к которому майор Амрик Сингх испытывал чувство, пусть и отдаленно, но похожее на любовь. Он остро это чувствовал, когда нажимал спусковой крючок пистолета, приставленного к голове Салима.

Тем не менее Амрик Сингх не был склонен к рефлексии и быстро преодолевал подобные неприятности. Сидя напротив Мусы, майор Амрик Сингх был самим собой, высокомерным и уверенным в себе. Да, его отстранили от оперативной работы и посадили за штабные бумаги, но он пока не осознал все значение этого. Время от времени он еще участвовал в полевых операциях. Его привлекали в случаях, когда он знал местность или людей, которых предстояло брать. Амрик Сингх оправился от удара.

В кабинет принесли офицерские бисквиты и чай. Сначала Муса услышал тихое позвякивание чашек и только потом увидел человека, принесшего их. Он и Муса сразу узнали друг друга, но выражения их лиц ни на йоту не изменились. Амрик Сингх пристально наблюдал за ними обоими. Казалось, из комнаты выкачали воздух. Стало невозможно дышать. Дыхание пришлось симулировать.

Джунаид Ахмед-шах был командиром одного из отрядов «Хизб-уль-Муджахидин». Его схватили несколько месяцев назад, когда он сделал самую распространенную ошибку — навестил жену и маленького ребенка глухой ночью. Солдаты уже поджидали его на подступах к дому. Это был

высокий, стройный и гибкий мужчина, известный своей красотой и беззаветным мужеством. Когда-то у него были волосы до плеч и борода. Теперь он был чисто выбрит, а волосы были коротко подстрижены, как у военного. Тусклые запавшие глаза с полным безразличием взирали на мир из темных глазниц. На нем были надеты тренировочные штаны, едва достававшие до середины икр, шерстяные гольфы, армейские ботинки и красная, траченная молью официантская ливрея с латунными пуговицами. Куртка была ему мала, что придавало всей фигуре Джунаида комичный вид. Руки его дрожали, заставляя вибрировать посуду на подносе.

— Ты немного заблудился. Но что ты теперь думаешь? — спросил Амрик Сингх у Джунаида.

— *Джи джэнааб! Джай Хинд!* («Да, сэр. Победа Индии!»)

Джунаид отдал честь и вышел. Амрик Сингх снова повернулся к Мусе, всем своим видом демонстрируя соболезнование.

— То, что случилось с тобой, не должно случаться ни с кем. Ты наверняка потрясен. Возьми крекер. Это пойдет тебе на пользу. Здесь половина сахара, половина соли.

Муса не ответил.

Амрик Сингх допил чай. Муса не притронулся к своей чашке.

— Ты ведь по специальности инженер, не так ли?

— Нет, я архитектор.

— Я хочу тебе помочь. Знаешь, армии очень нужны инженеры. Для тебя есть работа. Очень хорошо оплачиваемая работа. Строительство заграждений, сиротских приютов, рекреационных центров, спортивных залов для молодых людей. Да, да, даже здесь это нужно... Я могу обеспечить тебя хорошими контрактами. По крайней мере, мы можем хоть что-то для тебя сделать.

Муса, не подняв головы, притронулся пальцем к шипу на раковине какого-то моллюска.

— Я под арестом или вы разрешаете мне уйти?

Муса не смотрел на Амрика Сингха и не увидел, как в глазах офицера промелькнул гнев, который тотчас угас.

— Ты можешь идти.

Амрик Сингх не поднялся из-за стола, когда Муса встал и вышел из кабинета. Майор Амрик Сингх позвонил и приказал ординарцу проводить Мусу к выходу.

Внизу, в фойе кинотеатра, наступил перерыв в пытках. Солдатам разливали чай из огромного чайника. Выставили холодную самсу в

железных ведрах — по две на человека. Муса пересек фойе, не отрывая взгляд от избитого окровавленного парнишки, которого он хорошо знал. Он знал, что его мать ходит от одного лагеря к другому, тщетно стараясь узнать, где находится ее мальчик. Это могло продолжаться целую вечность. «Хоть что-то хорошее вышло из этого ужаса», — подумал Муса.

Он был уже у выхода, когда на лестничной площадке появился лучезарно улыбающийся Амрик Сингх, разительно не похожий на мрачного верзилу, с которым Муса только что расстался в кабинете. Голос майора загредел над фойе:

— Арре хузур! Эк чиз майн билкул бхул гайя тха! («Я же напрочь забыл одну вещь!»)

Все — и палачи и жертвы — разом посмотрели на майора. Прекрасно сознавая, что стал центром всеобщего внимания, Амрик Сингх пружинисто сбегал вниз по лестнице, как радушный хозяин, провожающий дорогого гостя. Он обнял Мусу и сунул ему в руку принесенный с собой пакет.

— Это твоему отцу. Скажи, что я заказал это специально для него.

В пакете была бутылка виски «Ред Стаг».

В фойе наступила полная тишина. Все — зрители и участники — прекрасно поняли подтекст разыгранного Амриком Сингхом сценария. Если Муса отвергнет подарок, то это будет открытым объявлением войны и смертным приговором. Если же Муса примет подарок, то это будет означать лишь то, что Амрик Сингх доверит его исполнение боевикам. Он прекрасно понимал, что весть о подарке разнесется по всей округе, о ней узнают все группировки боевиков, и, какими бы ни были их внутренние разногласия, они все сходились в одном — коллаборационисты заслуживают смерти. Мало того, питье виски — даже не коллаборационистами — было поступком, недопустимым для мусульманина.

Муса подошел к стойке бывшего буфета и поставил бутылку на нее.

— Мой отец не пьет.

— Арре, зачем скрывать? В этом нет ничего постыдного. Твой отец пьет, я же знаю! И ты сам это прекрасно знаешь. Я купил эту бутылку специально для него. Но хорошо. Я сам отдам ее ему.

Амрик Сингх, продолжая улыбаться, приказал своим людям проводить Мусу и позаботиться о том, чтобы он в целостности и сохранности добрался до дома. Майор был очень доволен своими действиями.

Занимался рассвет. Темно-серое небо окрасилось в слабый розовый оттенок. Муса шел домой по вымершим улицам. Джип следовал за ним на

почтительном расстоянии, а водитель по радиации предупреждал солдат на блокпостах, чтобы они беспрепятственно пропускали Мусу.

Он вошел в дом, не стряхнув с плеч снег. Холод снега был ничто в сравнении с холодом, обжигавшим изнутри. Видя его лицо, родители и сестры не стали спрашивать, что с ним было. Он сел за стол и продолжил писать письмо, которое писал, когда за ним приехали солдаты. Письмо было на урду. Муса писал быстро, словно спешил успеть дописать письмо, пока тепло не покинуло его тело, пока оно не остыло — быть может, навсегда.

Это было письмо к мисс Джебин.

Бабаджаана,

ты думаешь, что я буду скучать по тебе? Ты ошибаешься. Я никогда не буду по тебе скучать, потому что ты будешь со мной всегда.

Ты хотела, чтобы я рассказывал тебе правдивые истории, но теперь я уже не знаю, что сейчас можно считать правдой. То, что раньше считалось реальностью, теперь звучит, как глупая сказка — такая, как те, что я тебе рассказывал. Они очень тебе не нравились, ты их просто не выносила. Но наверняка я знаю только одно: у нас в Кашмире жить вечно будут мертвые, а живые — это всего лишь притворяющиеся мертвецы.

На следующей неделе мы собирались выправить тебе идентификационную карточку, ты же знаешь, *джаана*, наши карточки важнее нас самих. Эта карточка — самое ценное из всего, чем может обладать человек. Она ценнее, чем самый прекрасный ковер, прекраснее, чем мягчайшая кашмирская шаль, чем самый большой сад. Или все вишни или орехи в наших садах. Можешь себе это представить? Номер моей карточки M108672J. Ты говорила, что это счастливый номер, потому что M — это мисс, а Дж — это Джебин. Если это так, то моя карта скоро принесет меня, как на крыльях, к тебе и нашей аммаджаан. Так что будь готова делать уроки и на небе. Какой смысл говорить тебе, что на твоих похоронах были сто тысяч человек? Тебе, кто могла считать только до пятидесяти девяти? Я сказал «считать»? Я хотел сказать — «кричать». Ты могла выкрикнуть числа только

до пятидесяти девяти. Надеюсь, что, где бы ты сейчас ни была, ты уже не кричишь. Ты должна научиться говорить тихо — ну хотя бы иногда. Как мне объяснить тебе, что такое сто тысяч? Это очень большое число. Давай я попробую объяснить это тебе с помощью времен года. Подумай, сколько листочков появляется на деревьях и сколько камешков становится видно на дне ручья, когда тает лед. Вспомни, сколько красных маков расцветает на лугах. Вот столько и есть сто тысяч весной. Осенью столько листьев, опавших с чинар, хрустело под ногами в университетском кампусе, где мы с тобой гуляли (ты тогда страшно разозлилась на бродячего кота, который отказался взять хлеб, который ты ему предложила. Мы теперь все становимся как тот кот, *джаана*. Мы теперь не доверяем никому. Хлеб, который нам предлагают, опасен. Потому что превращает нас в рабов и льстивых лакеев. Наверное, ты бы разозлилась на всех нас.) Но мы отвлеклись. Мы же говорили о числах. Точнее, о числе сто тысяч. Зимой это число снежинок, падающих с неба. Помнишь, как мы с тобой их считали? Помнишь, как ты пыталась их ловить? Вот столько много людей и есть сто тысяч. На твоих похоронах люди покрыли всю землю, словно снег. Можешь представить себе эту картину? Можешь? Хорошо. И это только люди. Я еще не рассказал тебе о медведе, который спустился с гор, про оленя, смотревшего на похороны из леса, про снежного барса, оставившего следы на снегу, и про коршунов, круживших в небе. О, им все было видно как на ладони. Это был целый спектакль, представление. Тебе бы понравилось. Ты всегда любила, когда было много народа, я знаю. Ты стала бы городской девочкой — это было видно с самого начала. Теперь твоя очередь. Расскажи мне...

На середине фразы холодная лапа сдавила Мусе грудь. Он перестал писать, сложил письмо и сунул его в карман. Он так и не закончил его, но отныне никогда с ним не расставался.

Он понимал, что времени у него осталось совсем мало. Он должен

предупредить следующий шаг Амрика Сингха и сделать это быстро. Прежняя жизнь кончилась, кончилась навсегда. Кашмир поглотил его, и теперь он стал частью его внутренностей.

Весь день он провел, приводя в порядок дела: оплатил накопившиеся счета за сигареты, уничтожил документы и упаковал в сумку нужные и любимые вещи. На следующее утро семейство Есви, проснувшись, увидело, что Муса исчез. Одной из сестер он оставил записку, в которой сообщал об арестованном мальчике и написал адрес и имя его матери.

Так началась его жизнь в подполье. Жизнь, продолжавшаяся ровно девять месяцев, как беременность. Правда, была большая разница — беременность заканчивается появлением новой жизни, а подполье Мусы закончилось своего рода смертью.

В то время Муса, как бродяга, скитался с места на место, никогда не оставаясь в одном месте на ночь два раза подряд. Вокруг него всегда были люди — в лесных убежищах, в роскошных домах богатых бизнесменов, в лавках, в погребах, в складских помещениях — везде, где *техрик* встречали любовью и солидарностью. Он научился виртуозно обращаться с оружием. Он знал, где его можно купить, как его переправлять и как его прятать. Теперь у него на самом деле появились мозоли на тех местах, где их когда-то не мог найти его отец — на коленях, на локтях и на сгибе указательного пальца. Он носил оружие, но никогда не применял его в деле. Он делил свою любовь со своими спутниками, которые были много моложе его, с горячими юношами, которые с радостью отдавали свои жизни друг за друга. Их жизнь была коротка. Многие из них были убиты, многие сошли с ума от пыток. Их место занимали другие. Муса смог уцелеть во время всех чисток. Все его связи с прежней жизнью постепенно стерлись. Никто не знал, кто он на самом деле. Никто его об этом не спрашивал. Семья ничего не знала о его судьбе. Он не принадлежал ни к одной организации. В средоточии этой грязной войны, в ее горниле, сталкиваясь со зверствами, которые трудно себе представить, он делал все что мог, убеждая своих товарищей сохранять хотя бы видимость человечности. Не творить те вещи, против которых они все восстали. Ему не всегда сопутствовал успех. Но не всегда он терпел неудачи. Он овладел искусством сливаться с фоном, исчезать в толпе, невнятно бормотать и притворяться; он научился так глубоко прятать секреты, что забывал о том, что они ему известны. Он овладел искусством переносить тоску одиночества, искусством жить в вакууме и даже навлекать его на себя. Он практически перестал разговаривать. По ночам, вскормленные режимом

молчания, его внутренние органы начинали переговариваться друг с другом, как ночные сверчки. Селезенка говорила с почкой. Поджелудочная железа шепотом окликала легкие:

Привет,  
вы меня слышите?  
Вы еще здесь?

Он стал хладнокровнее и спокойнее. Цена за его голову выросла с необычайной быстротой — от одного лакха до трех. Через девять месяцев в Кашмир приехала Тило.

\* \* \*

Тило находилась там, где проводила большую часть вечеров, — в маленькой чайной на узкой улочке недалеко от гробницы хазрата Низамуддина Аулии, куда всегда заходила по дороге с работы домой, когда к ней подошел молодой человек, спросил, действительно ли ее зовут С. Тилоттама, и вручил ей записку, в которой было сказано: «Пристань номер 33, Шахин, озеро Дал. Приди туда двадцатого». Подписи не было, но в углу листка была карандашом нарисована лошадиная голова. Когда Тило подняла голову, посланец уже исчез.

Тило взяла двухнедельный отпуск в архитектурной фирме на площади Неру, села в поезд, шедший в Джамму, а потом — ранним утром — в автобус, следовавший рейсом из Джамму в Сринагар. Они с Мусой долго не виделись. Она поехала, помня, что было когда-то между ними.

До этого она ни разу не бывала в Кашмире.

Вечерело, когда автобус вынырнул из длинного туннеля в горах — единственного прохода, связывавшего Индию с Кашмиром.

Осень в долине — это время бесстыдного изобилия. Косые лучи солнца освещали лиловый туман цветущих крокусов. Деревья в садах гнулись под тяжестью спелых фруктов, кроны чинар пылали красноватым огнем. Спутники Тило, в основном кашмирцы, вдыхая ароматы садов, различали не только запахи яблок, груш и спелого риса, но и могли наверняка сказать, мимо чьих яблонь, груш и рисовых полей проезжал автобус. Был и еще один запах, знакомый им всем, — это удушливый запах страха. Он отравлял воздух и превращал тела людей в камень.



По мере того как старый, дребезжавший на неровностях дороги автобус со своими притихшими пассажирами углублялся в долину, напряжение становилось все более и более ощутимым. Через каждые пятьдесят метров на обочине дороги стоял до зубов вооруженный солдат. Солдаты были готовы ко всему и пребывали в состоянии опасного напряжения. Солдаты были везде — в полях и садах, на мостах и акведуках, в магазинах и на рынках, на крышах домов. Солдаты прикрывали друг друга, образуя сеть постов, протянувшуюся до самых гор. Что бы ни делали люди, жившие в легендарной Кашмирской долине, — гуляли, молились, купались, шутили, кололи орехи, занимались любовью или ехали домой в автобусе, — они в любой момент находились под прицелом солдатских винтовок, а так как они находились под прицелом, то, что бы они ни делали — гуляли, молились, купались, шутили, кололи орехи, занимались любовью или ехали домой в автобусе, — они были законной мишенью.

Перед каждым блокпостом дорогу преграждал горизонтальный барьер с колючими шипами, способными разрезать на ленты автомобильную покрышку. Перед каждым блокпостом автобус останавливался, пассажиры выходили и выстраивались в ряд вдоль дороги с открытыми для досмотра сумками. Тем временем солдаты обыскивали багаж на крыше автобуса. Пассажиры все это время стояли, опустив глаза. На шестом или седьмом блокпосте Тило увидела припаркованный на обочине бронированный джип со смотровыми щелями вместо окон. Посоветовавшись с невидимыми пассажирами джипа, молодой офицер отобрал из шеренги пассажиров троих молодых людей — *ты, ты и ты*, — которых без лишних разговоров затолкали в джип. Они не сопротивлялись и не роптали. Люди стояли, опустив глаза.

Уже стемнело, когда автобус прибыл в Сринагар.

В те дни небольшой город Сринагар буквально вымирал с наступлением темноты. Закрывались магазины, улицы пустели. На автобусной остановке к Тило подошел какой-то молодой человек и спросил, как ее зовут. С того момента ее передавали с рук на руки. Авторикша доставил ее от остановки на Бульвар. Озеро она пересекла на шикаре, где не было лавок, а только шезлонги. Она возлежала на шезлонге, как новобрачная без жениха. Тило поняла, что это неспроста, что яркие лопасти весел, которыми гребец ударял по воде, были сделаны в форме сердечек. Над озером стояла мертвая тишина. Ритмичный звук ударов весел о воду был похож на тяжелое сердцебиение Кашмирской долины.

*Пуф.*

Пуф.  
Пуф.

Плавучие дома стояли на якоре вдоль противоположного берега озера, уткнувшись носами в корму впереди стоящих судов: ПД «Шахин», ПД «Джаннат», ПД «Королева Виктория», ПД «Дербишир», ПД «Снегопад», ПД «Ветер пустыни», ПД «Дворец гульшан», ПД «Мандалай», ПД «Клифтон», ПД «Нью-Клифтон». Все они казались покинутыми.

«ПД, — объяснил Тилоттаме лодочник, в ответ на ее вопрос, — означает „плавучий дом“».

ПД «Шахин» был самым маленьким и скромным из всех плавучих домов. Когда шикара пристала к нему, на палубе появился маленький человек, пхран которого доставал почти до лодыжек, и поздоровался с Тило. Потом Тило узнала имя этого человека — Гульрез. Он поздоровался с ней так, как будто они были давно и хорошо знакомы, словно она всю жизнь прожила в этом доме и вернулась с рынка, куда ездила за провизией. Большая голова на до странности тонкой шее опиралась на мощные широкие плечи. Когда они по узкому, устланному ковром коридору по дороге в спальню прошли мимо маленькой столовой, Тило услышала мяуканье котенка. Человек, улыбаясь, словно гордый отец, обернулся, сверкнув своими изумрудными пронизательными глазами.

Тесная комнатка была немногим больше двуспальной кровати, покрытой вышитым покрывалом. На ночном столике стоял пестрый, украшенный цветочным орнаментом пластиковый поднос с бронзовым кувшином, двумя стаканами цветного стекла и маленьким плеером. Пол был застелен узорчатым потертым ковром, потолок был украшен резным узором, а мусорная корзина была лепным шедевром из папье-маше. Тило поискала глазами место, где глаз мог отдохнуть от узора, но тщетно. Такого места в комнате не было. Она открыла деревянные ставни окон, но они выходили на забранные такими же деревянными ставнями такие же окна соседнего плавучего дома. В воде между домами плавали пустые сигаретные пачки и окурки. Тило положила сумку на пол, вышла на крыльцо, закурила сигарету и принялась смотреть на блестящую в звездном свете поверхность воды. Снег на вершинах гор отсвечивал фосфорическим блеском еще некоторое время после захода солнца.

Тило провела в этой лодке в ожидании весь следующий день, наблюдая, как Гульрез стирает пыль с мебели, разговаривает с баклажанами и хаахом в огороде на берегу. После скромного завтрака Гульрез показал Тило свою коллекцию, которую он хранил в большом желтом пакете из

дьюти-фри международного аэропорта. На пакете красовалась традиционная надпись: «Смотри! Купи! Лети!» Гульрез выложил на стол все свои драгоценности — одну за другой. Это было нечто вроде книги посетителей: пустой флакон из-под лосьона после бритья «Поло», старые посадочные талоны, маленький бинокль, темные очки с одним выпавшим стеклом, захватанный экземпляр «Одиночного путеводителя», косметичка «Кантас», электрический фонарик, бутылка репеллента от комаров, бутылка жидкости для загара, пустая упаковка из фольги из-под противопоносных таблеток и голубенькие дамские трусики «Маркс и Спенсер», засунутые в жестяную коробку из-под сигарет. Он хихикнул, отвел глаза и, скатав трусики в трубочку, запихнул их в коробку. Тило порылась в своей наплечной сумке и добавила в коллекцию Гульреза ластик в форме клубники и контейнер, в котором обычно хранят грифели для цанговых карандашей. Гульрез, восхищенно улыбаясь, отвинтил крышку контейнера, потом снова ее завинтил. Немного подумав, он положил ластик в желтый пакет, а контейнер в карман. Потом он вышел из комнаты и вернулся с фотографией, на которой он сам был изображен с котятками на руках. Он протянул фотографию Тило с таким видом, будто вручал ей наградной сертификат. Тило приняла подарок с поклоном. Бартер был совершен к взаимному удовольствию сторон.

В разговоре, в котором Тило использовала хинди, а Гульрез зубодробительный урду, она выяснила, что слово «Музз-как» обозначало Мусу. Гульрез принес вырезку из газеты на урду с фотографиями всех, кто был убит в тот день вместе с мисс Джебин и ее матерью. Гульрез несколько раз поцеловал вырезку, показывая на маленькую девочку и молодую женщину. Постепенно до Тило дошел смысл рассказа: женщина была женой Мусы, а девочка — его дочерью. Фотографии были отвратительные, и разобрать черты лиц было решительно невозможно. Чтобы убедиться, что Тило все поняла правильно, Гульрез положил голову на сложенные ладони и закрыл глаза, как спящий ребенок, а потом указал пальцем на небо:

*Они ушли на небеса.*

Она не знала, что Муса был женат.

Он не сказал ей об этом.

Он должен был сказать?

Почему он был должен об этом говорить?

И почему она должна была возражать?

Она сама ушла от него.

Но она возражала, она была против.

Не потому что он был женат, а потому что не сказал об этом.

Весь остаток дня ее преследовал дурацкий малайяламский стишок, непрерывно крутившийся в голове. Это был гимн сезона дождей, который пела, маршируя по грязи, армия детишек в трусиках — она была среди них, — шлепая по лужам вдоль раскисшего зеленого берега реки под проливным дождем.

Дум! Дум! Патталам  
Сааринде витил кальянам  
Аана пиндам чору  
Атта вартхаду уппери  
Козхи тхитам чаманди

Дум! Дум! Армия идет, несет  
Обручальное кольцо в дом страны господ.  
Рис — слоновий навоз!  
Жаркое — гусениц воз!  
Приправа — помет кур и коз!

Она ничего не понимала. Неужели это самая адекватная реакция на то, что она только что узнала? Она не вспоминала этот стишок с пятилетнего возраста. Но почему он лезет ей в голову именно сейчас?

Может быть, у нее прохудилась голова и ее заливает дождь? Или это просто была стратегия выживания разума, который спешил закрыться, чтобы не сделать глупости, стараясь придать какой-то смысл прихотливой сети, которая связывала кошмары Мусы с ее собственными.

Тогда у нее еще не было путеводителя, который подсказал бы ей, что в Кашмире кошмары — вещь общего пользования, они заразительны. Что они не хранили верность своим обладателям, они распутно влезали в сновидения других, не соблюдали никаких границ, подстерегали своих жертв в засаде и неожиданно обрушивались на них. Никакие укрепления, никакие заборы не могли сдержать их. Единственное, что можно было делать с кошмарами в Кашмире, — это обнимать их, как старых друзей, и обходиться с ними, как со злейшими врагами. Она научится этому искусству, и научится скоро.

Она сидела на обитой скамейке, вделанной в стенку крыльца плавучего дома, и созерцала второй закат. Темная ночная рыба (не путать с ночным кошмаром) вынырнула со дна озера и сглотнула с поверхности

воды отражение гор. Как будто их и не было. Гульрез накрывал стол на двоих (он наверняка что-то знал), когда неслышно появился Муса, пришедший с кормы дома.

— Салам.

— Салам.

— Ты приехала.

— Конечно.

— Как ты? Как доехала?

— Хорошо. Как ты?

— Хорошо.

Стишок в голове Тило гремел, как симфония.

— Прости, что опоздал.

Он не стал пускаться в более подробные объяснения. Муса похудел, но в остальном изменился не сильно, однако, как это ни странно, он был теперь почти неузнаваем. Он отрастил густую щетину — почти бороду. Глаза одновременно излучали свет и источали тьму, как будто глаза помыли, смыв один цвет, но оставив другой. Зеленовато-карие радужки были обведены черной каймой, которую Тило не помнила. Силуэт Мусы стал размытым, смазанным, нечетким. Он сливался с окружением еще сильнее, чем прежде. Это никак не было связано с коричневым кашмирским пхераном, который свободно свисал с плеч Мусы. Когда он снял с головы шерстяную шапочку, Тило увидела, что его черные волосы изрядно побиты сединой. Он заметил ее взгляд и нервно провел по волосам своими сильными мужицкими пальцами. На сгибе указательного пальца была видна твердая мозоль. Они с Тило были ровесниками. Им было обоим по тридцати одному году.

Молчание между ними то набухало, то спадало, словно мехи аккордеона, играющего мелодию, слышную только им двоим. Он знал, что она знает, что он знает, что она знает. Такое вот было теперь между ними.

Гульрез принес поднос с чаем. С ним Муса тоже был сдержан, но было понятно, что это старое знакомство, почти любовь. Муса называл его Гуль-как, а иногда моут и привез ему ушные капли. Ушные капли сломали лед, как могут ломать лед только ушные капли.

— У него какая-то ушная инфекция, и он очень испуган. Он просто в ужасе, — объяснил Муса.

— У него болят уши? Но мне кажется, что он неплохо себя чувствует.

— Нет, он боится не боли. У него ничего не болит. Он боится, что его застрелят. Он говорит, что стал хуже слышать, и боится, что может не

услышать, как ему на блокпосте скажут «стой!». Иногда солдаты позволяют пройти мимо поста и только потом окликают. Так что, если он их не услышит, то...

Гульрез, уловив напряжение (и любовь) в помещении и поняв, что может разрядить обстановку, опустился на колени, положил голову на колени Мусе и подставил ему ухо, похожее на ломоть цветной капусты. Закапав в оба уха капли и заткнув уши кусочками марли, Муса протянул Гульрезу флакон.

— Береги его. Когда меня не будет, попроси ее закапывать тебе в уши, она это сделает, — сказал Муса. — Она — мой друг.

Гульрез, как ни нравилась ему бутылочка с пластиковым носиком, как ни жаждал он добавить ее к своей коллекции в пакете с надписью «Смотри! Купи! Лети!», с готовностью протянул флакончик Тило и лучезарно ей улыбнулся. Теперь это на самом деле была семья — папа-медведь, мама-медведица и маленький медвежонок.

Самым счастливым был медвежонок. На обед он приготовил пять мясных блюд: *гуштабу*, *ристу*, *марцванган-корму*, *шами-кебаб* и куриное *яхни*.

— Как много еды... — сказала Тило.

— Говядина, козлятина, курятина, баранина... только рабы могут так много есть, — сказал Муса, накладывая себе в тарелку немилосердную гору мяса. — Наши желудки — это могилы. Кладбища!

Тило не могла поверить, что все это медвежонок приготовил сам, без посторонней помощи.

— Он весь день разговаривал с баклажанами и играл с котятками. Я не видела, чтобы он готовил.

— Должно быть, он все приготовил до твоего приезда. Он чудесный повар. Его отец настоящий профессионал, *ваза*, из той же деревни, что и Годзилла.

— Почему он здесь и совсем один?

— Он не один. Его окружают любящие глаза, уши и сердца. Но он не может жить в деревне. Для него это слишком опасно. Гуль-как — это тот, кого мы зовем мрут — он живет в своем собственном мире, по своим особым правилам. Он немного похож на тебя, — Муса серьезно, без улыбки, посмотрел на Тило.

— Ты хочешь сказать, что он деревенский дурачок? — Тило тоже без улыбки посмотрела Мусе в глаза.

— Я хочу сказать, что он особенный человек, благословенный человек.

— Кто же его благословил? Что за извращенный способ

благословения, твою мать?

— Его благословили прекрасной душой. Мы почитаем наших моутов.

Муса уже давно не слышал этого краткого ругательства, тем более от женщины. Оно легонько приземлилось на его стиснутое сердце и пробудило память о том, почему, как и насколько сильно он любил Тило. Он сразу попытался вернуть это воспоминание туда, откуда оно пришло, — в наглухо запертый чулан памяти.

— Мы едва не потеряли его два года назад. В деревню нагрянули солдаты с прочесыванием. Людей выгнали из домов и построили в шеренгу. Гуль бросился навстречу солдатам. Он был уверен, что это пакистанцы пришли освободить нас. Он пел, приплясывал и кричал: «Дживей! Дживей! Пакистан!» Он пытался целовать руки солдат. Они прострелили ему ногу, избili прикладами и оставили на снегу истекать кровью. После этого у него случается истерика всякий раз, когда он видит солдат. Он пытается убежать от них, а это самое опасное. Что можно сделать в такой ситуации? Короче, я привез его в Сринагар, в наш дом. Но теперь в нашем доме едва ли кто-нибудь живет — во всяком случае я там уже не живу, — и он не захотел там оставаться. Тогда я нашел для него работу. Этот плавучий дом принадлежит моему другу, и Гульрез находится здесь в безопасности. Ему не надо никуда выходить. Он должен готовить еду для гостей, но они бывают здесь крайне редко. Продукты для этого доставляют сюда другие люди. Единственная опасность — лодка довольно древняя, не потонула бы.

— Ты серьезно?

Муса улыбнулся.

— Нет, она вполне надежна.

Парень, у которого «были не все дома», тоже сел за стол и принялся с отменным аппетитом уписывать приготовленную им еду.

— Почти все моуты в Кашмире были убиты. Их убивали первыми. Потому что они не понимают, что значит слушаться приказов. Может быть, поэтому они нам и нужны. Учить нас, как быть свободными.

— Или убитыми?

— Это одно и то же. Только мертвые свободны.

Муса посмотрел на покоившуюся на столе руку Тило, которую знал лучше, чем свою собственную. Она до сих пор носила серебряное кольцо, подаренное им много лет назад, когда он еще был другим человеком, и средний палец все так же был испачкан чернилами.

Гульрез, понимая, что речь идет о нем, принялся суетиться вокруг

стола, наполняя стаканы и тарелки, а в это время из карманов его пхерана отчаянно мяукали котята. Улучив момент, когда Муса и Тило замолчали, он представил им Агу и Ханум. Серого в полоску звали Ага, а черно-белую, как арлекин, кошечку — Ханум.

— А где Султан? — с улыбкой спросил Муса. — Что с ним?

Лицо Гульреза, словно по сигналу, омрачилось. Он ответил длинным ругательством на смеси кашмирского и урду. Тило поняла только последнюю фразу: *«Арре усс бевакуф ко агар яхан минтри ке саатх рехна нахи аата тха, то пхир вох саала ис Дуния мейн аайя хи кйуун тха?»* («Если этот дурак не знает, как ужиться здесь с военными, то зачем он вообще появился на свет?»)

Не было никаких сомнений, что Гульрез услышал эту фразу от родителей или соседей и относилась она к нему самому, но теперь он воспользовался ею, чтобы отругать какого-то неведомого Султана — кто бы он ни был.

Муса громко рассмеялся, обнял Гуля и поцеловал его в макушку. Гуль улыбнулся. Счастливый сорванец.

— Кто такой Султан? — спросила Тило.

— Потом расскажу.

\* \* \*

После ужина они вышли на крыльцо покурить и послушать новости по радио.

Три боевика убиты. Несмотря на комендантский час, в Барамулле прошли массовые протесты.

Стояла безлунная, черная, непроницаемая ночь.

Гостиницы бульвара, цепочкой тянувшиеся вдоль берега озера, были превращены в казармы, опутанные колючей проволокой, обложенные мешками с песком и окруженные заграждениями. Столовые стали солдатскими спальнями, стойки портье — камерами предварительного заключения, а номера — комнатами допросов. Вышитые гобелены и толстые ковры заглушали крики молодых людей, которых били током по половым органам и которым вливали бензин в задний проход.

— Знаешь, кто здесь сейчас находится? — спросил Муса. — Гарсон Хобарт. Ты с ним вообще виделась?

— Нет, не видела его уже несколько лет.



— Он заместитель начальника местного отделения Разведывательного бюро. Это большая должность.

— Рада за него.

Не было ни ветерка. Гладь озера не шевелилась, лодка даже не покачивалась, но тишина казалась хрупкой.

— Ты любил ее?

— Да, и хотел сказать тебе об этом.

— Почему?

Муса докурил сигарету и закурил следующую.

— Не знаю. Это было дело чести — твоей, моей и ее.

— Почему ты не говорил о ней раньше?

— Не знаю.

— Это была свадьба по уговору?

— Нет.

Сидя рядом с Тило, дыша в унисон с ней, он чувствовал себя пустым домом, в котором слегка приоткрылись окна и двери, впустив немного воздуха для запертых там призраков. Когда Муса снова заговорил, он обращался к ночи, к горам, невидимым в этот час, если не считать мерцающих огней армейских лагерей, вытянувшихся в цепь и похожих на скудные декорации какого-то устрашающего спектакля.

— Наше знакомство было страшным... страшным, но прекрасным... такое могло произойти только здесь. Было это весной девяносто первого, в год полного хаоса. Мы — все, кроме, кажется, Годзиллы — думали, что Азади за углом, всего в одном шаге. Перестрелки были каждый день, взрывы, убийства. Боевики открыто расхаживали по улицам с оружием...

Муса умолк, расстроенный звуком собственного голоса. Он отвык от него. Тило не спешила прийти к нему на помощь. Часть ее существа противилась истории, которую начал рассказывать ей Муса, и она была благодарна ему за переход к обобщениям.

— Так вот было. В тот год — когда мы познакомились — я только что нашел работу. Это было бы великим событием в моей жизни, но не стало, потому что в те дни закрывалось все. Ничто не работало... ни суды, ни колледжи, ни школы... нормальная жизнь рухнула... как я могу объяснить это тебе... какое это было сумасшествие... это была какая-то свалка, какая-то куча-мала... бесчисленные ограбления, похищения, убийства... массовые подтасовки на школьных экзаменах. Вот это было самое забавное. Внезапно, в самый разгар войны, все захотели сдать вступительные экзамены в высшие учебные заведения, потому что это помогало получать дешевые кредиты от государства. Я знаю одну семью,

где три поколения — дед, отец и сын — сели за учебники, чтобы сдать выпускные школьные экзамены. Нет, ты только вообрази этот цирк. Фермеры, рабочие, торговцы фруктами, имевшие за плечами два и три класса, едва умеющие читать и писать, решили сдавать экзамены. Они переписывали задания из учебников и со свистом сдавали все на отлично. Они переписывали все, даже инструкцию в нижней части листа: «Перевернуть страницу!». Помнишь такие надписи в школьных учебниках? Они списывали и эту пометку. Даже сейчас, когда мы хотим уязвить человека его глупостью, мы его спрашиваем: «У тебя есть *намтук пасс?*»

Тило понимала, что он намеренно уклонился от темы, кружил вокруг да около истории, рассказывать которую ему было так же тяжело, как ей — слушать.

— Ты ведь тоже выпускница девяносто первого? — тихий смех Мусы выдавал любовь даже к слабостям его народа.

Она всегда любила в нем это, его полную и безоговорочную принадлежность к народу, который он любил и над которым смеялся, на который он жаловался и проклинал, но никогда не отделял себя от него. Может быть, она любила в нем эту черту, потому что сама она не могла ни о ком думать, как о «своем» народе. Если, может быть, не считать двух бродячих собак, приходивших ровно в шесть утра в парк, где она подкармливала их. Ее народом были и бродячие рабочие, с которыми она делила трапезу в чайной возле гробницы Низамуддина. Но и они на самом деле тоже не были ее народом.

Когда-то давно она думала, что Муса — «ее народ». Вместе они какое-то время были самостоятельной страной, островной республикой, отделившейся от остального мира. Однако с тех пор, как они решили идти дальше своими путями, она лишилась «народа».

— Мы сражались и тысячами погибали за Азади и одновременно старались урвать дешевые займы у того самого государства, против которого сражались. Мы — долина идиотов и шизофреников, и мы деремся за свободу, чтобы быть идиотами и...

Муса, усмехнувшись, замолчал и вскинул голову. На расстоянии от них по озеру проплыл патрульный катер. Солдаты с борта освещали воду мощными фонарями. Когда катер исчез из вида, Муса встал.

— Идем, бабаджаана. Что-то становится прохладно.

Это слово выскользнуло у него так естественно — «бабаджаана», «любовь моя». Она это заметила, он — нет. Было совсем не холодно, но они ушли с палубы в дом.

Гульрез спал на ковре в столовой. Ага и Ханум самозабвенно играли

на спящем Гульрезе, словно его тело было специально создано на радость кошкам для их игр. Ага прятался в сгибе колена. Ханум поджидала его в засаде, устроенной на господствующей высоте бедра.

Муса остановился у входа в резную, вышитую, узорчатую, расписную и филигранную спальню.

— Можно войти? — спросил он, и это покорило Тило.

— Рабы ведь не обязательно глупы, не так ли?

Она села на край кровати и откинулась на спину, подложив руки под голову. Ноги остались стоять на полу. Муса сел рядом и положил руку ей на живот. Напряжение улетучилось из спальни, как нежеланный гость. Было темно, если не считать скудного света, проникавшего из коридора.

— Хочешь, я дам тебе послушать кашмирскую песню?

— Нет, спасибо, друг, я ведь не кашмирский националист.

— Скоро ты станешь им. Через три, максимум четыре дня.

— Это почему?

— Станешь. Я хорошо тебя знаю. Когда ты увидишь то, что увидишь, и услышишь то, что услышишь, у тебя не останется выбора. Потому что ты — это ты.

— Я получу диплом? Или даже степень?

— Да, и ты выдержишь испытания с блеском. Я тебя знаю.

— На самом деле ты плохо меня знаешь. Я патриотка. У меня по коже бегут мурашки, когда я вижу национальный флаг. Меня тогда охватывают такие эмоции, что я теряю способность трезво мыслить. Я люблю флаги, люблю марширующих солдат и все такое. Что это за песня?

— Она тебе понравится. Сквозь комендантский час я принес ее тебе. Она была написана для нас — для тебя и для меня. Одним парнем по имени Лас Конне. Он из моей деревни. Тебе точно понравится.

— Уверена, что нет.

— Ну все равно. Дай мне шанс.

Муса достал из кармана пхерана диск и вставил его в плеер. Через секунду раздались аккорды гитары, и у Тило от удивления широко раскрылись глаза.

Trav'ling lady, stay awhile  
Until the night is over.  
I'm just a station on your way,  
I know I'm not your lover.

— Леонард Коэн.

— Да. Даже он не знает, что на самом деле он кашмирец, как не знает и того, что его настоящее имя Лас Коне...

Well I lived with a child of snow  
when I was a soldier,  
and I fought every man for her  
until the nights grew colder.

She used to wear her hair like you  
except when she was sleeping,  
and then she'd weave it on a loom  
of smoke and gold and breathing.

And why are you so quiet now  
standing there in the doorway?  
You chose your journey long before  
you came upon this highway.

— Откуда он мог это знать?

— Лас Коне знает все.

— У нее была такая же прическа, как у меня?

— Она была цивилизованным человеком, бабаджаана, а не моут.

Тило поцеловала Мусу. Почти силой удерживая его в объятии, она прошептала: «Отойди, горец, от тебя ужасно воняет»

— Ты просто речная чистюля с равнины.

— Когда ты мылся последний раз?

— Девять месяцев назад.

— Я серьезно.

— Ну, где-то с неделю назад. Точно не помню.

— Урод вонючий.

Муса принимал душ очень-очень долго. Она слышала, как под струями воды он напевал песню Ласа Коне. Он вышел из душа голый, в полотенце, обмотанном вокруг пояса, источая аромат мыла и шампуня. От этого запаха Тило сдавленно рассмеялась.

— Ты пахнешь как летняя роза.

— Я на самом деле чувствую себя виноватым, — улыбнувшись,

ответил Муса.

— Верю, ты действительно раскаиваешься.

— Еще бы, после недели моего несказанного гостеприимства в отношении вшей и пиявок мне стоило большого труда согнать их с насиженного места.

Они всегда подходили друг другу, как части нерешенной (а возможно, и нерешаемой) головоломки, — ее текучий дым гармонировал с его устойчивостью и солидностью, ее дух одиночества с его коллективизмом, ее странности с его прямолинейностью, ее беззаботность с его самоограничением. Ее спокойствие с его спокойствием.

Были, конечно, и другие элементы, которые просто не могли подходить друг к другу.

То, что происходило в ту ночь на борту плавучего дома «Шахин», было не столько любовным действием, сколько горестной элегией. Их застарелые раны оказались слишком свежими и слишком глубокими, чтобы их можно было быстро утешить. Но на один быстротечный момент они смогли соединить их, как накопленный карточный долг, и разделить боль поровну, не помянув ударов и не спрашивая, кто кому их нанес. На этот краткий миг они смогли отречься от мира, в котором жили, и приняли придуманный ими мир за настоящий. В этом мире «моуты» отдавали приказы, а солдаты закапывали себе в уши капли, чтобы лучше их слышать.

Тило знала, что под кроватью лежал автомат, но ничего не сказала по этому поводу. Она ничего не сказала и потом, когда были пересчитаны и расцелованы все мозоли Мусы. Тило лежала на нем, как на матрасе. Положив подбородок на сплетенные пальцы и подставив свой абсолютно не кашмирский зад сринагарской ночи. То, что путь Мусы снова привел его к ней, несколько ее не удивляло. Она отчетливо помнила один из дней 1984 года (кто не помнит тот год?), когда газеты сообщили о том, что один кашмирец по имени Макбул Бутт, сидевший в тюрьме за убийство и государственную измену, был повешен в делийской тюрьме Тихар. Его останки были зарыты в тюремном дворе, чтобы могила не стала местом поклонения в начавшем уже тогда закипать Кашмире. Новость эта оставила равнодушными профессоров и преподавателей, не придавших ей никакого значения, но в тот вечер Муса сказал ей — спокойно и буднично, просто констатируя факт: «Когда-нибудь ты поймешь, почему для меня история началась только сегодня». Тогда она не вполне поняла смысл его слов, но напряжение, с которым они были сказаны, она запомнила навсегда.

— Как поживает королева-мать Керала? — спросил Муса, обращаясь к

вороньему гнезду, в которое превратились волосы Тило.

— Не знаю, я не ездила к ней.

— Ты должна.

— Я знаю.

— Она — твоя мать. Она — это ты, а ты — это она.

— Это чисто кашмирский взгляд. В Индии все по-другому.

— Я не шучу. Я говорю вполне серьезно. Это нехорошо с твоей стороны, бабаджаана. Ты должна поехать к ней.

— Я знаю.

Муса провел обеими руками по спине Тило. То, что началось как ласка, превратилось в медицинское исследование. На какое-то мгновение он превратился в своего подозрительного отца. Он ощупал мышцы ее плеч, рук, спины.

— Откуда все это?

— Тренировка.

Наступило недолгое молчание. Она решила не рассказывать ему о преследовавших ее мужчинах, ломившихся в ее дверь в самые неурочные часы суток, включая и господина Раджендрана, отставного полицейского офицера, занимавшего административный пост в архитектурной фирме, где работала Тило. Он был взят на руководящую должность скорее благодаря своим связям в правительстве, нежели благодаря своим административным талантам. Он откровенно домогался Тило, делал ей непристойные предложения, часто оставлял на ее столе подарки, которые она не принимала. Однако ночами, подогретый алкоголем, он приезжал к дарге Низамуддина и принимался колотить в дверь, крича, чтобы она впустила его. Его наглость подкреплялась уверенностью в том, что если все станет известно руководству, то в глазах общества и в суде его слово перевесит ее показания. У него блестящий послужной список и медаль за храбрость, а она — одинокая женщина, нескромно одетая и курящая сигареты. Ничто не говорило о том, что она из «приличной» семьи, которая сможет за нее заступиться. Тило все это понимала и предприняла меры предосторожности. Если бы господин Раджендран окончательно потерял благоразумие и ворвался бы к ней, то в мгновение ока, сам того не заметив, оказался бы расprostертым на полу.

Она не стала ничего рассказывать, потому что все это казалось грязным и банальным в сравнении с тем, что пришлось пережить Мусе. Она скатилась с него и легла рядом.

— Расскажи мне о Султানে... о *бевакуфе*, из-за которого так расстроился Гульрез. Что это за человек?

Муса улыбнулся.

— Султан? Султан не был человеком. И он не был никаким *бевакуфом* Правда, он был очень умным мальчиком. Это был петушок — петушок-сирота, которого Гуль подобрал маленьким цыпленком. Султан был предан Гульрезу как пес, не отставал от него ни на шаг. Они подолгу беседовали друг с другом, и никто, кроме них, не понимал, о чем они говорят. Они были настоящими друзьями — водой не разольешь. Султан был известен на всю округу. Люди из окрестных деревень приходили посмотреть на него. У него было шикарное оперение — фиолетовое, пурпурное, оранжевое, красное, и он расхаживал по двору, как настоящий султан. Я хорошо его знал... да его все хорошо знали. Он был высокомерен, всегда смотрел на людей так, словно они ему чего-то должны... ну, ты понимаешь? Однажды в деревню явился капитан со своими солдатами... Капитан Джаанбааз — так он себя называл. Не знаю, было ли это его настоящее имя... эти ребята всегда называются вымышленными громкими именами. Они явились не с карательной акцией и не для прочесывания... они пришли просто поговорить с селянами, попугать их, поиздеваться над ними. Ну, в общем, обычное дело. Людей согнали на деревенскую площадь. Гуль-как и Султан тоже были там, в первых рядах. Султан внимательно слушал, как человек, как деревенский староста. У капитана этого был пес. Здоровенная немецкая овчарка на поводке. Закончив свою речь — как всегда, угрозы и нотации, — капитан спустил собаку с поводка и сказал: «Джимми, фас!» Джимми набросился на Султана, загрыз его, а солдаты унесли несчастного петуха себе на обед. Гуль-как был уничтожен. Он целыми днями плакал, как плачут люди по убитым родственникам. Для него Султан и в самом деле был родственником... не меньше. Он был очень расстроен тем, что Султан так легко дал себя убить, что не дрался, не убежал — как будто петух был бойцом, обученным военным хитростям. Гуль проклял Султана и выл: «Если ты не знал, как жить среди военных, то зачем ты вообще родился на свет?»

— Но зачем ты ему об этом напомнил? Это что-то значило?..

— Гуль — мой младший брат, *яар*. Мы носим одну одежду, мы доверяем друг другу жизнь. Я могу во всем положиться на него.

— Это не слишком порядочно с твоей стороны, Муса-куттан. В Индии мы так не поступаем...

— Мы даже поделили имя...

— То есть?

— Меня называют командир Гульрез. Никто не знает меня под именем Мусы Есви.

- Это какой-то гребаный мозготрах.
- Тс-с, в Кашмире мы не употребляем таких слов.
- Мы, в Индии, их употребляем.
- Нам пора спать, бабаджаана.
- Да, в самом деле.
- Но сначала надо одеться.
- Зачем?
- Так положено. Это Кашмир.

После этой случайной вставки сон был решительно невозможен. Тило, одетая, как для выхода на улицу, немного напуганная причинами этого «так положено», но взбодренная любовью и сексом, приподнялась на локте.

- Поговори со мной...
- А как назвать то, что мы делали все это время?
- Мы назовем это предварительным разговором.

Она потерлась щекой о его щетину, а потом легла на спину, положив голову на подушку, рядом с головой Мусы.

- Что я должен тебе рассказать?

Тило зажгла две сигареты.

— Расскажи мне другую историю... страшную и прекрасную... любовную историю. Расскажи мне правдивую историю.

Тило не поняла, почему сказанные ею слова заставили Мусу тесно привлечь ее к себе и почему глаза его странно заблестели — как от слез. Она не поняла смысла произнесенных им вполголоса слов: «Акх далила ванн...»

Потом, держась за Тило так крепко, словно от этого зависела его жизнь, Муса рассказал ей о Джебин, о том, как она настаивала, чтобы ее называли мисс Джебин, о ее требовании к сказкам на ночь и о других ее капризах и озорстве. Рассказал он и об Ариффе, об их первой встрече в магазине канцелярских принадлежностей в Сринагаре.

— В тот день у меня была нешуточная стычка с Годзи по поводу моих новых ботинок. Это были чудесные ботинки — сейчас их носит Гуль-как. Ну вот... Мне надо было купить кое-что из канцелярских принадлежностей, и я надел эти ботинки. Годзи велел мне снять ботинки и надеть нормальные туфли, потому что молодых парней в добротных ботинках часто хватают, как боевиков, — в те времена это было достаточным поводом. Я отказался, и он, в конце концов, сказал: «Делай, что хочешь, но попомни мои слова, из-за этих ботинок ты огребешь массу неприятностей». Он был прав, ботинки на самом деле причинили мне



массу неприятностей и бед, но не тех, каких он ожидал. Магазин, куда я ходил, назывался «Писчебумажные товары Джамму и Кашмира» и находился в Сринагаре, на площади Лал. Я был уже в магазине, когда на улице, у самого входа взорвалась граната. Боевик бросил ее в солдата. У меня чуть не лопнули барабанные перепонки. В окнах магазина вылетели стекла. Товары посыпались с полок. Все дико кричали. Солдаты взбесились — и их можно понять. Они ворвались в магазин и принялись крушить все, что попадалось им под руку и избивать покупателей. Меня сбили с ног. Меня пинали, били прикладами. Помню, что я лежал неподвижно и лишь пытался прикрыть голову. Кровь текла на пол. Мне было больно, правда, не очень, но я был слишком сильно испуган, чтобы пошевелиться. Какая-то собака сидела рядом и сочувственно заглядывала мне в глаза. Когда первое потрясение прошло, я почувствовал какую-то тяжесть на ногах. Я вспомнил о своих новых ботинках и подумал: целы ли они? Поняв, что опасность миновала, я медленно, осторожно поднял голову и посмотрел на свои ноги. Тут я увидел, что к моим ботинкам прижимается хорошенькое личико. Это было похоже на пробуждение в аду, когда вдруг видишь вместо чертей прекрасного ангела. Это была Арифа. Она тоже оцепенела и из страха боялась пошевелиться. Но при этом она сохраняла абсолютное спокойствие. Она не улыбалась и не двигала головой. Она просто посмотрела на меня и сказала: «Асал бут» («Отличные ботинки»). Я не мог поверить в такое хладнокровие. Она не визжала, не вопила, не рыдала и не плакала — она была абсолютно спокойна. Мы рассмеялись. Она только что окончила ветеринарный факультет. Мать была потрясена, когда я сказал ей, что хочу жениться. Она думала, что это не случится никогда, и махнула на меня рукой.

Муса и Тило могли себе позволить такой странный разговор о третьей стороне их любовного треугольника, потому что были одновременно возлюбленными и бывшими возлюбленными, любовниками и бывшими любовниками, однокашниками и бывшими однокашниками. Потому что так сильно доверяли друг другу, что знали — как бы это ни было больно, но тот, кого любил другой, был достоин любви. Они были застрахованы от пошлой ревности этой чудесной спасительной сетью.

Муса показал Тило фотографию мисс Джебин и Арифы, которую носил в бумажнике. На Арифе был жемчужно-серый пхеран с серебряной вышивкой и белый хиджаб. Мисс Джебин держала мать за руку. Девочка была одета в джинсовый комбинезон, на грудке которого было вышито сердечко. Пухлое личико обрамлял заколотый белый хиджаб. Тило долго рассматривала фотографию, прежде чем вернуть ее Мусе. Лицо Мусы на

мгновение сделалось суровым и изможденным. Но он быстро взял себя в руки и рассказал, как умерли Арифа и мисс Джебин. Рассказал он Тило и о майоре Амрике Сингхе, об убийстве Джалиба Кадри и о зловещих извинениях в «Ширазе».

— Я никогда не приму то, что произошло с моей семьей, как только личную трагедию, но я никогда не откажусь и от того, что она моя личная трагедия. Потому что это тоже важно.

Они проговорили почти всю ночь. Через несколько часов Тило вернулась к фотографии.

— Она любила носить платок?

— Арифа?

— Нет, твоя дочь.

Муса пожал плечами.

— Это просто обычай, наш обычай.

— Не знала, что ты такой традиционалист. Получается, что если бы я согласилась выйти за тебя замуж, то мне пришлось бы носить платок?

— Нет, бабаджаана. Если бы ты согласилась выйти за меня замуж, то хиджаб носил бы я, а ты носилась бы по лесам с пистолетом.

Они громко рассмеялись.

— И кто бы служил в моей армии?

— Не знаю, но это точно были бы не люди.

— Эскадрон мотыльков и бригада мангустов...

Тило рассказала Мусе о своей скучной работе и веселой жизни на складе близ дарги Низамуддина. Рассказала и о петухе, нарисованном ею на стене: «Это так странно. Может быть, меня навестил Султан — телепатически. Подходит ли здесь такое слово?» (Это происходило до эры мобильных телефонов, и Тило не могла показать Мусе фотографию петуха.) Она описала своего соседа, фальшивого секс-хакима с нафабранными усами, у дверей которого вечно стоит очередь надеющихся на чудо пациентов, своих друзей, бродяг и попрошаек, с которыми она каждое утро пила чай на улице и которые были уверены, что она работает на местного наркобарона.

— Я смеюсь, но и не отнекиваюсь. Оставляю вопросы без ответа.

— Зачем? Ведь это опасно.

— Нет, как раз наоборот. Они думают, что я под защитой гангстеров, и никто меня не трогает. Давай перед сном читаем стихи. — Это был их старый обычай, со времен колледжа. Один из них открывал книгу наугад. Другой читал стихотворение на открытой странице. Иногда прочитанное имело просто сверхъестественное значение и касалось определенных,

пережитых ими вместе моментов. Они играли в поэтическую рулетку. Тило встала с кровати, порылась в сумке и вернулась с потрепанным томиком Осипа Мандельштама. Муса открыл книгу, и Тило начала читать:

Умывался ночью на дворе, —  
Твердь сияла крупными звездами.  
Звездный луч, как соль на топоре,  
Стынет бочка с полными краями.

— Что значит: бочка стынет? Не знаю... надо посмотреть.

На замок закрыты ворота,  
И земля по совести сурова, —  
Чище правды свежего холста  
Вряд ли где отыщется основа.

Таёт в бочке, словно соль, звезда,  
И вода студёная чернее,  
Чище смерть, солёнее беда,  
И земля правдивей и страшнее.

— Ещё один кашмирский поэт.

— Русский кашмирец, — сказала Тило. — Он умер в сталинском ГУЛАГе. Оду Сталину сочли не слишком искренней.

Она пожалела о прочитанном стихотворении.

Спали они урывками, часто просыпаясь. Незадолго до рассвета полусонная Тило услышала, как Муса снова полощется в душе и чистит зубы (естественно, ее зубной щеткой). Он вышел с причесанными волосами, надел шапочку и пхеран. Потом Тило увидела, как он молится. Прежде она никогда не видела его молящимся. Она села, но это не отвлекло Мусу. Окончив молитву, он подошел к кровати и сел рядом с Тило.

— Тебя это встревожило?

— А должно было встревожить?

— Но это большая перемена...

— Да. Нет. Дай мне подумать.

— Мы не можем победить только телесно, физически. Нам надо

мобилизовать и наши души.

Тило зажгла еще две сигареты.

— Знаешь, что для нас самое трудное? С чем труднее всего бороться? С жалостью. Нам так легко начать жалеть себя... какие ужасные вещи происходят с нашим народом... в каждом доме случилось что-то страшное... но жалость к себе ослабляет, унижает, делает калекой. Мы боремся теперь не столько за Азади, сколько за восстановление нашего достоинства. Мы должны сражаться, даже если нам суждено проиграть. Даже если нам суждено умереть. Но для этого мы как народ — как обычный народ — должны стать сражающейся армией. Для этого нам надо стать проще, зауряднее... все должны думать одинаково, желать одного и того же... мы должны покончить с нашими сложностями, с нашими противоречиями, различиями, с абсурдным индивидуализмом, с нюансами... мы должны стать таким же единомыслящим монолитом, таким же глупым, как армия, с которой мы сражаемся. Но они профессионалы, а мы — просто люди. Это самая худшая, самая страшная часть оккупации... она заставляет нас делать это самим. Эта упрощение, эта стандартизация, это *оглушение*... это подходящее слово?

— Да.

— Это оглушение... это оболванивание... если мы когда-нибудь его добьемся... и будет нашим спасением. Мы станем непобедимыми. Сначала это будет нашим спасением, а потом... когда мы победим, это станет нашей смертельной бедой, нашим заклятым врагом. Сначала Азади, а потом уничтожение. Такая вот вырисовывается картина.

Тило молчала.

— Ты слушаешь?

— Конечно.

— Я выворачиваю наизнанку свое нутро, а ты молчишь.

Она посмотрела на него и прижала большой палец к щербинке между его передними зубами. Он взял ее руку и поцеловал серебряное кольцо.

— Я счастлив, что ты до сих пор его носишь.

— Оно прилипло. Я не смогла бы его снять, даже если бы захотела.

Муса улыбнулся. Они молча курили, а потом Тило взяла пепельницу подошла к окну и выбросила окурки в воду, к другим плававшим в озере окуркам. Прежде чем вернуться к кровати, она посмотрела на небо.

— Я только что поступила плохо. Прости.

Муса поцеловал ее в лоб и встал.

— Ты уходишь?

— Да, за мной приплыла лодка. С грузом шпината, дынь, моркови и

стеблей лотоса. Я буду продавцом продуктов на плавучем рынке. Я буду изо всех сил подрывать конкурентов, свирепо торговаться с домохозяйками. Пользуясь всем этим гвалтом, я благополучно уйду.

— Когда мы снова увидимся?

— К тебе подойдет женщина по имени Хадиджа. Доверься ей и иди туда, куда она тебя поведет. Ты будешь много путешествовать. Я хочу, чтобы ты все увидела, все узнала. Ты будешь в безопасности.

— Когда мы увидимся?

— Раньше, чем ты думаешь. Я найду тебя — худа хафиз<sup>[42]</sup>, бабаджаана.

С этими словами он вышел.

\* \* \*

Утром Гульрез накормил ее кашмирским завтраком. Жестким лавашем с маслом и медом, кахвой без сахара, но с дробленным миндалем, который она пальцами извлекала из шапочки. Ага и Ханум демонстрировали полное отсутствие благородного воспитания — носились взад и вперед по столу, сшибая посуду и рассыпая соль. Ровно в десять пришла Хадиджа со своими двумя юными сыновьями. Они пересекли озеро на шикаре, затем поехали в город на «Марути-800».

В течение следующих десяти дней Тило путешествовала по Кашмирской долине, и каждый раз ее сопровождали разные люди, иногда мужчины, иногда женщины, иногда семьи с детьми. Это было первое дальнее путешествие Тило за последние несколько лет. Она путешествовала на автобусах, на такси с попутчиками, а иногда и на частных машинах. Она посетила туристические мекки, ставшие знаменитыми благодаря индийским фильмам — Гульмарг, Сонмарг, Пахалгам и долину Бетааб, которую на самом деле называли по снятому там фильму. Отели, где некогда проживали кинозвезды, теперь пустовали, коттеджи для новобрачных (где, как шутили сопровождающие, зачинали их угнетателей) были покинуты. Она побывала на лугу, где год назад были похищены шестеро туристов — американцы, британцы, немцы и норвежцы. Они были похищены «Аль-Фараном», новым отрядом боевиков, о котором знали очень немногие. Пятеро были убиты, а одному удалось бежать. Молодой норвежец, поэт и танцор, был обезглавлен, а тело его осталось лежать на Пахалгамском лугу. Перед смертью, пока похитители

перевозили его с места на место, он оставил множество стихов на клочках бумаги, которые сумел передать людям, с которыми ему удалось встретиться по дороге.

Она съездила в долину Лолаб, считавшуюся самым красивым и самым опасным местом в Кашмире. Местные леса кишели боевиками, солдатами и негодяями-«ихванами». Тило гуляла по неведомым лесным тропам близ Рафиябада, подбиравшимся к линии контроля, ходила вдоль поросших травой берегов горных ручьев, из которых она, спустившись с крутого берега на четвереньках, пила, как животное на водопое, ледяную воду, от которой синели губы. Она побывала в деревнях, утопавших в садах и окруженных кладбищами, жила в крестьянских домах. Иногда, без предупреждения, появлялся Муса. Они любили сидеть у огня в пустой каменной хижине, которую гуджарские пастухи использовали летом, когда уводили скот с равнин на горные пастбища. Муса показал Тило дорогу, по которой боевики пересекали границы.

— В Берлине была стена. У нас самые высокие горные хребты в мире. Они не падут, но в них вырубят ступени.

В одном из домов Купвара Тило познакомилась со старшей сестрой Мумтаза Афзала Малика, молодого человека, которому выпало несчастье быть водителем такси, привезшим Салима Годжри, сообщника Амрика Сингха, в лагерь в тот день, когда они оба были убиты. Женщина рассказывала, что, когда тело ее брата было найдено и привезено в деревню, его окоченевшие руки были сжаты в кулаки, в которых была зажата земля, проросшая цветами горчицы.

Тило вернулась в плавучий дом «Шахин» одна. Они с Мусой попрощались небрежно, словно не происходило ничего особенного, словно они расстались на пару часов, чтобы отлучиться по своим делам. Тило быстро усвоила, что небрежность и шутки в Кашмире были убийственно серьезными, а о серьезных вещах часто говорили в шутливом тоне. Они говорили между собой тайным кодом, даже когда в этом не было особой нужды. Именно тогда «ищейка» Амрик Сингх получил свое прозвище Выдра. (Это было не простое созвучие, это была принятая ими шутка. Несмотря на то что Тило без большого почтения относилась к лозунгу «Азади ка матлаб кья? Ла илаха иллаллах», она могла теперь определенно — и совершенно справедливо — считаться врагом государства.) В тот день, когда она вернулась, Гульрез накрыл стол на двоих, и Тило поняла, что приедет Муса.

Он приехал поздно ночью, и вид у него был очень озабоченный. Он

сказал, что в городе большая беда. Они включили радио.

Группа «ихванов» убила мальчика и похитила его тело. В последовавших протестах было убито четырнадцать человек. В перестрелке погибли трое боевиков. Сожжены три полицейских участка. Всего смерть унесла за день восемнадцать человек.

Муса быстро поел и встал, собираясь уходить. Он грубовато попрощался с Гульрезом, а Тило поцеловал в лоб.

— Худа хафиз, бабаджаана. Удачного пути.

Он просил ее оставаться в доме и не провожать его, но она не послушалась и проводила его до самодельной шаткой деревянной пристани, у которой покачивалась на воде гребная лодка, ожидавшая Мусу. Муса перешел в лодку и лег на дно. Лодочник прикрыл его попоной, на которую поставил несколько пустых корзин и положил пару мешков с овощами. Тило смотрела вслед лодке, увозившей любимый груз. Лодка направилась не на противоположный берег, к бульвару, а вдоль плавучих домов, вдаль.

Она чувствовала, что Муса, лежавший на дне лодки под пустыми корзинами, произвел в ее душе необратимые изменения. Она ощущала свое сердце камнем, несущимся с горы в потоке других камней, и это ощущение холодом сдавливало ей грудь.

Она пошла спать, поставив будильник так, чтобы не опоздать на автобус в Джамму. По счастью, она сделала все, как положено в Кашмире, но не потому, что сознавала это. У нее просто не было сил раздеться. Засыпая, она слышала, как Гуль-как, напевая, протирал посуду.

\* \* \*

Проснулась Тило меньше чем через час — не вдруг, не сразу, а постепенно, мало-помалу выплывая из-под слоев сна. Сначала она услышала звук. А потом отметила его исчезновение. Сначала это был рокот моторов, который, казалось, доносился со всех сторон. Потом моторы выключились, и наступила полная тишина.

*Моторные лодки. Много моторных лодок.*

Плавучий дом «Шахин» скрипнул и покачнулся. Немного. Совсем чуть-чуть.

Она уже была на ногах, снедаемая тревогой, когда резная дверь

рухнула под ударами и в спальню ввалились вооруженные солдаты.

То, что происходило в течение следующих нескольких часов, происходило либо слишком быстро, либо слишком медленно. Тило не могла этого определить. Картина была ясной, и звук отчетливым, но ей казалось, что все происходит где-то вдали и не здесь. Чувства затормозились, отстали и болтались где-то позади. Ей заткнули рот, связали руки за спиной, а комнату обыскали. Потом Тило выволокли в коридор, оттуда в столовую. По дороге ее протащили мимо Гуль-кака, лежавшего на полу. Солдаты избивали его ногами и прикладами. Солдат было не меньше десятка.

Где он?

Я не знаю.

Кто ты?

Гульрез. Гульрез. Гульрез Абру. Гульрез Абру.

Каждый раз, когда он отвечал правду, его начинали бить еще сильнее.

Она ощущала его крики всем телом, они проникали в нее. Как стрелы, пронизывали насквозь и уносились вдаль, над гладью озера. Когда глаза Тило привыкли к ночной темноте, она увидела целую флотилию моторных лодок, набитых солдатами. Это было, так сказать, водное прочесывание. Группы лодок выстроились двумя концентрическими дугами. Наружная дуга была составлена из солдат, ведущих наружное наблюдение за озером, а внутренняя дуга состояла из группы поддержки. Солдаты этой группы стояли в лодках и тыкали ножами, привязанными к длинным шестам, — импровизированными баграми — в воду, чтобы убедиться, что человек, которого они ищут, не прячется под водой. (Военные были посрамлены совсем недавним, но уже ставшим легендарным бегством Гаруна Гааде — Гаруна Рыбы, — который сумел уйти даже после того, как команда солдат была уверена, что загнала его в угол, в убежище на озере Вулар. Единственный путь, по которому он мог бежать, пролегал через само озеро, где его уже ждали морские пехотинцы. Однако Гарун Рыба скрылся в воде, просидев несколько часов в клубке водорослей и дыша через бамбуковую трубку. Он смог просидеть там несколько часов до того, как растерянные преследователи устали его искать и убрались восвояси.)

Лодка группы захвата стояла, причаленная к дому, и ждала возвращения солдат с ценной добычей. Операцией руководил высокий сикх в темно-зеленом тюрбане. Тило решила — и совершенно правильно, — что это Амрик Сингх. Ее перетащили в лодку и заставили сидеть смирно. С ней никто не разговаривал. Никто из обитателей соседних плавучих домов не



вышел поинтересоваться, что происходит. Правда, во всех этих домах уже успели побывать небольшие группы солдат.

Через некоторое время из дома выволокли Гульреза. Он не мог идти, и солдаты просто волочили его по палубе. Большая голова, покрытая капюшоном, безвольно наклонилась вперед. Собственно, это был даже не капюшон, а сумка с рекламой риса басмати фирмы «Сурья». Гуль-как молчал. Он был страшно избит. Тило надеялась, что он лишился чувств.

Конвой отправился в том же направлении, куда поплыла лодка с Мусой. Мимо бесконечного ряда темных, пустых плавучих домов, а затем свернул вправо, в тихую заболоченную заводь.

Все молчали, и некоторое время тишину нарушали лишь рокот мотора и жалобное мяуканье, почему-то заставлявшее солдат нервничать. Котенка не было видно, мяуканье, казалось, бесплотной тенью последовало за ними из плавучего дома. Котенок, наконец был найден — это оказалась черно-белая, как арлекин, Ханум. Она пряталась в кармане у Гульреза. Один солдат вытащил кошку из кармана Гульреза и равнодушно швырнул ее в озеро, как будто это был смятый клочок бумаги. Ханум, истошно завывая, выпустив когти и оскалив зубы, словно готовая дать бой всей индийской армии, описала в воздухе дугу, упала в воду и навсегда скрылась под гладью озера. Это был еще один *бевакуф*, не знавший, как жить в оккупации с *минтри*. (Родной брат Ханум — Ага — выжил — то ли в ипостаси коллаборациониста, то ли мирного жителя, то ли моджахеда — история об этом умалчивает.)

Луна поднялась высоко, и сквозь заросли тростника Тило могла легко различить силуэты плавучих домов — много меньших, чем те, что предназначались туристам. Убогое деревянное строение с шатким дощатым настилом — захолустный «торговый центр», куда много лет не заглядывали покупатели, — казалось, плавало в стоячей воде на подгнивших сваях. В этом сарае умещалось все — лавки, аптека, магазин для женщин и несколько мелких ремесленных мастерских. К берегу, представлявшему собой скопление болотистых островков, застроенных полуразрушенными хибарами, были причалены старые гребные лодки. Единственными признаками того, что здесь еще не окончательно угасла жизнь, служили потрескивание настраиваемых приемников и тихая музыка, доносившаяся из темных руин. Моторная лодка, в которой сидела Тило, имела низкую осадку. Эта часть озера заросла тростником до такой степени, что лодка, казалось, продиралась сквозь темный жидкий луг. По воде плавал мусор, оставленный здесь утренним плавучим овощным рынком.

Тило могла думать только о Мусе, о его крошечной лодчонке, которая

проплыла тем же путем всего час назад. На той лодке не было мотора.

«Боже, кто бы ты ни был, притормози нас. Дай ему время уйти. *Притормози притормози притормози притормози*».

Кто-то услышал ее молитву, но едва ли этот кто-то был Богом.

Амрик Сингх, находившийся в той же лодке, что и Тило с Гульрезом, встал и махнул рукой, подавая сигнал другим лодкам двигаться дальше. Когда они проплыли мимо, майор приказал рулевому свернуть влево, в узкую протоку, сквозь которую им пришлось буквально продираться, раздвигая густой тростник. Через десять минут этого пути они вышли на открытую воду и снова повернули влево. Рулевой заглушил мотор, и лодка причалила к топкому берегу. То, что произошло дальше, было, по-видимому, вполне заученным действием. Не потребовалось никаких инструкций. Гульреза вытащили из лодки и по воде выволокли на берег. Один солдат остался в лодке с Тило. Остальные, включая Амрика Сингха, пошли на берег. Из лодки Тило видела очертания полуразрушенного дома. Крыша дома обвалилась, и луна светила сквозь сито стропил, нависавших угрюмой тенью над озером. Свет был похож на сверкающее сердце, заключенное в угловатую грудную клетку.

Раздался выстрел, а потом взрыв гранаты, вспугнувший гнездившихся на земле птиц. На мгновение небо заполнили цапли, бакланы, чибисы, зуйки, кричавшие так, словно наступил день. Но это было лишь представление, которое сразу и окончилось. Птицы успокоились и вернулись на землю. Неурочные часы шума и необычные звуки Оккупации были теперь для птиц самым обыкновенным делом, привычной рутинной. Когда солдаты вернулись, Гульреза с ними не было. Вместо него они принесли тяжелый бесформенный мешок, который с трудом волокли два человека.

Так пленник, покинувший лодку под именем Гуль-как Абру, вернулся в нее в виде останков страшного боевика и террориста Гульреза, чья поимка и убийство принесут убийцам триста тысяч рупий.

Итак, жатва за сутки — восемнадцать трупов плюс один.

Амрик Сингх уселся в лодке напротив Тило. «Кто бы вы ни были, вы обвиняетесь в пособничестве террористам. Но мы не причиним вам вреда, если вы все нам расскажете. — Он говорил очень вежливо и на хинди. — Подумайте. Но нам нужны все подробности. Откуда вы его знаете. Где вы были, с кем встречались. Расскажите все, что вы знаете. Думайте, я не стану вас торопить. Помните, однако, что мы и так знаем эти подробности,

и я спрашиваю о них только для того, чтобы проверить вас. Вы нам ничем не поможете, вы просто сможете оправдаться».

Те же бездонные, пустые, черные глаза, которые притворились смеющимися, когда майор притворился, что забыл пистолет в доме Мусы, теперь в упор смотрели на Тило в этом залитом лунным светом болоте. Этот взгляд будоражил кровь, вызывал немую ярость, упрямство, желание покончить с собой и с этим кошмаром и глупую решимость молчать — молчать, чего бы это ни стоило.

К счастью, ее не стали проверять; до этого не дошло.

Последний отрезок пути лодка преодолела минут за двадцать. Под деревом их ждали бронированный джип и открытый армейский грузовик. Машины должны были отвезти всех в «Шираз». Перед тем как усадить Тило в машину, Амрик Сингх вытащил у нее изо рта кляп, но руки оставил связанными.

В фойе кинотеатра, который даже в этот час гудел, как растревоженный улей, Тило передали с рук на руки следователю Розочке, которую подняли с постели ради такого необычного арестанта. Правда, арест даже не удосужились зарегистрировать и у Тило даже не спросили, как ее зовут. Розочка повела ее мимо буфетной стойки, на которой девять месяцев назад Муса оставил бутылку «Ред-Стага», мимо рекламных постеров закусок и сладостей. Потом они преодолели лабиринт из тел недавно доставленных связанных и избитых людей, мимо бетонных урн в виде кенгуру, вошли в бывший зрительный зал, миновали импровизированную площадку для игры в бадминтон, вышли через дверь рядом с экраном и оказались во внутреннем дворе. Тило услышала несколько сказанных ей в спину непристойностей, пока она и Розочка шли к главному центру дознаний «Шираз».

Это было отдельно стоявшее строение — неприметный, длинный прямоугольный ангар, выделявшийся лишь отвратительным запахом. Запах мочи и пота смешивался с тошнотворно-сладковатым запахом старой крови. Над входом висела табличка — «Центр дознаний», но на самом деле это был пыточный центр. В Кашмире «дознание» было эвфемизмом. Был «допрос», когда следователи обходились затрещинами и пинками, а было «дознание», которое не обходилось без пыток.

В комнате, куда Розочка привела Тило, была одна дверь, но не было ни одного окна. Следователь Розочка подошла к стоявшему в углу столу, извлекла из ящика несколько листов бумаги, ручку и бросила все это на стол.

— Не будем отнимать друг у друга время. Пиши. Я вернусь через

десять минут.

Она развязала Тило руки и вышла, заперев за собой дверь.

Тило подождала, когда пройдет онемение в руках, а в пальцах восстановится кровообращение, прежде чем взять ручку. Три попытки начать писать успехом не увенчались. Руки дрожали так сильно, что Тило была не в состоянии прочесть написанное. Она закрыла глаза и заставила себя вспомнить дыхательные упражнения. Это помогло. Она вполне отчетливо написала:

Прошу вас позвонить господину Биплабу Дасгупте,  
заместителю отдела «Индия Bravo»

Передайте ему сообщение: Г-А-Р-С-О-Н Х-О-Б-А-  
Р-Т

Ожидая возвращения Розочки, Тило осмотрела помещение. На первый взгляд оно выглядело как заурядная мастерская: пара столярных верстаков, молотки, отвертки, плоскогубцы, шпагат, каменные или бетонные цилиндры, трубки, таз с грязной водой, канистры с бензином, металлические воронки, провода, электрические распределительные щиты, мотки проволоки, штыри разных размеров, пара лопат и ломы.

На полке стоял кувшин с молотым жгучим красным перцем. Пол был усеян окурками. За прошедшие десять дней Тило успела узнать достаточно для того, чтобы понимать, что эти вполне заурядные вещи использовали здесь отнюдь не заурядно.

Она знала, что каменные катки были излюбленным орудием пытки в Кашмире. Человека растягивали на полу, а потом прокатывали по нему тяжелые бетонные цилиндры, буквально раздавливая мышцы. Очень часто такой метод дознания кончался острой почечной недостаточностью. Таз с водой предназначался для пыток утоплением, плоскогубцы — для выдиранья ногтей, провода — для прикладывания к мужским гениталиям, красный перец обычно засыпали в задний проход или разбалтывали в воде и заливали в горло. (Много лет спустя другая женщина, Лавлин, жена Амрика Сингха, выкажет доскональное знание этих методов в заявлении о предоставлении убежища в США. Этот пыточный набор был предметом ее полевых исследований, но посещала она это место не как жертва, а как законная супруга главного заплечных дел мастера, устроившего для жены познавательную экскурсию.)

Следователь Розочка вернулась в «кабинет» вместе с майором Амриком Сингхом. Тило сразу поняла, по интонациям и жестам, что их связывают не только служебные отношения. Следователь Розочка взяла со стола лист бумаги и вслух прочла написанное Тило. Читала она медленно и с видимым трудом. Да, видимо, умение читать было ее не самой сильной стороной. Амрик Сингх вырвал у нее листок и сам прочитал текст. Тило отметила, как изменилось выражение его лица.

— Кто он вам, этот Дасгупта?

— Друг.

— Друг? Со сколькими же мужиками ты трахаешься одновременно? — подала голос Розочка.

Тило промолчала.

— Я задала тебе вопрос. Со сколькими мужчинами ты трахаешься одновременно?

Молчание Тило спровоцировало следователя Розочку на длинную тираду, в которой Тило уловила множество ожидаемых оскорблений («черная», «шлюха» и «джихадистка»). После этого Розочка еще раз повторила вопрос. Молчание Тило не имело ничего общего ни с мужеством, ни со стойкостью. У нее просто не было иного выбора. Кровь в жилах остановилась.

Следователь Розочка заметила кривую ухмылку на лице Амрика Сингха — в какой-то мере он, можно сказать, испытывал восхищение перед такой демонстративной непокорностью. Она прочитала в этом выражении все, и это наполнило ее гордостью за свою проницательность. Амрик Сингх вышел с листком в руке. В дверях он обернулся и сказал:

— Узнайте, что сможете, но никаких следов. Она указала в записке имя весьма высокопоставленного офицера. Я хочу все выяснить. Наверное, какой-нибудь вздор. Но пока не выясню — никаких следов.

«Никаких следов». Легко сказать. Это была большая проблема для следователя Розочки. У нее не было опыта в делах такого рода, потому что она не была опытным палачом. Этому ремеслу она училась на ходу, урывками, во время рейдов и облав, и «никаких следов» была любезность, которая не распространялась на кашмирцев. Она не поверила, что распоряжение Амрика Сингха было продиктовано упоминанием в записке высокого начальства. Она видела выражение глаз майора и поняла, что эта женщина ему понравилась. Необходимость сдерживаться и проглотить оскорбление своего достоинства не помогала умерить злобу. Пощечины и пинки (которые укладывались в категорию «допрос») нисколько не помогли делу; ответом по-прежнему было глухое молчание.

Амрику Сингху потребовалось около часа, чтобы найти Биплаба Дасгупту и поговорить с ним по горячей линии, связывавшей Сринагар с лесным гостевым домом. Сам факт, что этот человек входил в свиту губернатора во время его отлучек на выходные дни, уже вселял немалую тревогу. Эта женщина действительно была знакома с Дасгуптой, причем хорошо знакома. Заместитель начальника разведывательного бюро в Кашмире отлично понял, кто такой Г-А-Р-С-О-Н Х-О-Б-А-Р-Т. Но хищник Амрик Сингх сразу учуял в голосе Дасгупты колебания и даже некоторую неуверенность. Амрик понимал, что может поиметь крупные неприятности, но пока было не поздно поправить дело, просто отпустив женщину, не причинив ей никаких увечий. Место для маневра еще оставалось. Он поспешил в центр дознания, чтобы предотвратить непоправимое. Он немного опоздал, но очень ненамного.

Следователь Розочка нашла весьма эффектный способ обойти запрет на физическое воздействие. Она вспомнила о старинном, проверенном веками наказании для женщин, которым следовало преподать хороший урок. Ее мстительность имела очень мало общего с контртеррористической операцией или с Кашмиром — если, возможно, не считать, что все происходило в настоящем рассаднике антисанитарии.

Парикмахер армейского лагеря Мохаммед Субхан Хаджам уже собирался уходить, когда в комнату ворвался Амрик Сингх.

Тило сидела на деревянной скамье со связанными ремнем руками. Длинные волосы лежали на полу. Кудри, разбросанные по помещению, уже не принадлежали Тило, смешавшись с грязью и сигаретными окурками. Состригая волосы с ее головы, Субхан Хаджам непрерывно шептал ей в ухо: «Простите, мадам, простите».

Между Амриком Сингхом и следователем Розочкой произошла размолвка, едва не закончившаяся бурной сценой. Розочка надулась и дерзила.

— Покажите мне закон, запрещающий короткую стрижку.

Амрик Сингх развязал Тило руки и помог ей встать. Он сделал вид, что стряхивает с ее плеч упавшие волосы, и положил огромную ладонь ей на стриженую голову — благословение мясника. Тило потребовалось несколько лет, чтобы пережить неприятность этого прикосновения. Амрик послал солдата за балаклавой, чтобы Тило могла прикрыть обезображенную голову. Пока солдат отсутствовал, Амрик Сингх говорил:

— Прошу прощения за произошедшее. Этого ни в коем случае не должно было случиться. Мы решили вас освободить. Но что сделано, то сделано. Вы будете молчать, и я буду молчать. Если я заговорю, то у вас и

вашего друга офицера могут начаться большие неприятности. Сотрудничество с террористами — это нешуточное обвинение.

Принесли балаклаву и небольшую жестянку с тальком. Амрик Сингх посыпал тальком поцарапанную голову Тило. Балаклава воняла протухшей рыбой, но Тило покорно позволила надеть ее на себя. Они вышли из центра дознаний, пересекли двор и по пожарному выходу вошли в маленький кабинет. Он был пуст. Амрик Сингх сказал, что это кабинет Ашфака Мира из группы специальных операций, заместителя начальника лагеря. Сейчас он на выезде, но скоро вернется, чтобы передать Тило с рук на руки человеку, которого пришлет Биплаб Дасгупта-сэр.

Тило вежливо отказалась от предложенного Амриком чая и даже от воды. Он оставил ее одну в комнате, явно радуясь, что эта глава его карьеры благополучно завершилась. С тех пор она его не видела, если не считать утра одного дня шестнадцать лет назад, когда Тило, раскрыв газету, прочитала, что Амрик Сингх покончил с собой, застрелив предварительно свою жену и троих детей в небольшом американском городке. Очень трудно было найти что-то общее между круглым, жирным, гладко выбритым лицом человека с испуганными глазами, изображенного на фотографии, и лицом человека, убившего Гуль-кака, а затем заботливо присыпавшего ее голову тальком.

Она ждала в кабинете, глядя на белую доску со списком имен, против большинства которых стояла пометка (убит), (убит), (убит), и на постер, гласивший:

Мы следуем своим законам  
Свирепы и дики  
Смертоносны в любой форме  
Усмирители приливов  
Играем мы с бурями  
И, да, вы правы  
Мы  
Люди в форме.

Только через два часа в кабинет вошел Нага в сопровождении бодрого и жизнерадостного Ашфака Мира, окруженного густым облаком одеколонного аромата. Потребовался еще час для того, чтобы Ашфак Мир закончил свой спектакль с раненым лашкарским боевиком, омлетами и кебабами, а затем приступил к церемонии передачи пленницы. Пройдя все

эти ритуалы, по дороге в отель «Ахдус», когда Нага держал ее за руку, Тило не могла думать ни о чем другом, кроме головы Гуль-кака, болтавшейся в мешке из-под риса басмати (по какой-то необъяснимой причине Тило казались наиболее унижительными висевшие под подбородком Гульреза ручки сумки), и Мусы, лежавшего на дне лодки под пустыми корзинами и уплывавшего в неизвестность.

Нага предусмотрительно забронировал в гостинице отдельный номер. Он спросил, не хочет ли она, чтобы он остался с ней («исключительно по дружбе», как он сказал). Она сказала «нет», и он обнял ее и вышел, оставив на прощание две снотворные таблетки. («Или ты хочешь перекусить?») Он позвонил и велел принести в номер два ведра горячей воды. Тило была глубоко тронута его заботой — его добросердечностью, с которой она раньше никогда не сталкивалась. Нага оставил ей две выглаженные рубашки и брюки, на случай, если она захочет переодеться, и предложил вместе улететь ближайшим рейсом в Дели. Тило сказала, что утром скажет об этом. Она понимала, что не сможет никуда уехать, прежде чем не узнает, что произошло с Мусой. Она просто не могла это сделать. И еще она знала, что Муса подаст о себе весть. Каким-то образом он должен был сообщить ей, что он жив. Она лежала на кровати с открытыми глазами, боясь даже моргать, опасаясь, что даже в этот краткий миг ее смогут обступить призраки. Часть ее существа хотела вернуться в «Шираз» и подраться со следователем Розочкой. Это было сродни желанию ответить на замечание остроумной репликой, пришедшей в голову на следующий день, когда уже поздно что-либо говорить, — как говорится, после драки кулаками не машут. Это выглядело бы дешево и глупо. Розочка была всего-навсего жестокой и глубоко несчастной женщиной. Она не Выдра, не машина для убийства, так зачем вынашивать планы мести и мучиться от бесплодных фантазий?

Она скучала по своим волосам. Никогда уже не вырастут они такими длинными. Это память о Гуль-каке.

В десять часов утра в дверь едва слышно постучались. Тило подумала, что это Нага, но оказалось, что пришла Хадиджа. Они были едва знакомы, но в мире не было теперь никого другого (если не считать Мусу), кого Тило была бы так рада видеть. Хадиджа в нескольких словах объяснила, как она нашла Тило: «У нас тоже есть свои люди». На этот раз своими людьми оказались рулевой одной из армейских лодок, люди из соседнего плавучего дома и многие другие, находившиеся по пути следования группы, которые передавали информацию практически в режиме реального времени. Своим человеком оказался и парикмахер из «Шираза» Мохаммед Субхан Хаджам.



В отеле «Ахдус» своим человеком был посыльный.

Хадиджа принесла, кроме того, последние новости. Армия объявила о поимке и ликвидации опасного боевика командира Гульреза. Муса в это время находился в Сринагаре. Он придет на похороны. Боевики нескольких групп произведут ружейный салют на могиле командира Гульреза. Для них это будет безопасно, потому что на улицах в это время будут десятки тысяч людей и армия постарается избежать нового массового кровопролития. Тило пойдет с Хадиджей в один надежный дом в Кханках-э-Мула, где увидится с Мусой после похорон. Он сказал, что это очень важно. Хадиджа принесла Тило новую одежду — шальвары, камиз, пхеран и желто-зеленый хиджаб. Деловитость и будничность слов и дел Хадиджи выдернули Тило из трясины жалости к себе, в которую она погрузилась почти с головой. Все испытания прошлой ночи в Кашмире считаются нормой жизни.

Принесли горячую воду. Тило вымылась и переделалась в новую одежду. Хадиджа показала ей, как правильно застегнуть хиджаб, чтобы он обрамлял лицо. В хиджабе у нее был очень аристократический вид — она стала похожа на эфиопскую царицу. Тило понравилось, как она выглядит, хотя она предпочла бы сохранить волосы. Под дверь номера Наги она просунула записку, в которой писала, что вернется к вечеру. Женщины вышли из гостиницы, сели в машину и погрузились в водоворот улиц, которые оживали только во время погребения мертвецов.

Город Похорон в такие моменты внезапно просыпался, становясь энергичным и оживленным. Все вокруг двигалось и крутилось. Улицы превращались в притоки, ручьи и маленькие речки людей, стекавшие к устью — к Мазар-э-Шохада. Маленькие группы, большие группы, люди из Старого города, люди из нового города, из деревень и из других городов — все они стремительно собирались к кладбищу. Даже в самых узких проулках группы мужчин, женщин и даже детей громко скандировали: «Азади! Азади!» Какие-то молодые люди устанавливали на улицах бочки с водой и лотки с едой для тех, кто приехал издалека и не успел поесть. Распределяя еду и воду, глотая воду и еду, люди, подчиняясь слышному только им ритму, продолжали выкрикивать: «Азади! Азади!»

Казалось, у Хадиджи намертво отпечаталась в голове карта улочек города. Это произвело громадное впечатление на Тило (сама она не обладала такими способностями). Они сделали большой крюк. Скандирование толпы «Азади! Азади!» — неслось над городом словно гром, предвещавший бурю. (Гарсон Хобарт, сидевший в это время в Дачигаме со свитой губернатора и лишенный возможности вернуться в город до того, как все успокоится, слышал именно этот гром в телефонной

трубке, когда разговаривал с секретарем.) Через девять месяцев после похорон мисс Джебин это были вторые похороны. На этот раз гробов было девятнадцать. Один из них — пустой, потому что «ихваны» похитили тело убитого мальчика. Еще один гроб был наполнен изуродованными кусками тела маленького человека с изумрудными глазами, которому скоро предстояло встретиться на небесах с его любимым *бевакуфом* Султаном.

— Я хотела бы присутствовать на похоронах, — сказала Хадидже Тило.

— Это можно, но риск очень велик. Мы можем опоздать. Кроме того, нам не удастся подойти близко, потому что женщин не пускают к могиле. Мы можем пойти туда позже, когда схлынет толпа.

*Женщин не пускают к могиле. Женщин не пускают к могиле. Женщин не пускают к могиле.*

Ради чего — чтобы защитить могилы от женщин или женщин — от могил?

Тило не стала спрашивать.

Через сорок пять минут езды по обходным улочкам Хадиджа припарковала машину, и они быстро пошли по лабиринту кривых переулков в тот район города, все части которого были соединены друг с другом по земле, под землей и в воздухе, по вертикали и горизонтали, посредством улиц, переходов через крыши и подземных ходов. Это был единый организм — как коралловый риф или муравейник.

— Эта часть города все еще наша, — сказала Хадиджа. — Армия сюда не суется.

Через низкий деревянный проход они вошли в голую, устланную зелеными коврами комнату. Их встретил не улыбающийся молодой человек, жестом предложивший им войти. Он торопливо провел их через две комнаты, а когда они вошли в третью, он открыл дверцы, которые можно было принять за дверцы шкафа. Оказалось, что это выход на крутую винтовую лестницу, ведущую в подвал. Тило вслед за Хадиджей спустилась по ступенькам. В комнате, куда они попали, не было мебели. На полу были постелены два матраса и лежали несколько подушек. На стене висел календарь двухгодичной давности. В углу Тило увидела свой рюкзак. Кто-то взял его в плавучем доме и смог передать сюда. По лестнице вслед за ними спустилась молоденькая девушка и расстелила на полу кружевную скатерть. Потом явилась пожилая женщина. Она принесла поднос с чайником, чашками и блюдами с сухариками и сочным пирогом. Поставив все это на дастархан, она обхватила ладонями лицо Тило и поцеловала ее в

лоб. Слов было сказано мало, но и мать, и дочь остались в комнате.

Когда Тило покончила с чаем, Хадиджа взбила матрас.

— Спи, ему потребуется еще два или три часа, чтобы добраться сюда.

Тило легла, и Хадиджа укрыла ее пледом. За следующие несколько лет они стали очень близкими подругами. Тило закрыла глаза. Бормотание женских голосов, произносивших непонятные Тило слова, действовало успокаивающе, как бальзам.

Она еще спала, когда пришел Муса. Он сел, скрестив ноги, рядом с Тило и думал о том, как было бы хорошо разбудить ее в каком-нибудь более прекрасном мире. Он знал, что увидит ее теперь очень нескоро. Да и то, если повезет.

Времени было в обрез. Он должен был уйти, пока на улицах много людей. Он нежно разбудил Тило.

— Просыпайся, бабаджаана.

Она открыла глаза и притянула его к себе. Подчиняясь, Муса улегся на матрас рядом с Тило. Они долго молчали — говорить было не о чем, абсолютно не о чем.

— Я только что вернулся со своих похорон. Самолично дал двадцать один ружейный залп над собственной могилой, — сказал Муса.

Потом шепотом, потому что стоило ей заговорить громче, как голос ломался под тяжестью вещей, о которых она говорила, Тило рассказала Мусе обо всем, что произошло. Она не забыла ничего, не упустила ни одной детали, ни одного звука, ни одного чувства, ни одного услышанного или сказанного слова.

Муса поцеловал ее в голову.

— Они сами не понимают, что наделали. Вообще не понимают.

Настало время прощания.

— Бабаджаана, слушай меня внимательно. Вернувшись в Дели, ты ни в коем случае не должна оставаться одна, это очень опасно. Держись друзей... может быть, Наги. Ты возненавидишь меня за эти слова, но тебе надо либо выйти замуж, либо уехать к матери, хотя бы на некоторое время. Тебе нужно прикрытие. По крайней мере до тех пор, пока мы не разберемся с Выдрой. Мы победим в этой войне и тогда будем вместе — ты и я. Я надену твой хиджаб (хотя он очень тебе к лицу), а ты возьмешь в руки оружие, ладно?

— Ладно.

Конечно, все вышло совсем не так.

Уходя, Муса вручил Тило запечатанный конверт.

— Не вскрывай его сейчас. Худа хафиз!

В следующий раз они встретились через два года.

Солнце еще не село, когда Хадиджа и Тило пришли на кладбище Мазар-э-Шохадда. Могила командира Гульреза стояла особняком. Холм был окружен бамбуковой оградой, украшенной серебряной и золотой мишурой. Над холмом был водружен зеленый флаг. Временный памятник любимому борцу за свободу, пожертвовавшему своим сегодня ради завтра своего народа. В отдалении стоял какой-то мужчина и смотрел на могилу. По его щекам струились слезы.

— Это бывший повстанец, — вполголоса сказала Хадиджа. — Он много лет просидел в тюрьме. Несчастный, он оплакивает не того человека.

— Может быть, и нет, — возразила Тило. — Весь мир должен оплакивать Гуль-кака.

Они рассыпали лепестки роз на могиле Гуль-кака и зажгли свечу. Хадиджа нашла могилу Арифы и мисс Джебин Первой, и там они тоже рассыпали лепестки и зажгли свечу. Хадиджа прочитала эпитафии на могиле мисс Джебин и перевела их для Тило:

МИСС ДЖЕБИН

2 января 1992 года — 22 декабря 1995 года

Любимая дочь Арифы и Мусы Есви

Ниже была еще одна, почти закрытая травой надпись:

Акх далила ванн

Йетх манз не кахн балай ааси

Ноа аэс сох кунни джунглас манз роазаан

Хадиджа перевела надпись, но ни она, ни Тило не поняли истинного смысла эпитафии.

Тило сразу, против своей воли, вспомнила последние строчки стихотворения Мандельштама, которое она прочитала Мусе (о чем сейчас очень жалела).

Чище смерть, соленее беда,

И земля правдивей и страшнее.

Они вернулись в «Ахдус». Хадиджа не ушла до тех пор, пока не убедилась, что Тило вошла в свой номер. Когда Хадиджа ушла, Тило позвонила Наге и сказала, что вернулась и теперь собирается спать. По непонятной ей самой причине она помолилась (неведомому ей самой богу) и вскрыла конверт, который ей дал Муса.

В конверте она нашла рецепт на ушные капли и фотографию Гуль-кака. Он был в рубашке цвета хаки, в полевой военной форме, асал-бутах Мусы и улыбался в камеру. На нем была добротная амуниция — кожаная портупея, а на поясе кобура. Он был вооружен до зубов. В каждом подсумке лежал стручок зеленого перца, а в кобуру был засунут пучок сочной белой редиски.

На обороте фотографии Муса написал: «Наш дорогой командир Гульрез».

Среди ночи Тило постучала в дверь номера Наги. Он открыл и обнял Тило. Они провели ночь в невинных объятиях друг друга.

\* \* \*

Тило проявила беспечность.

Она вернулась из Долины Смерти, неся в чреве новую, крошечную жизнь.

Они с Нагой были женаты уже два месяца, когда Тило обнаружила, что беременна. Их брак, как говорится, еще не вступил в силу. Поэтому Тило прекрасно понимала, кто отец ребенка. Она думала, не стоит ли пройти и через это испытание, а почему бы и нет? Это был бы Гульрез, если бы родился мальчик, или Джебин, если бы родилась девочка. Тило с трудом могла представить себя в роли матери и еще меньше в роли невесты, хотя она и на самом деле была невестой. Она сделала это и осталась жива. Так почему бы и не родить ребенка?

Решение, которое она в конце концов приняла, не имело никакого отношения к чувствам к Наге и не касалось любви к Мусе. Это решение было более грубым и первобытным. Она очень боялась, что маленький человек, которого она произведет на свет, будет брошен в тот же океан, полный странных и страшных рыб, в каком оказалась она сама в отношениях с матерью. Она не верила, что окажется лучшей родительницей, чем Марьям Ипе. Она очень трезво оценивала себя, понимала, что как мать она гораздо хуже, и не желала своим присутствием

портить жизнь будущему ребенку. Она не хотела также, чтобы в мир явилась ее копия.

Проблема была в деньгах. У нее были кое-какие деньги, но очень немного. За длительный прогул ее уволили с работы, а найти другую она пока не смогла. Она не хотела просить Нагу дать ей денег. В результате она пошла в государственный госпиталь.

Приемное отделение было битком набито расстроенными женщинами, которых мужья за бесплодие выгнали из дома. Жены пришли сюда, чтобы пройти тест на фертильность. Когда эти женщины узнали, что Тило пришла для медицинского прерывания беременности, как по-научному называют аборт, они не стали скрывать своей враждебности и отвращения. Врачи тоже не одобрили решение Тило. Она бесстрастно слушала их нравоучения. Когда же она твердо дала понять, что не поменяет свое решение, ей сказали, что не смогут провести общую анестезию, если никто не подпишет согласие на нее и не будет присутствовать во время манипуляции. Желательно, чтобы это был отец ребенка. Тило сказала, что обойдется без анестезии. От боли она потеряла сознание и очнулась уже в палате. На койке она лежала не одна. Рядом лежал ребенок с болезнью почек и не умолкая кричал от боли. На каждой койке лежали двое больных. Некоторые пациенты лежали на полу, многочисленные посетители и родственники тоже выглядели больными. Врачи и медсестры торопливо прокладывали себе путь в этом невообразимом хаосе. Больница напоминала полевой госпиталь во время боевых действий. Правда, в Дели не было войны, если не считать не прекращавшейся ни на минуту войны богатых против бедных.

Тило встала, и, пошатываясь, вышла из палаты. Она заблудилась в грязных коридорах госпиталя, забитого больными и умирающими. На первом этаже она спросила какого-то невзрачного человека со словно взятыми напрокат чужими бицепсами, где находится выход. Дверь, которую показал ей человек, вывела Тило во двор больницы, к моргу, а дальше к заброшенному и пришедшему в запустение мусульманскому кладбищу.

С ветвей огромных старых деревьев свисали крыланы, словно флаги, брошенные после демонстрации протеста. Вокруг не было ни души. Тило уселась на разбитую могилу и попыталась сориентироваться.

На кладбище на старом дребезжащем велосипеде въехал тощий лысый мужчина в красном официантском кителе. К багажнику велосипеда был прижат букетик ноготков. Подъехав к одной из могил, он спешил и, держа в руках букет и тряпку, подошел к надгробному камню. Вытерев

пыль, он положил букет на могилу, молча постоял возле нее, а потом сел на велосипед и торопливо уехал.

Тило подошла к могиле. Это была единственная, насколько можно было судить, могила, надпись на плите которой была сделана по-английски. Могила принадлежала бегум Ренате Мумтаз-мадам, танцовщице из Румынии, умершей из-за разбитого сердца.

Человеком, принесшим цветы на ее могилу, был Рошан Лал, у которого был в тот день выходной в баре «Розовый бутон». Тило познакомится с ним через семнадцать лет, когда снова придет на это кладбище с мисс Джебин Второй. Конечно, она его не узнает. Не узнает она и кладбище, потому что к тому времени оно перестанет быть заброшенным местом упокоения забытых мертвецов.

Когда Рошан Лал уехал, Тило улеглась на могилу бегум Ренаты Мумтаз-мадам. Немного поплавав, она уснула. Проснувшись, она почувствовала себя лучше. Надо было идти домой, готовиться к остатку жизни.

Ее ждали еженедельные обеды на первом этаже в обществе посла Шивашанкара и его жены, чьи взгляды на все, включая Кашмир, заставляли ее руки дрожать, а нож и вилку звенеть о тарелку.

Оглушение материка набирало скорость и принимало невиданные масштабы, и для этого даже не потребовалась оккупация.

## 10. Министерство наивысшего счастья

*Менялись времена  
года. О. М. говорил:  
«Это тоже  
путешествие, и его  
нельзя отнять»...<sup>[43]</sup>*

*Надежда  
Мандельштам*

По бедным кварталам быстро разнеслась весть о том, что на кладбище поселилась какая-то умная женщина. Родители со всей округи наперебой старались записать своих детей в классы, которые Тило вела на постоялом дворе «Джаннат». Ученики называли ее Тило-мадам, а иногда Устаниджи («учительница», на урду). Тило скучала по песне, которую пели ученики в школе напротив ее предыдущего дома, но не стала учить своих подопечных петь «Мы преодолеем» ни на каком языке, потому что не была уверена, что этим мальчикам и девочкам в ближайшем будущем светит это самое преодоление. Вместо этого она учила детей арифметике, рисованию, компьютерной графике (на старых, выдавших всякие виды компьютеров, купленных ею по дешевке в захудалом комиссионном магазине), основам естествознания, английскому языку и эксцентричности. У детей она училась урду и особого рода счастью. Она работала как вол целыми днями и впервые в жизни стала спокойно спать по ночам. (Мисс Джебин Вторая спала с Анджум.) С каждым следующим днем Тило все меньше и меньше ощущала себя частью «пожиток» Мусы. Она так и не съездила на квартиру, которую покинула, хотя каждый день давала себе обещание сделать это завтра. Она не сделала этого даже после того, как Анджум и Саддам Хусейн, побывавшие на квартире (из любопытства посмотреть, как жила женщина, внезапно свалившаяся им на голову), передали Тило послание от Гарсона Хобарта. Тило продолжала исправно платить за квартиру, считая, что должна это делать до тех пор, пока не вывезла оттуда все свои вещи. Прошло несколько месяцев, от Мусы не было никаких вестей, и Тило передала ему письмо через торговца фруктами, который привез ей «пожитки» Мусы. Но ответа она не получила. Правда, тяжкий груз



постоянного ожидания известия о его смерти стал меньше давить ей на плечи. И не потому, что она стала меньше любить Мусу, но потому, что потрепанные ангелы кладбища, охранявшие своих потрепанных подопечных, приоткрыли для Тило дверь между двумя мирами (немного, чуть-чуть, на маленькую щелочку) и души живых и умерших могли слиться, как гости, пришедшие на общий званый вечер. Это смешение сделало жизнь менее предопределенной, а смерть не столь окончательной.

Вдохновленный успехами Тило на педагогическом поприще, устэд Хамид снова начал учить перспективных, по его мнению, детей пению. Анджум посещала все эти уроки, словно молитвенные собрания. Сама она не пела, но тихо подпевала, как бывало в те времена, когда она пыталась приохотить к пению Бандикута, упрямую Зайнаб. Зайнаб начала проводить на кладбище свободные дни, вечера и даже ночи под предлогом помощи в воспитании мисс Джебин Второй, которая все больше озорничала и отбивалась от рук из-за того, что ее баловали все кому не лень. Правда, истинной причиной (которая была видна всем) был сумасшедший роман между Зайнаб и Саддамом Хусейном. К этому времени Зайнаб окончила политехнический колледж и стала маленькой пухленькой портнихой, подгонявшей наряды модниц по фигуре. Она унаследовала все модные журналы Ниммо Горакхпури, а также получила щипцы, фены, косметику и прочие важные вещи, которые были сложены в комнату Тило перед ее приездом. Негласным объяснением в любви послужил один забавный эпизод, когда Зайнаб выкрасила алым лаком ногти на руках и ногах Саддама. Оба радостно хихикали, а Саддам Хусейн не смывал лак до тех пор, пока он не отшелушился сам.

Зайнаб и Саддам превратили кладбище в зоопарк, а точнее, в Ноев ковчег для раненых и больных животных. Здесь жил молодой павлин, который не мог летать, и старая павлиниха (возможно, его мать), которая ни на шаг от него не отходила. Были здесь и три старые коровы, которые целыми днями спали. Однажды Зайнаб приехала на такси и привезла с собой несколько клеток, набитых тремя дюжинами волнистых попугайчиков, зачем-то выкрашенных люминесцентными красками. Зайнаб купила их в припадке гнева у торговца, который, сложив клетки на багажнике своего велосипеда, продавал птиц с колес в Старом городе. Они такие яркие, их ни в коем случае нельзя выпускать на волю, сказал Саддам Хусейн: тотчас же привлекут хищников. Саддам построил для птичек высокую просторную клетку, которая накрывала целых две могилы. Попугайчики радостно резвились в своем новом жилище, сверкая по ночам, как жирные светлячки. В земляной ямке под террасой жила

маленькая черепашка, обнаруженная в городе Саддамом Хусейном, — видимо, брошенная хозяевами. Кобыла Пайяль коротала дни в обществе хромого осла, которого по какой-то непонятной причине прозывали Махешем<sup>[44]</sup>. Биру постарел, но потомство его и Товарища Лаали заметно приумножилось. Приходили и уходили коты и кошки, впрочем, как и люди — гости «Джанната».

В порядке поддерживался и огород на задворках постоянного двора. Кладбищенская земля вообще отличается высоким плодородием. Несмотря на то что любителей овощей в доме было немного, а Зайнаб к ним вообще не прикасалась, они с Саддамом выращивали здесь баклажаны, фасоль, перец, помидоры и несколько сортов тыквы. Все это превосходно росло, несмотря на выхлопы машин, несущихся по оживленной улице. Растения развивались так хорошо, что привлекли множество бабочек. Некоторые трудоспособные наркоманы были мобилизованы на работы в огороде и зверинце. Кажется, это служило им некоторым утешением.

Анджум носилась с мыслью о том, что на постоялом дворе «Джаннат» непременно должен быть плавательный бассейн. «Почему нет? — вопрошала она. — Почему только у богатых людей есть бассейны? Почему их нет у нас?» Когда Саддам резонно возразил, что для бассейна в первую очередь нужна вода, которая в большом дефиците, Анджум ответила, что бедные люди будут рады даже бассейну без воды. Она действительно вырыла яму глубиной в несколько футов и размером с большой резервуар, и обложила края синей кафельной плиткой. Анджум оказалась права. Люди одобрили начинание. Они приходили поглазеть на бассейн и молились о наступлении того дня (инша-Аллах, инша-Аллах), когда бассейн наполнится голубой прозрачной водой.

Таким образом, дела на старом кладбище шли неплохо — с народным бассейном, народным зоопарком и народной школой. Однако нельзя было то же самое сказать о Дунии.

Старый друг Анджум, Д. Д. Гупта, вернулся из Багдада (или из того, что от него осталось) и привез с собой леденящие душу истории о войне, смертях, бомбежках и бойне — о том, как целый регион был обдуманно и методично превращен в ад на земле. Гупта был благодарен судьбе за то, что остался жив и что у него есть дом, куда он мог вернуться. Он потерял всякий вкус к разрушенным стенам и к любому бизнесу, если уж говорить начистоту, и был просто в восторге, увидев, что полуразрушенное, призрачное кладбище, которое он покинул, уехав в Ирак, расцвело и превратилось в красивый, как игрушка, дом. Они с Анджум проводили друг с другом долгие часы, болтая и строя планы расширения и реконструкции

«Джанната» (между прочим, именно господин Гупта спроектировал и надзирал за постройкой бассейна). Госпожа Гупта, со своей стороны, отошла от мира и все свое время проводила с богом Кришной, совершая пуджу.

Между тем ад подступал и к Индии. Гуджарат как Лалла набрал подавляющее большинство голосов, выиграл выборы и стал премьер-министром. Люди боготворили его, и в маленьких городках действительно появились храмы, в которых Гуджарат был главным божеством. Верные последователи подарили ему рубашку с надписью «ЛаллаЛаллаЛалла». В этой рубашке он принимал глав иностранных правительств. Каждую неделю он по радио, напрямую и очень эмоционально обращался к народу, призывая его к Чистоте, Целомудрию и Жертвенности во имя Нации, разбавляя свои призывы баснями, народными сказками или особыми указами. Он пропагандировал массовые занятия йогой в общественных парках. Один раз в месяц он посещал бедные кварталы и собственноручно подметал улицы. Популярность его росла, а вместе с ней росла его подозрительность и скрытность. Он жил один, ел в одиночестве и ни с кем не общался. Ради своей личной безопасности он нанял людей, пробующих его пищу, и иностранных телохранителей. Он делал драматические заявления и принимал радикальные решения, имевшие далеко идущие последствия.

Организация, которая привела его к власти, отрицательно относилась к культуре личности и хорошо знала историю. Она продолжала поддерживать своего ставленника, но исподволь начала готовить преемника.

Оранжево-желтые попугаи, терпеливо дожидавшиеся своего часа, были спущены с поводка. Они врывались в университетские городки и здания судов, срывали концерты, портили залы кинотеатров и сжигали книги. Они учредили комитет по педагогике, призванный превратить историю в мифологию, а мифологию в историю. Комитет приступил к ревизии содержания представления «Звук и свет» в Красном форте. Очень скоро века мусульманского правления будут вычеркнуты из поэзии, музыки, архитектуры, а звон мечей и леденящие душу военные кличи будут продолжаться не дольше, чем тихий смех куртизанок, на который устэд Кульсум Би возлагала такие большие надежды. Все оставшееся время будет посвящено истории индуистской славы. Как всегда бывает в таких случаях, история станет откровением будущего в той же мере, в какой она является орудием изучения прошлого.

Небольшие группы хулиганов и погромщиков, называвшие себя защитниками индуистской веры, работали в деревнях, стараясь извлечь из

этого максимальную пользу для себя. Молодые, подающие надежды политики начинали свою карьеру со съемок фильмов, в которых они либо произносили подстрекательские речи, либо избивали мусульман, а потом загружали эти видео на ютьюб. Каждое индуистское паломничество и религиозный праздник превращали в провокационное победное шествие. Процессии паломников шли в сопровождении вооруженных эскортов на грузовиках и мотоциклах, которым не терпелось устроить драку в любом, даже самом миролюбивом квартале. Вместо желто-оранжевых флагов они теперь размахивали флагами государственными — этому трюку они научились у господина Аггарвала и его кругленький талисман-гандиец с площади Джантар-Мантар.

Священная корова стала национальным символом. Правительство поддерживало кампании по пропаганде коровьей мочи (в качестве напитка, а также в качестве мощного средства). Сторонники Лаллы намеренно распускали слухи о людях, уличенных в убийстве коров и употреблении в пищу говядины. Таких людей били плетьюми, а иногда просто линчевали.

Получив ценный опыт в Ираке, светский до мозга костей господин Гупта считал, что вся эта деятельность приведет к тому, что скоро в Индии придется восстанавливать разрушенные снарядами стены.

Однажды в воскресенье в «Джаннат» приехала Ниммо Горакхпури с услышанным через четвертые руки рассказом о том, как родственник одного из друзей ее соседа был забит насмерть на глазах его семьи разъяренной толпой, обвинившей его в убийстве коровы и употреблении в пищу говядины.

— Прогоните этих старых коров, — сказала Ниммо. — Если они здесь умрут — нет, не *если*, а когда они умрут, эти люди скажут, что вы их убили, и это будет ваш конец. Должно быть, они уже положили глаз на вашу собственность. Сейчас они всегда так поступают. Обвиняют людей в употреблении говядины, а потом забирают дома и землю, а хозяев отправляют в лагеря для беженцев. Все дело в собственности, а не в коровах. Вам надо соблюдать осторожность.

— Как прикажете ее соблюдать? — вдруг вспыхнул Саддам Хусейн. — Единственный способ соблюдать осторожность с этими уродами — это перестать жить! Если они захотят вас убить, то убьют — будете вы осторожничать или нет, убили вы корову или нет, вообще, видели вы корову или нет.

Никто и никогда прежде не видел, чтобы Саддам Хусейн вышел из себя. Все остолбенели. Но дело в том, что никто не знал историю Саддама. Анджум никому ее не рассказывала. Она умела хранить чужие тайны.

У Анджум и Саддама выработался ритуал на День независимости. Они садились рядом на красное автомобильное сидение, и Саддам обязательно надевал на нос очки. В этот раз все было как обычно. Саддам переключал каналы, переходя от воинственных речей Лаллы и праздника в Красном форте к массовым протестам в Гуджарате. Тысячи людей, в основном далиты, собрались в районе Уна в знак протеста против публичной порки пятерых далитов, которых остановили на дороге, потому что они везли в кузове машины труп коровы. Они ее не убивали, они всего лишь забрали труп, как это сделал много лет назад отец Саддама. Не в силах вынести позор такого унижения, все пятеро попытались покончить с собой, и одному из них это удалось.

— Сначала они пытались покончить с мусульманами и христианами. Теперь они вышли на охоту за чамарами, — сказала Анджум.

— Есть и другие способы, — загадочно произнес Саддам Хусейн. Он как замороженный, слушал как оратор за оратором клялись в том, что никогда больше не станут подбирать трупы коров за представителей высших каст индусов.

По телевизору, правда, не показали группы бандитов, расположившихся на дорогах, чтобы отлавливать поодиночке расходившихся участников протеста.

Ритуал просмотра телевизора в День независимости был прерван диким криком Зайнаб, которая развешивала на улице постиранное белье. Саддам бросился на крик. За ним медленнее последовала и Анджум. Им потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что происходящее было реальностью, а не привиделось им, как призрак. Зайнаб, устремив глаза к небу, побледнела от ужаса.

В воздухе без движения висела ворона. Одно ее крыло было выставлено в сторону. Пернатый Христос криво висел на невидимом кресте. Небо было заполнено тысячами растревоженных ворон, заглушивших своим карканьем шум уличного движения. Над воронами кружили коршуны — невозмутимые и недосыгаемые. Распятая ворона висела совершенно неподвижно. Очень скоро под вороной собралась небольшая толпа зевак. Люди пугали друг друга до смерти, высказывая предположения об оккультном значении оцепеневшей в воздухе вороны и обсуждая возможные последствия этого дурного знака — не постигнет ли их какое-нибудь проклятие?

Однако в том, что произошло, не было никакой тайны. Ворона в полете наткнулась на прозрачный корд воздушного змея, который запутался

в ветвях баньяна, росшего на кладбище. Виновник — пурпурно-красный воздушный змей, с виноватым видом просвечивал сквозь листву. Шнурок — китайское изделие, заполонившее рынок, — был сделан из прозрачного, очень прочного пластика, покрытого сверху слоем силикатного стекла. Запускавшие на День независимости воздушных змеев люди сбивали змеев других людей, захлестывая их корды китайским шнуром, который перерезал другие нити, словно бритва. В городе уже было несколько несчастных случаев с этими невидимыми шнурами.

Сначала ворона пыталась освободиться, но потом поняла, что с каждым ее движением шнур лишь глубже врезается в оперение. Она застыла и лишь с недоумением смотрела своими круглыми глазами на собравшихся внизу людей. С каждым мгновением в небе появлялось все больше и больше растревоженных, отчаянно галдящих ворон.

Саддам, оценив ситуацию, убежал в дом и скоро вернулся с длинной веревкой, связанной из кусков шпагата и бельевых веревок. К одному из концов этой веревки он привязал камень и, прищурившись, бросил камень в небо, приблизительно прикинув расположение прозрачного шнура и надеясь захлестнуть его своей веревкой. По расчету Саддама камень должен был потянуть шнур вместе с вороной вниз. Потребовалось несколько попыток с разными камнями (он должен быть достаточно легким, чтобы его можно было высоко подбросить, но при этом достаточно тяжелым, чтобы надежно повиснуть на шнуре и опустить его), прежде чем усилия Саддама увенчались успехом — шнур воздушного змея прогнулся до земли. Ворона упала вместе с ним, но быстро пришла в себя, и, почувствовав свободу, взмахнула крыльями и, как по волшебству, улетела. Вместе с ней улетели и ее сородичи. Карканье стихло, небо очистилось.

Нормальность была восстановлена.

Тем из зрителей, кто увидел в событии нечто иррациональное и неподвластное науке (то есть всем, включая и Устаниджи), стало ясно, что апокалипсис отменяется и в мир вернулась благодать.

Все принялись дружно чествовать, обнимать и целовать виновника торжества.

Саддам Хусейн понял, что другого такого случая ему не представится, и решил, что пора действовать.

Поздно ночью он пришел в комнату Анджум. Она лежала на боку, опершись на локоть и смотрела на засыпающую мисс Джебин Вторую. (Возраст засыпания под ночные вечерние сказки еще не наступил.)

— Нет, ты только представь, — сказала она, — если бы не Божья

милость, то сейчас это маленькое создание пропало бы в каком-нибудь государственном приюте.

Саддам почтительно помолчал, а затем церемонно попросил у Анджум руки Зайнаб. Анджум, не скрывая горечи, ощутив боль от старой, но не зажившей раны, ответила, не подняв головы:

— Почему ты спрашиваешь у меня? Спроси у Саиды — это она ее мать.

— Я знаю всю историю и поэтому обращаюсь к тебе.

Анджум была польщена, но не подала вида. Вместо этого она оценивающим взглядом смерила Саддама с ног до головы, словно видела его впервые в жизни.

— Скажи мне, по какой такой причине Зайнаб должна согласиться на брак с человеком, который мечтает совершить преступление и быть за него повешенным, как Саддам Хусейн?

— *Арре яар*, — с досадой ответил Хусейн. — С этим навсегда покончено. Мой народ восстал, — Саддам извлек из кармана мобильный телефон и нашел видео с изображением казни Саддама Хусейна. — Вот, смотри, я удаляю видео, прямо у тебя на глазах. Вот, все, его больше нет. Оно мне больше не нужно. Теперь у меня есть новое видео, посмотри.

Анджум с кряхтением приняла сидячее положение, притворно ворча:

— *Йа Аллах!* За какие грехи мне приходится общаться с этим ненормальным? — С этими словами она надела очки. Новое видео Саддама Хусейна начиналось с кадров, на которых было запечатлено несколько ржавых пикапов, стоящих возле аристократического загородного дома, выстроенного в колониальном стиле, — резиденции руководителя налоговой службы Гуджарата. Кузова пикапов были забиты коровьими трупами и скелетами. Молодой далит выгрузил все это добро из машины, а потом принялся бросать на обрамленную колоннами веранду дома. Куски скелетов валялись на подъездной дороге. Рогатый череп водрузили на стол в кабинете чиновника, а коровий позвоночник, словно змею, уложили на кресло.

Анджум была потрясена увиденным. Свет экрана телефона отражался от ее безупречно белого зуба. Она понимала, что люди на экране громко кричат, но звук был выключен, чтобы не разбудить мисс Джебин.

— Что они кричат? Это на гуджарати? — спросила она Саддама.

— Твою мать! Да ты просто смотри! — прошептал Саддам.

— *Ай Хай!* Что же теперь будет с этими мальчиками?

— Что они могут им сделать, эти несчастные уроды? Они ведь даже неспособны убирать дерьмо за собой. Они не могут похоронить

собственную мать. Я не знаю, что они будут делать. Это их проблемы, а не наши.

— И что? — спросила Анджум. — Ты удалил то видео... Это значит, что ты отказался от мысли убить того полицейского ублюдка? — Она была разочарована. Пожалуй, в ее голосе слышалось даже неодобрение.

— Теперь мне нет нужды его убивать. Ты же видела — мой народ восстал! Эти люди борются! Кто теперь для нас какой-то Сехрават? Никто!

— Ты все свои важные решения принимаешь на основании телефонных видео?

— Теперь все в мире так делается, *яар*. Теперь мир состоит из видео, но ты посмотри, что они сделали! Это по-настоящему. Это реальная жизнь, а не кино, а они — не актеры. Хочешь посмотреть еще раз?

— *Арре*, не все так просто, бабу. Мальчиков избьют или подкупят... так сейчас поступают хозяева жизни... и, кроме того, если они перестанут это делать, то как будут они зарабатывать на хлеб себе и своим семьям? Что они будут есть? *Чало*, мы подумаем об этом завтра. У тебя нет фотографии твоего отца? Мы могли бы повесить ее в телевизионной комнате.

Анджум предложила повесить потрет отца Саддама Хусейна рядом с портретом Закира Миана, увешанным гирляндами из бумажных птичек. Это было признанием Саддама Хусейна зятем.

Саида была в восторге, Зайнаб в экстазе. Начались приготовления к свадьбе. Всех, включая Тило-мадам, измерили, чтобы Зайнаб смогла сшить всем праздничную одежду по мерке. За месяц до свадьбы Саддам объявил, что хочет вывезти семью на пир. Это был сюрприз. Имам Зияуддин был слишком стар, чтобы ехать, устаду Хамиду надо было присутствовать на дне рождения внука. Доктор Азад Бхартия сказал, что место угощения противоречит его, доктора Азада, принципам, а к тому же он все равно не может есть. В конечном счете в компанию вошли Анджум, Саида, Ниммо Горакхпури, Зайнаб, Тило, мисс Джебин Вторая и сам Саддам. Никто из будущих гостей даже в самом причудливом сне не мог бы себе представить, что приготовил для них Саддам.

Нареш Кумар, друг Саддама, был одним из пяти шоферов промышленника-миллиардера, который содержал в Дели похожий на королевский дворец дом. В гараже дома стояла целая армада дорогих машин — несмотря на то, что их владелец проводил в Дели не больше трех-четырех дней в месяц. Нареш Кумар приехал на кладбище за всей компанией на серебристом хозяйском «Мерседес-Бенце» с обитыми кожей



сиденьями. Зайнаб села впереди на колени к Саддаму, а все остальные сгрудились в салоне. Тило никогда не представляла себе, что когда-нибудь прокатится по улицам Дели в дорогом «Мерседесе», но потом быстро сообразила, что у нее просто очень ограниченное воображение. Пассажиры дружно вскрикнули, когда машина, взяв с места в карьер, стремительно набрала скорость. Саддам наотрез отказался говорить, куда он их везет. Проезжая по Старому городу, все они липли к окнам, надеясь, что их увидят друзья и знакомые. В Южном Дели обстановка изменилась. Пассажиры настолько не соответствовали машине, в которой ехали, что многие бросали на них удивленные, а подчас и сердитые взгляды. Немного испугавшись, они подняли стекла окон. Они остановились на обрамленном деревьями перекрестке перед светофором, когда увидели группу хиджр, собиравших милостыню. На самом деле они просто подходили к машинам и принимались колотить в окна, требуя денег. Люди в машинах делали все, что могли, чтобы не встречаться с хиджрами взглядом. Когда же они узрели серебристый «Мерседес», все четыре хиджры наперегонки устремились к нему, чуя добрую поживу. Кто знает, может быть, там внутри сидит наивный иностранец? Они были страшно удивлены, когда стекло опустилось до того, как они успели постучать, а Анджум, Саида и Ниммо Горакхпури, улыбаясь, поприветствовали их ударом рук с растопыренными пальцами. Встреча быстро превратилась в оживленный разговор. К какой гхаране принадлежит эта четверка? Кто их уstad? Кто ее уstad? Все четверо просунули головы в салон «мерса», вызываясь выставив на улицу задницы. Когда зажегся зеленый, машины сзади начали нетерпеливо сигналить. В ответ водители слышали весьма изобретательную непристойную брань. Саддам дал им сто рупий, свою визитную карточку и пригласил на свадьбу.

— Вы непременно должны прийти!

Улыбаясь, они попрощались и, покачивая бедрами, лениво прошли назад к тротуару между нетерпеливо гудящими машинами. Когда «Мерседес» сорвался с места, Саида сказала, что хирургия по изменению пола достигла больших успехов, стала лучше, дешевле и доступнее для людей, и поэтому хиджры скоро исчезнут.

— Никому больше не придется испытывать то, что пришлось пережить нам, — заключила она.

— Ты имеешь в виду Индопак? — ехидно заметила Ниммо Горакхпури.

— Не все было так уж плохо, — вставила слово Анджум. — Это будет просто позор, если мы вымерем, как динозавры.

— Нет, именно, что все было плохо, — горячо возразила Ниммо Горакхпури. — Ты забыла этого шарлатана доктора Мухтара? Сколько он из тебя выжал денег?

Автомобиль, словно стальной пузырь, неся по улицам — широким и ровным, узким и ухабистым — больше двух часов. Они проехали плотно застроенные кварталы многоквартирных домов, мимо гигантских бетонных парков развлечений, мимо пышных дворцов бракосочетаний, мимо огромных, высотой с небоскреб, статуй — Шивы в набедренной повязке из гипсовой леопардовой шкуры, с гипсовой коброй, обвинившейся вокруг его шеи, колоссального Ханумана, склонившегося над путями метрополитена. Они проехали по чудовищно большой эстакаде, обширной, как пшеничное поле, — с двадцатью полосами, заполненными несущимися автомобилями, — и обрамленной с обеих сторон высоченными башнями из стекла и стали. Однако стоило им свернуть с эстакады на боковую дорогу, как они очутились в совершенно ином мире — мире немощеных, не разделенных на полосы, нерегулируемых, неосвещенных, диких и опасных дорог, где автобусы, грузовики, волы, рикши, велосипедисты, носильщики с ручными тележками и пешеходы вели друг с другом беспощадную войну за выживание. Один мир пролегал поверх другого, не утруждая себя остановками, не интересуясь, как чувствует себя расположенная под его колесами другая вселенная.

Стальной пузырь продолжал лететь дальше — мимо кварталов жалких лачуг и промышленных зон, над которыми стлался ядовитый белесый туман, мимо железнодорожных путей, проложенных в горах мусора и обрамленных трупобами. И вот, наконец, они достигли цели путешествия, его края. Здесь сельская местность пыталась быстро, неуклюже и даже трагично стать городом.

Молл.

Пассажиры «мерса» дружно умолкли, когда машина нырнула на подземную парковку, где охранник, открыв капот и багажник, — словно задрал девушке юбку — проверил, нет ли там бомбы. После этого машина съехала в подвал, забитый автомобилями.

Когда они вошли в ярко освещенную торговую галерею, Саддам и Зайнаб просияли. Они чувствовали себя уверенно и свободно в этом невиданном окружении. Все другие, не исключая и Устаниджи, выглядели так, словно их подвели к воротам в иное космическое измерение. Поход на некоторое время остановился из-за мелкой проблемы у эскалатора. Анджум наотрез отказалась на него становиться. Потребовалось добрых пятнадцать

минут на уговоры и поощрения. Наконец, уговоры возымели действие — Тило взяла на руки мисс Джебин Вторую, Саддам встал на ступеньку рядом с Анджум и обнял ее за плечи, а Зайнаб устроилась впереди, на ступеньку выше, повернулась лицом к Анджум и взяла ее за руки. Даже с такой поддержкой Анджум поминутно вскрикивала «*Ай Хай!*», как будто это было самое рискованное предприятие в ее жизни. Охваченные благоговейным страхом перед всем этим великолепием, они шли по торговой галерее, стараясь уловить разницу между покупателями и манекенами, выставленными у витрин. Ниммо Горакхпури пришла в себя первой. Она одобрительно смотрела на молодых женщин в шортах и мини-юбках, толкающих перед собой тележки с покупками, в темных очках, сдвинутых на пышные, пересушенные волосы.

— Смотрите, вот так я хотела выглядеть, когда была молодой. У меня все же было верное чувство моды. Тогда меня никто не понимал, я просто опередила свое время.

После часа осматривания витрин, в течение которого они, естественно, ничего не купили, Саддам привел их в ресторан «Нандо», где они плотно пообедали гигантскими порциями жареной курятины. Зайнаб опекала Ниммо Горакхпури, а Саддам взял под крыло Анджум — ни одна из них прежде не бывала в ресторане. Анджум, не скрывая изумления, во все глаза рассматривала сидевшую за соседним столом семью из четырех человек — пожилую чету и молодую пару. Женщины — очевидно, мать и дочь — были одинаково одеты в легкие цветные кофточки без рукавов и брюки. Лица были покрыты изрядным слоем макияжа. Молодой человек — видимо, жених дочери — сидел, поставив локти на стол, и с упоением рассматривал свои (огромные) бицепсы, выпиравшие из-под коротких рукавов футболки. Пожилой мужчина, по-видимому, не слишком довольный собой, робко оглядывался по сторонам. Было такое впечатление, что он пытается спрятаться за воображаемой колонной. Каждые несколько минут эти люди делали селфи, а потом пускали телефоны по кругу, показывая снимок всем остальным. Сюжеты селфи были самые разнообразные — «я и меню», «я и официант», «я и еда», «я и папа», «я и дочка». Семейство не обращало ни малейшего внимания на остальных посетителей.

Анджум эти люди интересовали гораздо больше, чем мясо в ее тарелке. Еда ее совершенно не впечатлила. Оплатив счет, Саддам церемонно оглядел присутствующих.

— Наверное, вы в недоумении задаете себе вопрос, зачем я вас сюда привез?

— Показать нам Дунию? — предположила Анджум, словно отвечая на вопрос телевизионной викторины.

— Нет. Мне хотелось представить всех вас моему отцу. Он умер здесь. Именно здесь. На том самом месте, где теперь стоит это здание. Раньше здесь были деревни, окруженные пшеничными полями. Здесь был полицейский участок... дорога...

Саддам рассказал им о том, что произошло здесь с его отцом. Рассказал и о том, что хотел убить Сехравата, начальника полиции Дулины, и о том, почему отказался от этой идеи. Все посмотрели новое видео на его мобильном телефоне — о том, как коровьи останки бросили в загородную резиденцию руководителя налоговой службы.

— Должно быть, здесь бродит дух моего отца, зажатый стенами этого большого дома.

Все старались представить себе, как он выглядел, этот деревенский кожевник, как он бродит здесь, по ярко освещенным галереям, стараясь найти выход.

— Это его мазар, — сказала Анджум.

— Индусов не погребают в земле. У них нет кладбищ, бади-мама, — сказала Зайнаб.

«Может быть, здесь вселенский мазар, — подумала Тило, но ничего не сказала. — Может быть, манекены — это призраки, пытающиеся купить то, чего уже давно не существует».

— Это неправильно, — сказала Анджум. — Нельзя просто так оставить это дело. Твоего отца надо похоронить по-настоящему.

— Его и похоронили по-настоящему, — сказал Саддам. — Его похоронили в нашей деревне, сожгли. Я сам зажег погребальный костер.

Это не убедило Анджум. Она очень хотела что-нибудь сделать для отца Саддама, чтобы упокоить его дух. После жаркой дискуссии было решено купить рубашку (как покупают чадары в склепах святых) с именем отца Хусейна и похоронить ее на старом кладбище, чтобы дети Зайнаб и Саддама чувствовали присутствие дедушки.

— Я знаю индуистскую молитву! — вдруг сказала Зайнаб. — Можно я произнесу ее в память об Аббаджаане?

Все приготовились слушать, и Зайнаб, словно проповедница любви, прочла в этом ресторане быстрого питания молитву в память о покойном и, одновременно, будущем свекре. Это была Гаятри-мантра, которой в детстве научила ее Анджум на случай неприятностей с толпой индусов.

Ом бхур бхувах сваха

Тат савитур вареньям  
Бхарго девасья дхимахи  
Дхийо йо нах праходаят

\* \* \*

В утро вторых похорон отца Саддама Хусейна Тило выложила — в буквальном смысле — на стол еще кое-что. Она поставила на стол маленькую урну с прахом своей матери и сказала, что тоже хочет похоронить свою мать на старом кладбище. Было решено устроить двойные похороны. Если считать за похороны кремацию в Кочине, то для Марьям Ипе это тоже должны были быть вторые похороны. Саддам Хусейн выкопал могилы. В одну положили стильную клетчатую рубашку. Во вторую — урну с прахом. Имам Зияуддин немного поколебался — его смутила религиозная неортодоксальность похорон, но, в конце концов, он все же согласился произнести молитвы. Анджум спросила Тило, не хочет ли она произнести христианскую молитву, но Тило ответила, что поскольку церковь отказалась отпевать ее мать, то сойдет любая молитва. Стоя на краю могилы матери, Тило вдруг вспомнила фразу, которую не раз повторяла мать в отделении интенсивной терапии.

«Я чувствую, что меня окружают евнухи. Это так?»

Тогда это выглядело всего лишь как часть оскорблений, которыми она осыпала персонал отделения. Но теперь Тило ощутила холодок в спине. *Откуда она могла знать?* Когда могила с урной была засыпана, Тило закрыла глаза и мысленно прочитала любимый матерью пассаж из Шекспира. В этот миг и без того странный мир стал еще более странным:

И Криспианов день забыт не будет  
Отныне до скончания веков;  
С ним сохранится память и о нас —  
О нас, о горсточке счастливых, братьев.  
Тот, кто сегодня кровь со мной прольет,  
Мне станет братом: как бы ни был низок.

Его облагородит этот день;  
И проклянут свою судьбу дворяне,

Что в этот день не с нами, а в кровати;  
Язык прикусят, лишь заговорит  
Соратник наш в бою в Криспинов день <sup>[45]</sup>.

Она никогда не понимала, почему матери особенно нравился этот мужественный, суровый, проникнутый воинским духом отрывок из «Генриха V», но мать его очень любила. Открыв глаза, Тило с удивлением обнаружила, что плачет.

Зайнаб и Саддам поженились ровно через месяц. Состав гостей был весьма разношерстным и эклектичным — хиджры со всего Дели (включая и новых подруг, с которыми они познакомились на перекрестке у светофора), подруги Зайнаб, студентки и выпускницы одного с ней колледжа, ученики Устаниджи и их родители, семья Закира Миана и несколько старых друзей Саддама Хусейна, которые работали вместе с ним во многих местах — кожевники, санитары морга, водители муниципальных грузовиков, охранники. Были, конечно, среди гостей доктор Азад Бхартия, Д. Д. Гупта и Рошан Лал. Пришел на свадьбу и Анвар Бхай со своими женщинами и сыном, выросшим из своих сиреневых кроксов. Из Индора приехала Ишрат Прекрасная, сыгравшая выдающуюся роль в спасении мисс Джебин Второй. Ненадолго зашел и друг Азада Бхартии, маленький сапожник, рисовавший в песке опухоль легкого своего отца. Пришел и старый доктор Бхагат — одетый в белое и, как и прежде, с часами на запястье. Шарлатана доктора Мухтара на свадьбу не пригласили. Мисс Джебин Вторая была разодета в пух и прах, как маленькая принцесса. На ней была корона, кружевное платье и башмачки со скрипелкой. Из всех подарков, коими были осыпаны молодожены, наибольшим успехом пользовался баран, которого подарила им Ниммо Горакхпури. Этого барана она специально выписала из Ирана.

Устад Хамид пел со своими учениками.

Все танцевали.

После торжества Анджум повела Саддама и Зайнаб к хазрату Сармаду. С ними пошли Тило, Саида и мисс Джебин Вторая. Они шли мимо нескончаемой череды продавцов духов и амулетов, хранителей обуви паломников, калек, нищих и баранов, откармливаемых к празднику жертвоприношения.

Шестьдесят лет прошло с тех пор, как Джаханара-бегум принесла своего сына Афтаба к хазрату Сармаду с просьбой научить ее любви к

сыну. Пятнадцать лет назад Анджум приходила сюда с Бандикутом, чтобы изгнать из девочки *сифли джааду*. Год назад побывала здесь и мисс Джебин Вторая.

Сын Джаханары-бегум стал ее дочерью, а Бандикут вырос и стал невестой. Но если не считать этого, то в святилище мало что изменилось. Пол был красный, стены были красными, потолок был красным. Кровь хазрата Сармада так и не удалось смыть.

Худощавый мужчина в полосатой, как пчела, молитвенной шапочке пламенно молился, перебирая четки. Болезненного вида женщина в пестром сари привязала к решетке красный браслет, а затем легонько прижала своего ребенка лобиком к полу. Тило проделала то же самое с мисс Джебин Второй, которой понравилась эта игра, и она принялась сама прикладывать лбом к полу, хотя в этом уже не было необходимости. Саддам и Зайнаб привязали браслеты к решетке и возложили на могилу хазрата новый бархатный чадар, обшитый сверкающей канителью.

Анджум произнесла молитву и попросила святого благословить молодую чету.

Сармад — хазрат наивысшего счастья, святой безутешных и утешитель неприкаянных, кощунник среди верующих и верующий среди кощунников — благословил.

Еще через три недели на старом кладбище состоялись третьи похороны.

\* \* \*

Однажды утром на постоянный двор «Джаннат» пришел доктор Азад Бхартия с адресованным ему письмом. Это письмо ему лично вручила какая-то не назвавшая себя женщина. Она сказала лишь, что письмо это — из Бастарского леса. Анджум не знала, что это за лес и где он находится. Доктор Азад коротко рассказал ей о Бастаре, о живущих там племенах адиваси, о горнорудных компаниях, желающих заполучить эти земли, и о маоистских партизанах, воюющих против сил безопасности, которые хотят очистить эти территории для горнорудных компаний. Письмо было написано по-английски, микроскопическим почерком. Даты на письме не было. Доктор Азад Бхартия сказал, что это письмо от настоящей матери мисс Джебин Второй.

— Порви его! — взревела Анджум своим мужским голосом. — Сначала она выбрасывает своего ребенка, а потом появляется неведомо откуда и требует его назад, говоря, что она — настоящая мать!

Саддам с трудом успел удержать Анджум, уже протянувшую руку к письму.

— Не волнуйся, — успокоил Анджум доктор Азад Бхартия. — Она не придет за ребенком.

Это было длинное письмо, написанное на обеих сторонах нескольких листов. Предложения напозлали друг на друга, как будто автор боялся, что ему не хватит бумаги. Между страницами были проложены засушенные цветы, которые рассыпались на мелкие шарики, когда письмо сложили для отправки. Доктор Азад Бхартия принялся читать письмо вслух, одновременно переводя его. Его слушали Анджум, Тило и Саддам Хусейн. Да, была еще и мисс Джебин Вторая, которая изо всех сил пыталась прервать чтение.

Дорогой товарищ Азад Бхартия Гару, я пишу это письмо вам, потому что за те три дня, что я пробыла на площади Джантар-Мантар, я внимательно присмотрелась ко всем. Если кто и знает, где сейчас находится мой ребенок, то это вы. Я — женщина из народа телугу и, к сожалению, не говорю на хинди. Английским я тоже владею не очень хорошо, так что прошу прощения. Меня зовут Ревати, я член Коммунистической (маоистской) партии Индии. Когда вы получите это письмо, меня уже не будет в живых.

Услышав это, Анджум, которая, вытянувшись вперед, внимательно ловила каждое слово, испытала явное облегчение и даже, кажется, потеряла интерес к письму. Однако по мере того, как доктор Азад читал дальше, она снова стала слушать, не прерывая его.

Мой товарищ по партии, Сугуна, передаст это письмо вам, когда узнает, что меня уже нет. Вы, конечно, в курсе, что мы находимся в глубоком подполье, мы — вне закона, мы запрещены. Так что можете считать, что это письмо из подполья в подполье, и поэтому пройдет не меньше шести-восьми недель, прежде чем вы получите это письмо по надежным каналам. После того



как я оставила свою дочку в Дели, меня не переставая мучает совесть. Нет мне ни сна, ни отдыха. Я не хочу ее, но я и не хочу, чтобы она страдала. На случай, если вы знаете, где она сейчас, я хочу честно рассказать вам ее историю. Остальное я оставляю на ваше усмотрение. При рождении я дала ей имя Удайя. На телугу это означает «восход солнца». Я дала ей это имя, потому что родила ее в лесу Дандакаранья на рассвете. Я возненавидела ее сразу после рождения и хотела убить ее. Я не ощущала ее своим ребенком. В самом деле она не моя. Правда, если вы прочтете написанное мной письмо, то поймете, что не я ее мать. Река — ее мать, и лес — ее отец. Это история Удайи и Ревати. Я, Ревати, родом из округа Восточный Годавари штата Андхра-Прадеш. Я принадлежу к касте сеттибалиджа, это отсталая каста. Мою мать зовут Индумати. Она окончила школу. За моего отца она вышла замуж, когда ей было восемнадцать лет. Он тогда служил в армии и был намного старше матери. Он познакомился с ней, когда был в отпуске, и сразу влюбился — она была очень красивой девушкой. После помолвки, но до свадьбы отца уволили из армии за курение возле арсенала. Он вернулся домой, в свою деревню, которая находилась на противоположном берегу Годавари, напротив деревни моей матери. Отец происходил из той же касты, но его семья была богаче семьи моей матери. Во время церемонии родственники отца заставили мать выйти из-под навеса и потребовали больше приданого. Деду пришлось попросить у них денег в долг. Только после этого свадебная церемония была продолжена. Сразу после свадьбы выяснилось, что мой отец извращенец и садист. Он хотел, чтобы мать носила короткие юбки и танцевала бальные танцы. Когда она отказывалась, он наносил ей порезы лезвием бритвы и жаловался, что мать его не удовлетворяет. Через несколько месяцев он отослал ее домой, к дедушке. Когда мать была на пятом месяце беременности, младший брат моей матери отвез ее назад, в деревню отца. Мать была одета в красивое сари, и на ней было много драгоценных украшений. Она

везла с собой серебряный кувшин со сладостями и двадцать пять сари для свекрови. Отца в тот день не было дома. Родственники отца отказались впустить их. Они вышли на улицу и, отняв у матери кувшин со сладостями, бросили его на землю. Такого стыда мать не испытывала никогда в жизни. На обратном пути, на середине реки, она сняла украшения и прыгнула в воду. Лодочник спас ее и привел домой. Я родилась в доме моих бабушки и дедушки по матери. Во время беременности у нее был огромный живот, и все ждали двойню. Ждали, что это будут белые дети, как отец и мать. Однако родилась я. Я была большой и черной. Увидев меня, мать лишилась чувств и два дня была в беспамятстве. Но после этого она никогда не отходила от меня. По деревне пошли разговоры. Семья отца тоже узнала, что я родилась черной. Все они были пропитаны предрассудками насчет каст и цвета кожи. Родственники отца говорили, что я не их, что я из народа мала или мадига, что я не из их, а из еще более низкой из зарегистрированных каст. Я воспитывалась в доме дедушки. Он работал зоотехником и был коммунистом. Дом его был крыт соломой, но в нем было много книг. К старости дедушка ослеп, но я уже училась в школе и читала ему вслух «Иллюстрированный еженедельный журнал», «Как добиться успеха в конкуренции» и «Советский Союз». Читала я также историю Черной Рыбки. У нас было много книг «Народного издательства». Отец по ночам приходил к дому дедушки и тревожил маму. Он крадучись, как змея, ходил вокруг дома. Она уходила к нему, он снова принимался резать и мучить ее, а потом отсылал домой. Потом он снова звал ее, и она снова уходила к нему. Однажды она прожила с ним в его деревне довольно долго. Она снова забеременела. Женщины в деревне дедушки молились, чтобы и второй ребенок родился черным и отец перестал обвинять маму в неверности. Женщины даже принесли в жертву тридцать черных кур в храме. Благодарение богу, мой брат родился черным. Но отец все равно отослал маму домой и женился на другой женщине. Я решила

стать юристом, чтобы посадить отца за решетку до конца его дней. Но очень скоро я попала под влияние коммунистических идей и революционных взглядов. Я читала коммунистическую литературу. Дедушка научил меня революционным песням, и мы часто пели их с ним вдвоем. Мама и бабушка воровали кокосовые орехи и продавали их, чтобы было чем платить за мою учебу. Они покупали мне безделушки и украшения, и я нравилась мальчикам. После окончания средней школы я подала заявление в медицинское училище и даже прошла конкурс, но денег на обучение у нас не было. Я поступила в государственный колледж в Варангале. Там было очень сильное коммунистическое движение. Партизаны действовали в лесу, но не только. На первом курсе меня рекомендовали в организацию товарищ Нирмалакка и товарищ Лакшми, которые посещали женское общежитие и говорили с нами об эксплуатации классовыми врагами и об ужасающей бедности в нашей стране.

Еще в колледже я начала работать в партии. Потом я работала в «Махила Сангхам» — женской организации, которая распространяющей классовое самосознание среди жителей городских трущоб и деревень. Мы стали проводниками идей партии по всему штату Телингана. Мы развозили в автобусах книги, статьи и памфлеты. Мы пели и танцевали на митингах протеста. Я читала Маркса, Ленина и Мао и прониклась идеями маоизма.

Положение наше тогда было очень опасным. Всюду за нами охотились полицейские ищайки и их добровольные помощники. Сотни членов партии были убиты. Больше всех полицейские ненавидели рабочих женщин. Товарищу Нирмалакке, прежде чем ее убить, они распоролы живот, затем ее и выпотрошили. Товарища Лакшми тоже не просто убили, ей сначала выкололи глаза. По этому поводу были большие протесты. Товарищу Падмакке, когда ее схватили, для начала переломали колени, чтобы она не могла ходить, а потом избивали так, что повредили ей почки, печень и другие внутренние органы. Она все же вышла из

тюрьмы и теперь работает в отделе помощи беднякам в организации «Амарула Бандху Митхрула». Когда убивают членов партии, и семья остается без средств к существованию, и не может даже получить тело для погребения, за телом едет она. На тракторе, на пикапе, на чем угодно, она привозит родственникам тело убитого. В 2008 году положение стало совсем плохим. Правительство объявило о начале операции «Зеленая охота». Это была война против народа. В лесу тысячи полицейских и военных. Они убивают адиваси, сжигают их деревни. Ни один адиваси не может остаться на ночь в доме, потому что ночью приезжают полицейские — сто, двести, триста, а иногда и пятьсот полицейских. Они уничтожают все, воруют все — кур, овец, деньги. Они хотят, чтобы адиваси ушли из леса и очистили место для шахт и сталелитейного завода. Тысячи людей брошены в тюрьмы. Обо всей этой политике вы можете прочесть в журнале «Народный марш». Я же расскажу вам об Удайе. Во время «Зеленой охоты» партия объявила мобилизацию в Партизанскую народно-освободительную армию — ПНОА. Я и еще двое товарищей ушли в лес, чтобы получить военную подготовку. Я прослужила в этой армии шесть лет. Меня называли товарищ Маасе — Черная девушка. Мне нравится это имя. Но у нас у каждого много имен. Я солдат ПНОА, но так как я — образованная женщина, то меня используют и для работы вне леса. Иногда мне приходилось ездить в Варангал, Бхадрачалам или Кхаммам. Иногда даже в Нараянпур. Это самая опасная работа, потому что в деревнях и городах много шпииков, работающих против нас. Вот так и получилось, что однажды, когда я возвращалась в лес, меня схватили в деревне Кудур. Я была в сари, браслетах, и при мне был только рюкзак. Я не могла оказать сопротивление, так как была безоружна. Меня арестовали без свидетелей. Меня связали, усыпили хлороформом и отвезли в какое-то неизвестное мне место. Очнувшись ночью в комнате с двумя окнами и двумя дверями. Это был класс в школьном здании. Все школы в лесу стали

полицейскими участками. Ни учителей, ни учеников там теперь нет. Я была совершенно голая. Вокруг меня стояли шестеро полицейских. Один принялся резать меня ножом. «Воображаешь себя великой героиней?» — приговаривал он. Если я закрывала глаза, то меня били по лицу. Двое держали меня за руки, а двое — за ноги. «Мы хотим сделать подарок тебе и твоей партии». Они курили и тушили сигареты об меня. «Вы обычно орете, ори и ты и смотри, что мы с тобой сейчас сделаем!» Я думала, что они убьют меня, как Падмакку и Лакшми, но они сказали: «Не переживай, Чернушка, мы тебя отпустим. Ты уйдешь и расскажешь им, что мы с тобой сделали. Ты великая героиня. Ты снабжаешь их патронами, противомаларийными лекарствами, едой и зубными щетками. Все это нам известно. Скольких невинных девушек ты отправила в свою партию? Вы возвращаете и портите всех. Тебе стоит выйти замуж и успокоиться. Но сначала мы преподадим тебе урок супружеской жизни». Они продолжали резать меня ножом и жечь сигаретами. Но я не кричала. «Почему ты не вопишь? Твои вожди услышат и придут тебя спасать. Вы что, вообще не умеете кричать?» Потом один из них раскрыл мне рот, а другой вставил в него свой член. Мне стало нечем дышать. Я думала, что умру. Они облили мне лицо водой. Потом каждый из них изнасиловал меня несколько раз. Один из них — отец Удаи. Кто из них, я, конечно, не знаю. Откуда я могу это знать? Я потеряла сознание. Когда я очнулась, у меня было сильное кровотечение. Дверь была открыта. Они стояли на улице и курили. Я увидела мое сари. Я медленно взяла его и оделась. Задняя дверь была слегка приоткрыта, и в щель было видно рисовое поле. Они видели, что я убегаю, и сначала побежали за мной, но потом остановились, когда я упала, и один сказал: «Пусть идет». Такая участь постигла в лесу многих женщин, и в этом я черпала мужество. Я перешла поле. Светила только луна. Я вышла к асфальтированной дороге. На мне было только сари. Не было ни блузки, ни нижней юбки. Но я кое-как завернулась в сари. Подъехал автобус, и я села в него. Я

была, кроме всего прочего, босая. Лицо и губы у меня страшно распухли от побоев. Автобус был пуст. Кондуктор ничего не сказал и не потребовал с меня денег за проезд. Я сидела у окна и засыпала, потому что продолжал действовать хлороформ. В Кхаммаме он разбудил меня и сказал: «Это конечная остановка». Узнав, что я в Кхаммаме, я очень обрадовалась, потому что очень хорошо знала там доктора Говрината. У него клиника в Кхаммаме. Я пошла туда. По дороге я шаталась, как пьяная. Я постучалась. Дверь открыла жена доктора. Увидев меня, она громко вскрикнула. Я села на ее кровать. Все мое тело было покрыто волдырями от сигаретных ожогов — лицо, грудь, соски, живот. Вся кровать была в крови. Пришел доктор Говринат и оказал мне первую помощь. Я была очень сонливая от хлороформа. Проснувшись, я могла только плакать. Единственное, чего я хотела, — это вернуться в лес, к моим товарищам — Рену, Дамаянти, Нармаде Акке. Доктор Говринат продержал меня у себя десять дней. После этого пришел связной, и я вернулась в лес. Я прошла двенадцать километров, прежде чем встретила отряд ПНОА. Вместе с ними я еще пять часов шла до лагеря, где находились члены окружного комитета. Председатель комитета, товарищ П. К., спросил меня, что со мной случилось. Его уже нет с нами. Его убили в перестрелке. Я пыталась все рассказать, но расплакалась, и он не смог меня понять. Сначала он подумал, что я жалуюсь на какого-то товарища по партии. Товарищ П. К. сказал: «Я не понимаю всего этого вздора. Мы солдаты. Докладывай четко и ясно, без эмоций». И я все ему доложила. Но слезы все равно текли у меня из глаз. Товарищам-женщинам я показала мои травмы. После этого они два дня думали, что делать. Потом меня вызвали в комитет и сказали, что я должна уйти из леса и организовать Комитет Ревати атьячар ведирекх — Комитет протеста против изнасилования Ревати. Кроме того, мне дали задание мобилизовать на борьбу жителей одной бедной деревни, где на две тысячи человек было всего две водяные колонки. Они

должны были потребовать строительства еще нескольких колонок. Но я не могла выполнить это задание, потому что не могла ходить из-за кровотечения, которое никак не прекращалось. У меня появились припадки, а к тому же в раны попала инфекция. Я не могла присоединиться к маршевому отряду. Меня оставили в деревне, где я пошла на поправку. Через три месяца я уже могла нормально ходить. К тому времени мне стало ясно, что я беременна. Меня это не остановило. Я снова вступила в ПНОА. Но когда в партии узнали о моей беременности, мне приказали уйти из леса, потому что в партизанской армии женщинам запрещено иметь детей. До родов я жила в одной лесной деревне. Когда я увидела рожденную мной девочку, я не испытала ничего, кроме ненависти. Я думала только о шестерых полицейских, которые резали меня ножами и обжигали сигаретами. Мне захотелось ее убить. Я приставила пистолет к ее головке, но не смогла выстрелить в крошечного беззащитного ребенка. В то время началась массовая кампания против антинародной войны. В Дели появились группы, которые организовали общественный трибунал. Людей народа адиваси, которые стали жертвами, пригласили в Дели, чтобы они выступили в СМИ. Партия приказала мне сопровождать этих людей вместе с другими местными активистами и юристами. У меня был маленький ребенок, и это послужило мне хорошим прикрытием. Я умею хорошо выступать на телугу, а в Дели нашлись хорошие переводчики. После заседаний трибунала я вместе с жертвами провела три дня на площади Джантар-Мантар, где проводилась акция протеста. Там я встретила много хороших людей. Но я не могла жить так, как они, без борьбы.

Моя партия заменила мне отца и мать. Многое она делает неправильно и часто ошибается. Убивает не тех людей. Женщины вступают в партию, потому что они революционерки, но не только поэтому. Они идут в партию, потому что не могут больше выносить домашнее насилие. Партия утверждает, что мужчины и

женщины равны, но в самой партии многие сами не очень хорошо понимают, что это значит. Я знаю, что товарищ Сталин и председатель Мао сделали много хорошего, но они сделали и очень много плохого. Но я не могу покинуть партию. Я увидела много хороших людей на Джантар-Мантар и решила оставить там Удаю. Я не могу быть такой, как вы и они. Я не могу объявлять голодовки и подавать петиции. В этом лесу полиция каждый день сжигает дома, убивает и насилует бедных людей. В городах есть вы — люди, которые борются по-своему и проводят акции. Но здесь, в лесу, есть только мы. И я возвращаюсь в Дандакаранию, чтобы жить и умереть с оружием в руках.

Спасибо, товарищ, что вы прочитали это.

Красный салют! Лал салам!

Ревати.

\* \* \*

— Лал салам алейкум, — таков был искренний и инстинктивный ответ Анджум на конец письма. Эта фраза могла бы стать началом нового политического движения, но Анджум всего лишь произнесла «аминь» услышанной трогательной проповеди.

Каждый из слушавших узнал, пусть и по-разному, частицу своей собственной истории, своего собственного Индопака в этом рассказе неизвестной далекой женщины, которой уже не было на свете. Это письмо заставило их сомкнуть ряды вокруг мисс Джебин Второй, как смыкают ряды слониhi при приближении опасности, неприступной крепостью оберегая детенышей — чтобы она в отличие от своей биологической матери росла защищенной, в окружении любящих людей.

Первое, что стало решать Политбюро старого кладбища, — это вопрос о том, должна ли мисс Джебин Вторая когда-нибудь узнать об этом письме. Анджум, как генеральный секретарь, была в этом вопросе непреклонна. Пока мисс Джебин, сидя на коленях у Анджум, пыталась открутить ей нос, она сказала: «Конечно, она должна знать правду о своей матери, но она ничего не должна знать о своем отце».

Было также решено с почестями похоронить Ревати на старом



кладбище. Вместо тела в могилу собрались положить ее письмо. (Тило сделала фотокопию оригинала). Анджум поинтересовалась, нет ли какого-то особого ритуала для похорон коммунистов. (Она употребила вместо этого слова другое — «лал салами».) Когда доктор Азад Бхартия сказал, что, насколько он знает, коммунисты обходятся без ритуалов, Анджум возмутилась. «Что такое ты говоришь? Разве есть такие люди, что хоронят своих мертвых без молитвы?»

На следующий день доктор Азад Бхартия раздобыл где-то красный флаг. Письмо Ревати положили в запечатанный пластиковый пакет и завернули в красный флаг. Когда флаг закопали, доктор Азад Бхартия исполнил на хинди «Интернационал» и отсалютовал поднятой вверх сжатой в кулак рукой. Так завершились вторые похороны первой, второй или третьей матери (это зависит от личных предпочтений) мисс Джебин Второй.

Политбюро решило, что отныне полным именем девочки будет мисс Удайя Джебин. На могиле появилась скромная надпись:

ТОВАРИЩ МААСЕ РЕВАТИ  
Возлюбленная мать мисс Удайи Джебин  
Лал салам

Доктор Азад Бхартия попытался научить мисс Удайю Джебин — дочь шестерых отцов и трех матерей, сшитых вместе нитями света, — сжать кулачок, поднять его к плечу и произнести прощальное «Лал салам!» своей матери.

— ...аль салям! — проворковала девочка.

## 11. Домовладелец

Я все еще здесь. Должно быть, вы и сами уже догадались, что я так и не добрался до реабилитационного центра. Почти полгода — с переменным успехом — длился запой, начавшийся, когда я приехал сюда. Однако сейчас я трезв — хочу подчеркнуть, *пока* трезв. Вероятно, так будет честнее. Почти год я особо не притрагиваюсь к спиртному, но поезд уже ушел. Меня уволили со службы. Читра меня бросила. Рабия и Аня со мной не общаются. Странно, но это не сделало меня настолько несчастным, как я опасался. Я научился получать радость от одиночества.

Последние несколько месяцев я веду жизнь затворника. Я перестал быть запойным пьяницей и стал запойным читателем. Я решил прочитать все бумаги, все до последней строчки — каждый документ, каждый рапорт, каждое письмо, просмотреть каждое видео, прочесть все заметки и исследовать все фотографии, найденные мною в квартире. Думаю, вы скажете, что это иное проявление личности, склонной к наркотической зависимости. Я согласен, хотя хочу уточнить, что под зависимостью я понимаю исключительную целеустремленность в сочетании с острым чувством вины и запоздалым, бесполезным раскаянием. Одолев весь этот странный, хаотичный архив, я попытался утихомирить свой зуд, внося в документы логику и порядок. Наверное, это тоже можно считать дальнейшим погружением в зависимость. Как бы то ни было, я разложил все папки и фотографии в надлежащем порядке, собрал их в коробки и аккуратно их запечатал, чтобы, если придет Тило, отдать ей все это со спокойной душой. Я снял доску с заметками и фотографиями со стены и упаковал их так, чтобы она смогла восстановить доску в том же виде, в каком она здесь находилась. Я говорю об этом, чтобы вы поняли, что я поселился наконец в собственном доме. Теперь в этой квартире живу я, я сам. Идти мне больше некуда. В основном я живу на те деньги, что мне платят жильцы, арендующие квартиры на первом и втором этажах. Тило продолжает переводить деньги на мой счет, но я верну их ей, когда (если) снова ее увижу.

Должен признаться, что мое дотошное чтение изменило мои взгляды на Кашмир. Вы можете возразить, что это очень дешевая и удобная позиция — вроде позиции генералов, которые всю жизнь ведут войны, а выйдя в отставку, вдруг становятся благочестивыми миролюбцами и противниками гонки вооружений. Единственная разница между мной и ими заключается в

том, что я держу мое мнение при себе. Правда, это нелегко мне дается. Если бы я захотел, если бы я правильно распорядился моими козырными картами, то, вероятно, смог бы превратить их в серьезный капитал. Выйдя из подполья, я смог бы поднять нешуточную политическую бурю, потому что по новостям могу судить, что Кашмир после нескольких лет обманчивого затишья снова готов взорваться.

Из того, что я вижу, могу заключить, что теперь уже не силы безопасности и армия нападают на людей. Теперь все происходит наоборот. Люди — обычные люди, а не повстанцы, не боевики — нападают на солдат и сотрудников сил безопасности. Дети с камнями в руках наводят страх на солдат с автоматами; крестьяне, вооруженные дубинами и лопатами, очищают от солдат горные склоны и сметают с лица земли армейские лагеря. Если солдаты открывают огонь и убивают людей, то это приводит лишь к новым, еще более мощным, протестам. Полувоенные организации начали применять пневматическое оружие — оно ослепляет людей, но это лучше убийства, как я полагаю. Правда, в глазах общественного мнения такое оружие, пожалуй, даже хуже. Мир привык к горам трупов. Но он не привык к виду сотен ослепленных живых людей. Простите за грубость, но вы и сами можете оценить привлекательность такого зрелища. Но и это не действует. Мальчики, потерявшие один глаз, снова выходят на улицы, рискуя вторым. Что можно поделать с такой поистине всенародной яростью?

Я нисколько не сомневаюсь, что мы сможем разбить их еще раз и, конечно же, разобьем, но чем это все кончится? Войной. Или ядерной войной. Это самый реалистичный ответ на вопрос. Каждый раз, когда я смотрю новостные программы, я не перестаю удивляться нашему невежеству и идиотизму. Подумать только, всю свою сознательную жизнь я был частью этого идиотизма. Я мог бы попытаться остановить это, выступив в газетах, но я не стану этого делать, чтобы не стать беспомощным посмешищем — кто он такой, этот уволенный из рядов алкоголик, совестливый правдоискатель. Такие вот дела.

Конечно, я знаю о Мусе, в том смысле, что мне известно, что он не умер, когда все посчитали его погибшим. Все эти годы он появлялся здесь, и, нет нужды лишней раз об этом говорить, моя квартирантка тоже это знала. Потребовалось недолгое отключение электричества, чтобы я понял это по вещам, которые обнаружил в морозилке.

Вообразите мою радость, когда в одну прекрасную ночь в замочной скважине повернулся ключ и в квартиру вошел Муса собственной персоной. Мне показалось, что он, увидев меня, был потрясен даже

больше, чем я. Первые минуты прошли очень напряженно. Муса хотел уйти, но я удержал его и даже уговорил выпить со мной чашку кофе. Мне было приятно его видеть. В последний раз мы встречались, когда были совсем молодыми людьми, почти мальчиками. Теперь я почти полностью облысел, а Муса изрядно поседел. Он сразу успокоился, когда я сказал, что больше не работаю в Бюро. Дело кончилось тем, что мы провели вместе ночь и весь следующий день. Мы много говорили — и, оглядываясь на ту встречу, я сильно расстраиваюсь, вспоминая, как ловко он вывернул меня наизнанку. Это было сочетание внимания и любознательности, которое не раздражает, а, наоборот, льстит. Вероятно, из-за того, что я хотел убедить его в том, что я больше не враг, говорил в основном я. Меня поразила его осведомленность о делах Бюро. О некоторых офицерах он говорил как о старых друзьях. Говорить с ним было то же самое, что обмениваться замечаниями с коллегой. Однако Муса делал это так искусно, почти небрежно, что я понял, что произошло, только после его ухода. Мы почти не говорили о политике и совсем не говорили о Тило. Он предложил приготовить обед из того, что было у меня на кухне. Я, конечно, понимал, что ему хочется взглянуть, на месте ли вещи, оставленные Тило в морозилке. Теперь там не было ничего, кроме килограмма доброй баранины. Я сказал ему, что пистолет и патроны на кухне, вместе со всеми его паспортами и другими личными вещами. Все упаковано, и Тило сможет забрать все, как только соберется это сделать.

Коснулись мы и обстановки в Кашмире, но очень вскользь.

— Возможно, в конечном счете вы правы, — сказал я ему, когда мы сидели на кухне. — Наверное, вы правы, но вы никогда не победить.

— Я убежден в противоположном — ответил он, улыбаясь и помешивая в кастрюле восхитительно пахнущую баранину в остром томатном соусе. — Возможно, окажется, что мы были неправы, но мы уже победили.

Я не стал с ним спорить. Не думаю, что он понимал, что правительство Индии пойдет на все, чтобы удержать за собой этот клочок земли. Это упорство может привести к такой кровавой бане, по сравнению с которой кровопролитие девяностых покажется детскими шалостями. С другой стороны, я не знал, насколько кашмирцы готовы к самоубийству. Ставки с каждым годом повышались. Возможно, однако, что мы по-разному понимали слово «победа».

Еда была изумительной. Муса был просто непревзойденным поваром. Он спросил о Наге: «Я давно не видел его по телевизору. У него все в порядке?»

Странно, но единственным человеком, с которым я поддерживаю связь в моем затворничестве, — это Нага. Он уволился из газеты и теперь чувствует себя куда более счастливым, чем когда-либо раньше. По иронии судьбы мы оба освободились от заклятья благодаря окончательному исчезновению Тило из нашей жизни и из нашего общего мира. Я сказал Мусе, что мы с Нагой планируем — пока это не более чем проект — запустить канал ретро-музыки, на радио или как подкаст. Нага будет отвечать за западную музыку — рок-н-ролл, джаз, блюз, а я за восточную классику. У меня есть интересная и, как я полагаю, даже отличная коллекция афганской, иранской и сирийской народной музыки. Рассказав все это Мусе, я почувствовал себя мелким и поверхностным. Но Муса, казалось, искренне заинтересовался, и мы довольно содержательно поболтали о музыке.

На следующее утро Муса где-то раздобыл грузовичок и договорился с двумя носильщиками, которые погрузили в машину его коробки и вещи Тило. Наверняка он знал, где искать Тило, но не сказал, а я не стал спрашивать. Правда, был один вопрос, который я просто обязан был ему задать до того, как он уйдет, вопрос, ответ на который я должен был знать сейчас, а не ждать еще тридцать лет до нашей новой встречи. Я знал, что этот вопрос не даст мне покоя до конца жизни. Я не мог не спросить. Сделать это окольным путем было невозможно. Мне нелегко это далось, но в конце концов я все же задал ему этот мучивший меня вопрос.

— Это ты убил Амрика Сингха?

— Нет, — он посмотрел на меня своими чайно-зелеными глазами. — Я его не убивал.

Он на мгновение умолк, и по его взгляду я понял, что он оценивает меня, думает, говорить дальше или нет. Я сказал Мусе, что видел прошение о предоставлении убежища в США и видел посадочные талоны с именем, встречающимся в одном из его фальшивых паспортов. Мало того, я ознакомился с журналом регистрации клиентов в конторе проката автомобилей в Кловисе. Даты совпадали, и я понимал, что Муса имеет отношение к этой смерти, но не знал, какое именно.

— Это простое любопытство, — сказал я. — Не имеет никакого значения, ты это сделал или нет. Он заслуживал смерти.

— Я его не убивал. Он застрелился сам. Но это мы заставили его покончить с собой.

Я не понял, что, черт возьми, он имеет в виду.

— Я поехал в США не для того, чтобы следить за ним. Я уже был там по совершенно другим делам, когда обнаружил в газете заметку о том, что

его арестовали за избиение жены. Адрес его проживания попал в прессу. Я искал его много лет. У меня с ним свои счеты, как и у многих из нас. Так я приехал в Кловис, навел справки и нашел его в гараже автомастерской, куда он пришел забирать свой грузовик после ремонта. Он разительно переменялся и был не похож на того убийцу, которого мы все знали, убийцу Джалиба Кадри и многих других. Теперь у него не было той инфраструктуры безнаказанности, в которой он привык действовать. Он был испуган и сломлен. Мне даже стало его жалко. Я уверил его в том, что мы не причиним ему вреда, но и не дадим забыть о содеянном.

Все это Муса рассказывал мне на улице, когда я вышел проводить его.

— Другие кашмирцы тоже прочли эту новость. Они стали приезжать в Кловис, чтобы посмотреть, как живет кашмирский мясник. Среди этих кашмирцев были журналисты, писатели, фотографы, адвокаты... и простые люди. Они появлялись у него на работе, подходили к его дому, сопровождали его в магазинах и на улице, приходили и в школу, где учились его дети. Каждый день. Он был вынужден смотреть на нас, видеть нас — каждый день. Вынужден вспоминать. Должно быть, это свело его с ума. И заставило самоликвидироваться. Так что в ответ на твой вопрос могу сказать: нет, я его не убивал.

То, что Муса сказал после этого, стоя на фоне ворот, на которых огромная, как людоед, медицинская сестра делала ребенку прививку от полиомиелита, было похоже на ушат холодной воды. Это прозвучало еще страшнее, потому что было сказано небрежным, непринужденным, дружелюбным тоном, с почти счастливой улыбкой, как будто это была невинная шутка.

— Однажды Кашмир заставит Индию покончить с собой точно таким же способом. Вы можете всех нас ослепить пулями из пневматических ружей. Но у вас самих останутся глаза, и вы сможете видеть, что вы натворили. Вы нас не разрушаете. Вы нас создаете, а разрушаете вы себя. Худа хафиз, Гарсон бхай.

Он ушел, и с тех пор я его не видел.

Что, если он прав? Мы все были свидетелями того, как великие государства в одну ночь рушились, словно карточные домики. Что, если настала наша очередь? Эта мысль преисполнила меня почти вселенской скорбью.

Даже если судить по этой крохотной улочке, то можно сказать, что разрушение уже началось. Здесь стало необычайно тихо. Прекратилось строительство. Рабочие куда-то исчезли. Где проститутки, гомосексуалисты

и одетые в яркие комбинезоны собачки? Мне так их не хватает. Почему они все так быстро исчезли?

Нет, не надо стоять здесь. Я становлюсь похожим на старого, ностальгирующего дурака.

Все будет хорошо. Все должно быть хорошо.

По дороге домой мне удалось избежать встречи на лестнице с говорливой толстушкой Анкитой. Я поднялся в свою пустую квартиру, где меня вечно будут преследовать призраки увезенных картонных коробок и всех заключенных в них историй.

Ждет меня и отсутствие женщины, которую я — на свой лад, вяло и нерешительно, — никогда не перестану любить.

Что будет со мной? Я и сам немного похож на Амрика Сингха — я старый, обрюзгший, испуганный человек, лишенный, как красноречиво выразился Муса, «инфраструктуры безнаказанности», в какой жил всю жизнь. Что, если я тоже самоликвидируюсь?

Наверное, такое возможно, если меня не спасет музыка.

Надо позвонить Наге. Надо поработать над идеей с подкастом.

Но сначала надо выпить.

## 12. Скарабей

Муса гостил в «Джаннате» уже третьи сутки. Он приехал несколько дней назад под видом работника доставки на фургоне, забитом картонными коробками. Все очень радовались, видя, как оживилась Устаниджи после его приезда, как горят ее глаза. Картонные коробки были составлены в штабель у стены в комнате Тило, чем загромождали все пространство, что она делила с Ахлам Баджи. Тило рассказала Мусе все, что знала, об обитателях постоянного двора «Джаннат». Той последней ночью она лежала рядом с ним в кровати и демонстрировала свои успехи в урду. Одно стихотворение, которому научил ее доктор Азад Бхартия, она записала себе в блокнот.

Мар гайи бульбуль кафас мейн  
Кех гайи сайяад се  
Апни сунехри гаанд мейн  
Ту тхунс ле фасл-э-бахаар.

— Похоже на гимн бомбиста-самоубийцы, — сказал Муса.

Тило рассказала ему о докторе Азаде Бхартия и о том, что это стихотворение стало его ответом на допрос на площади Джантар-Мантар (утром после той ночи, той конкретной ночи, вышеупомянутой ночи, от которой начался отсчет нового времени).

— Когда я умру, пусть эти слова будут моей эпитафией, — смеясь, сказала Тило.

Ахлам Баджи, невнятно ругнувшись, перевернулась в могиле.

Муса посмотрел на следующую страничку блокнота.

Там было написано:

Как  
рассказать  
расколотую  
историю?

Постепенно  
становясь  
всеми.



Нет. Постепенно становясь всем.

Здесь есть над чем задуматься, подумалось Мусе.

Эта мысль заставила его повернуться к женщине, которую он любил столько лет, странности которой делали ее еще ближе, и привлечь ее к себе.

Новый дом Тило напомнил Мусе историю Мумтаза Афзала Малика, молодого шофера такси, убитого Амриком Сингхом. Тело мужчины было найдено в поле, и, когда его привезли родным, в окоченевшей руке была зажата горсть земли, а между пальцами пробивались цветы горчицы. Муса запомнил эту историю навсегда — наверное, потому, что в ней воедино, неразделимо, сплелись надежда и горе.

На следующее утро он уедет в Кашмир, чтобы вернуться на вступившую в новую фазу старую войну, с которой на этот раз он уже не вернется. Он умрет так, как хотел умереть, — безымянным безликим бойцом в асал-бутах, — и будет похоронен в безымянной могиле. Молодые люди, которые займут в строю его место, будут более жесткими, более целеустремленными, более беспощадными. Они смогут выиграть любую войну, потому что принадлежат к поколению, которое не знало ничего, кроме войны.

Тило получит весточку от Хадиджи — фотографию улыбающихся Мусы и Гуль-кака с надписью на обороте: «Командиры Гульрез и Гульрез теперь снова вместе и навсегда». Тило тяжело переживает гибель Мусы, но не сломается под тяжестью горя, потому что сможет писать ему письма и даже навещать его через щелочку в двери, которую заботливые бывалые ангелы-хранители кладбища держат (незаконно) для нее открытой.

Их крылья не пахнут затхлым курятником.

В последнюю ночь Тило и Муса спали обнявшись, как молодожены.

В ту ночь Анджум не спалось. Она долго ходила по старому кладбищу, осматривая свои владения. Ненадолго она остановилась у могилы Бомбейского Шелка, произнесла молитву. А потом рассказала сидящей у нее на руках мисс Джебин Второй историю о том, как впервые увидела Бомбейский Шелк за покупкой браслетов у торговца на Читли-Кабаре, а потом шла за ней до Гали-Дакотан. Она взяла с могилы бегум Ренаты Мумтаз-мадам один цветок и положила его на могилу товарища Маасе. Такое распределение казалось Анджум справедливым, и ей полегчало на душе. Глядя на постоянный двор «Джаннат», Анджум испытывала чувство гордости и исполненного долга. Подчинившись внезапному порыву, она

решила совершить полуночную прогулку по городу вместе с мисс Удайей Джебин, чтобы показать ей ближайший квартал и огни большого города.

Они прошли мимо морга, мимо госпитальной парковки, а оттуда вышли на главную улицу. Движения в этот час почти не было, но на всякий случай они шли по тротуару, обходя стоявшие велосипеды рикш и спящих на земле людей. Среди них был какой-то голый человек с куском колючей проволоки в бороде. Он поднял руку, приветствуя Анджум, а потом поспешил прочь с таким видом, будто опаздывал на работу. Когда мисс Удайя Джебин сказала: «Мама, пи-пи!», Анджум усадила ее под уличным фонарем. Девочка писала, внимательно глядя на мать, а потом подняла попу и с восхищением всмотрелась в ночное небо, звезды и тысячетный город, отразившиеся в сделанной ею лужице. Анджум взяла малышку на руки, поцеловала и понесла домой.

Когда они вернулись на кладбище, свет нигде не горел, все спали. Все, кроме Гуи Кьома, старого скарабея. Он не спал, он был на страже. Жук лежал на спинке, выставив вверх лапки, на случай если небо вдруг вздумает упасть на землю. Но даже он знал, что в конце концов все обернется к лучшему. Так оно и будет, потому что иначе просто не может быть.

Потому что в мир явилась мисс Джебин, мисс Удайя Джебин.

## Благодарности

Из любви и дружбы тех, чьи имена перечислены ниже, я соткала себе ковер, на котором думала, спала, мечтала, уносилась ввысь, радовалась и впадала в отчаяние все те годы, что писала эту книгу. Хочу выразить мою глубочайшую признательность:

Джону Бергеру, человеку, который помог мне начать и терпеливо ждал, когда я закончу.

Майанку Остину Суфи и Айджазу Хусейну. Они знают, за что. Мне нет нужды повторяться.

То же самое относится и к Парвазу Бухари.

Чудесной и необыкновенной Шохини Гхош, поднимавшей мое настроение и внушавшей мне вдохновение.

Джаведу Накви — за музыку, колдовские стихи и дом, полный цветов.

Устаду Хамиду, показавшему, как можно воспарить в небеса, порхая между нотами музыки.

Даяните Сингх, с которой я однажды отправилась в путешествие, воспламенившее мое воображение.

Мунни и Шигори за съемки прозрачного ветра в Мина-базаре.

Семье Джинджанви: Сабихе и Насиру-уль-Хасану, Шахине и Муниру-уль-Хасану за дом в Шахджаханабаде.

Таруну Бхартии, Прашанту Бхушану, Мохаммеду Джунаиду, Арифу Арразу Парраю, Кхурраму Парвезу Имрозу, П. Г. Расулу, Арджуну Райне, Джитендре Ядаву, Ашвину Десаи, Г. Н. Саибабе, Роне Уилсону, Нандини Озе, Шрипаду Дхармадхикари, Химаншу Тхаккеру, Никхилу Де, Ананду, Дионне Бунше, Читтарупе Палит, Сабе Накви и преподобному Сунилу Сардару, чьи прозрения, знания и советы составили основу «Министерства».

Савитри и Равикумару за наши совместные путешествия и многое, многое другое.

Дж. Дж. (Нет слов!) Но она еще где-то здесь.

Ребекке Джон, Чандеру Удаю Сингху, Джавахару Радже, Ришабху Санчети, Харшу Боре, господину Деспанде и Акшаю Судаме, спасшим меня от тюрьмы (пока).

Сузанне Ли и Лизетте Верхаген, послам мира и наивысшего счастья. Хизер Годвин и Филиппе Ситтерс, женщинам из альпинистского лагеря.

Дэвиду Элдриджу — за исключительный дизайн обложек — для двух

книг с промежутком в двадцать лет.

Айрис Вайнштейн — за совершенную верстку.

Элли Смит, Саре Говард, Арпите Басу, Джорджу Уэну, Бенджамину Гамильтону, Марии Мэсси и Дженнифер Курдыле. Внимательным читателям, дотошным редакторам и блистательным победителям в трансатлантических войнах за правильную расстановку запятых.

Панкаджу Мишре — первому читателю!

Робин Дессер и Саймону Проссеру. Редакторам мечты.

Моим чудесным издателям, Сонни Мехте, Меру Гокхале (за публикацию и легкие закуски). Хансу Юргену Бальмесу, Антуану Галлимару, Луиджи Бриоски, Хорхе Эрральде, Доротее Бромберг и всем другим, лично не знакомым мне людям.

Суману Парихару, Мохаммеду Сумону, Кришне Бхоату и Ашоку Кумару, которые удерживали меня на плаву, когда это было совсем нелегко.

Сьюзи К., мобильному психиатру, милой подруге и лучшему таксисту Лондона.

Кришнану Тевари, Шармиле Митре и Дипе Верме за ежедневную дозу пота, слез, душевного здоровья и смеха.

Джону Кьюсаку, милейшему человеку, соратнику по «Фридом-Чартер».

Эве Энслер и Биндии Тхапар. Моим любимым.

Моей матери, как никому другому. Мэри Рой — лучший человек в мире.

Моему брату, ЛКК, хранителю моего разума и его жене Мэри. Оба, слава богу, выжили.

Голаку. Опустим слова — старейшему другу.

Митве и Пии, малюткам. Обе пока еще мои.

Дэвиду Годвину, летучему агенту. Главному человеку, без которого...

Энтони Арнаву, товарищу, агенту, издателю, скале.

Прадипу Кришену, давней любви, моему почетному дереву.

Санджаю Каку, пещере. Навсегда.

И

Бегум Растрепе Джаан и Маати К. Лалу. Какие люди!

Особая благодарность за:

Пассаж, который учитель долгоносиков читает вслух своим долгоносикам, взят с изменениями из «Соломенных псов» Джона Грея.

Стихи «Из тьмы да будет свет, из света — мрак» взяты из «Ушедших» Иоанны Гики.

Стихотворение «Дуня ки мехфилон се укта гайя хун йя Раб» написано Алламой Икбалом.

Строки на могиле Арифы Есви принадлежат Ахмеду Фаразу.

---

**notes**

## **Примечания**

# 1

Кичри — пряное индийское блюдо. В данном случае имеется в виду нечто сущностное, главное.

2

Индийская мебельная фирма.



**3**

Прежнее название Старого Дели.

4

Дарга — усыпальница.

# 5

Хазрат — лицо, обладающее высоким религиозным авторитетом.

# 6

Судьи и законоучителя.

7

Устад — учитель у мусульман Индии и Пакистана.

## 8

Чуок — рыночная площадь в индийских населенных пунктах.

# 9

Часть города, своего рода квартал.

**10**

Род куртки, предмет индийской национальной одежды.



## 11

Маленькое сумчатое животное, похожее на барсука. Обитает в Австралии и Новой Гвинее.

**12**

Пошла прочь!

**13**

Всего десять (*англ.*).

**14**

Имеется в виду премьер-министр Ваджпай.

Раштрия сваямсевак сангх (Союз добровольных слуг Родины) — ультраправая националистическая организация, родоначальница нынешней правящей партии «Бхаратия джаната парти» (премьер-министр Моди, бывший в то время главным министром штата Гуджарат).

**16**

Накидка, покрывало.

**17**

Существо с головой слона и телом человека, сын Шивы и Парвати, бог мудрости в индуистском пантеоне.

Из «Книги вопросов». (Пер. Павла Грушко.)



## 19

Гаятри — ведийский стихотворный размер. Гаятри-мантра — молитва богу Савитару, ведийскому божеству, перенесенная в индуизм.

## 20

Род набедренной повязки, закрывающей нижнюю часть туловища и ноги до колен.

**21**

Твою мать, ублюдок, хер твоей сестры, манда твоей матери (*хинди*).

Техсильдар — налоговый инспектор.

Крор — десять миллионов рупий, лакх — сто тысяч рупий.

**24**

Мучное блюдо, вид индийского хлеба.

25

Дом для отправления религиозных ритуалов (у сикхов).

**26**

Кофе с молоком (*франц.*).



По-английски игра слов: «well-hung ghoul» — подвешенный хангул.

India Bravo — IB. Зашифрованная аббревиатура — Intelligence Bureau  
— Разведывательное бюро.

Barber — цирюльник, брадобрей (*англ.*).

Дрожать (*англ.*).

Здесь неперево́димая игра слов: Spotter — ищѣйка (*англ.*), otter — вы́дра (*англ.*).

«Богоматерь цветов». (Пер. А. Смирновой.)

Кашмирский боевик.

«Богоматерь цветов». (Пер. А. Смирновой.)



I oughta hate him — я должна ненавидеть его (*англ.*).

**36**

All the hittin — все это битье (*англ.*).

Вымышленный город, место действия романа Г. Маркеса «Сто лет одиночества».

«Генрих V», акт IV, сцена 3 (*пер. Е. Бируковой*).

«Богоматерь цветов». (Пер. А. Смирновой.)

Последняя строка стихотворения «Я не любви твоей прошу». (Цитата из стихотворения в английском переводе звучит как «I'm not yet cured of happiness» — «Я еще не излечилась от счастья».)

**41**

Игра слов: morning — утро, mourning — оплакивание. Оба слова произносятся одинаково.

Храни тебя Бог — персидская формула прощания, распространенная в Индии, Иране, Афганистане и некоторых других странах Южной Азии.



«Воспоминания».

Махеш Бабу — известный индийский актер, режиссер, сценарист и филантроп. Род. в 1975 году.

«Генрих V», акт IV, сцена 3 (пер. Е. Бируковой).

# Table of Contents

[Арундати Рой Министерство наивысшего счастья](#)

[1. Где умирают старые птицы?](#)

[2. Кхвабгах](#)

[3. Рождение](#)

[4. Доктор Азад Бхартия](#)

[5. Тихая охота](#)

[6. Несколько вопросов на потом](#)

[7. Домовладелец](#)

[8. Квартирантка](#)

[9. Безвременная кончина мисс Джебин Первой](#)

[10. Министерство наивысшего счастья](#)

[11. Домовладелец](#)

[12. Скарабей](#)

[Благодарности](#)

[Примечания](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

[9](#)

[10](#)

[11](#)

[12](#)

[13](#)

[14](#)

[15](#)

[16](#)

[17](#)

[18](#)

[19](#)

[20](#)

[21](#)  
[22](#)  
[23](#)  
[24](#)  
[25](#)  
[26](#)  
[27](#)  
[28](#)  
[29](#)  
[30](#)  
[31](#)  
[32](#)  
[33](#)  
[34](#)  
[35](#)  
[36](#)  
[37](#)  
[38](#)  
[39](#)  
[40](#)  
[41](#)  
[42](#)  
[43](#)  
[44](#)  
[45](#)